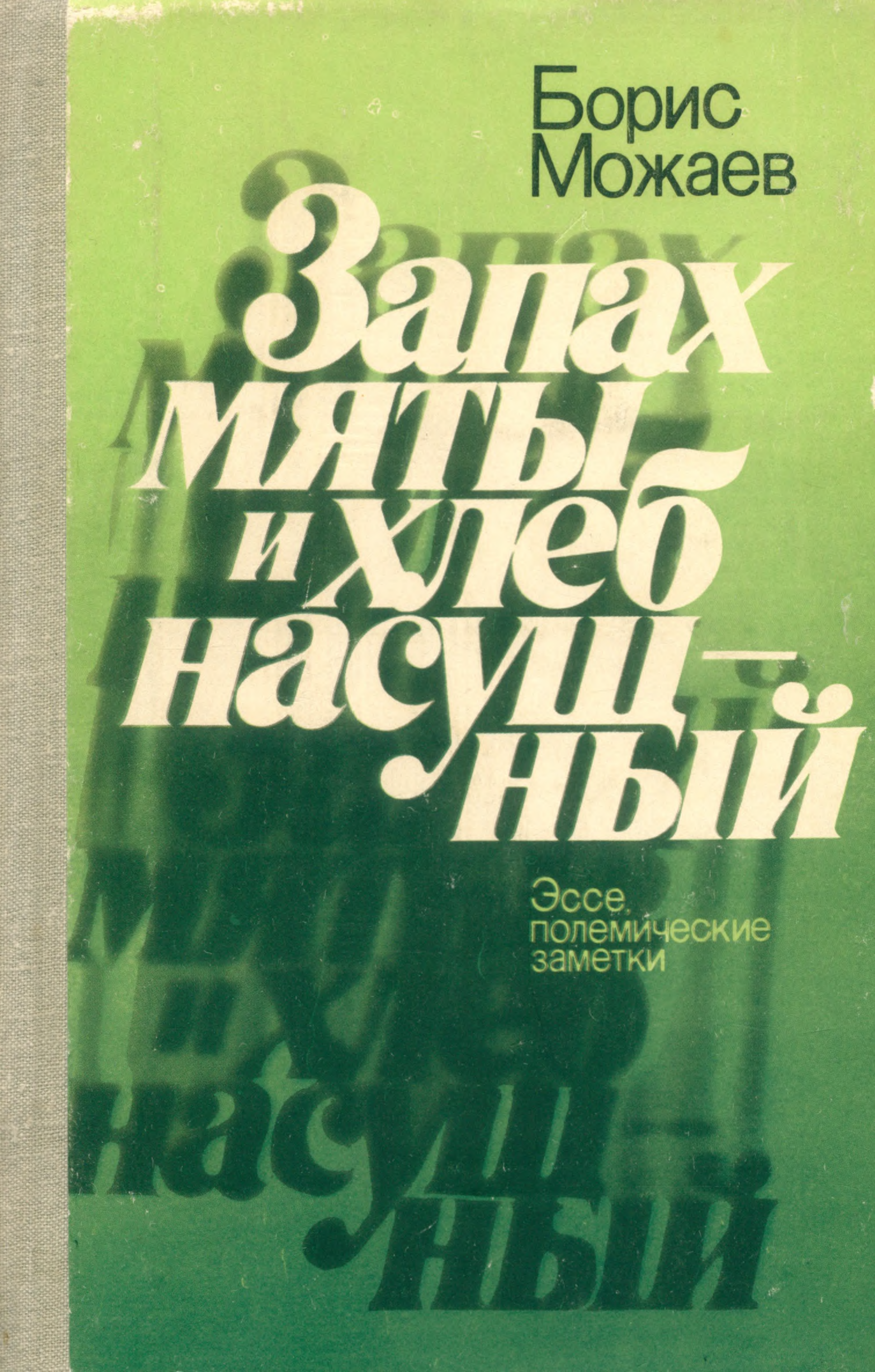
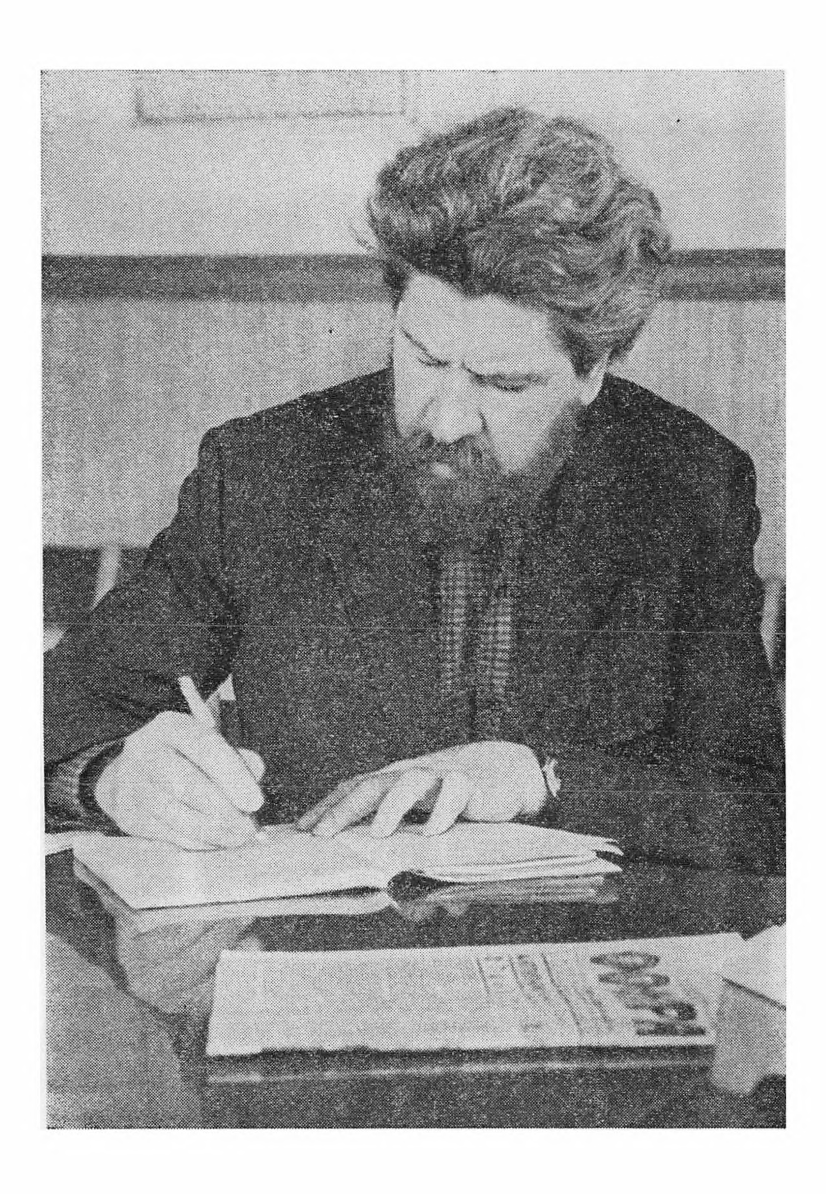
Борис Можаев | Запах мяты и хлеб насущный







Борис Можаев



Запах мяты и хлеб насущный

Эссе, полемические заметки

Московский рабочий 1982

Р2
М74

Можаев Б. А.

М74 Запах мяты и хлеб насущный: Эссе, полемические заметки.— М.: Моск. рабочий, 1982.— 463 с.

В книгу вошли хорошо известные читателю лирические повести «Лесная дорога», «В Солдатове у Лозового», «По дороге в Мещеру» и др. В них описывается современная жизнь как в центральной русской полосе, так и на окраинах отечества нашего.

Повести, рассказы, очерки Бориса Можаева отмечены своеобразным колоритом местности и постоянным присутствием автора в произведении, неизменным стремлением даже в самой лирической вещи выделить и подчеркнуть черты социальные, характеризующие те важные изменения, которыми так богата жизнь советского общества, особенно последних десятилетий.

М $\frac{4702010200—003}{М172(03)—82}$ 197—82 Р2

ОТ АВТОРА

В этой книге читатель найдет произведения, знакомые по давним журнальным публикациям на разные темы и по разному поводу; однако, собранные вместе, они являются своего рода писательским дневником, или, вернее, двадцатилетней хроникой, запечатлевшей авторскую точку зрения на злободневные явления нашей жизни и на то, как эта жизнь отражалась в литературных произведениях.

Автор не ограничивал себя выбором места действия; ему важно было наблюдать сходность определенных событий, происходивших в разных пределах огромной державы нашей — от дальневосточной тайги до пограничных белорусских сел — или даже за ее чертою в какой-нибудь деревеньке Пренден под Берлином. Отсюда и некоторая разбросанность и тематическая многоплановость.

И тем не менее автор пытался скрепить эту книгу единой мыслью: для каждого из нас, если мы осознаем свою обязанность быть гражданами, необходимо и участие наше в обсуждении злободневных проблем, или так называемых временных вопросов, мимо которых проходим мы порой с «олимпическим равнодушием», как говорил Салтыков-Щедрин.

Если и нельзя разрешить с ходу те или иные коренные проблемы нашего бытия, то можно хотя бы сдвинуть их с места проявлением нашего повседневного интереса к ним или по крайней мере потрудиться довести каждому из нас до собственного сознания ту простую истину, что никто, кроме нас самих, не сдвинет их с места.

Что это за коренные проблемы? — спросите вы. Я вам отвечу: а хотя бы вот эта, вписанная в решение XXVI съезда КПСС: «Развивать хозяйственную самостоятельность колхозов и совхозов и межхозяйственных предприятий».

От самостоятельности один шаг до независимости, а независимость хоть и неважное слово-то, как писал Пушкин, да вещь больно хорошая. Недаром прививает эти ценные качества нашему обществу Коммунистическая партия. Самостоятельные да независимые хозяева, деятельность которых естественно сообразована с государственными интересами, такие хозяева чудеса творят на земле. Читатель найдет

в этой книге довольно примеров, достойных подражания. И герои здесь подлинные, автор не выдумал их, а старательно собирал, как драгоценные доказательства разумности и волевой стойкости характера нашего современника.

О нарушении принципов самостоятельности говорил Леонид Ильич Брежнев на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1981 года. Об этом же говорилось и на мартовском Пленуме ЦК КПСС 1965 года. Этим же вопросам уделил внимание Леонид Ильич в своем выступлении на майском Пленуме 1982 года. Шестнадцать лет назад осуждены были эти методы руководства. Значит, они живы, и живучесть их лежит укором в том числе и на нашей писательской совести.

Слишком заносчивы бываем мы, слишком пренебрежительно глядим на эти временные вопросы, называя их мелкими, а еще — производственными. Какие же они производственные? Это вопросы социально-нравственного порядка — наклонность нашего современника к самостоятельности в деле, к проявлению в условиях общественной среды своих индивидуальных особенностей есть вернейший признак выявления духовных качеств своей личности. И грешно нам, писателям, стоять в стороне и не замечать этих чрезвычайно важных текущих интересов.

«И чем пристальнее художник вникает в эти текущие интересы, которые он не без презрительной улыбки именовал временными, тем более убеждается, что это суть интересы не менее важные, нежели те, которые он, переносясь в другую сферу, несколько напыщенно называл вечными, и что, в конечном анализе, не может существовать того мелкого человеческого интереса, который бы не был интересом вечным уже по тому одному, что он интерес человеческий».

Я вновь привожу эти замечательные слова Салтыкова-Щедрина, чтобы лишний раз подчеркнуть, что и временные вопросы и вечные — суть явления единого порядка, порожденные одной и той же жизнью. И невозможно отдавать предпочтение чему-либо одному. Вот почему писатель вынужден порой откладывать свои романы и повести и засучив рукава браться за очерки, статьи, памфлеты. Необходимость прямого разговора оправдывается срочностью дел.

Так поступали наши предшественники, так положено и нам поступать. Все дело в том, насколько жизненно важны эти временные вопросы, насколько глубоко и серьезно мы пытаемся осмыслить их. Но об этом пусть судит читатель.

1
Надо ли вспоминать старое?

ЗЕМЛЯ ЖДЕТ ХОЗЯИНА

Впервые я услышал об этом в пятьдесят девятом году. В колхозе «Трудовая нива» всю землю, занятую пропашными культурами, разделили и закрепили за семьями колхозников. Более того, за этими семьями закрепили и технику: тракторы, сеялки, культиваторы и прочее. Правда, они назывались звеньями, но суть оставалась той же — семья села на закрепленную землю. Автономия в колхозе! Тут есть над чем поразмыслить.

Без промедлений выехал я в «Трудовую ниву».

Колхоз этот расположен в селе Новом, километрах в двухстах от Хабаровска, на равнинных приамурских землях.

Новенькое, как любовно называют село окрестные жители, и впрямь оправдывает свое наименование: здесь все новое — и двухэтажный Дом культуры с бревенчатыми колоннами, и длинные дощатые навесы, и амбары механизированного тока, и множество свежесрубленных домов, еще грустно оголенных, без дворов, палисадников, калиток — переселенцы. Приехал я, помню, под вечер в погожую июльскую пору, ходил по полям и читал необычные надписи на дощечках: «Поле Горовых», «Поле Исакова», «Поле Оверченко». И это не клинья, не загоны, а настоящие озера шелестящей на ветру шелковистой кукурузы и цветущей картофельной кипени. С нетерпением ждал я возвращения хозяев этих полей.

Вечер приходит в село из-за Амура, по мягким округлым купам береговых талов, по отбушевавшему за день и теперь никлому разнотравью. Лишь только солнце нырнет за горбатый заслон даурских сопок, как посвежеет, потянет прохладой от широких амурских проток, и на дальних кустистых увалах появляется густая вечерняя просинь, подбеленная сединой невыпавшей росы. Хорошая это пора на селе! Люди так же отдыхают от жары и от работы, как раскаленная за день земля. Они собираются группами и подолгу, до комариного звона, просиживают на скамейках.

Возле правления в небольшой, но шумной компании я встретил первого звеньевого — Михаила Исакова. На нем была серая, пропитанная пылью длинная рубаха, выпущенная поверх брюк. Отдающие желтоватой солнечной подпалиной волосы рассыпались по лбу и вискам. Пожимая мне руку жесткой, костистой ладонью, он встряхнул головой и спросил нарочито серьезно:

— Значит, моими семейными делами интересуетесь?

Окружившие нас колхозники заговорили наперебой:

— У него поле подходящее...

— А можно посмотреть ваше поле?

— Отчего же нет? Здесь недалеко.

Поле Исакова начиналось сразу за селом; бесчисленные ряды высокой картофельной ботвы бежали по холмистой земле, исчезая где-то на горизонте. Посмотришь влево-вправо, и нет ни конца, ни краю.

— Сколько тут?

— Сорок пять гектаров.

— И все вами обработано?

Я знал, что звено Исакова состоит всего из трех человек.

Исаков чуть заметно усмехнулся: чудак, мол, человек, чему дивишься?

— Тут я и тракторист и звеньевой, а жена Нина и сын Ленька — мои помощники,— объяснил Исаков.— Так что у нас некого агитировать за стопроцентную явку на поля. Ночью надо остаться на поле — пожалуйста. Справляемся.

— И зачем вам колгота такая? И днем катаетесь и ночью,— подзадориваю его.

Смеется:

— Дак ведь не подмажешь — не поедешь.

— И хорошая подмазка?

— Как вам сказать... Пока только обещают. Вот вы-

растим больше ста центнеров на гектаре — получим прогрессивку.

— Значит, секрет простой: «колхоз — нам, а мы — колхозу». Так, что ли?

— Точно. Или как у вас в газете пишут — колхозные интересы совпадают с нашими личными.

— Кто же у вас придумал такое? — спросил я.

Он недоуменно пожал плечами:

— А чего тут думать? Спросите у нас каждого мужика, он вам то же самое ответит: земля должна иметь своего хозяина, как, допустим, трактор или комбайн. Собрались на правлении, поговорили — ну и решили всю картошку и кукурузу закрепить по звеньям.

— А почему же раньше не закрепляли?

— Не знаю. Раньше я в МТС работал. Я колхозником-то без году неделю.

— И уже закончили обработку своего поля?

— Закончил.

— Ну а теперь куда же?

— Э, с моим трактором работы хоть отбавляй! На луга, должно быть, на заготовку сена пошлют. А может, посевы кукурузы обрабатывать, к Горовым на помощь.

Другое звено, Горовых, также состояло из трех человек, но у них кроме тридцати гектаров картофеля еще примерно столько же кукурузы. Картошку они уже обработали, кустистая, цветущая, она стоит на зависть всем прохожим и проезжим. Однако огромный массив кукурузы еще ждал своей обработки.

Дом Горовых указал мне Михаил Исаков. Мы остановились возле трактора, загородившего подход к калитке.

— Где живут наши звеньевые, легко догадаться,— заметил Исаков.— Вот вам и примета: трактор ночует у хозяйской калитки. Пока еще помещений подходящих не отстроили...

Мы распрощались, и я вошел во двор. Хозяйка с подойником в руках только что вышла из хлева и, остановившись, поджидала меня у крыльца. Мы поздоровались.

— Проходите в избу,— приглашала Матрена Горовая,— я как раз убралась...

В перегороженной избе изумительная чистота, отдающая свежестью недавно выбеленных стен и прохладой только что помытых полов. В горнице цветы — сережки да герань, а на стенах и в красном углу семейные портреты, фотокарточки, над которыми свешиваются ярко расшитые рушники — на украинский лад.

Мы садимся с хозяйкой за стол; ее большие узловатые руки в темных венах постоянно в движении, то оправляют и оглаживают скатерть, то теребят концы платка. Сквозь раскрытое окно влетает и треплет занавеску ночной прохладный ветерок.

Я похвалил картофельное поле, на котором только что побывал. Похвала заметно оживила хозяйку, она спрашивает, не скрывая довольной улыбки:

— Ровная картошка на всем поле, правда?

— Очень, и сильная.

— А знаете, какое у нас обязательство? Получить вкруговую по сто семьдесят центнеров с каждого гектара.

— А не много ли?

— Мне уже говорили: мол, слишком высокое обязательство. У нас привыкли снимать с гектара по шестьдесят центнеров, а уж если уродится сто, шум поднимают. Сами посудите, на огородах-то мы побольше раза в два снимаем. А в поле разве нельзя такого же добиться? Я уже все подсчитала. Взять хотя бы квадратно-гнездовой метод посадки. При квадрате семьдесят на семьдесят сантиметров на одном гектаре окажется почти двадцать тысяч гнезд. Одно гнездо при среднем урожае дает один килограмм, а то и больше. Значит, с одного гектара надо снимать не меньше двухсот центнеров картошки. Где ж тут завышенные обязательства? — Она разводит руками и улыбается.

— А почему же раньше не создавали такие звенья? — допытываюсь я.

— Да как сказать... Звенья звеньям — рознь. Раньше тоже были звенья на свекле, на овощах... У иной звеньевой было десять девчат да пятнадцать грядок огурцов. Звено...— Она пренебрежительно усмехнулась.— И рекорды ставили на клину-то. А что в поле полынь, не замай! Общая. А теперь целое поле за звеном закрепляют. Такого не бывало.

— Почему же?

— Да не под силу было. Теперь вон у нас под окном стоит свой трактор, и тракторист дома. Мы с ним и пашем вместе и заработок делим. Попробуй он чего не так сделать или меня не послушать! А раньше? Мы здесь хлопотали за урожай, а трактористы в МТС план выполняли. И что для них этот урожай? Вот и не было смысла в таких звеньях: мы сами по себе, а трактористы тоже сами по себе. Разлад был!

— Сколько же у вас земли?
— Восемьдесят гектаров.
— А не много ли на двоих?
— Справимся,— торопливо заверяет она.— У Оверченко вон полтораста гектаров. Правда, у него и звено больше — два трактора,— она усмехнулась чему-то своему.— Он все подсчитывает — лишку не прихватил ли. У него в избе-то целая бухгалтерия на стенах вывешена: и сколько чего снимет, и что заработает, и какие премии получит, и что кому купит... Прямо плантовик.

Более всего, что удивило меня тогда и порадовало, это расчетливость каждого звеньевого, его скрупулезные подсчеты и распаханных гектаров, и израсходованных центнеров семян и удобрений, и будущего урожая, и заработка — подсчитывалось все до килограмма, до копейки. Раньше были на все нормы: и на пахоту, и на семена, и на удобрения, и на урожай. К ним привыкли, сжились с ними — не хлопотно. А теперь каждый норовит их взвесить, проверить, пересчитать.

Русский мужик не любит брать что-нибудь на веру, либо он принимает все как есть равнодушно, не чувствуя полезности предложенного, либо проявляет дотошную скрупулезность в том, что, по его мнению, приносит выгоду и обществу и ему. Исаков, Горовая и Оверченко — отнюдь не исключение. Особенно интересен Никита Оверченко; я часто беседовал с ним и восхищался его цепкой логикой в суждениях о земле. Мне надолго запомнился один разговор с ним, который в значительной мере изменил мое привычное представление о землепользовании.

Стоял солнечный день. Я пошел к нему на поле.

Сразу за селом начинались бесчисленные увалы; лениво сгорбленные, они тянулись до самого горизонта, напоминая стадо исполинских быков, уснувших в полуденном мареве. Легкий ветерок гнал по их зеленым спинам переливчатые волны; они сбегались в темные низины и устраивали здесь суматошную зеленую толчею. В небе, перелетая от одной протоки к другой, визгливо плакали рыбнички, и тени их весело бежали по земле вместе с тенями кругленьких белых облачков.

Под высоким тальниковым кустом на обочине дороги сидел парень в выгоревшей добела майке. Перед ним лежали набор культиваторных лапок, окучники, тракторные запчасти, тавот, колесные камеры. Мы поздоровались. Парень оказался сыном Никиты Петровича — Иваном.

— Вот лапки культиваторные подбираю в нашем семейном эмтээсе,— сказал Иван.— Земля жестковата, перед окучиванием надо корку сбить.

— А где отец?

— Вон на тракторе.

С увала прямо на нас шел вдоль борозд тракторишко. Поравнявшись с нами, тракторист заглушил мотор и, поздоровавшись со мной, спросил Ивана:

— Ну как?

— Подобрал.

— Ну и добре.

Старший Оверченко слез с трактора. На нем была такая же выгоревшая майка, а синюю в полоску рубаху он скрутил жгутом и повязал через плечо.

— Вот оно дело какое: хватились было окучивать, да земля не пускает. У нее свои законы,— заговорил он со мной.

— А у вас?

— Наше дело — приноравливаться. Неволить землю нельзя.

Я смотрел на его небольшую сутуловатую фигуру, припорошенную золотистой пыльцой, на пыльные сапоги, на выгоревшие, землистого цвета волосы, на песочные брови, и казалось мне, что он сам вышел из этой горячей земли, словно дух ее, и знает все ее повадки.

— Земля — дело живое,— говорит он, присаживаясь.— Вот она, видишь, травка выросла,— указал он на высокий мятлик.— А на тот год здесь все по-другому вырастет, и метелки будут не те. А наше дело — чувствовать, как оно растет, и способствовать этому.

Он скрутил толстую цигарку и долго курил ее, прикапчивая пальцы,— курил как человек, знающий цену табаку.

С увала далеко, куда хватает глаз, видны картофельные грядки, в которые глубоко врезается широкий клин шелестящей на ветру кукурузы.

— Это все ваше?

— И тут мое, и за увалами тоже мое... А там, за селом, еще столько.

Никита Петрович щурил свои синие, как у врубелевского Пана, лукавые глаза.

— А скажите, у американского фермера, такого, что в средних ходит, больше земли?

— Значительно меньше.

— От так и запышить,— переходит он на украинский

язык,— що фермер Оверченко рабочих не мае, а все зробляе своею семьею.

— Но ведь на прополку к вам ходят рабочие из дома инвалидов?

— Так то же не наем, а взаимная выручка,— ухмыляется.

— А без выручки смогли бы обойтись?

— Э, тут треба потолкувати!

Иван, заметив, что батька настроился на длинный разговор, направляется к трактору. Через минуту его трактор, поднимая легкое пыльное облачко, уходит вдаль по картофельному морю, туда, где виднеются две одинокие фигуры пропольщиц.

— Это хозяйка с невесткой, женой Ивана, стараются,— пояснил Оверченко, перехватив мой взгляд.— Видал, какая картопля? Стеной стоит. Не на каждом огороде такую найдешь. Вон давеча Иван начал окучивать; смотрю, где картоплю заваливает, а где и совсем подрезает ее. Стой, говорю! Давай рыхлить сначала... А раньше, бывало, кому это нужно? Агроному? Да разве он усмотрит за всем? Ну подваливает чуток картоплю — подумаешь! Главное к установленному сроку провести окучивание, план, значит, выполнить, отчитаться. А коли отчитался, у тебя и все козыри на руках. Да...

Он снова достал кисет, завернул цигарку толщиной в добрый палец и затянулся, собираясь с мыслями.

— Поздно, слишком поздно закрепили землю за звеньями,— продолжал он озабоченно.— С весны! Перед севом... Что тут успеешь сделать? Одну весновспашку, да и только. А весновспашка для полыни одно и то же, что поливка водой; она, как на опаре, поднимается после этой весновспашки. Где же за ней картопле угнаться? А нешто прополют такую громадину две наших хозяйки? А помощь, откуда она? Каждый колхозник теперь на учете. А я бы,— он доверительно взял меня за рукав,— всю эту землю закрепил за звеньями с августа — сентября. Вот тогда бы дело пошло! Я бы на свой участок вывез с осени навоз, да вспахал бы его весь под зябь, да поглубже, сантиметров на двадцать пять. Всю полынь завалил бы! А весной не стал бы землю оборачивать, ни-ни! А пропахал бы ее по методу Мальцева, весь сорняк выкорчевал бы из глуби, да еще проборонoвал, да продисковал — порезал бы все остатки. А посадил бы картоплю, она через неделю взошла бы, а сорняку и через месяц не под-

няться. Теперь и полоть бы нечего было. Землю надо закреплять года на два, на три, чтобы приноровиться к ней. Вот так-то...

А еще знаете, что у нас ненормально? — наседал он, весело поблескивая своими светло-синими глазами.— Оплата, то есть начисление трудодней. Сами подумайте, вот взять у меня гектар картошки и у Исакова. А сколько трудодней тратится на моем гектаре и сколько на гектаре у Исакова? Ведь за этим никто не следит и не считает, сколько будет стоить центнер картошки у меня и сколько у Исакова, никого это не интересует. А почему? Да потому, что у нас по-прежнему начисляют трудодни за гектар пахоты или там культивации. А надо платить трудодни за центнер картошки. Вот это будет совсем иное дело. Культивируй сколько хочешь, только знай, что не за культивацию получишь, а за урожай. Тут уж, будьте уверены, я из земли да из техники все выжму. И будет она у меня в сохранности: амортизация тоже за счет урожая. Надо, чтобы каждый мужик считал свои заработки и убытки. А как же иначе?

Он смотрит на меня из-под своих песочных бровей и хитровато щурится:

— А то что мы имеем? Тракторист пашет — получает за гектар, сеет — за гектар, культивирует — за гектар. А что уродится — не его дело. Вот я делаю дополнительную культивацию. Ведь за нее и трудодни получу тоже дополнительные. Положим, тут эта культивация необходима.

— Допустим,— соглашаюсь я.

— А откуда вы знаете? Может, я культивирую для лишнего заработка! А? За нос людей вожу...— И он, довольный тем, что я попал впросак, смеется.

— Ну, меня, допустим, вы проведете. Но есть же у вас бригадир-полевод, который отвечает за это, смотрит, контролирует...

Оверченко вдруг становится серьезным и возражает хмуро:

— Смотрит... Контролирует... Да нешто на земле за всем усмотришь? Бригадир-полевод где-то на лугах сено косит, а моя жинка вон картоплю полет, какой уж тут догляд! Нет, на контроле в нашем деле не уедешь. Тут единой меркой не обойдешься: один участок требует одну культивацию, другой — две, а то и три. Не в контроле суть... А в том, что к каждому участку человек должен

быть приставлен. И пусть приноравливается: земля-то живая...

Далее говорит он быстро, убежденно, как давно обдуманное, взвешенное, в чем уже нельзя сомневаться и перечить этому нельзя:

— Да, закреплять надо землю... А то царапает ее нынче Иван, завтра — Федор, послезавтра — Сидор... А травой зарастет, и концов не найдешь. Трактор вон закрепляют за трактористом под личную ответственность. Комбайны — тоже. А земля — живой организм! Она же кормит нас, и за каждый ее участок тоже отвечать надо... Лично... Закреплять землю надо,— он озабоченно вздохнул.— Только тут надо много считать. С нашего председателя счет не спросишь: он человек трошки малограмотный. Зато агроном образованный,— повысил он голос,— а еще бухгалтер, а теперь и парторг — парень грамотный...

Я смотрю на этого небольшого, такого незаметного с виду человека и поражаюсь глубине и точности его мыслей, его рачительному подходу к земле. Вместе с Оверченко погружаюсь в подсчеты: мне хочется прикинуть, взвесить выгоды, уточнить детали.

— Ну а как же бригады, распадутся? — интересуюсь я.

— Может быть. А если и останутся, так бригадир будет полеводством заниматься, звеньевым помогать, а не бегать по полям и расставлять баб на прополку.

— А внутри звена каким же образом распределять трудодни?

— А так же, по нормам выработки. Только звено будет знать свой предел и стараться не побольше трудодней выжать, а повыше урожай вырастить. Вот и заработок выше будет.

К нашему кусту подкатил крытый «газик», из которого вылез председатель колхоза Ватутин. Он подошел к кукурузному полю и позвал Оверченко.

— Я думаю этот участок скосить на подкормку,— сказал председатель.

— Э, нет! — возразил Оверченко.— Так не пойдет.

— То есть как не пойдет? Ты что, запрещаешь?

— А как же! Я давал обязательство снять отсюда триста центнеров с гектара. Эдак ты мое обязательство под корень срежешь тоже на подкормку. Вы приезжайте на этот участок через три недели: какая тут есть кукуру-

за и какая будет... Как посмотрите, тогда и скажете, что Клим Фоме не родня.

Ватутин засмеялся:

— Ну как же мне быть? Может, у соседей занять кукурузу на подкормку?

— Срезайте... Только засчитаете урожай таким же, какой уродится на втором участке. Сейчас кукуруза на обоих участках одинаковая, выбирайте любой.

— Хорошо,— согласился председатель.— Засчитаем по-твоему.

Он поворошил рукой шелковистые листья кукурузы и спросил с легкой усмешкой:

— Все подсчитываешь?

— А как же? Без этого теперь нельзя,— ответил Оверченко.

— Ну, ну,— многозначительно произнес председатель, сел в машину, и «газик» рванулся, оставляя чуть заметный след пыли на травянистой дороге.

Оверченко долго провожал машину сосредоточенным взглядом, и мне показалось, что он погрузился в новые расчеты, вызванные неожиданным приездом председателя.

С той поры много воды утекло, но идея закрепления земли за звеньями не выветрилась, а еще более окрепла, глубже пустила корни. Однако каждый большой и смелый почин требует смелого ума и крепких хозяйских рук, тепла и заботы; как из малого семени в теплые летние дни вымахивают саженные побеги зеленей, так и добрые помыслы ждут своей благодатной и бурной поры роста.

Но снегом равнодушия занесло, к сожалению, добрые замыслы и начинания Никиты Оверченко. Распалось его известное звено, и сам он пошел работать на свиноферму.

А вот в соседней Амурской области еще с осени 1959 года создано было 1480 звеньев, за которыми закреплена почти вся земля под наиболее трудоемкие культуры: кукурузу, картофель, сою и частично даже под пшеницу. И если сопоставить урожайность хотя бы сои, то получится удивительная картина: в Хабаровском крае не смогли засеять сою в положенные сроки, а в Амурской области отсеялись вовремя. Хабаровцы сняли крайне низкие урожаи сои — по два-три центнера с гектара, а большинство совхозов и колхозов Амурской области — по восемь — двенадцать центнеров. В чем же дело? Ведь

климатические условия в этих областях одинаковые. У амурцев была такая же трудная весна, как у хабаровцев, и тем не менее они отсеялись вовремя и урожай получили хороший. В чем причина?

— Если бы не закрепление земли за звеньями, мы бы этой весной не посеяли в сроки сою,— сказал нам первый секретарь Амурского обкома партии Петр Иванович Морозов.— А осенью и снимать нечего было бы. Нас спасли звенья.

С этого и завязался разговор в кабинете первого секретаря.

— Поезжайте по нашим селам, посмотрите сами, какая разница между урожаем на закрепленной земле и на общей, так сказать. Загляните в совхоз «Пограничный»; там в старых отделениях земля закреплена, а в двух новых, только что присоединенных, общая. И вот совхоз один, руководители одни и те же, техника та же, а урожай в два-три раза выше на закрепленной земле. Вот вам и суть звеньевой системы.

— Что же вас натолкнуло на мысль закрепить землю за звеньями?

— Жизнь подсказала.— Он как-то весело смерил меня ироническим взглядом.— Вы знаете, какая у нас посевная площадь? Не один миллион гектаров! И почти половина занята под сою. Она трудов требует. А с работниками-то у нас не густо... Впрочем, идея закрепления земли не нова. Еще на одном из Пленумов ЦК партии говорилось о том, что механизаторы, подобные Гиталову и Мануковскому, могут чудеса творить на закрепленной земле... Мы тогда же решили подсчитать, сколько механизаторов работает в таких наилучших условиях в нашей области. Оказалось, единицы. Вот отсюда все и пошло...

Давайте посмотрим на дело с иной стороны, с теоретической, так сказать,— он сжал сухие сильные пальцы в кулак и слегка пристукивал им по столу.— Возьмите любую отрасль колхозного или совхозного производства: птицеводство, свиноводство. Или молочнотоварную ферму... Кто такие эти птичницы, свинари, телятницы, доярки? Да, в сущности, это те же звеньевые, работающие на конкретном, закрепленном за ними участке. Вот хотя бы доярка! Ведь у нее свои коровы. Она их и поит, и кормит, и доит. И не передает в чужие руки. Не передоверяет. Это ее забота, и заработок, и честь, и слава. Ведь мы не считаем, сколько она нарубит соломы, перетаскает корма, уберет навоза. Важен итог ее работы.

И так почти в любом деле, даже в кузнице, на пасеке, в саду... И только в одной, самой крупной отрасли производства царит безликость, а отсюда и безответственность — в землепользовании. Представьте себе на минуту такую несуразную вещь: на заводе, в цехе, нет закрепленных станков; рабочий встает ныне за один станок, завтра — за другой, послезавтра — за третий... Можете представить себе?

— Нет, не могу,— ответил я.

— И никто не может. Мы знаем, что каждый мастер по-своему организует и рабочее место и свой труд. И работают они по-разному, и заработок у них неодинаковый. Все это в порядке вещей. Так почему же на земле забыли мы обо всем этом? Земля-то ведь не проще станка. И потом, послушайте! Колхозник хочет, чтобы труд его был заметен так же, как труд рабочего. Он хочет, чтобы видно было, сколько дал он пшеницы, сои, кукурузы, а не просто вспахал столько-то гектаров мягкой пахоты...

Морозов встал и быстро заходил по кабинету; он был худощав, подтянут, по-юношески резок в движениях, и только глуховатый голос и густая седина выдавали его возраст.

— Вырастить высокий урожай — ведь это же искусство! — Он внезапно останавливался передо мной и начинал оживленно жестикулировать.— Сколько радости это доставляет хлеборобу! Так ты назови его, покажи людям. А мы что называем? В колхозе уродилось на гектаре столько-то центнеров... Или столько-то сжал тракторист такой-то. Рекорд! А что означает этот рекорд? Порой колоссальные убытки... Он на третьей скорости прет, как на пожар, и половину зерна в земле оставляет. А газетчики шумят: рекорды! А вы попробуйте заставить наших звеньевых на третьей скорости жать свои участки сои. Не тут-то было! Они вылизывают их. Потому что борются и получают за урожай! И здесь видно все как на ладони: кто сколько снимает центнеров с гектара. Вот он, венец всех трудов!

Петр Иванович подошел к столу, отыскал какую-то сводку.

— Вот любопытный документ. В Волковском совхозе, в седьмом отделении, вся земля закреплена за звеньевыми. И получается, что девятнадцать человек обрабатывают две тысячи девятьсот двадцать семь гектаров. По плану они должны произвести продукции на два с поло-

виной миллиона рублей, то есть по сто тридцать две тысячи рублей на каждого человека. Это примерно раз в пять больше, чем в среднем по совхозу. А звено Дугинцева, всего из двух человек, обязалось сдать со своего участка на один миллион рублей продукции. И это обязательство они перевыполняют. Вот что такое закрепление земли за звеньями. Этот опыт принесет нам колоссальные выгоды, если мы не заглушим его на корню. Поезжайте в районы, посмотрите его в действии...

На Благовещенской переправе через реку Зею работают два парома; две вместительные баржи, сплошь заставленные грузовиками, автобусами, повозками с сеном, коровами и порой даже гуртами овец, снуют от берега к берегу по темновато-бурой широченной стремнине. Толкают эти баржи черные маленькие катеришки, деловито похрапывающие, как степные лошадки; они не буксируют баржи, а именно толкают с кормы, притянутые канатами, словно впряженные в оглобли; ходят они быстро и как-то весело, с лихостью пристают к берегам. И тем не менее на каждом берегу выстраиваются длиннейшие очереди машин и повозок. Мы едем в Волковский совхоз с главным агрономом его, Василием Федоровичем Кузиным. Это молодой человек лет тридцати. Недавно он окончил с отличием институт, но еще до института работал агрономом. Держится он подчеркнуто официально.

Оказавшись в этом длительном машинном заторе, мы разговорились. Разумеется, речь шла о закреплении земли за звеньями.

— Совхоз у нас молодой, организован только в этом году. И конечно, хлопот много было: отделения создавали, людей комплектовали, технику... Словом, начало. Но все-таки в одном отделении успели всю землю закрепить за звеньями. И что же? Девятнадцать человек обрабатывают три тысячи гектаров! Нет, каково? Ведь раньше там целый колхоз был и село большое. Сколько на той земле колхозников работало? Сотни полторы, а то и две. А у нас всего девятнадцать человек — шесть звеньев.

Он достал из кармана записную книжку, полистал ее.

— В прошлом году уборка зерновых в колхозе на землях седьмого отделения длилась без малого два месяца, а в этом году в звеньях убрали все за пятнадцать дней, и урожай выше. Сейчас вот косят сою и намолачивают по двенадцать-тринадцать центнеров с гектара, тог-

да как в прошлом, более урожайном, году на той земле уродилось всего шесть-семь центнеров с гектара.

— По какому же принципу формировали вы звенья?

— Принцип такой: рабочие сами подбирают себе напарников. Таким образом создаются группы по три-четыре человека. Потом, уже совместно с директором, мы распределяем землю. Стараешься делать по согласию, чтобы ни у кого не было обиды, а где жребий приходится бросать. А потом по количеству земли, рабочих закрепляем и технику.

— И технику закрепляете по звеньям?

— Обязательно. На полной ответственности звена и амортизация, в счет урожая.

— А как же бригада?

— Структура ее изменилась. Вот, например, бывший бригадир Павел Чалкин взял себе звено, трое их.

— Ну а заработок в звене как распределяется?

— Начисляем всем одинаково. Они сами так решили. Да ведь в каждом звене работают люди одинаковой квалификации — механизаторы — мастера на все руки. Состав звена у нас колеблется от двух до четырех человек. За каждым звеном закрепляем по пятьсот — семьсот гектаров, из расчета полтораста гектаров на человека.

— Это зерновых?

— Наполовину зерновых, наполовину сои.

— А не много ли?

— Вообще-то многовато. Мы рассчитывали, что в звене Дугинцева будет три человека, а фактически работают два. И обрабатывают почти шестьсот гектаров, из них половина занята соей. На подсобных работах приходится им помогать.

— А на пахоте, на севе и жатве неужто сами справляются?

— В основном да. Ну а где туго — помогают соседние звенья. У нас взаимопомощь предусмотрена договорами. Например, после сева пшеницы и перед севом сои Дугинцев помогал звену Головлева на весновспашке. Была взаимопомощь и на уборке пшеницы и ячменя. Вот уже когда соя созревает, тут каждый на своем поле — работы по горло. И знаете, каждый старается не только как можно больший урожай сдать, но и понизить себестоимость центнера сои. И тут уж они порой даже от вывозки зерна отказываются. Выделишь им грузовик, а они — не надо нам! Сами справимся. И справляются, ссыпают в тележку, потом вывозят в амбары. Почему же они

отказываются от закрепления машин? Да потому, что каждая машина удорожает центнер зерна и работает как бы за их счет. Вот какая тонкая штука получается. О, они умеют считать. Точно так же на севе — и от заправщиков отказываются. Дорого! Сами справляются.

Он заметно воодушевляется; придвигается ко мне, берет за рукав:

— И знаете, как ревниво следят друг за дружкой! Приедешь к Дугинцеву, он: «Ну, как там у Чалкина? Сколько намолачивает?» Или увидишь Рудакова, а он тебя сразу: «Был у Дугинцева? Ну, как всходы? Лучше моих?» Вот, брат, где все на виду. А то ведь что у нас раньше было? Один тракторист столько-то вспахал. Второй столько-то засеял. Рекорды! Шумим. А толк? Что уродится на вспаханном? Не интересовались и не знали: то один пашет, то другой. Да и вообще без закрепления земли трудно определить, кто как работает в колхозе или совхозе. В самом деле, по каким показателям? По трудодням? По зарплате? А какая польза от этих трудодней или зарплаты, попробуй определи? А теперь все ясно: кто сколько вырастил на гектаре, кто сколько дал зерна в общие закрома.

— Скажите, а если звено перевыполняет план, то получает дополнительную оплату?

— А как же! Конечно! Да ведь у нас каждое звено заключает с директором договор, по которому обязуется обработать столько-то земли и сдать столько-то продукции.

— Договор — это отлично! — восклицаю я.— Значит, каждый звеньевой знает заранее, сколько продукции он должен сдать и что заработает?

— Тыщи по две зарабатывают в месяц. Да еще дополнительная оплата! По договору мы передаем звену необходимую технику: тракторы, комбайны, сеялки, бороны, плуги и прочее. И технологические карты составляем: что должно сделать звено и в какие сроки. А вот приедем в совхоз, я покажу вам эти договоры.

От Зейской переправы идет отличное асфальтированное шоссе. Наш грузовик быстро глотает километры, и минут через пятнадцать мы въезжаем в Волково. Сумерки. Останавливаемся возле большой деревянной избы, крытой рифленым цинком.

— Контору еще не успели построить,— говорит Кузин.— Пользуемся пока колхозным добром.

По шатким скрипучим половицам проходим в его ка-

бинет. Голо. Стоит какой-то почерневший от времени стол, в углу шкаф и на нем сноп сои. Кузин показывает мне несколько договоров, подписанных директором, главным агрономом и звеньевым. Здесь оговорено все, о чем рассказывал по дороге Кузин. А он уже объяснял мне порядок дополнительной оплаты.

— Наша очередная задача — перейти на оплату только за центнер продукции. В Райчихинском совхозе уже перешли на такую оплату. Ее называют аккордной: в течение года рабочие получают как бы ежемесячный аванс, а окончательный расчет — после сдачи урожая. Вот тогда нам и учетчики не понадобятся и отчетность станет проще. А то ведь мы все пишем, пишем: отчитываемся и по видам работ, и по срокам, и по мягкой пахоте на один условный трактор, и по расходу горючего, и по расходу масел. Сводки, сводки и сводки. Исписываем тонны бумаги. Убиваем на это свое время, вместо того чтобы работать в поле, в звеньях. Закрепление земли должно избавить нас от этой обузы.

Утром я выехал в седьмое отделение, в хутор Удобный. Лежит он, точно в сказке, за семью перевалами. Езда по этим пологим степным холмам, да еще в тихое, солнечное осеннее утро — великое удовольствие. С горбины каждого увала во все стороны видна степь, вся буровато-желтая от зреющей сои, от жухлой, поникшей травы; струится сквозь легкую синеватую испарину земли этот мягкий солнечный свет, и кажется издали, что это вовсе не подкрашенный солнцем парок, а тихо падающая на землю золотистая пыльца. И не видно ни дымных заводских труб, ни сел, ни одиноких путников. Только дорога, бесконечная, как степь, дорога, и кажется, что по этой дороге ты едешь не час и не два, а целую жизнь...

Хутор Удобный появляется как-то сразу из-за холма: это небольшая, хорошо отстроенная деревня, дворов на полтораста. Раньше здесь был колхоз «Дружба», а теперь отделение совхоза. Управляющего отделением Михаила Федотовича Печенкина я разыскал на поле звена Головлева. Рабочие готовили оба комбайна к работе: позвякивали ключами, осматривали сцепы, шестерни, перекидывались шутками, посмеивались. Было десять утра.

— Отчего же не начинают косить? — спросил я Печенкина.

— Рано еще, соя влажновата от росы. Плохо вымо-

лачивается. Это прежде у нас начинали жать с утра пораньше. А теперь звеньевых не заставишь: урожай теряется. Зато они косят всю ночь, до петухов.

Печенкин раньше работал здесь же парторгом колхоза и поэтому охотно сравнивает новую систему с прежней. Бывший армейский политработник, он уже лет семь на земле, пришел в колхоз сразу после демобилизации. Землю любит и говорит с гордостью:

— Зовет земля-то нашего брата. Кто на ней вырос, тот всю жизнь к ней и стремится. Я бы и в городе мог остаться, да тянет сюда...

Одет он так же, как и все рабочие: кирзовые сапоги, пиджачок какого-то неопределенного цвета, не то черный, не то серый, выцветшая от солнца и дождей кепочка... Лицо открытое, доверчивое. Крепкий, цвета спелой сои, загар.

Мы садимся в копну соевой соломы; рядом сочно хрупает вороной мерин, запряженный в двуколку.

— Мой транспорт. Устаю, брат, в седле. Вчера так намотался, что сегодня еле встал.

Говорили о закреплении земли.

— Очень выгодное дело. И рабочие более заинтересованы в урожае, и нам легче. Ведь раньше на одну выписку нарядов да на расстановку рабочих чуть не полдня уходило. А сейчас и без нарядов все знают свои места. А насколько заметнее стали люди, способности их! — воодушевляется Печенкин.— Возьмите хоть Дугинцева. Он уже третий год работает по-новому. Чего он только не придумывает! Какая находчивость, изобретательность! На обычном комбайне стал работать один, без копнильщика. Изготовил две тяги, первой сбрасывает солому, второй закрывает копнитель. Просто и умно. А главное — один человек заменил двух. Для высева удобрений специальную сеялку смастерил: в днище поставил шнек, а у выходного отверстия — пропеллер. И вот пропеллер крутится вместе со шнеком и разбрасывает удобрения. Удобно, выгодно! А сеялку эту у нас прямо нарасхват берут. Рабочие окрестили ее вертолетом. Дайте, мол, на вертолете полетать. Да тут за что ни возьмись, все выдумка. И такая картина не только в звене Дугинцева. От него не отстают и Павел Чалкин и Рудаков. Или вот Головлев. Сказать откровенно, с дисциплиной у этого звеньевого не все в порядке. Да и выпивает. Но землю свою знает так, что просто непостижимо. Иные уже сеют, а он все ждет. «Чего ты ждешь?» — «Успею, успею». Больше

из него ни слова не вытянешь. Зато уж как начнет сеять — по трое суток из кабины трактора не вылезает. И смотришь, всходы — загляденье. Прямо как колдун какой! И урожай у него хороший. Великое дело — закрепление земли, что там говорить.

Мы садимся в тележку и едем к Дугинцеву, едем прямо по полю, по жнивью, по поднятой зяби. Качалка наша то кренится вправо-влево, жалобно поскрипывая, то трясется, как в ознобе. Но мы каким-то чудом не вываливаемся.

— Раньше в колхозе на этой земле больше людей работало, куда же вы лишних людей теперь ставите?

— Э, дорогой мой, дело найдется! У нас лишних людей не бывает.— Он усмехнулся.— Нам безработица не страшна. Одна ферма есть, вторую откроем, а там и третью. И так во всем. У нас нет предела.

— А звеньевым-то не туговато? Не жалуются?

— Да как вам сказать? Временами бывает туговато. Звенья-то маленькие, по три человека, ну и приходится им в посевную да в уборочную по шестнадцать-семнадцать часов работать. Конечно, трудно. Мы решили укрупнить звенья до четырех-пяти человек, и земли, конечно, прибавим. Начнется пахота — два человека пашут на тракторах, а трое протравливают зерно, затаривают его, подсортировывают; на севе и на уборочной можно даже смены организовать, а кто свободен, будет заниматься подвозкой, заправкой... Словом, всем найдется дело, и перегрузки не будет. И от простоев техники избавимся...

К Дугинцеву мы подъехали в одиннадцатом часу. Осеннее солнце поднялось уже высоко и заметно припекало спину. Но комбайны Дугинцева и его напарника Теплоухова все еще стояли возле своего массива.

— Ну как, Антон Семенович? — спросил, здороваясь, Печенкин.

— Да еще влажновата. Подождать малость надо.

— Знакомьтесь. Наш миллионер,— представил Печенкин Дугинцева.

Это был невысокий, но крепкий человек средних лет с лицом хмурым, и показался на первый взгляд неприветливым. Он подозрительно покосился на мою записную книжку. Я вспомнил, что мне еще Кузин говорил, что Дугинцеву буквально не дают работать корреспонденты; останавливают комбайн и беседуют с ним по часу, по два.

— Корреспондент боится, как бы ты не сбежал от него на комбайн,— шутит Печенкин.

Дугинцев смеется, и лицо его мгновенно преображается. Невозможно позабыть его улыбку, в ней что-то задорное, лукавое и очень открытое. Так могут улыбаться только дети.

Мы осматриваем его сою: чистые ровные рядки, обилие бобиков.

...И бескрайний до горизонта массив.

— По скольку намолачиваете? — спрашиваю я Дугинцева.

— И по тринадцать центнеров, и по двенадцать. Думаю, вкруговую не менее двенадцати будет.

— Это сколько же вы дохода дадите вдвоем с Теплоуховым?

— Да миллион рублей дадим.

Он говорит об этом просто, как о факте вполне обычного порядка. Миллион рублей! А сдал он продукции еще больше — на один миллион семнадцать тысяч рублей. Не каждый колхоз дает такие доходы.

Я спрашиваю Печенкина:

— А раньше здесь какие урожаи сои снимали?

— Да выше семи центнеров не было.

— Год сегодня трудный,— замечает Дугинцев и как бы оправдывается.— Вот и не смогли выше двенадцати центнеров вырастить.

— Не много земли-то вам дали на двоих?

— Многовато,— соглашается Дугинцев.— Приходилось на помощь звать.

— А какова, по-вашему, норма?

— Гектаров сто — полтораста на человека. И потом нам нужна универсальная машина — самоходное шасси с целым набором навесных орудий, чтобы я мог на ней и сеять, и жать, и пахать, и возить. Давно нам ее обещают, да и только...

Соя наконец подсохла. Дугинцев поворошил ее рукой и сказал:

— Ну, пора.

Я долго еще ездил по полям этого необычного отделения совхоза; видел и ладного, широкоплечего Павла Чалкина, в своем черном комбинезоне смахивающего на танкиста, и невысокого, тихого Рудакова, похожего на подростка, и многих, многих других. И каждый из них вел свой комбайн по своему полю, и каждый ревниво следил и за своей, и за соседской работой.

— Ну, как там у Чалкина? — спрашивали.— Как у Дугинцева? Сколько намолачивает Рудаков?..

Это была хорошая трудовая ревность, рождавшая не чувство зависти, а большую гордость и за себя и за товарища, идущего с тобой рука об руку.

Я проехал не один район Амурской области, побывал во многих колхозах и совхозах и всюду находил большую выгоду от закрепления земли.

— Я даже ночью по полевой дороге могу узнать, закрепленная земля или нет,— сказал мне в шутку Иван Ульянович Никитюк, заведующий сельхозотделом обкома.

— Каким образом?

— По совам. Если сов много вдоль дороги, то, значит, земля незакрепленная.

Иван Ульянович был моим долгим попутчиком в поездке по области. А ездить нам приходилось и ночью и днем. Однажды ночью на полевой дороге в Константиновском районе мы встретили множество сов; они сидели возле колеи на столбиках, на бугорках, на комьях земли. Взлетали они нехотя, лениво хлопали крыльями и в свете фар казались фантастическими белыми хлопьями.

— Останови-ка! — приказал Никитюк шоферу.

— Так я и знал,— сказал, нагибаясь, Никитюк и выругался.— Вот стервецы! Щели не могут позатыкать!

На дороге виднелись желтые горошины сои. Иван Ульянович погрозил кулаком в сторону далеких комбайнов, видных по дрожащим пучкам света. И, уже садясь в машину, убежденно произнес:

— Общую жнут сою-то. Возят и сорят. Небось звеньевые сами проверили бы. Те аккуратнее.

— Как же вы догадались, что сою теряют?

— Так по совам,— смеется Никитюк.— Это, брат, отличные инспектора. За соей на дорогу бегут мыши. А совы их тут и подстерегают. В жнивье-то трудно взять мышь. А здесь, на дороге, она как на ладошке. Э, брат, совы молодцы.

Однажды, весело поглядывая на меня своими прозрачными голубыми глазами, смешливо щурясь, точно задавая мне хитрую задачу, он сказал:

— А вы знаете, что звенья помогут нам изменить начисто сельскую жизнь?

— Каким образом?

— Попробуйте сами догадаться. Я свожу вас в одно место. Здесь недалеко.— И, обернувшись к шоферу, коротко приказал: — В совхоз «Пограничный».

От Константиновки, районного центра, мы ехали добрый час по прямой, как струна, дороге. Совхозный поселок открылся нам издали: на высоком и крутом взгорье, над речной запрудой, над утиными разводьями, сквозь желтые тополиные заслоны, сквозь бурую кисею облетающих ильмов пробивались кипенно-белые контуры аккуратных коттеджей, широкие квадраты окон высоченной школы, тяжелый и массивный фронтон поселкового клуба. И крыши, крыши — то небольшие, пестрые и яркие, как бабьи платки, то длинные, на фермах и мастерских, из серого шифера, как застывшие речные плесы.

— Ну, каково? — спрашивает меня Никитюк, довольно посмеиваясь, чувствуя, что меня захватило.

— Отличный поселок! — говорю я радостно.— Просто дачный городок!

— То-то и оно,— многозначительно соглашается Иван Ульянович.

В высоком двухэтажном доме, в кабинете директора совхоза Бесчастного мы просматривали технологические карты, составленные агрономом Вишневским.

— Руслан Александрович, дайте-ка нам сводки по второму отделению и по четвертой бригаде,— попросил Никитюк агронома.— Сравнить надо.

Вот смотрите, какая картина получается,— обращается ко мне Никитюк.— В четвертой бригаде земля закреплена за звеньями, а во втором отделении нет. И там и тут посеяно примерно одинаково пшеницы — по две тысячи семьсот гектаров. Но во втором отделении сто шестьдесят семь рабочих, а на закрепленной земле в четвертой бригаде всего лишь двадцать семь человек. А пшеницы эти двадцать семь человек дали почти вдвое больше — около тридцати тысяч центнеров. Запомнили? — торжествующе восклицал Никитюк.— А теперь проедем во второе отделение.

Мы были в этом далеком отделении; обычное село — деревянные избы, вполне приличные, крепкие, обычная уличная грязь, пустынность... Село ничем не хуже других колхозных сел; но после асфальтированных улиц центральной усадьбы, после чистеньких двухквартирных домиков в палисадниках, после уличных аллей, высоченной школы, огромного строящегося Дворца культуры,—

после всего этого вид нашего обычного добротно-грязного села вызывает грустное чувство.

— Теперь вы поняли, от чего помогают нам избавиться звенья? — спрашивает меня Никитюк и сам поясняет: — Вот от этих унылых сел, от дедовской грязи и разобщенности. В совхозе «Пограничный» мы думаем переселить людей на центральную усадьбу. Хватит! Люди должны жить в агрогородах.

— А если они не захотят в агрогород?

— Ну, села перестраивать будем.

— Но при чем же тут закрепление земли и звенья?

— Как же при чем? — живо отозвался Никитюк.— Нельзя же строить агрогород или хорошее, новое село, если две сотни человек обрабатывают одну тысячу гектаров. Вы же не будете возить двести человек за тридцать верст киселя хлебать. Эдак они и на штаны себе не заработают. Другое дело, закрепление земли высвободит нам тысячи и тысячи свободных рук. И там, где теперь стоит большое село, будет легкий полевой стан в два-три домика. А люди заживут в настоящих благоустроенных поселках. Отлично, брат, люди заживут!

— Иван Ульянович! — обратился я к нему.— А ведь я нечто подобное слышал еще два года назад.

— От кого?

— От рядового колхозника Никиты Оверченко. У него тоже путь к изобилию лежит через расчетливость.

— Расчетливость! Так это у него в крови. По себе сужу: я сам, брат, такой же мужик. Так расскажите-ка про него,— подался ко мне заинтересованно Никитюк.

Я рассказывал долго, всю земляную теорию Оверченко изложил.

— Это все верно, и почти все по-нашему,— одобрительно заметил Никитюк.— Ну и что же у него получилось? Какие успехи?

— Не поддержали его. Звено распалось, и он ушел на ферму.

— Жалко,— с огорчением сказал Никитюк.— Но это у него не исчезнет. Он опять вернется к земле, как только условия создадут. Это, знаете, как озимые под снегом: снегом привалило их, и они вроде замирают. Но только снег сойдет и солнышко припечет, как они сразу взойдут, потянутся кверху. Корни, брат, остаются в земле. Вот в чем дело-то.

1960 г.

В СОЛДАТОВЕ У ЛОЗОВОГО

Вновь я посетил тот уголок земли...
А. С. Пушкин

Как-то январским вечером ездили мы с Николаем Ивановичем Лозовым в Катон-Карагай. Шоссейную дорогу часто переползали острые снеговые змейки. В свете фар они казались грязновато-серыми. По Нарымской долине гулял ветер.

Но когда мы пересекли неширокую реку Катон, подъехали к селу, меня поразила мертвая тишина. Лиственницы, ели, тополя стояли недвижными. Отсюда, с просторной сельской площади, горы казались необыкновенно высокими, и были они рядом. Странно! Мы отдалились от них значительно, пересекли реку, спустились с более высокого берега в низину, вылезли из машины, и вот тебе чудо — горы стали ближе к нам, выше, грандиознее. И эта сказочная недвижность дерев, и влажный ропот незамерзающей реки, и близость далеких гор, заросших черной щетиной лиственниц и елей по самую грудь, а выше — заснеженных, мягких, ослепительно белых под сиянием огромной азиатской луны,— все это казалось нереальным и вызывало в памяти тысячи раз обсказанную и никем не виденную страну Беловодье.

Я не знаю имени того землепроходца, который сотню лет назад вбил первый кол на этой дикой безымянной земле, но зато я живо представил себе, как долго блуждал он по этим лощинам и взъемам, пока не остановился, не осел навеки, положив начало новому селу. И вы можете исколесить всю окрестность, но лучшего места для села не выберете.

Я дивился не раз и тому, как удачно посажено село Солдатово. На одной и той же речке Нарыме, не более чем в четырех километрах друг от друга, стоят село Солдатово и бывший Кордон, или, как его называют окрестные мужики, Околоток. В Солдатове тишь да благодать, как говорится, а на Кордоне днем и ночью дуют ветры, как в трубе.

— Отчего эдакая несуразность? — спросил я однажды Феоктиста Макаровича Солдатова, старого потомка основателя села.

— А очень просто. Место для Солдатова сами мужи-

ки выбирали. Для жизни, значит. А Околоток по приказу посадили... Начальство в карте отметило.

Уходя на новые земли, русский крестьянин не просто искал святое Беловодье, край изобилия и красоты, он уносил с собой мечту хозяйствовать без помещиков, без начальства. Он сам хотел распоряжаться урожаем, плодами своего труда. Он шел на вольные земли, чтобы жить по справедливости, по закону стариков, слушая только землю, приноравливаясь к ней. И великая тяга земли рождалась мудрым законом взаимного послушания хлебороба и поля.

Ах, эта извечная, мятежно-сладостная тяга к самостоятельности да независимости. Независимость! Слово-то вроде бы и неважное, как говаривал Пушкин, да уж вещь больно хорошая. Это поразительное свойство характера русского мужика — идти хоть на край света и на свой страх и риск, брать дело по нутру да по силам, вживаться в незнакомую природу, в инородную стихию и, подлаживаясь к ней, подчинять ее не силой, а сноровкой да сметливостью — приобщило к нашему государству восьмую часть земного шара под названием Сибирь. Это обаяние деятельной русской натуры я испытал в полной мере в Солдатове, особенно в свой первый наезд.

Помню, как весной шестидесятого года в Усть-Каменогорском обкоме мне не советовали ехать к Лозовому: мол, колхоз нетипичный, председатель трудный, бригадиров разогнал...

— Как же он руководит колхозниками?

— В основном по радио.

— И живут?

— Живут неплохо...

Я выехал в Солдатово в весенний ветреный денек на обкомовской «Волге». Дорога дальняя — почти триста километров по горным предплечиям, вдоль Иртыша и Бухтармы, с морской переправой, с объездами луговых заливов и дорожных колдобин — словом, целый день езды.

Чудная это пора для предгорий Алтая! После весенних затяжных дождей горячее солнце бурно гонит густую шелковистую траву на альпийских лугах, все еще свежую, светлую, какую-то трепетную, нарядную от множества синих цветов змееголовника, бледно-желтого мытника, голубеньких кукушкиных слезок и броских пунцовых марьиных кореньев, похожих издали на знаменитые узбекские тюльпаны.

По горным ущельям и распадкам, вдоль чистых и шумных речушек буйно цветет черемуха, и кажется, что взбитая рыхлая пена слетела с бурных речных перекатов на ветки да и застыла в оцепенении. Тополя, еще реденькие, светлые, с теплым красноватым оттенком, тоже толпятся вдоль речушек, словно сбежались сюда на купанье — да залюбовались собственным отражением в прозрачной бегучей воде. И только темные, не пробиваемые солнцем высокие ели одиноко и деловито карабкаются по горным склонам на самые вершины; равнодушные к теплу и к холоду, они, как упрямые альпинисты, уходят из мягких и теплых долин туда, где неприютно и холодно, где ровно и мертво блестят лежалые прошлогодние белки [1]. Чего они там ищут? Странные деревья.

На Бухтарминской переправе нас нагнал дождь. Он пришел из этой широкой долины с ветром, вволю нагулявшимся на белесых волнах молодого моря, и весело, хлестко застучал по железной палубе парома. Крутой глинистый съезд к переправе жирно залоснился и осклиз. Машины сползали к берегу юзом, западая в глубокие колдобины, натужно ревя, разбрасывая липкую грязь и щебенку. Возле припаромка они сдерживались и с величайшей осторожностью вползали на бревенчатую клетку, отдаленно напоминавшую сплющенный колодезный сруб. Повсюду слышалась громкая смачная шоферская ругань.

— Два года переправа — и съезда путного не сделают... Начальники, мать их!..

— Разве ж это припаромок? Да это ж ловушка для тигры!

— Стой, дьявол! Куда ты в воду-то прешь?

Один грузовик, шлифуя задним скатом дырявый бревенчатый настил, медленно съезжал на край.

— Скорость выруби! А то въедешь в царство водяное,— кричали шоферу с берега.

Наконец шофер заглушил мотор, машина повисла задним колесом в воздухе. Он высунул из кабины потное грязное лицо, зло крикнул на паромщика:

— Цепляй за передок! Чего рот разинул?

Шустрый маленький паромщик в брезентовом плаще огрызнулся для порядка:

— А ты поменьше указывай. Ишь разорался! — но

---

[1] Белок — нетающие снега на горных вершинах (*местн.*).

между тем ловко и проворно зацепил машину стальным тросом.

— Много их тут ездит... Все так кричать будут — оглохнешь,— проворчала в тон паромщику его подручная, сутулая женщина с красным обветренным лицом, в зеленой фуфайке и широких штанах, густо заляпанных масляной краской. Она быстро зацепила второй конец троса за машину, стоявшую на пароме, и крикнула: — Трогай!

Я наблюдал за работой паромщиков и видел, что люди они ловкие, сноровистые, но работают как бы между прочим, нехотя, будто делают всем этим проезжим одолжение. «Навязались вы на нашу голову. Проезжайте, проезжайте. Одна колгота от вас»,— читал я на их равнодушных лицах. Но разговаривают они очень охотно.

— Как вас зовут? — спросил я у паромщика в брезентовом плаще.

Он подозрительно покосился на меня:

— А зачем? — Его худое горбоносое лицо выражало скорее не настороженность, а скрытую иронию.

— Да просто так, поговорить.

— Поговорить — это можно. К примеру, вас что интересует?

К нам подошла женщина в заляпанных краской штанах, потом еще девушка в фуфайке и высокий длинношеий мужик в зеленом армейском пиджаке.

— Уж больно плохой у вас припаромок.

— Плохой,— весело согласился паромщик в брезентовом плаще.

— Наше дело маленькое,— сказал высокий с темной жилистой шеей, обнаженно торчащей из ворота.— Начальству виднее.

— Только что утром Шумилов был.

— Намедни сам Гордиенко приезжал,— наперебой сообщили женщины.

— А вы сами могли бы построить приличный припаромок?

— А чего ж мудреного? Смастерил бы,— отвечал горбоносый в плаще.— Нас тут много: в одной смене только шесть человек... Чего тут делов-то? Да ведь заказу нет.

— Зачем заказывать? — глухим басом сказал высокий.— Вон в Первомайске стоит без толку готовый береговой. Железный. Приводи и ставь его.

— Ну и привел бы.

Мои собеседники засмеялись:

— Нам-то что?

— Ведь вы же работаете на переправе! Будет хороший береговой стоять — для машин лучше. Погрузка быстрее пойдет. Рейсов сделаете больше.

— Э-э, нам за это не платят.

— А за что же вам платят?

— Ну как за что? Отчаливаем-причаливаем,— скороговоркой ответил в брезентовом плаще.

— За порядок, значит,— поддержал его высокий.

— Да какой же это порядок? На вашем припаромке машины гробятся. По два часа переправы ждут.

— За это мы не отвечаем.

— А за что же вы отвечаете?

— А ни за что,— ответила женщина с обветренным лицом, и все дружно засмеялись.

— Вот когда бы нам дали этот паром,— сказал горбоносый, хитровато щурясь,— мол, работайте, ребята. Больше машин перевезете — больше получите, и все на вашу совесть полагаем, на ответственность, значит. Оборот другой бы был.

— Отдать вам на откуп?

— Зачем на откуп? Казенным так и останется. Да вроде бы и не казенный, а наш. Мы больше заработаем и государству больше дадим. И будет все сохраннее.

— У места, значит,— кивнул своей маленькой головой высокий в пиджаке.

Весь этот разговор мне вспомнился позднее, когда я приехал к Лозовому. А тут я не придал ему особого значения.

Плохо ли, хорошо ли, но паром погрузился, отдали концы, и маленький серый буксирный катерок, глубоко западая кормой в мутные волны, потянул нас поперек Бухтарминского моря.

— Скажи ты — блоха какая, а волокет! — изумленно восклицал белобородый старик в брезентовой куртке, поглядывая на катер. Он стоял возле своего грузовика, с которого сквозь высокую дощатую обрешетку грустно глядела на морские просторы корова.

— Блоха! В нем два дизеля, каждый по сто пятьдесят сил. Почитай два танка в нем. Вот те и блоха! — вразумлял старика коренастый рыбак с вентерями в руках.

— Максим, никак этот самый катер осенью под пароходом побывал?

— Этот,— нехотя отвечал кому-то могучий бородатый парень в высоких резиновых сапогах.

— Шторм был,— пояснял торопливо рыбак,— а он и сорвался вместе с пароходом. От Бухтарминской ГЭС гнало их. Вон у той балки возле самого берега его закрутило и поволокло под пароход.

— Ишь ты! — сокрушался старик.— Колесом, поди, давануло?

С грузовика вдруг протяжно и жалобно замычала корова. Все засмеялись и наперебой заговорили со стариком:

— У нее, папаша, морская болезнь открылась. Завяжи ей глаза.

— Куда едешь, отец?

— В Солдатово еду, из города. На родину, значит. Хватит, нажился в городе.

— Отчего так?

— Старуха не переносит городской жизни. Не климат.

— Хитришь, отец,— поблескивая карими глазенками, егозил перед ним рыбак.— Поди, поголовье сохраняешь. Прижали в городе с коровенкой-то, вот и подался на вольные места... А теперь и в деревне отберут корову-то. Не работаешь и — тю-тю...

— Отстань от него,— тяжело сказал парень в резиновых сапогах.— Сам-то чего делаешь? Рыбкой промышляешь? Много вас тут шляется.

— А может, я себе отгул заработал... Законный.— Рыбак хмурит свой узкий морщинистый лоб и на всякий случай подальше отходит от этого бородатого детины.

А катер весело и гулко храпит своими дизелями и как-то дерзко, играючи, давит крутые волны; они горбятся, вскипают перед ним, словно хотят запугать, оглушить его, но, порезанные надвое, лениво расползаются и замирают. И никто не замечает, не жалеет их гибели; море рождает все новые и новые волны и гонит их от далекого, скрытого в синей дымке гористого берега Иртыша; сегодня гонит на бухтарминские отмели и валит молодой, непривычный к воде степной ковыль, рыхлит, взбаламучивает заброшенные пашни. А завтра оно ударит в предгорья Иртыша и станет выколачивать гравийные осыпи. У моря нет постоянства.

Почти до самых сумерек неотступно следовало за нами море; оно заполнило широкую речную долину, скрадывало расстояние — до самых заиртышских гор, казалось, рукой подать,— выливалось на желтые пажити, перехлестывая нашу дорогу, выбрасывая в небо сума-

тошные утиные стаи и степенные, стройные косяки лебедей.

В Березовке, возле правления колхоза Ленина, мы сделали остановку. Перед фасадом серого громоздкого здания растянулась длинная коновязь; возле нее стояло так много лошадей под седлами, словно здесь спешилась казачья сотня. Перед коновязью, на крыльце, в сенях — множество народу. Я приоткрыл дверь в правление — там в синем дымном полумраке сидело еще больше.

— Что здесь происходит, районное совещание? — спросил я.

— Зачем районное! Все свои,— ответил мне белобрысый тракторист в черной засаленной спецовке.— Бригадиры съехались, заведующие, учетчики. Разнарядка.

— Работает руководство,— сказал кто-то из толпы курильщиков.

— Целый штаб... Сразу видно — колхоз.

— Контора...

В этих репликах, в самом тоне проскальзывала ирония.

Из правления вышел широкоплечий, широкоскулый человек лет сорока пяти; сильно припадая на правую ногу, он подошел ко мне и представился:

— Китапбаев — председатель колхоза.

И, узнав, что я еду к его соседу, не скрывая раздражения, сказал:

— Все к нему едут. Почему такой порядок? У меня колхоз больше... Есть чего посмотреть.— И, убедившись, что я не останусь у него, взял с меня обещание.— Ругать меня захотите — приезжайте ко мне. За глаза ругать — плохое дело.

Вскоре после Березовки мы свернули с главной трассы и с полчаса ныряли по ухабам проселочной дороги. Стало совсем темно, фары нашей машины выхватывали то чистенький придорожный березняк, то бревенчатые мосточки через речки Таловку и Нарым, то щетинистые мелколистные талы. Наконец мы въехали в Солдатово. У въезда в село — белая дощатая арка. Накатанная дорога с гравийным покрытием; улица — бревенчатые, почерневшие от времени избы, многие из них пятистенные, с броско окрашенными ставнями, с крыльцами, с белыми аккуратными палисадничками. Подъезжаем к правлению колхоза — двери закрыты. Темень. Тишина.

Председателя мы встретили на улице. Это среднего

роста человек, плотный, очень моложавый, с темным от загара, выразительным и подвижным лицом.

— Поехали в гостиницу. Я как раз в том направлении иду, в радиоузел. Это напротив.

В гостинице, обыкновенной пятистенной избе, стояли три койки, диван, зеркальный шкаф, приемник. Занавески, коврики, белоснежные покрывала — от всего этого веяло чистотой и уютом; и после длинной утомительной езды по пыльной тряской дороге один вид хорошо прибранной комнаты невольно вызывал блаженную улыбку.

— Вот наши люксы,— шутил Лозовой, довольный тем эффектом, который произвела на нас его гостиница.— Умывайтесь и, пожалуйста, в столовую. Условие у нас такое: и ужин, и обед, и завтрак стоят двадцать пять копеек. Каждый ест сколько хочет.

— А не дешево?

— Мы посчитали: один съест побольше, другой поменьше — в общем выходит на двадцать пять копеек. А для тех, кто в поле работает, обед бесплатный.

— А не много идут к вам желающих на бесплатные хлеба?

— Мы — люди разборчивые. Нам надо понравиться. Извините, я иду разнарядку делать.

— В правление? Но ведь там нет ни души.

— В правлении мне делать нечего. Я иду на радиоузел.

— Разнарядку делать в радиоузле? Ничего не понимаю.

— Заходите, посмотрите. Впрочем, разнарядку в обычном понятии мы не делаем — нет смысла.

— То есть?

— Очень просто — наши люди знают, где им нужно работать и что делать.

Через несколько минут из репродукторов села Солдатова зазвучал знакомый голос Лозового:

— Внимание, товарищи, говорит радиоузел колхоза имени Калинина. Прослушайте разнарядку на завтрашний день и итоги работы за сегодня.

Я вошел в радиоузел. Перед микрофоном сидел Николай Иванович и держал в руке мелко исписанный листок календаря.

— Строители остаются на своих местах,— читал он,— сев продолжается, если завтра с утра не испортится погода,— в противном случае получите по радио новое задание. Как только засеете Косачевский мыс, переезжай-

те под белок и сейте там сто десять гектаров пшеницы. Возле Маймырской пасеки вспахать восемь гектаров Бухрякову после окончания своего участка. Тракторам на дисковании — после окончания переехать в долину на сев пшеницы. Всех «Беларусей» подготовить к послезавтраму для пахоты огородов. Конный транспорт идет за лесом. Автомашины, не закрепленные по агрегатам, идут на вывозку гравия.

Одиночные задания: Фетинья Яковлевна принесла заявку на три машины; машины для больницы выделим. Звену Солдатова надо подвезти пять кубометров лесу. Павел Кириллович! Завтра поедете пахать и попутно подвезите на своем тракторе Солдатову лес. Полторанину Андрею завтра отправиться с ветеринаром на прививку скота. Если вы не сможете почему-либо, то скажите утром, либо пришлите девочку.

И наконец, объявление: пора прекратить роспуск скота возле посевов — начинаются всходы.

Я стоял, слушал эту необычную разнарядку, уместившуюся на листочке численника, и в глазах моих вставали дымные, прокуренные кабинеты колхозных вожаков, громкие голоса, споры, утомленные лица бригадиров, длинные коновязи и понуро дремлющие в постоянном ожидании кони. И вспомнилась мне ироническая реплика березовского тракториста:

— Работает руководство.

— Скажите, это правда, что у вас нет заведующих фермами?

— Правда.

— И бригадиров нет?

— И бригадиров.

— И учетчиков?

— Нет.

— И охранников?

— Тоже нет.— Николай Иванович, видя мою растерянность, громко хохочет.

— Черт возьми, как же вы работаете?

— Только в одну смену — с восьми утра до шести вечера, в субботу — до двух... В выходной отдыхаем,— говорит Лозовой обстоятельно, как давно заученное, слегка улыбаясь, чувствуя, что слова его производят впечатление.— Кроме того, в месяц мы даем каждому колхознику еще четыре дня отгула — это специально на хозяй-

ственные нужды — огород посадить, дров привезти, двор подправить и на всякие прочие мелочи. Словом, на личное хозяйство. А всего в году положено сделать колхознику двести пятьдесят три выхода. Ну и, конечно, выработать норму. Впрочем, мы не неволим, работай как хочешь. В страду часов не считаем. Зато отпуск даем.

— Отпуск платный?

— Конечно. За оплату берется средний месячный заработок.

— Но кто же у вас руководит колхозниками? Кто ставит их на работу? Кто учитывает?

— Работу свою они знают. Чего ж ими руководить? — Лозовой в недоумении пожимает плечами и прикрывает на мгновение свои зеленоватые глаза, потом он словно оживает, спрашивает с иронией: — Вы имеете в виду — кто присматривает за ними?

Признаться, мне стало неловко, и я пробормотал:

— Ну, вроде этого...

— А никто. Пусть эти трактористы, доярки, плотники сами работают, сами замеряют, сами охраняют...

Мы сидели за столом в гостинице. Лозовой снял свой плащ, бросил на стол клетчатый шарф и теперь поминутно теребил красный галстук. Видимо, ему жарко от возбуждения.

— Раньше мы все думали: кого подобрать на должность бригадира либо заведующего, чтобы тянул. Ох, тяжелая эта обязанность — подбирать кадры! — Лозовой поджимает губы и прикрывает глаза, и я догадываюсь, что сейчас он скажет нечто важное.— А мы не думаем, можно ли обойтись без этой должности. Но прикинешь — оказывается, можно. Вот в чем вся история. А вы знаете, кто нас надоумил? — он вскидывает подбородок и важно смотрит на меня.— «Маяки»! Да, да, наши «маяки». Все это самостоятельные люди — механизаторы, звеньевые, доярки. Они предоставлены, так сказать, самим себе. То есть в том смысле, что они сами себе командиры, работают на конкретно закрепленном участке. За все свое в ответе. И не надо их ежедневно в разнарядку включать... Все ясно. Вот мы и решили: а что, если весь колхоз разбить на такие малые звенья и за каждым звеном закрепить свое дело? Оказывается, можно. И нет ни бригадиров, ни заведующих, ни учетчиков. Сократили мы по колхозу шестьдесят одну должность. Все с окладами. Одних охранников около сорока человек было. Только восемьдесят лошадей под седлами держали. Бы-

вало, выедут с утра руководить — кавалерия! А сколько они поедали?

— Но как же вы без учетчиков обходитесь?

— Очень просто. У нас каждый колхозник сам считает. Работают, к примеру, шесть звеньев плотников. Одно звено строит избу, другое кошару. У каждого звена — свой наряд. Построят кошару, придут скажут: «Принимай, председатель». Я иду, принимаю. Обмер делаю. Закрываю наряд, плотники получают деньги. Доярки тоже знают, сколько надаивают. Бидоны у них вымерены. Возчик отвозит бидоны на молокозавод, сдает. За молоко получают зарплату и доярки, и возчик, и скотники. Чабаны — за поголовье овец. Сколько овец в отаре — всем известно. Чего ж их считать? Так в любом деле. У нас Никита Олимныч Черепанов так говорит: «Все поголовье грамотное, к чему же учетчики?» — Лозовой прикрывает глаза, губы сводит в трубочку, изображая на лице недоумение, и, довольный, смеется.— В самом деле, иную тысячу выкраиваешь, а Васька-учетчик так ее распишет, что и концов не найдешь.

— Ну а без охранников-то не рискованно было оставаться?

Лозовой подался грудью на стол:

— При чем тут охранники! Сытый колхозник не унесет зерно в кармане. Ведь мужик не дурак; он понимает, что апельсинов нет, он и не спросит их. Он просит килограмм хлеба, денег на одежонку — то, что ему нужно. Так ты гарантируй ему нормальную оплату.

— Говорят, что не в каждом колхозе возможно гарантировать оплату.

— А зачем же тогда такая колхозная система? Кому она нужна? Если от нее сплошные убытки. Тогда нужно искать что-то новое. В конце концов, все же в наших руках: и земля и техника. Мы сами хозяева. Так давайте по-хозяйски распоряжаться своим богатством.

Лозовой встал и начал быстро ходить по комнате, наконец подошел к столу, вынул из кармана несколько записных книжек, полистал одну из них и сказал:

— Вот мы посчитали, что каждый человек съедает примерно в месяц пуд хлеба, значит, два центнера в год. В нашем колхозе тысяча триста едоков. Исходя из этого, мы засыпаем в амбар для колхозников две с половиной тысячи центнеров. И говорим: «Вот, Марья Ивановна, если ты выйдешь двести пятьдесят три раза на работу и выработаешь норму, то кроме заработанных денег ты

получишь бесплатно по два центнера хлеба на каждого своего иждивенца». А мужчина, выполнивший норму, получает один центнер бесплатно, а второй покупает за двенадцать рублей.

— А нет ли здесь уравниловки?

— Хлеб не уравниловка, а воздух. И потом, что он стоит нам, колхозу? Десять центнеров — двадцать один рубль. А этого хлеба хватит на всю семью. Так неужто колхозник должен круглый год работать только из-за этих двадцати рублей? Он же хлебороб! Дай ему хлеба-то вволю. Пусть он не думает о нем. Тогда и он завалит все хлебом. Ведь мужик у нас в колхозе, по подсчетам, производит в среднем ежедневно сто двадцать рублей[1]. Он и зарабатывает прилично. И сам идет на работу, потому что заинтересован в ней. Как же не гарантировать его оплату?

— А это по цыганской логике. Помните, как цыган лошадь приучал работать без корма? Она уж почти привыкла, да сдохла на шестнадцатый день.

Лозовой усмехнулся, сел на стул, сцепил пальцы на колене, откинулся на спинку и задумался.

— Николай Иванович! Ведь основной доход колхозу идет со второй половины года... Начинаете сдавать хлеб, скот...

Он живо вскинул подбородок и насторожился:

— Ну, ну?

— Как же вам удается выплачивать зарплату колхозникам в первой половине года?

— А вот так: все, что колхоз получит, выплачиваем колхозникам,— он сделал резкий рубящий жест рукой.— Все до копейки.

— Как?! А отчисления в неделимый фонд?

— Никаких отчислений в первой половине года,— Лозовой вдруг рассмеялся и закрутил головой.— Вижу, и вас это ошарашило. А мне, брат, не раз за это голову намыливали. Лозовой все колхозникам норовит раздать! Лозовой ущерб государству наносит! — запричитал он, вскидывая руками.— Какой ущерб? Кому? Ну, допустим, за первое полугодие колхоз получил полтора миллиона и все выплатил колхозникам. Но ведь за эти полтора миллиона я отремонтировал всю технику, провел посевные работы, заготовил две тысячи кубометров лесу, построил коровники, две кошары, десять домов, мастер-

[1] Здесь деньги в старом исчислении.

ские... Эти полтора миллиона принесут мне осенью пять. Тогда и в неделимый фонд отчислим, и на прочие нужды. А пока эти полтора миллиона я пускаю в оборот. Ведь зарплата колхозников — это мой денежный оборот. Наработали в месяц на двести тысяч — в оборот их, они через месяц дадут шестьсот, а те шестьсот принесут миллион, и так далее.

А знаете, я о чем мечтаю? — он снова откинулся на спинку стула и прищурил глаза.— Ввести бы еженедельную оплату... Деньги удивительная вещь! Чем быстрее их пускаешь в оборот, тем больший доход они приносят. Представляете, четыре оборота в месяц? Хватит, Ванька, водку пить, ступай на работу — будешь деньги получать каждую субботу.

— А как же охранники? Мы, кажется, с них начали?

— Нет у нас больше охранников,— устало ответил Лозовой.— Все работают. Бездельников нет. От кого же охранять?

Он встал, кинул плащ на руку и распрощался:

— Пора и меру знать. Извините, совсем засиделся.

Было уже далеко за полночь.

Много дней прожил я той весной в Солдатове. Славное это место! Село расположено в широкой горной долине, изрезанной двумя извилистыми речушками — Таловкой и Нарымом — с прохладными родниковыми омутами, с перепутанными ветром и водой тальниковыми зарослями, с чудесным березовым колком под обрывистой Толоконцевой горой, похожей издали на высокий речной берег. С севера к селу спадают пологие скаты округлых высот, покрытых альпийскими лугами; трава густа и высока уже в мае месяце; лошади погружаются в нее по колено, и издали кажется, что забрели они в воду и бродят на укороченных ногах. Высокая таволга и чертополох по логам и склонам глушат шиповник и тальники — кустарник здесь бессилен в борьбе с травостоем. Эти богатые горные пастбища перемежаются тучными, черными как смоль черноземными пашнями. И все-таки колхоз имени Калинина до пятьдесят пятого года находился в жалком состоянии. Об этом можно судить по изреженному, словно выщербленному селу, наполовину опустевшему за какие-нибудь пятнадцать лет.

Что же сыграло решающую роль в подъеме экономики колхоза за столь короткий срок? Может быть, неве-

домая высокотоварная земледельческая культура? Нет, колхоз сеет в основном пшеницу, которая занимает небольшой удельный вес в экономике. Может, колхоз встал на ноги за счет породистого стада крупного рогатого скота? И этого не скажешь, скот в Солдатове самый что ни на есть разнопородный, низкопродуктивный — наследие прошлых лет, которое предстоит еще выправлять. На рынках колхоз ничем не торгует: далеко рынки, до города триста километров. И ссуды колхоз не получал. И без высокой механизации обходится — до сих пор электродоилок нет. Так что же позволило колхозу так быстро войти в шеренгу передовых?

Конечно, колхозникам повезло на председателя; после бесконечных замен и перевыборов наконец к ним пришел настоящий хозяин. Лозовой Николай Иваныч — по рождению курский крестьянин. До двадцати лет он работает на земле, наливается ее соками, впитывает извечную мудрость русского пахаря, знающего цену живой и прихотливой связи с матушкой-землицей, постоянно ищущего разумную выгоду в своем трудном и радостном деле. Из родного села уходит он в Москву за счастьем. Здесь становится землекопом, рабочим Метростроя, бетонщиком. Но голос земли не заглох в нем ни на шумных московских улицах, ни в грохоте перфораторов подземных забоев. Земля звала его, ждала, как мать сына. И он испытывал настоящую раздвоенность. За десять послевоенных лет половину проработал в колхозе на земле, а половину — в Метрострое под землей, дослужившись до мастера. И наконец в числе первых тридцатитысячников он ушел в колхоз, чтобы остаться навсегда на земле. Про должность председателя знал он не понаслышке. «Работа эта трудная, и нет ее хуже на свете,— говаривала ему мать (она всю войну председательствовала в родном селе).— Заразная эта работа, не то что думать про нее — бредить во сне станешь ею. И никуда уж от нее не уйдешь. Подо мной жеребца убило снарядом, так пешком всю войну по полям бегала. Ползком поползешь... Вот она какая заботливая работенка».

Он выбрал село подальше от города, и не смутил его нищий вид разоренного колхоза.

— С чего я начал? — переспрашивал меня Лозовой.— А с начала! С чего начинается завтрашний день — вот с этого и надо начинать. Не следует хвататься за дела, которые пока тебе не по плечу. И потом у меня

с детства была еще одна заповедь. Я читатель «Правды» с детства. Да, да! В нашем доме постоянно собирались мужики, читали «Правду», и как-то уж получилось само собой — говорили они от себя, как от Ленина. Мол, дурак тот коммунист, который хочет построить коммунизм своими руками. Не хватит у них рук-то. Вот нашими руками они будут строить коммунизм. Построить его руками коммунистов — это ребячья, совершенно ребячья идея. Вы помните эти слова Ленина, которые он сказал, прочтя брошюру Тодорского «Год с винтовкой и плугом»? То, что было ясно в 1918 году Тодорскому, говорил Ленин, то неясно девяноста процентам теперешних ответственных работников. А ведь я сам за свою жизнь не раз убеждался, как многие коммунисты не доверяют колхозникам. Да что там! Отцу родному не доверяют. Значит, отсюда второй вывод: ни один руководитель, будь он семи пядей во лбу, не добьется заметных сдвигов, ежели колхозники останутся равнодушными...

Эту мысль Лозовой развивает прекрасно. Равнодушие есть следствие разрыва тех животворных связей человека с землей, которые давали радость и достаток ему, производителю, и выгоду в конечном счете обществу. Значит, и начинать надо было с того, чтобы обеспечить колхозника, гарантировать ему оплату. И во-вторых, надо было убрать всех посредников между колхозником и землей, между человеком и делом. Отныне не должно быть у нас ни бригадиров, ни учетчиков, ни завхозов — решил колхоз. И от этого изменилось не только качество работ, весь смысл жизни изменился.

Изменить его сможет не один председатель, выгоняющий на работу «ленивых» мужиков и баб... Чего греха таить! Такое наивное представление о чудо-председателе и о «мужицком» послушании существует еще и в печати и в кино. Жизнь в Солдатове переменили сами колхозники, без принуждения, потому что они были поставлены в разумные, экономически выгодные для них условия труда. И они не работали по двенадцать — четырнадцать часов в сутки, не надрывались в поле... а поди же ты, в передовые вышли.

Я исходил и изъездил все окрестности Солдатова. В память с давней поры освоения целинных земель раскидано вокруг села множество местечек, названных пахарями: Титов лог, Черепанов ключ и прочее. Теперь появляются новые названия: отара Кабдошева, отара Абдоня, пасека Ракова.

— А это хорошо... Очень хорошо! — говорит Лозовой.— В этом году мы и поля закрепляем за звеньями. И земля, и отара, и пасека — все должно иметь своего конкретного хозяина. Так пусть все это носит их добрые имена. Каждый хочет, чтобы его поле было лучше других, чтобы его отара была самой продуктивной, чтобы его пасека давала самый дешевый мед.

В отару Кабдошева я приехал в самую горячую пору — шел окот. Овечье стадо разбрелось по ленивым пологим увалам на целую версту, и казалось — никто за ним не смотрит. Но вдруг из маленькой укромной балки выскочил серый косматый кобель и с громким визгливым лаем бросился под ноги моей лошади. Потом так же неожиданно появился чабан; он ехал верхом, помахивая белой веточкой таволожника, и беззаботно насвистывал. Мы поздоровались. Чабан оказался совсем мальчиком, лет пятнадцати.

— Как тебя зовут? — спросил я его.

— Токтарбек.

— Ты подпасок?

— Нет. Просто брату помогаю после уроков. Окот идет.— Он вдруг резко повернулся и крикнул гортанным визгливым голосом: — О-уй!

Одна овца, пересекшая балку, бросилась в обратную сторону, словно ее ветром сдуло. Просмотревшая нарушительницу собака с виноватым лаем суетливо забегала вокруг лошадей.

— Отчего это у многих овец брюхо голое? — спросил я Токтарбека.

— Окотиться захотели,— отвечал он.— Вымя расчистили. Вот мешки на всякий случай. Ягнят кладем.

Он указал на два брезентовых мешка, болтавшихся вдоль его седла, точно переметные сумы.

— А где же ягнята?

— Брат принимает. Там! — махнул он рукой на увал.

Сразу за увалом показалась кошара. Здесь в мягкой укромной ложбине возле самой изгороди кошары паслись матки с ягнятами; кудрявенькие беленькие ягнята на длинных, неверных, разъезжающихся в стороны ножках табунились, бегали за овцами, и за людьми, и за собаками и оглушительно, надрывно кричали. Из кошары вышел Кабдошев Жасеин с засученными по локоть рукавами — он принимал окот. Ягнята тотчас бросились к нему, он оглаживал их, радостно щурился... Потом появилась сакманщица — молоденькая девушка в резино-

вых тапочках и красной косыночке. От избы с лаем ринулись было собаки, но их окликнула сильным звонким голосом пожилая женщина в длинных синих шароварах. Наконец подошла и она. Приветливо поглядывая на меня, она спросила не без иронии:

— Наверно, не из нашего района?

— Как вы догадались? — удивился я.

— Видела, как с горы ехал,— она нагнула корпус вперед и показала, как я опирался на луку.— Одинаково лететь захотел.

Все дружно засмеялись. Лицо ее все в тоненьких темных морщинках выражало искреннее удовольствие и от разговора с новым человеком, и от своей бесхитростной доброй шутки. Это была Ракимаш Имамбаева, мать Жасеина, всему делу голова, как мне говорили про нее в правлении колхоза.

— Проходите в дом. Чай будет, кавардак будет,— приглашает она, все еще весело поглядывая на меня и посмеиваясь.

Мы осмотрели и кошару, и помещение для окота, и подворье — везде было чисто, а перед самым домом стоял целый штабель кизяка, сложенный из высушенных кирпичиков.

— Топим, такое дело. Грязи нет. Тепло. Теперь все наше — кошара, дом... Кизяк тоже наш,— ответил Жасеин на мой вопрос — почему он высушивает кизяк? — Порядок надо. Моя отара.

— Так вы и управляетесь всей семьей? — спросил я Ракимаш дома.

— Э, э, хорошо управляемся! — весело отвечала она.— Жасеин здесь, я здесь. Ребята помогай... Чего не управляться?

— А раньше много было в отаре пастухов?

— Много... Пастухи были, сторожа были, объездчики были... Заведующий были, учетчик были... Народу много — получай мало. Овца плохой, шерсть плохой, мясо плохой. Много пропадай.

— А теперь не пропадают овцы?

— Теперь нельзя пропадай. Овечка пропадет — кто платит? Мы. Теперь нельзя пропадай,— закончила она решительно и вышла в сени готовить кавардак.

Я осмотрелся: в избе было довольно чисто; вдоль стен стояли две койки, покрытые пестрыми, яркими одеялами; переднюю половину пола застилали верблюжьи кошмы с черным затейливым орнаментом; в одном простен-

ке над тумбочкой висел красный вымпел «Лучшей отаре». На тумбочке лежала тетрадь: на отогнутых засаленных страничках ее пестрели длинные столбочки цифр — это была бухгалтерия Жасеина. Сбоку от столбочков, обозначавших окот, другие цифры — настриг шерсти, привес; изредка попадались записи иного плана: «Одну обчин сдал 12 марта»... Это черные отметины падежа. Их, к счастью, мало.

— Вы что ж, так и живете здесь? — спросил я Ракимаш.

— Зачем здесь? В селе дом есть хороший. Здесь отдыхай, спи... Обедать можно.

Вскоре подъехал Лозовой.

— Ну, какая прибыль за нынешний день? — весело спросил он Ракимаш, входя в избу.

— Зачем так громко говори! — замахала на него руками Ракимаш и, подойдя к нему, что-то сказала на ухо.

Лозовой слушал, хитровато поглядывая в мою сторону, и, когда Ракимаш ушла в сени за самоваром, сказал мне:

— У них, брат, вслух нельзя считать ягнят... Да еще при посторонних. Примета дурная.

Самовар поставили прямо на пол. Мы расселись на кошму вокруг низенького столика. Хозяйка принесла в большой миске мелко нарезанное, протомленное в жире мясо разных сортов — это и есть кавардак. Чай подавали зеленый, густого взвару, и разбавляли его буровато-желтым топленым молоком. Пили долго, не торопясь; приходила несколько раз молоденькая застенчивая сакманщица и после каждой чашки чая снова убегала в кошару; заезжал утолить жажду Токтарбек, и Ракимаш пояснила, что Токтарбек — значит последний сын — и тот в деле помощник; заходил Жасеин, и от каждой выпитой чашки его обветренное лицо становилось еще краснее, точно появлялся он из парной.

— У ярочек соски срезают, когда брюхо стригут. Плохая овечка получается — вымя большое, соска нет. Стричь будут — смотреть надо. Сам смотреть буду,— говорил он сердито Лозовому.

— Это мероприятие виновато,— шутит Лозовой.— Раньше у нас так было: стрижка шерсти — мероприятие, окот — тоже. Бывало, все учреждения подключались: и райисполком, и райком комсомола, и даже сберкасса. Одних сакманщиков по шесть, по семь человек на каждую отару присылали. А ягнята дохли.

Все дружно смеются.

— А теперь мы вон Марусю послали им на месяц — и вся недолга.

— Сколько же человек обслуживали раньше отару? — спрашиваю я Ракимаш.

— Много. Считай не могу,— она крутит головой и смеется.

— Восемь-девять человек. А теперь фактически отару обслуживают два человека — Жасеин и его подпасок,— говорит Лозовой.— А все остальные — это их домашние помощники, так сказать, нетрудоспособные. Вот возьмите Ракимаш — она получает пенсию, а тут сыну помогает. Там мальчишки, жена! Свое дело! Ведь эта отара не только колхозная, она еще и Кабдошева. И вот два человека — чабан и подпасок — дают колхозу почти двести тысяч рублей чистой прибыли. А мы им выплачиваем за отару, вместе с прогрессивкой, примерно тысяч тридцать пять — сорок. И колхозу выгодно, и чабанам. А то, бывало, на отару столько нахлебников было, что не сочтешь. Один заведующий овцефермой чего стоил.

— О, Одрыж важный начальник был,— кивает головой Жасеин.

— В отару приедет — овечку зарежет. Съест — в другую отару поедет. Барашка один съест,— говорит Ракимаш, посмеиваясь.

— С ним беда была,— вступает и Лозовой.— Упразднили мы должность заведующего овцефермой. А куда девать Одрыжа? Дадим ему отару, предлагаю на собрании, пусть чабаном станет. «Да что вы! — запротивились мужики.— Нешто ему можно доверить отару?» Ну тогда в подпаски?! Никто подпаском-то его не берет. Вот Жасеин сжалился, взял его подпаском к себе. На трудовое воспитание, так сказать.

— И пошло дело?

— Сперва плохо пас,— отвечает Ракимаш.— Неделю пасет — трех барашек нет. Ленивый больно. Взяли у него со двора три барашка — хорошо стал пасти,— она удовлетворенно смеется, обнажая крепкие желтые зубы.

— Раньше волки часто овец таскали. А теперь что-то не слыхать. Волки перевелись, что ли? — говорит Лозовой и лукаво поглядывает на чабана.

Тот прикрывается ладонью и смеется:

— Волк дурак, что ли? Наверно, понимает, что за

овечку платить надо! — И уже другим тоном спрашивает у председателя: — В отаре Абдоня был? Говорят, двойняшек у него много?

— Тебя хочет обогнать,— Лозовой хитровато щурится и что-то шепчет на ухо Ракимаш.

Та говорит Жасеину, и оба качают головой:

— О-о, много! У нас тоже хорошо.

— Они прогрессивку получают за каждого сверхпланового ягненка. Вот и соревнуются, так сказать,— поясняет мне Лозовой.

Мы вышли из дома и стали прощаться с хозяевами отары.

— Скоро у тебя будет овец, что у Тойбазара,— говорит Лозовой Жасеину, указывая на разбредшееся по дальнему увалу стадо.

— О, конечно! Я теперь бай.— Жасеин весело машет нам на прощание рукой.

— Тойбазар — бывший богач. Имел столько овец, что их никто сосчитать не мог. Загонит их в лог и смотрит: полон лог, значит, овцы все. Вы знаете, сколько скота сдает американец Гарст? — неожиданно спросил он меня.— Четыре тысячи голов в год. А мы всем районом не сдаем столько. Но подождите! — он поднял хлыст и погрозил кому-то.— Мы только начинаем. Вот приезжайте лет через десять. Мы, пожалуй, потягаемся с Гарстом. Главное, мы развязали руки колхозникам. И дело пошло, овец в два раза больше стало — восемь тысяч штук. Или вон кони! — он указал на ложбину за рекой Нарымом, где пасся табун.— Раньше на сто пятьдесят лошадей было четыре табунщика, заведующий фермой да учетчик. А теперь четыреста пятьдесят лошадей — и всего один табунщик с помощником. И справляются, да еще как! Зато и получают девять рублей с головы. А если вырастят по восемьдесят жеребят на сто маток, получают в награду по коню. Живем!

Он отпустил поводья, привстал на стременах и помчался по дороге.

Мы выехали в Нарымскую долину, резко вытянутую с востока на запад, окаймленную с юга зубчатой стеной белков, сухо и резко сверкающих на солнце. Вся долина была четко разделена, словно ударом кнута, на две половины — зеленую и черную. Зеленая полоса уходила к южным предгорьям и стушевывалась в синеватой дымке где-то возле белков; черная, глянцевито лоснящаяся на солнце, лениво горбилась, уплывала крупными валами к

селу Солдатову. На самой границе этих чуждых друг другу цветовых стихий мы остановились.

— Что это за рубеж?

— Граница наших земель,— ответил Лозовой.— Зеленые — совхозные поля, черные — наши.

Поначалу я принял зеленя за всходы яровой пшеницы, но потом по сухому белесоватому блеску стеблей, по их жаловидным концам понял, что это — овсюг, самый коварный сорняк.

— Вот к чему ведет не в меру ранний посев пшеницы по холоду,— сказал Лозовой.— Пшеница еще спит, а овсюг прет; ему хоть бы что. По-хорошему — это поле лущить и пересевать надо.

Несколько минут мы ехали молча.

— Черт возьми! — возмущенно воскликнул Лозовой.— И ведь знают же, что нельзя сеять по холоду. И все-таки сеют. А почему? Чтобы отрапортовать: в этом году сев закончился на десять дней раньше, чем в прошлом. И так каждый год. И если считать по этим газетным рапортам, то теперь сев должен оканчиваться где-то в январе месяце. И все давай, давай, жми во все лопатки! Лишь бы отсеяться... Небось мужика на закрепленном за ним поле не заставишь сеять по холоду...

— Да кто с ним считается? Один не захочет — другого пошлют.

— Это бывает,— согласился Лозовой.— А жаль. Вы приглядитесь к нашему хозяйству; все люди мастеровые, но у каждого есть свое особое пристрастие, ремесло, свой конек. Вот и надо делать так, чтобы каждый отличался в своем коронном ремесле. И не дергать его, не кидать с места на место. Дать ему полную самостоятельность. И все, брат, входит в свою колею: и кукуруза родится, и молоко дешевое, и трактора в сохранности... У нас вот раньше была бригада строителей, делала в том числе и колеса, но колхоз без колес сидел. А сейчас делает колеса один Илья Филатович, и все телеги на ходу. Да какой ход отменный. Так-то.

И хозяйство каждое должно иметь свою главную специальность, свое лицо. У нас в иной колхоз напланируют такого, что и по пальцам не перечтешь. Не колхоз, а универсальный магазин! — Он приостановил коня и живо обернулся ко мне; лицо его озарилось какой-то лукавой, хитроватой и дерзкой усмешкой.— Может, слышали, как меня склоняют за свиней?

Я невольно улыбнулся, поддавшись его веселому настроению:

— Да, приходилось.

Мне вспомнилось, как второй секретарь обкома Турткарин сердито отчитывал Лозового заочно: «Председатель заносчивый, избалованный, недопонимает порой важности отдельных мероприятий,— он сцеплял свои смуглые маленькие руки и с укором глядел на меня.— Вы понимаете, он ликвидировал свиноферму?! Птицу не разводит!..»

— А ведь я в самом деле свиноферму ликвидировал.— Лозовой резким движением поводьев сбивает прядающего коня и смеется.— И кроликов... И птицеферму порешу. Но нам прощают: мы передовые.— Он вдруг становится серьезным и, показав хлыстом на дальние в синем мареве высоты, говорит другим тоном: — Видели, какая красота? Это все наше... Все — луга. Да какие?! Альпийские! В мире лучших не сыщешь. Самой природой велено разводить здесь коров, коней, овец. А мне рекомендуют свиней, кроликов, уток... и даже черно-бурых лисиц.

— А не боитесь?

— Я человек отчаянный! — Он привстал на стременах и с гиканьем понесся к селу.

То, что произошло в Солдатове, особенно хорошо понимают сами колхозники, бывшие бригадиры или заведующие.

— Да ведь у нас тут каждый третий либо бригадиром был, либо учетчиком, не то кладовщиком или охранником. Особенно мужики,— рассказывала мне бывший бригадир Фетинья Яковлевна Ракова.— Значит, две мэтэфе было, две конефермы, две овцефермы, две птицефермы, кролиюоферма,— она загибает пальцы, морщинит лоб и вдруг, рассмеявшись, махнула рукой: — Да нешто все перечислишь! Разделили мы все это с Толстых — половина его бригаде, половина моей. И постоянно спорили: тебе близко на фермы ездить, а мне далеко.

— Делать вам нечего было, вот и спорили,— сердито замечает с койки Ирина Самойловна, сухонькая старушка с каким-то темным пергаментным лицом.

Она лежит в неподвижной равнодушной позе, смотрит в потолок, но, видимо, все слушает и время от време-

ни бросает короткие фразы своим хриплым басовитым голосом.

— А и в самом деле,— рассмеялась Фетинья Яковлевна.— Бригады ликвидировали, и ездить на фермы перестали, и дела лучше пошли.

— Ведь раньше что было? — спрашивает она меня и сама отвечает: — Взвалят все на заведующего, и отвечай: ты и корма добывай, и за молоком следи, и за коровами, и за людьми. Была я заведующей... На моей ферме, на отгонах, шесть коров перебодались да в овраг свалились, ноги переломали. И что ж вы думаете? С меня и удерживать стали. А пастухам, которые пасли коров,— предупреждение. Они и посмеиваются. Небось теперь в оба смотрят: угнали скот на пастбища — и сами хозяева.

— Что же делают все эти бывшие бригадиры и заведующие?

— Работают,— с каким-то радостным воодушевлением произносит Фетинья Яковлевна,— кто плотником, кто трактористом...

— Привы-ыкли,— доносится с койки хрипловатый басок.

Мы беседуем за столом в передней избе; сквозь дверной проем видна чисто прибранная и тесно заставленная вещами горница: там и шкаф, и швейная машина, и приемник, и трюмо, и пышно взбитая кровать — словом, все, что, по деревенским понятиям, должно отмечать культурную, зажиточную жизнь.

— А как раньше жили? — спрашиваю я Ракову.

— Как люди,— отвечает не совсем любезно старуха...— Коней было больше десяти, да коров не меньше.

— По здешним местам это небогато,— говорит Фетинья Яковлевна.— Коней много было, да в изгрёбном ходили. Сапоги по праздникам носили, а то все в бутылах.

— А што бутылы? Удобней иных сапог. В изгрёбном ходили! Что ж такого? — Ирина Самойловна поднялась на локтях и повелительно сказала: — А ну-ка, принеси мои ткани! И рушники...

— Да к чему это? — возразила Фетинья Яковлевна.

— Принеси, говорю! — сердито повторила старуха и, пока Ракова ходила в чулан за ее старым добром, отрывисто бубнила: — В изгрёбном, домотканом... Небось обходились, жили...

Фетинья Яковлевна принесла большую белую домотканую скатерть, тонкую, с шелковистым блеском, мяг-

кие шерстяные понёвы, кружева замысловатой и четкой вязи и, наконец, два рушника, один из которых меня поразил красотой и сложностью узора и особенно манерой вышивки: это была не «гладь», не вышивка «крестом», а нечто похожее на плетение китайского гобелена. Старуха перебирала все крючковатыми желтыми пальцами, искоса поглядывая на меня; ее тусклые карие глаза заметно оживились.

— Неужели все это сделано вами? — невольно вырвалось у меня.

— А что мы не делали? — с вызовом переспросила Ирина Самойловна.— Чего не умеем?

Странная усмешка, похожая на гримасу, чуть тронула ее высохшие губы; сложив свои ткани в ногах, она снова откинулась на подушку и уставилась в потолок.

Мастеровой здесь народ! И как раскрываются способности каждого человека, освобожденного от этой мелкой опеки. Я видел колхозную мельницу — маленький амбарушко стоит на отшибе села возле мостка через реку Таловку. Кому нужно смолоть хлеба, привозят мешки с зерном с утра и оставляют возле дверей амбара с короткой запиской. Тракторист Полторанин Павел, он же «конструктор» этой мельницы, и мельник, и кукурузовод, подъезжает на своей «Беларуси», продевает приводной ремень от жерновов на шкив мотора, и трактор начинает молоть. На этом же тракторе Павел развозит муку по домам и в колхозную пекарню. Накладных здесь не выдают, и расписок нет. Да и некогда возиться с ними трактористу: в поле ждет его кукуруза — целых полтораста гектаров. Это поле Полторанина, оно закреплено за ним. На нем он тоже хозяин, как и на мельнице.

Да, народ здесь мастеровой. Никто без дела не сидит. Бывший бригадир пчеловодов Дементьева пошла на пасеку. Но одно дело — руководить, другое — самой работать, и не просто работать, а быть мастером своего дела. И оказалось, что пасека — дело не менее сложное, чем бригадирство. Бывшему вожаку пчеловодов пришлось учиться у пасечника.

Звено плотников Феоктиста Макаровича Солдатова наполовину состоит из бывших руководителей. Сам звеньевой раньше работал бригадиром, плотник Ромадин Иван Михайлович был и председателем, и кладовщиком.

— По совести сказать, я теперь просто белый свет увидел,— признается Ромадин.— Сам себе хозяин стал и

за все свое в ответе. Никто меня не дергает, и я никого за руку не вожу.

— К этому порядку мы давненько подбирались, исподволь,— говорит Феоктист Макарович Солдатов, член правления, коммунист, один из основателей артели.— Я, брат, долго бригадировал. И так и эдак приноравливались — и что-то не то. Работаем, но так, что через пень колоду палим. Заготовляли мы, помню, лес бригадой — тридцать шесть человек. Смотрю я — у одного лоб мокрый, а у второго спина мерзнет. А что, если разбить всю эту бригаду на группы малые? Пусть сами подбираются, так чтоб каждый друг за дружку в ответе был. И каждая группа чтоб самостоятельной была, лучше дело поставит — больше заработает. Разбились мы, значит... И пошли рвать. И что ж вы думаете? То мы раньше сто кубометров рубили неделю, а тут — за два дня.

Феоктист Макарович весело щурится и делает длительную паузу: неторопливо достает папиросу, разминает ее, постукивает о ноготь, закуривает. Во всех движениях его крупных узловатых пальцев есть какая-то особая плавность мастерового человека, знающего цену любому жесту. Его красивая седая голова, крупное горбоносое лицо в резких морщинах, насупленные брови делают его похожим на сурового мыслителя, и только синие, светлые, как горный воздух, глаза говорят о его душевной мягкости и доброте.

Мы сидим возле овечьей кошары в горной балке у самого ручья. Звено Солдатова ставит чабанам дом; кругом навалены бревна, тес, кучи рыжего трухлявого мха. Сруб наполовину слажен; и довольные своей работой плотники ушли на соседнюю пасеку готовить ужин. Закатное солнце плавает у самого берега балки и протягивает к нам длинные косые тени от жидких приземистых кустов шиповника и корявых, искривленных березок. Откуда-то издалека по балке доносятся монотонное блеяние овец и короткие свистящие удары железа о железо: вжих, вжих! Солдатов прислушивается и говорит:

— Кто-то в поле припозднился. Кончал сев, должно быть.

— Так с той поры и работаем все своими звеньями,— оживляется Феоктист Макарович.— Милое дело, скажу вам. Дом ли ставить, кошару ли, лес рубить — все сподручно. И так, знаете, друг перед дружкой, звено перед звеном. И каждый на виду стал. Прогульщиков у нас не бывает. Если надо кому, сами отпустим. Суть ведь не в

том, что мы малыми группами работаем. Звено может быть и больше и меньше. Вся штука в том, что у нас каждая группа, каждый человек связан друг с дружкой делом. Понимаете, не словами, а делом. К примеру, строим мы избу; мы стараемся не только побыстрее сладить ее, но и чтоб дешевле она обошлась. Всю эту постройку вроде бы отдают нам, доверяют: дешевле сделаете, получите больше. Кумекай! И мы кумекаем, так чтоб и колхозу была прибыль, и нам доплата. Тут все обговорят, все взвесят: и прочность, и удобство. Из каждого дела выгоду надо выжать и артели и себе. Видели наш четырехрядный коровник?

— Да. Отличный коровник,— отозвался я.

— Деревянный, под легкой кровлей. И удобный и прочный. И знаете, во что обошелся он колхозу? В шестьдесят пять тысяч по старым деньгам! А нам прислали проект на каменный коровник стоимостью в миллион. Дворец! Мужики отказались. А зачем дворец коровам? Корове — жизнь коровья, человеку человечья. А то в ином колхозе коровник под шифером, а доярка — в старой юбке.

На прощанье Солдатов задержал мою руку и произнес с особой значительностью:

— Контроль у нас вырос. То бригадир следил за делом, а теперь каждый колхозник. Все считают... Оттого и выгода. Надо, чтоб каждый хозяином своего дела был.

Возвращался я из Солдатова той же самой дорогой: опять по обочинам долго щетинились позеленевшие талы; снова промелькнул чистенький сквозной березовый колок возле Толоконцевой горы; тряслись, как в лихорадочном ознобе, бревенчатые мосточки через Нарым и Таловку, и снова потянулись бесконечной зубчатой стеной блестевшие на солнце белки, только теперь они были не справа, а слева.

За Большенарымским с невысокого увала мы увидели море и ахнули: старая дорога, по которой мы ехали раньше, уходила под воду; и странно было видеть эту накатанную колею так бесследно исчезавшую в наплыве сероватых волн. И поневоле думалось, что ездили по этой дороге куда-то совсем в иной мир, словно в водяное царство погружались. Но ведь я точно знал, что дорога эта была, и плохо ли, хорошо ли, но ездили по ней. А теперь вот пришло сюда море; пришло из дальних далей, оттуда, где в горных долинах слежалось много снега и льда, где хорошо поработало солнце, растопило снега и двинуло в

далекий и добрый путь животворную влагу. Пришло море, принесло в эту долину желанную прохладу, но захлестнуло старые дороги. А люди прокладывают новые пути; идут они выше и прямее старых.

И опять я лечу в Большенарымское.

В который уж раз прибывая в эти далекие села, я ловлю себя на мысли: а вдруг не узнаю их? Лет десять назад ехал сюда на «Волге», потом прилетал на четырехместном «яке», потом на «аннушке», теперь вот на серебристом «иле». Двадцать два пассажира прямо от трапа дружно бросились вперегонки к далекому приземистому домику — аэровокзалу. Неужто автобус появился?

Так и есть, автобус! Он урчит, подрагивая всем своим древним маленьким корпусом. Дверь одна, впереди. Пассажиры ныряют в нее, как десантники по тревоге в самолетный люк, подталкивая друг дружку: «Давай, давай, плотнее!» — «Куда ты на голову прешь, дьявол?» — «А ты не выставляй ее в проход, голову-то...» — «Да что ж, я ее отстегну, что ли?» — «В кювет ее брось! Без нее легче».— «Гы-гы-гы!» — «Плотнее, ребята, плотнее!..» Наконец последняя спина заткнула дверной проем. «Поехали!» — «Дайте хоть дверь закрыть, черти!» — кричит шофер. «А зачем? С ветерком веселее».— «Да вывалитесь!» — «Ничего... Тут невысоко. Небось не расшибемся, не самолет».— «Ну, поехали, что ли ча!»

Останавливаемся в центре села, на бугре, возле какого-то сарая. У забора привязана коза, собаки обнюхивают пассажиров и шарахаются в сторону. Ребятишки — русские и казахи, как по команде, стоят смирно, разинув рты, разглядывают приехавших. А направо и налево и прямо, по главному шоссе, вдоль кюветов теснятся в полном беспорядке мазанки, все серые от въевшейся пыли, низенькие, нахлобученные плоскими крышами; повернутые задом на главную улицу, они, словно дзоты, заняли оборонительный рубеж вдоль дороги и, кажется, стоят здесь с фантастических времен Чингисхана. Да, это Большенарымское. Оно все то же.

Но там, за этим унылым разливом плоских крыш, этими оголенными саманными фанзами без единого деревца, за ветхими заборчиками да крохотными сарайчиками высятся двухэтажные корпуса нового райцентра: клуб, райком, управления РТС и, наконец, жилой поселок для специалистов. Строится Большенарымское! Все

те же приметы, что и повсюду в нашей стране,— старое старится, новое растет.

— Как дела? — спрашиваю в райкоме.

— В прошлом году подсушило малость. Но в общем ничего. Двенадцать центнеров зерновых сняли по району.

— А у Лозового как урожай?

— У него двадцать пять.

— Что ж, у него климат другой?

Отвечают с улыбкой — все старые знакомые:

— Молитвы не те. А небесная канцелярия одна.

— Что у него нового?

— Овец поменял на коров.

— Почему?

— Специализация... Коровы выгодней. Вот и обменял в совхозе имени Черняховского овец на коров.

— А вы что же? — спрашиваю секретаря райкома Ивана Игнатьевича Белькова.

— Поддержали. Специализация — дело перспективное.

Вспоминаю свой первый наезд... Тогдашний секретарь Большенарымского райкома как бы нехотя снисходительно журил при мне Лозового: «Чудишь ты, дорогой... Птицеферму ликвидировал, свиней не хочешь разводить. Ты подаешь дурной пример...»

Сколько было их, таких «дурных» примеров! То Лозовой бригады упразднил, а бригадиров послал в звенья, в поле работать. Какой шум был!.. «Это подрыв колхоза изнутри!», «Это развал, путь к анархии!».

То землю стал закреплять за звеньями. И опять обвинения: «Что это, автономия в колхозе?», «Путь к частной собственности?», «Зачатки. Возвращение вспять!». То семенное зерно отказался сдавать... «Судить его!», «На колени!», «Пусть прощения просит!».

Увы! Все было... И выговора — простые и строгие. И на бюро судили. И снять хотели... Но Лозовой не стал на колени. Приезжали комиссии, расспрашивали, проверяли — он до хрипоты разъяснял, доказывал, отстаивал. И было что отстаивать — росли урожаи, поголовье скота, доходы. А частная собственность так и осталась все в том же воображаемом «зачатке».

Менялись времена, менялись и отношения... За долголетние устойчивые урожаи, за высокие доходы председатель колхоза Николай Иванович Лозовой награжден был медалью «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда...

Я встретил его на ферме, возле сливного бака. Он сидел за столиком, что-то записывал. Увидев меня, бросился навстречу. Мы обнялись.

— Все чудишь? — спрашиваю.— Шило на мыло меняешь? Не жалеешь ты начальство.

Смеется:

— Мы теперь друзья. Живем в полном согласии. На доверии!

— А ты чего же не доверяешь дояркам? Пишешь за них.

— К сортировке стада готовимся.

— Значит, учетчиком сделался?

— По совместительству... Я теперь в две смены работаю. С четырех до девяти на дойке, а потом уж в контору иду. Словом, не было у бабы забот, да купила баба порося.

Смотрю я на него — он почти не меняется за последние десять лет: волосы черны, ни сединки, глаза все так же весело щурятся, весь он подтянутый... А ему уж под пятьдесят.

— Когда ты приезжал последний раз?

— Два года назад,— отвечаю.

— О-о! Тогда есть на что посмотреть. В больнице нашей бывал?

— Нет.

— На шестьдесят пять коек больница! Палаты только одиночные и двухместные, родильное отделение на восемь коек, кабинеты — от зубного до рентгеновского — по последнему слову техники. Коридоры метлахской плиткой выложены. А-а? — Он озорно толкает меня в плечо и посмеивается.— А вон, видишь, трехэтажный домик стоит? На двадцать четыре квартиры! Отделочные работы пошли. Да еще два восьмиквартирных дома закладываем.

— Вы что же, уплотнением села решили заняться? Все до кучи хотите свезти?

— Ну нет! У нас только на добровольных началах. Как при коммунизме. Хочешь — в большой дом переезжай, а хочешь — строй себе коттедж.

— Так уж и коттедж?

— Не веришь? Поехали — покажу. Саша, домой доставь нас!

Возле длинной двухэтажной школы зачинается порядок новой улицы. Пока стоит только один дом Лозового, да заборчик вокруг него, да котлованы прорыты под будущие дома.

— Пошли, пошли... Я тебе покажу кое-что.

Входим: в доме веранда, шесть комнат — четыре внизу, две наверху, погреб, выложенный глазурованной плиткой, ванная, санузел...

— А вот это — русская печь. Та самая, за которую ты ратовал.

Мы остановились перед кафельной белоснежной громадой в голубых разводах.

— Конструкция — моя собственная. Тут, значит, шесток и плита совмещены. Хочешь снизу топи, хочешь сверху...

Рядом с печью — газовая плита на четыре конфорки.

— Зачем же вам русская печь при газовой плите да при паровом отоплении? — спрашиваю хозяйку (тещу Лозового).

— Как зачем? А пироги испечь, хлебы или блины?..

— А на плите, в духовке?

— На плите будет не блин, а каланец. И пирог в духовке клёкнет. А в печи он на вольном воздухе. И что за дом без русской печки? У нас вон какие холода... За сорок градусов. А вдруг лопнет это паровое отопление?

— Во, брат, логика! Ни одной науке не подвластна, — смеется Лозовой.

— Сколько же стоит ваш дом?

— Восемь тысяч семьсот.

— Не дорого для колхозников?

— Конечно, дорого. Но — что делать? Строительство — наше больное место.

Мы сели в просторной гостиной на широкой, разборной тахте. Николай Иванович подвинул ко мне низенький легкий столик с журналами и газетами:

— Не первой свежести. Уж извини! Вот телевизионный центр построим, тогда Москву будем смотреть.

— Сами строите?

— Да... Три колхоза сложились. Но строители подводят нас. Затянули дело.

— Подгонять надо.

— Прав нет. Мы их только умолять можем. Да и некогда. Видишь, как занят.

— А чего ты на овец рассердился?

— Не в том дело. Просто у нас мало зимних пастбищ. И заносы снежные в последние годы, как нарочно... А держать овцу в стойле семь месяцев накладно по сравнению с коровой. Отдача не та. Овца — она и есть овца. Впрочем, можно было и с овцами мириться. Но мы сей-

час подошли к своеобразному хозяйственному барьеру. Все, что мы могли выжать из своих трех тысяч гектаров пашни да пятисот колхозников, пользуясь, так сказать, общепринятыми мерами, мы взяли. Миллион триста тысяч дохода на эти гектары — право же неплохо. Но доход этот почти не растет за последние два года. Значит, надо искать новые источники и новые методы и формы работы. Время!..

— А что же устарело?

— Прежде всего взгляды наши,— он поднял руку, предупреждая мои возражения.— Не в общем смысле, а в конкретном, хозяйственном. Возьмем тех же овец. Когда мы их начали разводить лет пятнадцать назад, двадцать тысяч голов казались для нас фантастической цифрой, пределом. Но вот достигли мы этого предела. И что же? Выручка есть от них, конечно. Но нам уже мало. Вон какие расходы у нас. Видели, что мы построили? А построить нужно еще больше. Где брать деньги? Увеличивать поголовье овец? Нельзя. Пастбищ не хватает. Держать этих — отдача уже не устраивает нас. Овцу на поток не поставишь. Это сезонная скотина. Подходит окот, или, по-нашему, сакман, стрижка — людей только дай! А в это время то сев, то уборочная. И другое сказать надо — люди наши теперь не любят такие сезонные заварухи. Они хотят работать постоянно на каком-то определенном месте. Колхозник у нас привык заранее определять, рассчитывать — где он будет, при каком деле и что заработает. А что нам дадут овцы? Как бы я ни старался здесь, но ставропольцев мне не переплюнуть. Вот мы и решили взять коров, построить образцовый животноводческий городок, скоро нам ток бухтарминский дадут, подстанция за селом уже построена. Только давай разворачивайся. Тут предела не будет.

— Много вы взяли коров?

— Коров-то много, да толку от них пока мало. Одно только название — коровы. Иная по два, по три литра молока дает в сутки. Козы! Вот мы и сортируем их. Из тысячи трехсот голов оставили пока восемьсот. А там телочек породистых купим. Свою породу станем выращивать. Дел — непочатый край. Возьмите тот же надой. За последние десять лет в Америке он поднялся более чем на пятьсот литров на корову и достиг трех тысяч девятисот девяноста двух литров. А у нас — все на двух с половиной тысячах висит. Американец такую корову и держать не станет. Ровно подобранных коров можно и

на поток ставить. А какую электродойку применишь к нашим коровам? Одна дает двенадцать литров, другая — два. А мы все толкуем о передовых методах. И вещи-то, казалось бы, очевидные, бесспорные. Но у нас нет-нет да еще и разгорится сыр-бор! Почему доят вручную? Почему «елочки» не ставят?

— Командиры живучи, Николай Иванович. Иному хоть кол на голове отеши, а он все будет орать: «Делай не как знаешь, а как я велю». Вон опять шумят некоторые в газетах: «Не закреплять землю за звеньями!», «Это раздробление...», «Развал!», «Работай в бригаде — и больше ничего...».

— То есть кого куда пошлют,— усмехается Лозовой.— Такие окрики я давненько слыхал: «Работать надо, а не выдумывать!» Ну, я понимаю еще — спорили лет восемь назад, когда впервые вводили это дело. А теперь-то что спорить? У меня на закрепленной земле сняли в прошлом, засушливом, году по двадцать пять центнеров на круг, а у соседей-то десять-одиннадцать.

— Говорят, звеньевые землю истощают.

— Чепуха! Вон у Лисовца в третьем годе горный поток по полю прошелся и гектаров восемь смыл начисто. Дак они на поля землю возили, почву! Так заровняли, что не заметишь, где и смыв был.

— А если б раньше такое случилось?

— Что ты! Теперь бы уже овраг образовался. Отношение к земле и к делу изменилось. Бывало, сев подойдет — кого в севари? Да кому делать нечего. А теперь он сынишку сажает на трактор, а сам на сеялку становится. Что ему норма высева? Он ее сам устанавливает: где земля пожирнее, он и зерна бросает побольше. А где и придерживает.

— Ну, мне понятно еще, когда противятся закреплению земли деятели из управлений или теоретики от стола. Но почему против выступают некоторые председатели колхозов? — спрашиваю я.

— Да потому, что работать председателю становится куда труднее. Тут уже не приказывать надо, а подсчитывать, прикидывать тысячи вариантов — что выгоднее, то им и подавай. Снабжать вовремя и удобрениями и семенами, да не какими-нибудь, а высшей кондиции. Звеньевые сами проверяют, их не проведешь. И ремонт... Уже не ты с них, а они с тебя требуют и запчасти, и железо, и горючее. Так-то...

— Но говорят, что они только для себя стараются, а не на общее дело.

— Да бросьте! Вот был случай: придумали удобрение разбрасывать с самолета. Хорошо! Но как его нагружать в самолет? А дедовским методом. Подгонят грузовик к самолету — пошла в ход родимая лопата. Пять минут разбрасывать удобрение, а час — нагружать самолет. Да пыль поднимается — лезет в глаза, в нос, в уши. Разъедает все, отравляет. Но что делать? Так и маялись. А в прошлом году решили удобрения по звеньям раздать — и самолеты закрепили, действуйте сами. Дешевле сработаете, сэкономите — прибыль ваша. И что ж ты думаешь? Изобрели, как избавиться от этой ручной погрузки!

— Как?

— Очень просто. Приспособили шарнирный стогометатель... Навесили на него самодельный ковш с открывающимся днищем. Занесут его черт-те знает на какую высоту. Выше самолета. Откроют люк — бух! И полным-полна коробочка. Вот и вся недолга,— он засмеялся и покачал головой.— Но в этом году осечка вышла. Прислали нам для разбрасывания удобрения не самолет, а вертолет. Что тут было! Гони его обратно! Ты виноват, председатель. Плохо просил... А что же? И виноват. Заранее предвидеть надо — они бы и к вертолету приспособились.

— Говорят, что на закрепленной земле севооборот нарушается,— подзадориваю я Лозового.

— Чепуха! Мы и севооборот-то настоящий только с закреплением земли наладили.

— Каким образом?

— А ты поговори со звеньевыми сам. Чай, знаком.

На следующий день я встретил Дмитрия Дмитриевича Лисовца в механических мастерских. Летом он на полях, а зимой — главный ремонтник и по тракторам и по комбайнам, мастер на все руки. В его звене или отряде восемь человек, таких же тороватых механизаторов-хлеборобов, и больше тысячи гектаров земли.

— Как же вы успеваете обрабатывать такую махину?

Только плечами пожал:

— Дело привычное.

Я давно знаком с ним; мне нравится его уверенное спокойствие здорового человека, открытое мужественное лицо, какая-то компактная слаженность атлетической фигуры и широкие, как лопата, ладони.

— Как урожай на вашем поле?

— В прошлом году был неважный... Двадцать четыре центнера пшеницы на круг. Чуть до плановой не дотянули. Засуха!

— А в другие годы?

— Было и по сорок два, и по тридцать восемь. Разно.

— А заработок?

— В прошлом году неважный...— Он чуть замялся.— Примерно по сто пятьдесят рублей в месяц.

— А в других отрядах?

— У них повыше. Особенно у Метчинова и Оразаева. У них поля получше. А план на урожай почти одинаковый.

— Почему?

— Да потому, что я уже семь лет проработал на своем поле, а они всего два года...

— Ну и что?

— А то, что я за пять лет урожайность повысил втрое, а на других полях она была пониже моей. Когда остальные поля закрепили по звеньям, то за плановую урожайность взяли мою... Но земля-то у них лучше. Ценность земли по науке определять надо. Отсюда и план давать.

Говорит он медленно, как бы нехотя. Какая, мол, польза от этих разговоров?

— Я вот сколько лет твержу: дайте мне лимит на трактор, только по науке. А то один расходует на ремонт трактора по двести рублей в год, другой — по шестьсот. Иная деталь ему не нужна, а он ее тащит. Берет на горло.

— А что Николай Иванович?

— Он-то, может, и не против. Дак ведь не из одного председателя колхоз состоит. А порядок такой заведен был давно.

Закурил. Начал опять без видимой связи:

— Район у нас все еще кампании водит... Этих бумаг из управления — гора! Все планы, приказы, и по срокам все расписано. Сколько отремонтировать тракторов, сколько плугов, борон, сеялок... Почему сроки нарушаете? Где ваши донесения? Иная сеялка проработает всего восемь дней — новенькая, а мы ее начинаем разбирать. План на нее — ремонтируй... Давай выполнять.

Впрочем, критикует он все конторы без названия.

— Бумаги нам шлют... А запчасти — нет, шаром покати, железа — ни куска. Где хочешь, там и доставай. Ни

купить, ни украсть, извините,— ну хоть в лепешку расшибись. Вот и ездим в Зыряновск, побираемся, как цыгане. Достанешь этих деталей после реставрации да из брака. Они ни к черту! А то сами лепим детали из всякого подручного материала! Это никто замечать не хочет. Зато наедут к тебе, увидят кривой зуб на бороне — и пошли: почему не отремонтировано? План не выполнять? Было указание?! А то, что трактор вышел из ремонта и через неделю развалился, не видят. Начнешь говорить про это некоторым штатским лицам — хмурятся.

Этот разговор вспыхнул с новой силой на ферме. Лисовец пришел замерять бак для молока, чтобы новый сделать, а Лозовой сидел за столом, удой подсчитывал.

— У нас такой порядок заведен: мне, колхозу, на пять лет вперед все расписано: сколько и чего сдать надо и к какому сроку. Но что получим мы? Не только что за пять лет, за год наперед не знаем,— горячится Лозовой.— Вот холодильника нет, чтобы охлаждать молоко. За пятьдесят верст возим его, да по жаре. Пять лет просим — не дают. «Дайте нам поилки для коров!» Нет. «Но хоть труб дайте! Сами смастерим». И труб нет. «Железа нам дайте!» Нет. Вон стекла нет! Идет районная сессия: как подготовиться к зимовке скота. «Дайте нам стекла»,— говорим. «Товарищи, мы тут государственное дело решаем, а вы со стеклом».— «Так чем же нам фермы стеклить? Бычьими пузырями, что ли?» — «Ну, товарищи, нет же стекла! Когда будет, тогда и дадим. О чем разговор!» Или вон, зима подойдет — начинаем скот сдавать... Мороз сорок градусов, а мы этих коровенок взгромоздим на грузовики и за пятьдесят верст с ветерком везем. По пятнадцать килограммов с головы улетает только за одну дорогу на морозное выпаривание. Так неужели нельзя дать по нескольку скотовозов на убойный пункт? Сколько уж лет просим...— Лозовой махнул рукой.

— По закону,— говорю я,— отделы Сельхозтехники обязаны поставлять машины вам по договорам и в указанные сроки.

Лозовой только рассмеялся:

— Какие там договоры! От нас принимают любые заявки. Хоть двадцать грузовиков напиши — все примут. Но за последние пять лет нам всего один молоковоз, да вон в прошлом году по особой милости прислали один грузовик. Его угробили на целине — коробка скоростей полетела. Теперь нам прислали. А деталей днем с огнем

не сыщешь. Он и стоит у нас на приколе. Ну почему бы не поставить распределение машин в прямую зависимость от сданной продукции?

— А на это вам ответят: нельзя! Потому как мы поднимаем слабые колхозы.

— Вот именно,— усмехнулся Лозовой.— Ты плохо работаешь — вот тебе в награду побольше тракторов и грузовиков. Иного уже тридцать лет поднимают, а он все на брюхо ложится.

— И все ж таки достижения ваши налицо,— улыбаюсь и я.

— Это уж правильно. Приезжайте к нам еще через десять лет — глядишь, и дворы новые построят.

Уезжал я поутру да по морозу... По Нарымской долине гуляла поземка — косые языки заносов переметали местами дорогу. Наш «газик» врезался в них с ходу, глушил скорость и, надсадно ревя, медленно, содрогаясь всем корпусом, выползал на твердую наезжую часть. И снова как ни в чем не бывало легко катил до нового перемета.

1961—1972

БЕЗ ШАБЛОНА

Я встретился с ним в кабинете редактора «Приокской правды». Он вошел расслабленной походкой, слегка волоча ноги,— модный серый пиджачок, бледный цвет лица...

— Знакомьтесь, завсектором печати обкома Бобров,— сказал редактор.— Кстати, он только из Ермишинского района, комиссию возглавлял.

— Не советую туда ехать — руководители не на высоте,— пренебрежительно заметил Бобров.

— Почему?

— Взяли всего пятьсот гектаров свеклы. А я им посчитал — тысячи две гектаров должны засеять. Вот и сейте. Так сопротивляются! Мне великих трудов стоило поломать их планы. До двух тысяч не дотянул, конечно, но повысил... С карандашом работать не умеют.

— А если им не под силу ваше задание?

— То есть как это не под силу?

— Нет людей, техники...

— Технику приспособят, людей найдут. Они обязаны.

— А если они все-таки не смогут поднять ваше задание, вы будете отвечать за ущерб хозяйству?

Он снисходительно посмотрел на меня, его тонкие блеклые губы тронула ироническая улыбка.

Я с детства знаю Ермишинский район, эти тощие подзолы, пески... Знаю и то, что соседний мощный Сасовский район на своих черноземах издавна выращивает сахарную свеклу. Но многие годы тысяча гектаров была пределом даже для сасовцев. И мне стало не по себе...

С того времени прошло два месяца, но этот человек не выходит из моей памяти. А вдруг он попал в территориальное управление, скажем, парторгом? Сколько вреда может принести подобный «карандашный» метод руководства!

И вот я выбираю Скопинское территориальное управление. Еду.

На втором этаже большого дома идет еще ремонт — перетирают стены, красят полы. А внизу уже работают новые руководители. Люди все опытные — специалисты. Начальник, А. Т. Макаров, агроном по образованию, заместитель его С. И. Кормилицын — зоотехник, парторг — Жидовинов М. И.— бывший секретарь Скопинского райкома.

Каждый из них в разговоре со мной уверял, что горит желанием работать по-новому, оценивая возможности каждого хозяйства конкретно, без шаблона. Все хотят не только наставлять, учить колхозников, председателей, но и учиться у них, постигать эту извечную суть животворной связи человека с землей.

Ну а что же колхозники? Как думают они? Что скажут председатели колхозов? Какие мысли, какие пожелания выскажут они своим новым командирам, желающим работать по-новому? Сами-то они хотят работать по-новому? Или как?

С этими вопросами я обратился к председателю одного из лучших колхозов области — «Красный горняк» — Якову Митрофановичу Савину.

— Нет, нет, для печати я заявлений делать не стану. Я уже выступал однажды. С меня хватит...

Видимо, у него есть на то свои причины, но я терпеливо жду.

У Савина я бывал и раньше, да и слышал о нем много; одни хвалили его за прошлые заслуги — комиссаром полка был, голова! Другие говорили: толковый предсе-

датель — колхоз из отстающих вытянул. Третьи ругали: консерватор, зазнавшийся хозяйчик!

Внешне он ничем не похож на бывшего бравого офицера — низкорослый, весь какой-то округлый, в мешковатом пиджаке, широченные брюки заправлены в массивные сапоги. Мужик, да и только!

Он родился и вырос здесь, поблизости от своего колхоза. Сколько лет упорного тяжелого труда отдал он родной землице! И не погнулся, не покривил душой, не спасовал. Мужик настоящий!

— Пусть нас поймут правильно,— отозвался наконец Яков Митрофанович,— ведь мы хотим жить лучше. И советы наши и пожелания даем не от досужего умысла, а потому, что проверили их своим опытом, на земле выстрадали.

— От чего же вы страдали?

— Все от того же самого. От безответственности, с которой отдавались приказы: сей тогда-то, паши эдак... А не уродится — весь спрос только с председателя,— он машинально пошарил в столе, видимо, хотел показать бумагу, потом досадливо поморщился: — Ведь когда промышленному предприятию дают приказ, он — это лицо, отдавшее приказ,— несет за справедливость его полную ответственность. Допустим, наш Скопинский угольный трест отдает шахте приказ закрыть лаву. Лаву закроют. Но если она закрыта несвоевременно, на лицо, отдавшее приказ, все шишки посыпятся. А у нас? Чуть только весна наступила — приказы: сей, и больше ничего! Сей хоть по грязи. А если после такого сева ничего не вырастет, с райкома или райисполкома как с гуся вода. Во всем виноват председатель колхоза. А только ли председатель? Вот в прошлом году у нас в районе устроили, так сказать, соцсоревнование по скорейшему завершению сева. И Красное знамя за это сулили. Я, конечно, в таком громком соревновании не участвовал. Меня прорабатывали, склоняли, грозили... Но отсеялся я в те сроки, что устанавливала сама природа, а не райком. И что же? Я снял по четырнадцать центнеров с гектара вкруговую, а колхоз «Новая жизнь», который попал на доску Почета за досрочное завершение сева, снял центнеров по шесть. В этом колхозе был самый низкий урожай в районе, зато он целое лето на доске Почета висел. Вот так и живем...

— Невесело,— сказал я.

— Какое уж там веселье! — он усмехнулся и головой

покачал.— И что это за детское стремление у некоторых руководителей? Непременно в этом году отсеяться раньше, чем в прошлом.

— Нелепость, конечно,— согласился я.

— Но эта нелепость порой слишком дорого обходится колхозу. Взять хоть «Новую жизнь». Ведь это неразумное соцсоревнование по севу оставило колхозников без копейки. Вот и выходит — больше всего пострадали именно колхозники. А если бы наказать руководителей района за такой ущерб колхозу, то впредь они, пожалуй, подумали бы, прежде чем отдавать приказ о досрочном завершении сева.

— Да, да...— киваю головой,— именно эта безответственность порождала просто какое-то приказное половодье.

— По любому пустяку пишутся эти приказы! — подхватил Савин.— Не смей и шага ступить без приказа. Сдавать коров нельзя — только по приказу председателя РИКа. Но почему? Разве он лучше меня знает, когда коровы упитаннее? Подходит февраль — приказ: покрыть столько-то свиноматок за текущий месяц. А если они не готовы к этому? Просто смех! Или дают задание — сдать в январе столько-то мяса. Почему же за месяц я должен сдать определенное количество мяса? А если у меня, к примеру, свинья не доросла? Я что же, надуть ее должен? Ведь надо же понять в конце концов, что скотина растет, нагуливается и нельзя же ее забивать до поры. Ведь не приказываем же мы сдавать хлеб в феврале! Так почему же я должен обязательно сдавать февральского телка? На забой? Надо создавать холодильники, склады для хранения мяса — резерв! И заранее планировать — когда чего вам надо. Хотя бы за полгода, за год. А не так — с бухты-барахты шарахнул приказ, и гони ему свиней или телят. Вынь да положь. Надеемся, что новые управления похоронят эту вредную замашку.

— Новые управления тоже будут присылать приказы,— возразил я.— Они же обязаны...

— Это мы понимаем! — живо отозвался Савин.— Но ведь они должны учитывать — у нас тоже головы на плечах. А потом... с каким желанием выполняются их указания. В каждом хозяйстве надо находить свои выгоды, устанавливать свои сроки.

Он встал из-за стола, подошел к пестрой раскрашенной карте земельных угодий колхоза.

— Вот посмотрите на этот аппендикс,— указал он ка-

рандашом на жирно очерченный изогнутый участок, похожий на рог буйвола.— Три года назад присоединили нам эти земли колхоза «Заветы Ильича». Поля эти расположены на буграх, земля песчаная. Мы и решили: сев начнем с этих полей. Послали туда трактора — они и завязли. В чем дело? Оказывается, что там очень высокие грунтовые воды, близко к поверхности подходят. Ну, как тут доказать иному уполномоченному, что сеять на этих буграх надо позже, чем в низинах? Ведь грунтовые воды не покажешь пальцем и сапогом до них не доковыряешься. Да я бы и сам раньше не поверил, если бы не утопил сам однажды трактора.— Он подошел к столу и, опершись ладонями о столешницу, подался ко мне: — Земля — дело сложное, живое. А у нас находятся деятели, которые берут карандаш, бумагу и с завидной легкостью доказывают, что двести центнеров свеклы с одного гектара лучше, чем, допустим, пятнадцать центнеров овса. Батеньки мои, какие открытия делают! Но во что обходятся эти двести центнеров свеклы? Под силу ли все это вовремя посеять, убрать, обработать? Кто этим должен заниматься? Какая техника, удобрения, возможности? Ну? Ведь свекла сама не вырастет! — Он заложил руки за спину и взволнованно заходил по кабинету.

Да, у нас еще бытуют такие представления о выгодности тех или иных сельскохозяйственных культур, которые легко укладываются в четыре действия арифметики. Я вспомнил обкомовского работника Боброва. На мой вопрос: «Как это вам удалось высчитать норму посева свеклы для ермишинцев?» — он ответил, как говаривал Хлестаков, с легкостью в мыслях необыкновенной: «А очень просто — на сто гектаров пашни следует отводить пять гектаров свеклы, двадцать гектаров кукурузы и т. д. Такую установку свыше дали...»

Напрасно втолковывать подобным людям, что это вовсе не установка, а пожелание оптимальной структуры посевной площади, к которой должно стремиться. Излишне доказывать подобным людям, что нельзя давать одну и ту же норму и слабому колхозу и сильному; и тому району, земли которого сплошь состоят из песков и подзола, и тому, у которого тучные черноземы. Бобров, к счастью, не попал в территориальное управление, и о нем можно было бы совсем не говорить. Не столько вредны подобные люди, сколько страшна та сила инерции, которая еще до сих пор порождает шаблонное мышление, шаблонный подход к делу. Нет ничего в сельском хозяй-

стве страшнее шаблона. Он принимает самые неожиданные формы, проявляется во всех сферах, начиная от гонки за досрочное начало сева, кончая выдвижением по службе.

Вспомнил я известного в свое время секретаря Сасовского райкома партии Кабанова. Этот «герой» отличился тем, что начисто разорил район, за что и был исключен из партии. Но как продвинулся он на пост секретаря одного из самых крупных районов? А вот как. Сидел он в маленьком Захаровском районе. И вот объявили: все на борьбу за высокие надои молока! Кабанов тотчас взял кредиты у государства и настроил кормушки, кормокухни, полы в стойлах. Первым в области! И пожалуйста — повышение.

Знаком мне бывший секретарь Ухоловского райкома Баскаков, крутолобый, скуластый, с властным взглядом жарких монгольских глаз. Он тоже отличился в прошлом году: первым завершил сев, первым сдал государству хлеб, первым поднял зябь... Но когда я спросил его: «Какой урожай зерновых в районе?» — он уже не так громко ответил: «Семь с половиной центнеров».— «А кукурузы?» — «Семьдесят»,— сказал он еще тише. Это на ухоловских-то черноземах! То самое Ухолово, что поставляло в стародавние времена отменную пшеницу в Австро-Венгрию.

А как был выполнен план по сдаче хлеба? А вот как: совхоз Войкова под нажимом Баскакова сдал восемьсот тонн сверх плана, совхоз «Восход» — пятьсот тонн — и этим покрыли все недостачи по колхозам. Итог — район на первом месте. А в совхозах — бескормица. Наступила зима — начался падеж скота. В одном только совхозе Войкова пало за январь месяц двести шестьдесят свиней. Были сняты с работы директор совхоза, парторг... А что же Баскаков? Он получил повышение — переведен парторгом в территориальное управление.

Нельзя сказать, чтобы в обкоме относились снисходительно к шаблону или очковтирателям, с ними ведут беспощадную борьбу. Но ведь и шаблонщики не теряются, они перекрашиваются, точно хамелеоны, под все новое, передовое.

Я высказываю свои соображения о Баскакове Савину. Тот останавливается и поднимает указательный палец:

— О, это артист! Вы знаете, какой лозунг выкинул он прошлым летом?

— Ну?

— Вспахать всю зябь в августе! На пленуме шумит, в обкоме: «Вызываю любого на соревнование!..» И все хлопают в ладоши. А я сижу и думаю: что ж ты заливаешь, голубчик? Какую же ты зябь поднимешь в августе? Из-под чего? Картошка еще в поле, кукуруза — тоже, и овощи еще до осени стоят... Так из-под чего же зябь? Из-под проса? Да мы его почти не сеем...

— И не выступили против?

— Нет,— Савин сел за стол и как-то растерянно развел руками.— Промолчал. Черт его знает почему. По привычке, что ли? — Он повел глаза в сторону и сказал глуше: — А может, просто побоялся.

Он снова поднял голову и посмотрел на меня с каким-то веселым удивлением:

— А еще есть у нас одна особенная черта: меры мы не знаем ни в чем, увлекаемся слишком. Вот запомнилась мне с войны речка Сотьма. Гнали мы немца сутки, другие, третьи... И счет потеряли. Подходит эта самая речка Сотьма. Ее и на карте-то нет. Воды в ней — гусю по колено. А тина, тина — не протащить орудий. Надо бы переправу наладить — все честь честью. Но уж тут и крикуны найдутся. Давай вперед! Чаво там! Крой до горы!.. Ну и поперли мы за эту речку, всю артиллерию оставили. Нас и встретил немец, как говорится, во всеоружии. Да такого нам перцу дал, что мы еле ноги унесли оттуда. И ведь вот досада, вместо того чтобы дать этим крикунам по шапке, мы опять при случае попрем вброд без переправы. Часто вспоминаю я эту Сотьму...

Помолчал немного, задумчиво выписывая каракули на чистом листе бумаги. Потом бросил карандаш, заговорил напористо:

— То же самое и в мирной жизни. Возьмите хоть наши луга. Теперь у нас в области любят говорить: «Мы смело идем в наступление на пойму». Нашли на кого наступать, мать-перемать,— длинно, заковыристо выругался.— Хоть бы посчитали, во что обходится подъем лугов. Каждый ли колхоз способен существующей техникой и своими кадрами обрабатывать готовые земли да еще поднимать новые? Хватает ли у нас в области техники для своевременной обработки существующих земель? Нет, не хватает. Обрабатываем ли мы землю в лучшие агротехнические сроки? Удобряем ли ее в необходимых нормах? Убираем ли без потерь? Нет, нет и нет. Шесть, семь центнеров с гектара по области в среднем — разве

это урожай для рязанской земли? Казалось бы, все силы нужно было бы сосредоточить на лучшей обработке существующей земли. Нет, у нас гоняются за новыми, причем под плуг идут знаменитые окские луга. Эх!..— только головой замотал.

Потом спросил меня, как главного виновника:

— Так неужто существующая земля способна давать только семь центнеров? Это та самая земля, что веками кормила Русь-матушку?! Да зачем ходить в прошлые времена? Возьмем наши лучшие хозяйства в области. Они снимают и по двадцать и по двадцать пять центнеров ржи и пшеницы с гектара. Нет, земля наша не брослая, в ней еще много силушки таится. Только руки нужно прикладывать к ней, да делать все с умом.

Вынул из кармана блокнот, полистал его:

— Вот вам пример. В позапрошлом году присоединили к нашему колхозу село Пупки. Жили в этом селе с давних времен свистушники, которые мяли глину и отвозили ее в Скопинские гончарные мастерские. Эта глина и давала им основные заработки. А к земле они были нерадивы. Про них у нас поговорка ходила: «Пупки опять сеют по пожару». «Сеять по пожару» — значит сеять по стерне, то есть по непаханой земле. Помню, был у нас второй секретарь Ерёв. Так он всю округу насмешил. Кто-то позвонил ему: Пупки сеют по пожару! Он вызвал пожарную машину да с колокольным звоном на всем газу влетел в Пупки. А там — тишина, нигде ничего не горит. В селе пусто, люди в поле — сеют. Так сбежались все, с перепугу...

После заразительного смеха вздыхает горестно:

— Но сеяли они скверно, прямо скажем. Больше семи центнеров никогда не снимали. И вот приняли мы их в свой колхоз — семьсот гектаров земли и четыреста тысяч долгов. Думали, что вниз они потянут нас. Земля запущена... Уродит ли? Принялись мы за эти земли: хорошо отсеялись, провели подкормку озимых, убрали все без потерь. И что же? По двадцать три центнера дала озимая рожь и пшеница — семнадцать центнеров. Оказывается, родит земля! Без особых затрат и капиталовложений мы примерно втрое увеличили доход с земли. Вот так-то...

Распахали мы и крыжи — плохие суходольные луга. Распахивали немного — всего сорок гектаров. Но сколько труда мы положили, сколько затрат? Пятнадцать дней держали на них только трактор... Там и дисковые

лущильники были, и кольчатые катки. Сначала мы изрезали луг, вспахали неглубоко, а потом еще и повторную вспашку делали. Наш колхоз — не слабое хозяйство. Но скажем прямо: поднять большое количество лугов и освоить их по-хозяйски и нам не под силу. А что же говорить о хозяйствах слабых, отстающих, которым планируют поднимать сотни гектаров? Самое большое, что они смогут сделать,— это поставить, как говорится, дернину на ребро.

— Да, да,— я согласно киваю, и нерадостные мысли теснятся в голове, и столько воспоминаний нахлынуло на меня, связанных с заливными сказочными лугами...

В кабинет вошел парторг колхоза Алимушкин, молодой парень, высокий и ладный, светловолосый, синеглазый, в синем френче. Весь он светился какой-то неосознанной радостью, здоровьем, силой. Принес он на подпись наряды. Яков Митрофанович надел очки, стал просматривать наряды. А я погрузился в свои раздумья.

Все доводы в пользу распахивания лугов сводятся у нас сплошь и рядом опять к этим пресловутым четырем правилам арифметики: берут карандаш и бумагу и подсчитывают за столом — с одного гектара распаханных лугов можно получить триста центнеров кукурузы... И — вперед в наступление на луга!

Но вот как-то совсем недавно попала мне в руки старая книжка — статистика по Рязанской области. Я прочитал ее и ахнул: в прежние годы коров в области было значительно больше, чем теперь. А лошади? Их было еще больше, чем коров. Никакой Америке и не снилась такая плотность скота. И весь этот скот кормили знаменитые окские луга. И сено, отменное сено, возили отсюда и в Москву и в Питер... По шестьдесят, по семьдесят центнеров такого сена снимали с одного гектара заливных лугов. Это равнозначно тридцати с лишним центнерам зерна! На какой пашне снимешь столько кормовых единиц? И все это даром давалось, ни пахать, ни сеять не нужно. Так вместо того чтобы держать в сохранности эти луга, как бесценный дар природы, у нас их распахивают, спускают озера, понижают уровень поверхностных и грунтовых вод и губят травостои. За тридцать лет нигде не проводили ни подсева трав, ни чистки лугов от кустарников и сорняков.

В прошлом году был я в Окском заповеднике. Заместитель директора по научной части Владимир Порфирьевич Теплов, суетливый, сердитый с виду, но добрейший

по натуре человек, сокрушенно вздыхал и жаловался:

— Что делают с лугами? Что делают? Губят, губят луга... Вы бывали в Ерахтуре?

— Конечно.

— Озеро, знаменитое Ерахтурское озеро спустили!

— Не может быть!

— И остальные озера поспустили... Все, все озера погубили.

— Зачем же спускают озера?

— Болота осушают. Но вместо того чтобы делать дорогостоящие дренажи, они определяют уклон на местности и соединяют болото глубокой канавой с ближайшим озером, а то озеро с другим, третьим... и так до самой реки. И все озера спускают, понижают воду. Понимаете, удобно и быстро получается: озера стекут и болото осушится. Вот и план выполнен и скоро и «дешево». А то, что гибнут луга от понижения поверхностных вод, подсыхает земля, наступают пески на бывшие травостои, уходит дичь с обезвоженных лугов, исчезает рыба... До этого никому дела нет.

Я видел эти страшные канавы на лугах, которые, точно черные удавы, оплели и соединили голубые тела озер, иссушили их, выпили животворную воду — и поблекли, порыжели окрестные холмы; и там, где были когда-то густые шелковистые травы, пробиваются изжелта-белесые проплешины земли.

— Неужели вы не понимаете, что губят луга? — обращался я и к рядовым колхозникам, и к председателям колхозов.

— А кто нас слушает? Что мы сделаем? Нас никто и во внимание не принимает. А ведь луга-то наши! Вон, говорят, Генералов, из Луховиц, тот не дает свои луга в обиду.

Да... Генералов до самой смерти никому не позволил ни распахивать свои луга, ни губить озера на них. Это был хозяин.

А вот бывший секретарь Пителинского райкома Г. Д. Рыбаков с олимпийским спокойствием взирал на то, как районная ЛМС спустила десятикилометровую цепь озер от села Савры, через Ирши, Кулму к устью реки Мокши.

— Мы осушили Мочильское болото,— говорит он с достоинством.

Но что при этом обезводили тысячи гектаров лугов, а сотни засорили и бросили, об этом он умалчивает.

— Да, да, плохие луга стали,— соглашаются в Пителинском райкоме,— не то что в прежние времена.— И тут же решительно добавляют: — Пахать их надо. Новые земли осваивать...

В этой азартной погоне за новыми землями у нас запускают, а то и попросту бросают земли освоенные. Таких заброшенных земель по Рязанской области насчитывается шестьдесят три тысячи гектаров — площадь целого административного района.

Примерно столько же распахано лугов. То есть фактически-то площадь пахотных земель почти не прибавилась. Так если бы все эти огромные затраты, что пошли на подъем лугов, вложить в существующие пахотные земли, насколько бы они повысили урожайность? Да и луга сохранились бы. Миллиарды затрачиваются государством на мелиорацию, а уже освоенные земли засоряем кустарниками и списываем их. Пусть посчитают теперь — во что обходится кукуруза с распаханных лугов.

Да-с, простейшие действия арифметики не всегда безупречны в таком сложном и живом деле, как сельское хозяйство.

Я вовсе не стараюсь бросать камешки в огород к одному какому-нибудь областному или районному руководителю. Если бы все сказанное относилось к одному деятелю, то и трудов особых не стоило бы выправить положение. Беда в том, что у нас укоренился скверный принцип — в трудном положении искать выход на стороне. Мы начинаем гоняться за тем, что кажется нам взять попроще, полегче, что лежит поближе. Отсюда и набрасываемся то на лес, то на луга... Новые земли! Как будто бы на новых землях порядок будет другой? Ведь через два-три года новые земли становятся старыми. А дальше что? Опять начинай все сначала?

...Наконец Савин покончил с нарядами, снял очки и обернулся ко мне:

— Так на чем мы с вами остановились?

— На разновидностях шаблона.

Савин засмеялся. Алимушкин, заинтересованный, присел у стола и не уходил до конца нашей беседы.

— Да, шаблон нас везде подстерегает,— Савин, собираясь с мыслями, потер своей широкой ладонью лоб, пригладил светлые, изреженные на залысинах волосы.— В нашем деле ко всякой культуре, сулящей, казалось бы, бесспорную выгоду, надо подходить разумно. Тут необходимо помнить поговорку: семь раз отмерь — один

отрежь. Я отлично понимаю, что свекла и кукуруза — мощные культуры. Но я не хуже знаю и другое — эти культуры наиболее трудоемкие, тяжелые, так сказать. И брать их нужно соразмерно своим силам, иначе можно попросту надорваться и погубить все хозяйство. Говоря образно, я бы сравнил по экономичности кукурузу и свеклу с гидроэлектростанциями,— и с выдержкой посмотрел на меня и на Алимушкина.

Тот не выдержал, заерзал на стуле, виновато усмехнулся:

— Шутите, Яков Митрофанович.

— Нет, не шучу... В самом деле, гидроэлектростанции значительно экономичнее тепловых, энергию они дают самую дешевую. И все-таки мы отдаем сейчас в строительстве приоритет тепловым станциям. Почему? Да потому, что их можно быстрее и легче строить, то есть пока они нам более под силу, чем гидроэлектростанции. Вот так и в нашем хозяйстве следует; конечно же мы понимаем, что свекла — культура мощная. Но для нее у нас нет не только уборочной техники, но даже сеялок. А удобрения? Разве можно свеклу сеять по неудобренной земле? Нельзя. Навоз тут не годится. Птичьего помету у нас мало. А минеральные удобрения достать трудно. Для свеклы нужны азотистые удобрения, аммиачная вода. Но их нет. Стало быть, удобрять приходится кое-как. Обрабатывать тоже кое-как, да все вручную. А много ли мы можем гектаров обработать вручную? Вот мы и посчитали, что у нас при урожае сто центнеров с гектара свекла дает убытки. Свекла прибыльна только при урожае в двести центнеров. Максимум, что мы сможем обработать наличной техникой и людьми,— это шестьдесят гектаров. А уже в будущем году мы планируем — двести. Через три-четыре года осилим еще больше. Не надо нас подстегивать. Создайте стимулы, а уж мы сообразим: что выгодно, то и сделаем.

— А как же план? — Алимушкин глянул на меня, хотя спрашивал Савина.

— Да выполним план! — раздраженно ответил Савин.— Не о том речь. Я говорю, что пока разумнее в нашем хозяйстве иметь, так сказать, переходные культуры, вроде тех же тепловых станций! Ну, более сподручные, что ли. Возьмем, к примеру, люцерну. Она дает нам очень хорошие урожаи — шестьдесят центнеров берем мы с гектара. И это при полном отсутствии затрат на пахоту и сев. Да еще кое-что получаем и со второго укоса.

Это же составляет три тысячи кормовых единиц. Право же, неплохо. Посеял один раз за восемь лет и снимай урожаи. Конечно, если бы у нас было в достатке техники и рабочей силы, мы бы с радостью отказались от люцерны и все бы свеклой засеяли. А сейчас увеличивать посевы свеклы — значит принести в жертву урожай пшеницы, ржи, яровых, картофеля. Но мы не можем этого делать, ибо сразу пойдем под гору, превратимся в отсталый колхоз. Ведь ясно же — не торопитесь вы со свеклой да с кукурузой.

— От кукурузы мы не отказываемся,— предупредительно заметил Алимушкин.

Савин поморщился:

— Да мы и от свеклы не отказываемся, мы засеваем ее столько, сколько способны обработать. И от люцерны мы не отказываемся не потому, что она выгоднее свеклы, а потому, что в данный момент она нам сподручнее и дает возможность сводить концы с концами. Или возьмем другую культуру — горох. Нам приказывают засеивать им огромные площади. Но мы сейчас не готовы для этого; засеять-то мы засеем, а вот убрать вовремя не сможем. Дело в том, что горох в чистом виде, созрев, очень быстро ложится, и убирать его приходится вручную. А чуть перестоял — и осыпается... Раньше мы сеяли пятьдесят гектаров, а теперь планируют нам двести. Но мы имеем всего лишь две косилки однобрусных с подъемником для уборки гороха. Производительность такой косилки — всего четыре гектара. А вручную мы просто не сумеем убрать — сил нет. Мы просим вот что: разрешите сеять нам горох вместе с овсом. Такой горох устойчив, убирать его легче. Но нам не позволяли. Сей чистый горох, да и только! Так в наставлении числится. Что это, как не шаблон?

Не легче дела обстоят и с кукурузой,— продолжал Савин.— Эта культура имеет много сортов: для каждого пояса надо приспособить определенный сорт, наиболее выгодный для данных почвенно-климатических условий. Мы считаем, что для нас самый подходящий сорт — Буковинская 3. Эта кукуруза дает высокие урожаи початков и стебля. Но нам завезли Одесскую и Воронежскую 76, сорта чисто зерновые. Правда, у нас в области сейчас пропагандируют посев кукурузы в холодную землю парафинированными семенами. Этот метод посева позволяет и у нас выращивать кукурузу на зерно. Казалось бы, все чудесно, получить кукурузное зерно в Ря-

занской области — дело невиданное. Но выгодно ли нам, в нашем хозяйстве выращивать кукурузу на зерно? Нет, не выгодно. Известно, что наиболее выгодное использование кормовой кукурузы не в полной спелости, а в молочновосковой, то есть когда можно использовать и початки, и стебель. Сухое зерно в початках дает меньше кормовых единиц. Так зачем же мне в Рязанской области выращивать на зерно одесский сорт? Ну, созреет у меня зерно. Как я буду убирать початки? Ведь нужны специальные машины, а у меня их нет. Опять вручную? Но где взять эти лишние руки? Допустим, уберу я всетаки эти початки без потерь. Где хранить их? В силосных ямах нельзя, амбаров специальных нет. Предположим, построю я даже амбары, что сделать в настоящее время весьма и весьма трудно. Ну, построю... Буду хранить в них початки кукурузы полной спелости. А для чего? Для корма. Но ведь абсолютно ясно, что початки и стебли кукурузы, вместе взятые, дают больше кормовых единиц, чем сухое зерно. Зачем же городить огород? Зачем такой большой ценой, зачем крайним напряжением сил гоняться за призрачной выгодой сухого кукурузного зерна и отбрасывать при этом более простой и экономичный метод выращивания стеблей и початков? А ведь меня заставляют сеять кукурузу на сухое зерно и слушать не хотят моих возражений. Что это, как не шаблон?

— Шаблон! — Алимушкин хохотнул и глянул на председателя, как бы и его приглашая посмеяться, но тот оставался хмур, и веселое настроение у парторга мгновенно улетучилось, и улыбку с лица как водой смыло.

— Или вот еще пример,— сказал Савин.— Давно ли нам приказывали строить силосные башни, бетонные траншеи, ямы? А вот в прошлом году у нас хорошо уродилась кукуруза на большой площади. Начали мы возить ее к фермам за двенадцать — четырнадцать километров и закладывать в траншеи на силос. Не хватает машин — не успеваем. Уборку кукурузы затягиваем. Тогда и решили: силосовать в открытую, прямо тут же, в поле. И что же? В бетонных сооружениях силос оказался намного хуже, чем полевой. С нынешнего года мы заваливаем все ямы и траншеи. Но сколько одних приказов получили мы на их сооружение? И попробуй я откажись от них лет пять назад? Меня бы, пожалуй, и с работы сняли.

— Это уже точно, сняли бы! — опять весело подхватил Алимушкин и хлопнул себя ладонью по коленке.

— Все эти примеры я привожу для того, чтобы подчеркнуть простую, но очень важную мысль: каждое хозяйство требует к себе конкретного подхода, а не руководства вообще, по известным образцам.

— Яков Митрофанович, мы с вами ведем разговор все о хозяйстве, о лугах да о земле. А люди? Условия труда, оплаты? Ведь это же главное?

— Конечно, конечно! — он подался ко мне, навалившись грудью на стол, протянул руку, легонько толкнул меня в плечо.— Все дело в оплате труда колхозников. Ведь на каждой фабрике, на заводе, в учреждении ли, что является началом всех начал? Зарплата, расчет с рабочими и служащими. Если даже план срывается, находят виновных, кого-то наказывают, но рабочим выплачивают все сполна, и за простой платят. Сначала расчет с рабочими, а потом уж покупка новых станков, ремонт старых, закупки сырья и прочее.

А в колхозе как поступают? Сначала рассчитываются с государством, потом покупают технику, потом ремонтируют, потом с долгами рассчитываются, потом... В конце года, что останется, платят колхозникам. А ничего не останется, так и вовсе ничего не платят.

Вообразите себе на минуту, что будут делать рабочие или служащие, если им несколько месяцев не выплатят зарплаты? Разумеется, они не пойдут работать на фабрику или в учреждение, а станут себе добывать средства на пропитание всяческими путями. То же самое примерно делают и колхозники в тех колхозах, где им не платят или платят очень мало. Отсюда все грехи идут: спекуляция, злоупотребления приусадебными участками и все прочее. Ну, сколько лет это длится? И все одно и то же, одно и то же...

Алимушкин опять оживился:

— Да я как помню себя, почитай с тридцать седьмого года, в нашем селе...— я родом из соседнего района,— это он мне пояснил,— почти ничего не платят. Одни палочки пишут.

— Причем многие горе-руководители распоряжаются колхозными деньгами, как им бог на душу положит. Вот у нас по соседству в колхозе «Новый путь» был председателем Калинкин. Колхоз имел сорок тысяч задолженности за работу трактористам. Так вместо того чтобы выплатить эти деньги колхозникам, Калинкин ку-

пил на них себе «Волгу». Да что там говорить! — Савин даже привскочил со стула и быстро зашагал по кабинету. С минуту он молчал, сухо, взволнованно покашливая, наконец сел за стол: — Эх-хо-хо! Крутишься, вертишься и так и эдак... Но вот колхоз пошел в гору. Доходы его растут из года в год. А как заработки колхозников? Их, как правило, замораживают, а то и понижают. Разве ж можно так делать? Тогда пропадает весь стимул к развитию хозяйства у колхозника. В самом деле, зачем ему стараться к дальнейшим накоплениям артели, если заработок его не растет?

— У нас-то, допустим, растет,— возразил Алимушкин.

— Да я не о себе... Вот в нашей печати много спорят о том, какая оплата выгоднее — денежная или смешанная? И тут надо подходить к каждому хозяйству по-особому. Возьмем, к примеру, наш колхоз «Красный горняк». На территории колхоза в селах живут 1126 человек, которые работают на заводах и шахтах. На нашу же долю остаются в основном домохозяйки, старики, девчата. Мы не переходим на полную денежную оплату. Почему? Да потому что наши заработки несколько ниже заводских заработков. Представьте, что две сестры работают — одна на заводе, другая — у нас, в колхозе. В конце концов одна принесет домой восемьдесят рублей, вторая — сорок. Несоответствие. Вот поэтому мы и выплачиваем на трудодень часть деньгами, часть хлебом. Хлеб в какой-то мере выравнивает эту разницу, и колхозники вообще привыкли иметь свой собственный хлеб. Отчего же мы будем лишать их этого удовольствия? И тут нам ставят палочки в колеса. Не смей выдавать зерно колхозникам! Почему?

— А мы выдаем! — озорно воскликнул Алимушкин.

— Мы считаем, что очень важно выплачивать все то, что обещали. В начале года мы наметили платить на трудодень по шесть рублей, то есть шестьдесят копеек. Подошел конец года — посчитали, если мы заплатим по шестьдесят копеек, то на новый год перейдем почти без денег; а если дадим по пятьдесят копеек, то у нас останется в резерве двадцать две тысячи рублей. Но мы все-таки выплатили так, как намечали, да еще по 2,2 килограмма хлеба дали. Зато колхозники верят нам, они знают, что мы на ветер слов не бросаем, поэтому и работают все дружно,— Яков Митрофанович потянулся ко мне через стол и начал энергичным коротким взмахом

руки сопровождать каждую фразу, словно рубил их, подчеркивая важность каждой мысли: — Мы часто говорим теперь о дополнительной оплате. Но к чему дополнять-то? Надо сначала решить вопрос об основной оплате. Решать это нужно без промедлений. Либо один раз в месяц, либо раз в квартал колхозники должны получать необходимые средства, хотя бы вроде прожиточного минимума. А в конце года — дополнительная оплата, окончательный расчет. Тогда колхозники станут работать на полях, а не бегать по рынкам. Но чтобы дать возможность колхозам рассчитываться с колхозниками, следует узаконить долю доходов для распределения между колхозниками. Надо платить, по нашему мнению, процентов тридцать — сорок от общего денежного дохода артели и еще хлеба давать. Нужно сделать специальное постановление, чтобы в этот зарплатный фонд не запускали руку люди вроде Калинкина. Пусть колхоз, то есть сами колхозники, распоряжается продуктами своего труда.

— Что же мешает этому?

— Что же мешает? — удивленно переспросил Савин.— Да все мешает. Все! И особенно — план заготовок. Что ни уродится, что ни произведем — все должны сдавать туда. Выгодно нам или нет, нас не спрашивают. Нужно установить хотя бы на пять лет для колхозов твердую меру обязательной продажи государству сельхозпродуктов. А все остальное должно поступать в сельпо и на рынок для продажи на местах. Это позволит окрепнуть колхозам экономически, встать на ноги. И еще одна задача — надо бы для слабых колхозов отпускать технику и запчасти в кредит. Ведь им просто не за что зацепиться, чтобы подняться на ноги. Техника и ремонт слишком дороги для них — они съедают все их доходы. А без техники слабому колхозу невозможно изменить структуру посевных площадей, чтобы сделать ставку на сильные культуры. В самом деле, капитальный ремонт трактора обходится для колхозов почти в пятнадцать тысяч рублей, а новый стоит всего на пять тысяч дороже. При таких ценах трудно подняться слабому колхозу. Знаете старую поговорку? Не гони коня кнутом, а гони его овсом. А ведь мы все кнутом гоним. Ох-хо-хо! Упадет наш конь... Тогда и овес не поможет...

Невеселый вышел у нас разговор, что и говорить. Не надстройка интересует Савина, как пишут ученые-марксисты, а самый что ни на есть базис. А этот базис — увы — пока не изменился.

Подобные разговоры я слышал не в первый раз. В марте заезжал я в Спасский райком. Грузный, медлительный секретарь райкома Сергей Сергеевич Кагаков развернул передо мной отчетно-финансовую ведомость колхозов:

— Вот смотрите — вся наша картина здесь как на ладони. Двадцать шесть с половиной миллионов долгов! Фактически только три колхоза имеют счета в банке. Эти еще могут жить. А у остальных счета арестованы, закрыты. Банкроты они. Им даже веревку не на что купить, не то что за работу платить. Четыре миллиона задолжали мы колхозникам за работу. Еще за позапрошлый год расплатиться не можем. Таковы дела...

Устало глядели его умные зеленоватые глаза. В Спасском райкоме он второй год. Прислали его поднимать разоренный район.

— Не пытаетесь поправить свои дела за счет Окской поймы? — спросил я его.

— Что пойма?! — он махнул рукой.— Планируют нам поднять четыре с половиной тысячи гектаров лугов. Так мы же существующие пашни обработать и удобрить как следует не сможем. Сил не хватает! Хорошее удобрение — торф. И много его. Но чтобы взять его, нужна техника. А у меня только в одном колхозе есть всего одна бульдозерная навеска и ни одного погрузчика. Семьдесят — сто тонн торфа нужно на гектар пашни! Ведь голыми руками его не возьмешь. И не больно стараются эти руки. Платить надо, а у нас нечем. А что и появляется, все съедает ремонт техники и покупка запчастей.

— Какой же выход?

— Долги снимать нужно с колхозов... Ведь они, эти долги, остались еще с той печальной памяти поры, когда три плана по мясу сдавали. Мясо-то государству пошло, а долги колхозам остались. Ведь дают же совхозам деньги в счет оплаты долгов, а колхозам почему не дают? Хоть бы отпускали нам деньги для оплаты работы колхозников. Тогда бы и колхозники работать стали, а то они у нас огородничают, торгуют овощами.

— И много огородников?

— О, сколько хочешь! Особенно те, что живут поближе к большим дорогам. Талантливый народ! Вот чуть только весна проклюнется, а у них уже огурцы появятся, капуста, а там и помидоры. Парники свои имеют. И везут овощи в Рязань, в Москву. Жить-то надо! Пробовали мы бороться с этой торговлей — запретили на

станции сажать в вагоны с овощами. Они на пароходы. Мы оцепили пристань. Так они стали такси из Москвы вызывать, прямо с рынка. Сложатся человек пять-шесть, нагрузят полный кузов и айда в столицу... Попробуй задержи такую машину. Не положено! Торговлю столичного рынка подрываешь. Х-хе! — Он смеется, покачивая головой: — А молодцы, черти! Право, молодцы...

Пробыл я у него несколько дней... На прощанье съездили мы «на гору», как говорят в Спасске, то есть на противоположный высокий берег, на место старой Рязани.

Стоял солнечный день. Знаменитые рязанские валы тускло и холодно поблескивали, словно латами, отшлифованным на ветру снежным настом. Отсюда, с крутояров старой Рязани, далеко-далеко видна была эта древняя русская земля — рыжеватая в пойме от камыша и осоки, торчавших из-под снега, и уже почерневшая на окских взъемах, обнаженная, жадная до солнечной ласки, ждущая летучего непостоянства дождя и такая туманная, дремотная на горизонте, окаймленная изреженной щетиной синеватого леса.

Земля ждала прихода новой весны.

Апрель 1962 г.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЗЕМЛЕ

Помнится, осенью пятьдесят четвертого года приехал я в колхоз «Пограничник», расположенный на берегу Уссури.

После сильных заморозков с ветреными звонкими зорями вдруг потеплело; с востока низко повалили рыхлые пеньковые тучи, наполняя воздух запахом сырости. Земля оттаивала медленно, верхний глинистый слой налипал на ноги. Повсюду было грязно, скользко, неприютно...

В жестких, как из толя, брезентовых плащах мы шли с новым председателем колхоза А. Дробышевым на дальнее картофельное поле, под сопки. Скользкая бугристая тропинка бежала вдоль рисовых полей, пересекая глубокие обводные канавы, наполненные водой. Рис стоял неубранным. Мы проходили мимо этих мест молча, стараясь не глядеть друг на друга. И странное дело, видя эти желто-бурые метелки риса, косо полегшие к земле, я чувст-

вовал непонятную неловкость, близкую к ощущению собственной вины.

К картофельному полю мы подошли уже в сумерках. Дробышев нагнулся и подал мне тяжелую, холодную картофелину:

— Полюбуйтесь! Чистый камень.

Я колупнул ее ногтем. Картошка была мерзлая.

— Сколько здесь?

— Почти сорок гектаров прахом пало. И какой картошки! — Дробышев повернул ко мне угловатое, словно вырезанное из дерева лицо.— Колхозники ее выращивали, понимаете, колхозники! А сгубили уполномоченный из райкома да директор МТС.— Дробышев выругался и сердито запахнул полу плаща.

— Почему же колхозники молчали?

— Да кто их слушает! — С минуту Дробышев насупленно молчал.— Приезжал тут из райкома один руководитель возглавить, так сказать, трудовой процесс. Вызвал директора МТС: «Выкапывай всю картошку!» Тот с радостью. А колхозники зашумели: «Нельзя всю сразу... Вдруг мороз?», «Темпы нужны!». Пригнали трактора и пошли ворочать. Один деньги зарабатывал, другой план на бумажке выполнял. А тут мороз и ударил. Те сели да уехали. А колхоз без картошки остался. Это не работа, парень, а суета сует. Каждый начальник гнет свою линию... Как у нас говорят, «икспиримент»...

С той поры частенько вспоминается мне это нарочито искаженное слово.

Казалось бы, стоит ли сейчас писать о подобном «стиле» руководства?.. И, возможно, люди, о которых я говорю, скажут: «Зачем ворошить старое?» Но «я повторяю прежнее опять», как сказал поэт, для того, чтобы разобраться, в чем же суть этих ошибок.

Беда заключается в том, что иные руководители путем несложных расчетов за столом и последующим распоряжением пытаются враз «выправить положение». Однажды на летучке в одной областной газете я слышал, как редактор толковал о методах внедрения нового:

— Сначала показываем, а потом приказываем...

Чаще всего такой «показ» происходит где-нибудь на областном или районном слете, совещании, с трибуны. И тут же с этой трибуны следует «указ», который впоследствии рассылается под расписку. Но ведь область не огород: то, что полезно на одних полях, недопустимо на

других. Между тем эти указывающие методы похожи друг на друга, как слепки с одной и той же болванки.

Да, такие, с позволения сказать, методы руководства осуждены. Но горький опыт учит нас: бюрократы не перековываются от одного только постановления. В 1955 году, например, было принято постановление против шаблонного планирования сверху. Постановление есть закон. Прошло десять лет. И что же? Далеко не все выполняли его. У некоторых деятелей методы ничуть не изменились. Словно угольная пыль, впитались они в поры эдакого «ответственного» лица, и нужно долго парить его в бане, да с веником, чтобы толк вышел. А иного и баня не возьмет.

Ведь в том-то и заключается бюрократический парадокс, что неблаговидные «икспирименты», приносящие ущерб хозяйству, чаще всего сходят с рук экспериментаторам, а расплачиваться за них приходится другим людям. Вкус к подобным экспериментам прививался в старомодные времена. Постановили, например, в сорок седьмом году на февральском Пленуме пахать только на двадцать — двадцать два сантиметра. И пошла машина! Пахали всюду одинаково глубоко — и на черноземах и на подзолах.

Заехал я в родные места на Рязанщину.

Когда-то здесь были такие хлеба, что «не только пешему, конному с головкой было». Знакомые Полянские бугры... Но теперь трепыхались на ветру пепельно-серые, истонченные ржаные былинки.

— Что вы с землей-то сделали? — спросил я в правлении колхоза «Красное знамя».

— Землю мы, брат, похоронили, а «дедовский навоз» подняли,— отвечали мне с едкой усмешкой.

«Дедовским навозом» мужики называли песок, подстилающий верхний плодородный слой, а этот слой был здесь тонким — не более четырнадцати сантиметров,— и вот его запахали, завалили песком.

— Приказ такой был. Заставляли...

Об этом постановлении вспоминают лакашанские колхозники, хотя село Лакашь отстоит от Высоких Полян почти на двести километров,— порядки были те же.

— Особенно лютовал бывший секретарь райкома Мишин,— говорил агроном Г. Н. Абрамов.— Взлезал на трактор, отпускал лемеха, по самую раму сажал. Лет пять почти не родили поля. Да и теперь не густо. Не так-то просто выправить...

Давно уж нет ни МТС, ни сельских парткомов, а неразумные эксперименты все еще бродят по земле нашей, и порой уж с веселым безразличием встречают в деревнях это манерное чужое слово и посмеиваются над ним.

А как отражаются подобные эксперименты на колхозах? Какими путами долгов связывают они по рукам и ногам председателей?

Кому не памятен громкий эксперимент, окрещенный «рязанским чудом»? В создании этого «чуда» принял посильное участие и бывший секретарь Спасского райкома КПСС П. А. Марфин. Он выполнил три с половиной плана мясопоставок, пустил под нож даже телок, на многие годы подорвал экономику хозяйств. Потом оказалось, что район надо «поднимать». Марфина отправили на учебу, а на его место прислали С. Кагакова.

Впервые с Кагаковым я познакомился заочно. Осенью пятьдесят девятого года в Пителинском райкоме я слушал областную радиоперекличку. Один из «волевых» руководителей железным голосом отчитывал Кагакова за то, что тот «не перевыполняет», «не изыскивает» и т. д. и т. п. На всю область гремел этот гром, и каждый слушал и думал: «Какой, в самом деле, нерадивый этот Кагаков». И в пример ему ставили все того же Марфина, который «перекрывает», «болеет за честь области», «тянет на буксире». А спустя полгода все изменилось. Новодеревенский район, которым руководит Кагаков, оказался передовым: там сохранился скот и по молоку и по мясу выполнялись планы, которые уже не под силу были разоренному Спасскому району. И вот Кагакова перебросили в Спасск поднимать район.

В Спасском райкоме бывал я частенько. Помню, весной шестьдесят второго года Сергей Сергеевич Кагаков показал мне отчетно-финансовую ведомость колхозов района: двадцать шесть с половиной миллионов рублей задолжали колхозы!

Туго у него шли дела, туго. Долги не уменьшались, оплата труда в колхозах была тогда грошовая, и, естественно, колхозники работали плохо. Лето было трудное, дождливое... А тут еще влился в Спасское управление Ижевский район, где было много и неудачно распахано заливных лугов (подробнее об этом я расскажу ниже).

Подошла осень. Кукуруза вымокла, свекла утонула, многие распаханные луга и засеять не смогли: началась бескормица, падеж... За зиму пало по управлению 2667

голов крупного рогатого скота, да овец более четырех тысяч, да свиней столько же. И Кагаков «ушел в отставку».

А что же Марфин? Он уже возвратился с учебы на работу в обком и начинал, как говорится, по второму кругу.

— Павел Андреевич, вы не чувствуете своей вины перед Кагаковым? — спросил я Марфина.

— Такой неприятный разговор вести отказываюсь. Обращайтесь к секретарю обкома.

Что и говорить, разговор неприятный. Но за спину секретаря от него не спрячешься.

В Спасском парткоме теперь новый секретарь... А долги все те же. Но показывает мне финансовую ведомость уже не Кагаков, а главный бухгалтер Спасского управления В. Козлов.

— Смотрите, почти тридцать колхозов в долгах...

Даже в крепких хозяйствах управления дела были далеко не блестящие. Вот ведь как трудно обрести устойчивость после этакого экспериментального «рывка».

— Связывают нас по рукам и ногам,— пожаловался в беседе со мной председатель колхоза «Большевик» Г. Юрис.— У нас такие пойменные луга, пастбища! Коровы вон ходят, словно буйволицы. Разводить бы только коров. А нам свиней планируют две тысячи голов. Да они съедят нас!

— Требуйте ликвидации свинофермы.

— Да я на коленях умоляю: зерна нет, картошки не хватает, заберите от меня свиней... Держи, и все тут. Или покупай эквивалентное число коров. Но не могу же я их сразу купить: во-первых, денег нет, во-вторых, дворы надо строить. А раз так, держи свиней. Для отчетности.

Юрис достал из стола какие-то бумаги.

— Раньше нам давали план засыпки семян общий, а теперь по культурам. Будто мы сами не знаем, чего сколько засыпать. Или вот, приказали нынче: засыпай сто восемнадцать тонн яровых. Зачем? Нам столько не потребуется семян. Говорят, другим, мол, понадобится... Приезжал к нам однажды инспектор-организатор, составили акт на кукурузу: сколько на силос пустить, сколько пропало — перепахать. Видите, как заботятся о нас? — Юрис иронически улыбнулся.— И каких только планов нам не шлют! И чего сеять и когда — все расписано. И думать не надо, только выполняй. Вот мы и выполняем: сеем рожь по ржи, пшеницу по пшенице. И снимаем по пять центнеров с гектара, Уродуем землю.

— Протестовать надо!

— Куда же писать протест? — усмехнулся он.

— А чего им протестовать? — заговорили колхозники. — У председателя неурожая не бывает... И у тех, из управления... Оклады! Им ветер в спину.

— Надо, чтоб и они получали от урожая. Вот тогда они почешутся...

— Вон агроном только что приехал из парткома. Поговорите с ним.

Агроном А. Полетахин долго хмурился и рассказывает нехотя:

— У нас план — посеять озимых тысячу гектаров к 25 августа. В партком вызвали: почему не сеете? А я спрашиваю: по чему сеять? Пары-то заняты. Вы же приказали на парах посеять кукурузу, да свеклу, да картошку. Что же теперь, запахивать их?

— А яровые?

— Сколько у нас яровых-то? Гороха сорок гектаров да бобов примерно столько же. Гречиха вон не созрела. Что же запахивать, спрашиваю, кукурузу или свеклу? Толку от них все равно мало. И слышать не хотят. Опять пшеницу по пшенице заставляют сеять. Значит, и на будущий год без зерна останемся.

— А кукуруза почему не уродилась?

— Планируют ее больно много. Не под силу нам: почти полтыщи гектаров. Да половина в пойме. А мы в пойму нынче до середины июня залезть не могли: вода.

— А луга-то приказали перепахать... — это уж не Полетахин, а пожилой колхозник говорит и смотрит на меня сердито. — Второй год посеять там ничего не можем. Прахом пошли! А по соседству луга дают нынче по сорок — пятьдесят центнеров сена. И даром!

Собравшиеся в правлении колхозники бурно выражают свои чувства. А мне вспоминается недавнее увлечение еще одним экспериментом — перепашкой окских лугов.

Кому не ясно, что луга бывают разные: и богатые и малопродуктивные, запущенные, «выбитые», так сказать. Спору нет, такие «выбитые» луга надо распахивать под зерновые или овощи либо снова залужать, засевать травами. Мещерская зональная опытно-мелиоративная станция показала пример такого разумного использования Окской поймы. Она распахала участок высокого уровня грунтовых вод и получила по триста два центнера зеленой массы кукурузы.

Получил в пойме в минувшем году по двести центне-

ров зеленой массы кукурузы и совхоз «Пролетарский». Да, умело распаханная и обработанная пойма может давать высокие урожаи. Но чего это стоит, сколько вложено труда и удобрений в распаханную пойму, видно на примере той же опытно-мелиоративной станции. Участок они взяли сравнительно небольшой — около сотни гектаров. Сначала по всем правилам агротехники изрезали пласт: провели дискование в два следа, затем вспашку с предплужниками, потом дискование в два-три следа, потом боронование «зигзаг». Перед посевом внесли удобрения — по два центнера аммиачной селитры, по два центнера суперфосфата и по одному центнеру хлористого калия. Посев кукурузы вели с внесением гранулированного суперфосфата (сеялки переоборудовали сами). И если утром вспахивали участок, то вечером засевали его: берегли влагу. После прикатывали кольчатыми катками, бороновали и до всходов и после, провели две междурядные обработки, да еще с подкормкой аммиачной водой. А засоренные участки обрабатывали гербицидами. На подъеме лугов было два трактора С-100, на последующей обработке два ДТ-54. Может ли произвести такие солидные затраты каждое хозяйство? Прямо скажем: нет. Насыщенность опытной станции техникой примерно в пять раз выше, чем в колхозах.

Наивно представление о Приокской пойме как о золотом дне: распаши только — и собирай золотые рублики. Любителям пресловутой погони за дешевизной не следует забывать пушкинскую сказку о том, как Балда лечил попа от этой скверной болезни. Даже лучшие пойменные хозяйства — совхоз «Пролетарский» и колхоз «Красное знамя» — в минувшем году собрали в пойме в среднем по сто пятьдесят — двести центнеров зеленой массы кукурузы. Почему? А потому, что у них нет такого количества удобрений, каким располагает опытная станция. А ведь погода была благоприятной, и урожаи сена были высокими. А почему плохо уродилась кукуруза в большинстве хозяйств? Потому, что земля не удобрялась, а главное, в массе своей участки поймы для распашки подобраны неправильно: чаще всего в заниженных местах, «холодных», с близким уровнем грунтовых вод.

Разумеется, там, где травостои выбиваются, засоряются, их надо чистить и перепахивать; а что делать дальше — засевать ли их зерновыми или кукурузой или снова залужать — пусть решают сами хозяйства.

Под наблюдением той же опытно-мелиоративной стан-

ции совхоз «Варские Шумошь» улучшил участок лугов под Мертешовом, засеял его тимофеевкой и снял в первый год по девяносто восемь центнеров сена с гектара, а в последующие годы снимает не менее семидесяти центнеров. А ведь по кормовым единицам это равноценно чуть ли не сорока центнерам зерна. Вот что такое приокские луга!

Эта же опытная станция провела в 1963 году элементарную подкормку лугов с самолета и получила вкруговую по тридцать девять центнеров сена с гектара.

А вот еще пример. Председатель колхоза «Заветы Ленина» В. Кукушкин в прошлом году улучшил сто пятьдесят гектаров лугов, известных под названием лушманских. Эти бросовые луга, заросшие тальником и кочками, прозванные за свою непролазность «волчьими ямами», дали колхозу поистине богатырский укос — по сто центнеров сена с гектара! Только от продажи сена В. Кукушкин получил в том году почти сто тысяч рублей чистой прибыли.

Приокские луга таят в себе колоссальные кормовые резервы. Потому-то они и привлекли к себе особое внимание исследователей уже в первые годы Советской власти. Бывший Государственный луговой институт в 1922—1923 годах провел подробное исследование Приокской поймы Рязанской губернии. Вот что писал тогда руководитель экспедиции Р. Еленевский о тех же «волчьих ямах»: «Трудно представить себе, во что могут превратиться эти «волчьи ямы» при правильном мелиоративном вмешательстве человека. Здесь, в условиях непрерывного притока воды и пищи для растений, не страшны никакие засухи; напротив, обилие воды заставляет бороться с ней и искать мер к осушению всего этого богатейшего района. Можно смело сказать: минимальные 500—600 пудов сена с десятины здесь обеспечены...»

Как видим, предсказания Р. Еленевского вполне могут сбыться. Но мы подчеркиваем: луга могут давать высокую прибыль только при правильном мелиоративном вмешательстве человека. При распашке сложной и своеобразной Приокской поймы ни в коей мере нельзя впадать в шаблон. Вспахали же во время очередной «кампании» лучшие ижевские луга — лишь бы осилить план!

А на следующий год агроном совхоза «Яльдино» Аким Федорович Малков уныло перечислял:

— Четыреста восемьдесят гектаров кукурузы утонуло

у нас на лугах, сорок пять гектаров картошки, тридцать гектаров проса погибло да свекла...

— Зачем же пахали такие луга? Зачем позволили?

— Был приказ пахать. Нас не слушают.

Увы, не послушали старого агронома, не послушали лакашинских колхозников, выросших на Оке и знающих повадки родной земли... А ведь на их плечи легла тяжесть этих экспериментов. Трудно возражать, если эксперименты проводят ученые, агрономы на опытных участках. Но когда за эксперименты берутся чиновники и начинают «внедрять» выгоду, полученную на бумаге путем нехитрого арифметического действия, земля мстит.

У нас часто говорят: «Земледелец должен работать с карандашом в руках». Но известная народная пословица напоминает: «Хлебороб должен иметь карандаш, часы и весы». Заметьте, не один только карандаш, а еще часы и весы. Это значит: мало подсчитать за столом выгоду, которую сулит иная культура,— надо учесть, сможешь ли ты вовремя вспахать, удобрить и посеять. Хватит ли сил обработать посевы и вовремя снять урожай? И этого еще недостаточно. В конце концов надо взвесить, почем обошелся тебе центнер продукции. То есть сколько ты вложил труда, удобрений, средств и какова отдача, себестоимость. Иными словами, выгодно ли тебе на твоих землях, с твоей техникой, с твоими удобрениями сеять свеклу? А может, выгоднее сеять люцерну или тимофеевку?

Вопрос об улучшении приокских (да и не только приокских) лугов настолько важен, что откладывать его дальше ни в коей мере нельзя. Уже не один год, да и не один век, русские экономисты, почвоведы, мелиораторы обращали свое внимание на эффективное использование Приокской поймы и Мещеры. Вот что говорилось сто лет назад в обзоре «Материалы по географии и статистике Рязанской губернии»: «Множество луговых пространств пропадает под топями и болотами, об осушении которых не заботятся даже при совершенном отсутствии покосов; кочкарники встречаются повсеместно и многие луговые низины находятся под порослью...»

В «Материалах по изучению лугов» в Рязанской губернии, выпущенных в начале века, отмечалось, что хотя «расчистка лугов от кочкарника и кустарника, прорытие на лугах канав и имеют место, но повторяются очень редко».

Правда, перед самой революцией, и особенно в двадцатые годы, улучшение лугов велось крестьянами уже в значительных размерах. Однако крестьяне улучшали только «удобные» луга. Для наступления на болота, мелколесье, кочкарник у них не хватало ни средств, ни техники. А ведь эти «бросовые» луга и есть самые надежные в смысле устойчивости урожаев трав.

Профессор А. Дмитриев писал в 1924 году о таких лугах: «Мы называем эти земли «бросовыми», они — болота, они — кустарниковые заросли, они — кочкарник и т. п. Они не дают ничего или почти ничего. Между тем предварительные, как бы рекогносцировочные исследования и опыты в России, а главное, данные Западной Европы говорят, что эти земли богатейшие, обладающие неисчерпаемым запасом всего, что нужно для самого пышного их роста и развития». А ведь таких земель, на которых можно устроить новые луговые угодья, по данным того же лугового института, в то время насчитывалось примерно 35 миллионов десятин. Можно с уверенностью сказать, что эта площадь с той поры не уменьшилась. Таких «бросовых» лугов в Приокской пойме, особенно в Мещерской низменности, более, чем лугов активных. Надо бы только приветствовать усилия, направленные на улучшение этих земель, но дело это требует значительных затрат, техники и удобрений. Может быть, даже целесообразно создать специализированные хозяйства. Однако нельзя забывать и горького опыта прошлых лет. Да простят мне так называемую въедливость, но не могу не напомнить об этом еще раз.

Передо мной газета Спасского управления «Знамя» за 22 октября 1963 года (Ижевский район влился туда же). Вот что писал в ней агротехник колхоза «Россия» М. Климин: «В прошлом году со ста пятидесяти гектаров в пойме мы совсем не получили урожая, с такой же площади собрали низкий урожай. Мало отрадного в пойме было и в этом году...»

«В прошлом году, как известно, пойма была затоплена, с распаханных земель мы не получили ничего,— сообщает А. Банников, директор совхоза «Яльдино».— Неудачным оказался и нынешний год...»

«В колхозе «Красная культура» в прошлом году распахали 130 гектаров за рекой, а питательный слой (так называемый гумусный горизонт) там только десять — пятнадцать сантиметров. Другой участок распахали с большим слоем гумуса, но на сносе. Тоже плохо». Иными

словами, луга превратили в пустыню. Это констатирует Д. Рамазанов, заведующий опорным пунктом.

Достаточно фактов! Нужно ли напоминать о том, что следствием этой распашки под нажимом «сверху» были бескормица скота и падеж. Комментарии, как говорится, излишни.

Между тем областные статистики, оглядываясь на 1961 год, когда совхоз «Яльдино» получил хороший урожай на пойменных землях (стояло на редкость сухое, безводное лето для поймы), объявили два последних неурожайных года нетипичными. Странная логика! Значит, засуха — типичное явление, а дождливое лето — нетипичное! Но хочется спросить этих «типизаторов засухи» в Приокской пойме: а что же делать со скотом в такие вот дождливые «нетипичные» годы? Может быть, коров в спячку укладывать? Кстати, в последний, так называемый «нетипичный» год, год отличного урожая сена, оставшиеся пока еще нетронутыми луга спасли скот не только приокских, но и степных районов. За сеном на Оку в нынешнем году ездили буквально отовсюду. Как бы выглядел нынешней зимой немногочисленный по сравнению с прежними временами рязанский скот, если бы все руководители районов оказались «на высоте» в деле распашки — читай: калечения — лугов, в деле так называемого освоения приокской «целины»?

Я был на тех искалеченных лугах. Бурый венчик, щучка, голенастый чернобыльник да ржавые пятна конского щавеля. И сквозь них просвечивают пепельно-серые, вздыбленные земляные глыбы.

— Тут теперь ни проехать, ни пройти,— бригадир Мокроусов указывает на огромное лежбище этого ржавого скопления сорняков.— Их надо опять фрезеровать, прикатывать, засевать травами да залужать. Работа на многие годы...

А на том берегу Оки, всего-то рукой подать, на неохватном раздолье тесно сгрудились островерхие стога, точно шатры несметного войска.

— По нынешним ценам соседи теперь озолотятся,— говорит Мокроусов.

Невысокий, сухой, весь словно замуравевший густой черной щетиной, он смотрит цепким хозяйским прищуром на соседские стога, на тот луговой берег, которого не коснулась рука чиновника.

— Мне уже за сорок перевалило — и все годы прожил в этом селе... Сделал перерыв на войну — и снова сюда.

Я всю эту землю не то что перепахал — пальцами перетер. Так неужто кто-то там знает ее лучше, чем я? Ему, значит, из Рязани виднее, на что способны наши лакашинские луга?! Я их выкашиваю, а он на бумажке подсчитывает, и верят ему, а не мне,— горько сетовал Григорий Мокроусов.— Триста центнеров кукурузы! Эка удивил! Да что ж мы, до трехсот считать не научились? Ликбез у нас давно уж аннулирован!

Григорий Васильевич скупо усмехнулся, потом кивнул в сторону заросших сорняками перепаханных лугов:

— Видели кспиримент? А ведь его под триста центнеров ворочали. На бумажке хорошо получилось. Развалили — и два года посеять не можем: вода до моркошкиного заговенья держится. А ведь мужики предупреждали... Ну почему нам не верят? За каждым ставят то контроль, то учет. Ты видел, как у нас сено делят?

— Приходилось.

Но Мокроусов все же поясняет:

— Значит, болота остаются. Вот мужикам и говорят: коси исполу. То есть половина тебе, половина колхозу. Оно дело-то простое: скосил, сметал два стожка — один колхозу, другой себе. Приходите, выбирайте любой. Так нет же... Ты сперва скоси, а потом комиссия приедет — все замерят, свезут в общий загон, а из общего загона выдадут, жди зимы. Комиссия эта месяца два считает. Сколько скандалу — страсть! Человека держим на замерах, Андрей Иваныча. Полгода служит, платим ему. А выдача сена подойдет — к этому загону подвод семьдесят съедутся. Растворят околицу — и все разом норовят. Прямо Куликовская битва: шум, крик. А зачем все это? Учет, говорят, контроль... Да нешто каждого уконтролируешь? Бригадир один, а их полсотни. Поля велики. Ты доверь ему поле-то, заплати как следует и спроси, что нужно. Тогда и порядок будет.

Доверить поле... А можно ли? И нужно ли? Оказывается, можно и нужно.

Под самой Рязанью расположен совхоз «Новоселки». Три года тому назад здесь создали механизированное звено по откорму бычков. Закрепили за ним поле в сто гектаров, весь инвентарь и триста телят. И все это на четырех человек! И договор заключило это звено с директором совхоза: высшая упитанность будет — пять рублей премиальных за голову да шесть процентов за сверхпла-

новый привес... И пошла работа. Помню, в июле 1961 года сдавали они первую партию уже не телят, а откормленных быков. Да каких!

— В июле месяце — и триста голов!

— Высшей упитанности!

— Неслыханно...

В конторе совхоза удивлялись.

А звеньевой, Владимир Алексеевич Ляпин, отсчитывая очередную партию быков, говорил директору:

— Теперь попробовать надо, какая она, говядина высшей упитанности... Вон того, вислозадого, и забьем,— указывал он на рослого красного быка.

— Ладно, так и быть... Вам задок, мне передок,— смеялся директор.— Как раз на сенокос забивать надо. Таким ребятам и целого быка не жаль,— обернулся ко мне директор.— Двадцать человек раньше не делали того, что они вчетвером. Вот что значит самостоятельность.

— Это только начало,— улыбнулся Ляпин.— Погодите, мы еще развернемся.

И развернулись. Более шестисот быков откармливали за год. Вчетвером и пахали, и сеяли, и косили, и скот кормили. Но все-таки не оставили их в покое конторские деятели. Как же, много зарабатывают! Рабочий, а получает больше управляющего. Непорядок! Надо «подравнять». И «подравняли». Созвали в совхозе специальное совещание и изменили звену норму планового привеса. По совхозу плановый привес пятьсот пятьдесят граммов остался, а звену дали восемьсот.

— Но почему? Мы откармливаем тех же телят! — возмущался Ляпин.

— Вы передовые.

— Нормы-то для всех одинаковы!

— Вы должны взять повышенные. Вы же передовые...

— Это просто издевательство,— жаловался мне Ляпин.— Если все так пойдет и дальше, мы же разбежимся.

Так оно и вышло. Звено распалось. А я все вспоминаю, как они работали, не считая ни норм, ни часов.

Заехал я к ним однажды зимой. Ляпин чистил дворы бульдозером — в свитере, в распахнутой фуфайке, весь какой-то легкий, подтянутый, он был похож скорее на инструктора по спорту, чем на скотника.

— А где остальные? — спросил я, здороваясь.

— Головин за сеном уехал, а Бутримов ремонтирует трактор.

— А почему же в ремонтные мастерские не сдаете?

— Самим сподручнее. После нашего ремонта на дороге не развалится. Свое дело!

Свое дело — великое дело...

Когда человек становится хозяином своего дела, он преображается. Примеров тому много в той же Рязанской области. В совхозе «15 лет Октября» звеньевой Н. Вотяков со 126 гектаров снял 715 тонн зеленой массы кукурузы, а «всем совхозом», как говорится, сняли 770 тонн, но с 490 гектаров. Иными словами, в том же самом совхозе на общей земле урожай кукурузы был почти в четыре раза меньше, чем у механизаторов. П. Сахаров из совхоза «Ряжский» снял со 153 гектаров 772 тонны зеленой массы, урожайность кукурузы на его поле была в пять раз выше, чем на общей земле.

А в колхозе имени Куйбышева Рязанского управления закрепили землю, технику, скот за целой бригадой и предоставили ей полную самостоятельность. Первым делом бригада сократила свой так называемый административно-обслуживающий персонал: вместо тридцати с лишним оставила всего семь человек. Остальных — в поле. Ввели ежемесячную плату колхозникам за работу. И здесь тоже дело пошло.

В начале года правление колхоза утверждает бригаде только производственное задание по выходу валовой продукции в денежном выражении. А как будут получать эту прибыль, за счет какой продукции — это дело бригады. Соображайте!

И что же? Получившая автономию бригада по всем статьям оставила позади свой колхоз. Вот ее прошлогодний урожай. Зерна в среднем снято с гектара 12,1 центнера, или на 1,8 центнера больше, чем получено в среднем по каждому колхозу (год был трудным), картофеля — 114 центнеров с гектара, больше, чем в колхозе, на 31 центнер, а урожайность свеклы выше среднеколхозной на 47,4 центнера.

В минувшем году в Рязанской области создали более тысячи звеньев и закрепили за ними поля и технику. И повсюду звеньевые вырастили высокие урожаи. Но вот пришло время расплачиваться по договорам. И что же? Большинство директоров и председателей колхозов и не подумало рассчитываться со звеньевыми по этим самым договорам. Взялись за старое. Прижимать начали. И рассыпались звенья.

Закрепление полей, ферм, отар за отдельными малыми

звеньями и группами дает удивительные результаты только при условии соблюдения договора обеими сторонами, то есть со стороны правления колхоза или директора совхоза и со стороны звеньев. И тут уж нечего делать уполномоченным и всяческим распорядителям.

В самом деле, и бригадиры, и учетчики, и сторожа, и завхозы были введены в колхозах еще в тридцатые годы, в пору так называемой низкой сознательности крестьянина, для контроля. Земля, тягло, инвентарь были обезличены, чтобы «мое» стало в сознании людей «нашим». Прошли десятилетия, и люди теперь стали иными, и инвентарь не тот. А земля все еще обезличена. И нет-нет да и проскочит еще осторожничанье прежних дней: «Как бы чего не вышло с закреплением земли...» Вдруг у хлеборобов вместо понятия «наше» появится «мое»? Но стоит ли в данном случае противопоставлять эти два понятия — «мое» и «наше»? Разве рабочему оттого, что в заводском цехе стоит его станок, на котором работает только он, менее дорог наш завод, чем, допустим, работнику ОТК, не имеющему своего станка? Так зачем же обезличивать это «мое»? То самое «мое», которое было обезличено у нас на земле и в колхозном производстве, стало искать себе убежище в личном хозяйстве! Ведь ни для Дугинцева, ни для Ляпина, ни для Гиталова, ни для других маяков и тех же колхозников из колхоза имени Калинина не существует проблемы личного хозяйства. Почему? Потому, что они работают на «своих» полях, на «своей» технике, откармливают «своих» быков. Они отлично зарабатывают на нашем общем деле, и личное хозяйство для них отодвинулось на второй план. А мы сплошь и рядом, чтобы повернуть колхозника от личного к общественному, ставим над ним командира и контролера. В колхозе имени Калинина огороды разгорожены. Подходит время пахоты — направляют туда трактор, он и пашет всем подряд. Вот и вся проблема личного хозяйства. Никакой огород, никакой рынок не дадут этим колхозникам столько денег, сколько зарабатывают они в колхозе. Потому и не ставит здесь колхозник личное выше общественного.

— Куда с добром! — как говорят солдатовские мужики.

Теперь Солдатово — «маяк». А раньше оно ничем особенным не выделялось среди окрестных сел. В чем же секрет?

— В индивидуализации труда и в хорошей его оплате, — уверенно отвечает председатель Лозовой. — Мы за-

казали еще двадцать тракторов и четырнадцать комбайнов. Если мы получим хотя бы половину, то сумеем закрепить всю землю за звеньями. А там побольше бы гербицидов да минеральных удобрений, и мы доведем урожайность и до сорока центнеров. Прокормим и десять тысяч голов скота и больше.

Я объездил все солдатовские поля, раскиданные на округлых увалах и взъемах.

— Это поле Сидоров Вася пахал, а то — Шанк, а этот мыс — Черепанов.— Лозовой указывал на глянцевито-черную зяблевую вспашку.— Видал, какая работа? Комар носа не подточит. Каждый будто свою роспись поставил. Марка видна.

Но вот осталось последнее поле гектаров в сто пятьдесят у подножия сопки Каменухи. Туда решили перекинуть всю технику, чтобы успеть до морозов перепахать его. Внешне картина такой коллективной вспашки выглядела эффектно: тракторы шли один за другим развернутым фронтом, как танки, оставляя за собой черные полосы борозд да синеватые дымки от горящего жнивья. Наступление, да и только!.. Такие картины любят фиксировать иные масштабные режиссеры: в один кадр штук пять комбайнов поместят да еще бугор, на котором поставят командиров районного или областного масштаба. Вот он, мол, коллективный труд — глаз не оторвешь.

Но мы не испытывали восторга на этом «подходящем» бугре.

— Смотри, каждый себе загонку выжигает, что поровней, а вон тот клин объезжают. Каждый на дядю надеется,— заметил Лозовой.

В самом деле, рыжий клин увалистой неудобной земли оставался в стороне. К нам подъехал с поля заместитель председателя Толстых.

— Брак есть,— произнес Лозовой.

— Есть. У Желудкова Петра, у Ивана Шанка,— подтвердил Толстых.— Придется удерживать с них.

— Вот вам и контраст! — Лозовой обернулся ко мне: — Как по отдельности работают — все в ажуре. Скопом пустишь — обязательно что-то да не так. Техники маловато, вот и приходится путать карты.

Но я видывал там и более удивительные контрасты.

Как-то мы поехали на горные пастбища. Пересекали речную долину, резко вытянутую с востока на запад, окаймленную с юга зубчатой стеной белков, сухо и рез-

ко сверкающих на солнце. Вся долина была четко разделена дорогой на две половины: одна принадлежала колхозу имени Калинина, другая — совхозу имени Черняховского. На колхозном поле густая пшеничная стерня и частые копны соломы. Даже по жнивью и по соломе можно было видеть, какой здесь был тучный урожай: сняли более двадцати центнеров с гектара. А через дорогу на совхозных полях все еще стояла тощая, блеклая пшеница, не выше колхозного жнивья. Октябрь, а ее все еще жнут. Я спросил у комбайнера:

— По скольку намолачиваете?

— Центнеров по пять.

— Отчего так мало?

— Засуха была.

— А через дорогу?! Там что, другая небесная канцелярия?

Только улыбнулся.

И сделал характерный жест пальцами, как бы отсчитывая купюры.

Тем не менее Лозовой все еще не в чести у руководства.

— Видите ли,— объяснили мне,— совхоз Черняховского план выполнил по сдаче хлеба на двести двадцать девять процентов, а колхоз Калинина — на двести двадцать три.

Да, в сводке у начальника производственного управления Л. Пяткова эти цифры значились, он их не выдумал. Но я запасся и другими цифрами, которые сразу раскрывали всю неблаговидную суть подобных сводок. Вот эти цифры: в колхозе имени Калинина пашни всего немногим больше трех тысяч гектаров, а в совхозе — за восемь тысяч. Но совхозу план по сдаче хлеба дали всего десять тысяч центнеров, а колхозу — тринадцать! Совхоз сдал двадцать три тысячи центнеров, а колхоз — почти тридцать тысяч. И тем не менее совхоз по сводке числится впереди.

«Главное — думать о государстве!» — любят говорить бумажные экспериментаторы. А колхозники? Разве это не государство? Это как раз та часть государства, которая производит хлеб. И оставлять колхозников без хлеба, кидать их в разные стороны, как солдат на учении,— значит, рубить сук, на котором мы сидим, и охотникам до всяческих командирских экспериментов следует почаще напоминать об этом. А иных не в меру ретивых и одергивать. Иначе и земля запустеет и сами запсеем,

— Я себя сравниваю с шофером,— говорил мне Лозовой.— Дорога сложная: где и притормозишь, а где газку добавишь. Но вот встанет тебе на крыло заезжий уполномоченный и начнет командовать: «Жми на полную железку!» А что дальше с моей машиной будет, его не интересует! Для меня же тут вся жизнь моя!

От той жизни, которая творится на полях наших, зависит в конечном итоге и городская жизнь, и прочность, и стабильность всего государства. Пора уж, давно пора уяснить всем охотникам до скорых дел и сомнительных экспериментов старую, как мир, поговорку: семь раз отмерь, один отрежь.

1964 г.

ЛИЦО ЗЕМЛИ

1. Земная тяга

Одной из самых удивительных и стойких особенностей русского уклада жизни до недавнего времени являлся обряд исповеди земле, живший обочь церковных канонов чуть ли не тысячу лет: «Молю тебя, Мать Земля Сырая, кормилица, молю тебя, убогий, несмышленый, грешный — прости, что топтал тебя ногами, бросал тебя руками, глядел на тебя глазами, плевал на тебя устами... Прости, родимая, меня грешного...»

Дело тут не в наивном суеверии, не в языческом атавизме, а в чувстве сопричастности к извечному круговороту жизни, к зависимости в конечном итоге от земного благоденствия, в чувстве ответственности перед землей. Земля дает силу и стойкость. Недаром богатыри наши, припадая к земле, набирались силы.

Земля родная всегда была священной. Кажется, только единую святость земли и пощадил русский человек в своем изощренном и живописном сквернословии. Землей клялись, ее целовали и даже съедали комочек земли в знак особой верности. Помните, как припадал к ней потрясенный Алеша Карамазов, как целовал, обещая любить ее «целую вечность». Русские солдаты перед боем надевали на себя свежее белье, чтобы лечь в землю чистыми. Русские переселенцы в платочек завязывали горсть родной земли и закладывали ее в фундаменты новых домов,

Наблюдая в башкирских степях крестьян-переселенцев, уходивших на новые места в поисках земли обетованной, Лев Николаевич Толстой отметил в записной книжке, что главный роман его еще не написан. И он всерьез намеревался написать роман о подвижниках веры и труда, об этих неугомонных русских пахарях, не знавших ни устали ни страха в поисках и приобщении новых земель и в бесконечных попытках создать на этих новых землях свой особый, автономный мир, построенный по старым законам вековечной связи крестьянской общины с землей-матушкой.

Русский мужик в отличие от западных колонистов снимался в одиночку, но собирался толпами, селился миром. Тяга земли рождалась на миру, она сплачивала русских людей в особый трудовой союз, часто связанный суровым законом аскетизма и взаимной выручки. Оно и понятно — слепую силу стихии можно одолеть только общими усилиями.

И вот первая примета коллективного разума и сметливости русских автономных пахарей — прекрасно выбранные места новых поселений. Я изъездил все Приморье, Хабаровский край, Амурскую область, Алтай и, право же, не могу вспомнить хотя бы одно худо посаженное село где-либо на юру, на ветродуве, либо на нелепом косогоре. Сделать выбор, посадить село на земле — дело непростое; это значит в какой-то мере определить будущий стиль жизни.

В нашем Пителинском районе Рязанской области в двадцать третьем году выделились и осели выселки-хутора Швынка да Ирша. Вы можете исколесить всю округу, но лучше этих мест, выбранных самими мужиками, не найдете. По тому, где и как сидят села, можно смело судить и о том, когда они и кем заложены. Юрьево, Савры, Нащи стоят на высоком речном берегу с прекрасными луговыми угодьями, ставили их сами мужики в незапамятные времена. А сравнительно молодые Мочилы да Пеньки посажены начальством во времена крепостного права в болотах да в овраге.

Мне трудно сказать, какое соображение имело в виду то далекое начальство. Но зато я хорошо помню, как «сажали» в открытой амурской степи центральный поселок Бабстовского совхоза. Сначала приехал директор с рабочими, жителями будущего поселка. Они целую неделю колесили по сухой весенней степи, по-восточному яркой от цветущих огненных саранок, от синих ирисов, от желтого

зверобоя. Эти крестьяне, знавшие причуды здешнего климата, отлично понимали, что ирисы на сухом месте не приживаются, что весенняя сушь да гладь, да божья благодать обманчива. Они выбрали место для поселка повзгористей, у столетнего села Бабстова, в затишке, возле речки, поближе к лесу...

А потом появились проектировщики с начальством во главе. Они летели на самолете... С высоты птичьего полета окинули единым взглядом ту самую степь, которую и за неделю не объедешь. А с высоты — оно всегда виднее. Сел самолет посреди степи, как раз «на том самом месте...». Подъехали рабочие со своим директором... И один руководящий работник Хабаровского края (за давностью дела не буду тревожить его имя) сделал им внушение:

— Куда ж это вы в сопки лезете, как куры на повети? Вы орлы! И жить вам в открытой степи. Здесь есть где размахнуться. Город построите... Агро! Проспекты будут, как по линейке, хоть туда, хоть сюда тяни — все ровнехонько. Никаких тебе препятствий... А вы в сопки полезли. Может быть, вам еще норы выкопать?..

— Там поспокойней от ветру. Речка есть, и лес рядом...— пытались возражать рабочие.

— Зачем вам лес? Работать надо, а не по грибы ходить. Выходной подойдет — отвезут на машине хоть к речке, хоть в лес... В культпоход!

— Речка нужна... Ребятёшкам купаться. Гусь какой заведется, скотина... Для приволья то есть.

— Никакой скотины! Агрогород будет! А вы — гуси... Жить по-современному. А для купанья бассейн построим. Закрытый, как в Хабаровске. Понятно?

Тут же представители проектного института из Ленинграда развернули карту, пометили крестиком место «посадки» поселка и стали с жаром доказывать непросвещенным слушателям, что это место во всех отношениях выгоднее, экономичнее. Ведь поселок будет в центре полей, и на одном только перегоне техники с работы на работу, на горючем то есть, сколько сможет сэкономить совхоз? Вот оно что главное!

А Бабстовский поселок с наступлением летних затяжных дождей утонул в грязи. И потянулись годы невыносимо тяжкой борьбы рабочих совхоза с каверзной природой: увязали прямо на улицах тракторы, садились намертво в жидких плывунах комбайны, и самым трудным делом было вывести комбайн с усадьбы в поле, его ста-

вили на лыжи, «впрягали» несколько тракторов... Вымокали огороды, вместо картофельных грядок стояли возле самых домов мутные непросыхающие лужи, оседали фундаменты, трескались стены. Простаивала техника, уходили рабочие. Текучесть... убытки, исчисляемые в миллионах рублей.

Это называется местью земли. Земля мстит тем, кто не считается с ее законами. И чего только не придумывали любители всяческих экспериментов, мечтавшие путем нехитрых арифметических комбинаций, проведенных за кабинетным столом, получить то экономию, то экстренное и устойчивое изобилие! И чтоб непременно «враз и навсегда». А в результате — убытки.

Нелегка земля для подъема. Не каждому дается она. Недаром сила ее прозвана в народе — тяга земли. Не худо бы почаще вспоминать мудрую былину об этой самой земной тяге.

Идет мужичок по дороге. Сума за спиной. Идет вроде бы и не шибко, ан не может догнать его верховой.

— Стой! — кричит.— Что у тебя в суме?

— Подыми, тогда узнаешь.

Слез с коня Святогор, потянул суму — до колен в землю угряз, а сумы и с места не стронул.

— Что у тебя в суме-то?

— Тяга земли,— отвечает Микула Селянинович...

Нет, великую тягу земли не осилишь в два приема, слезши с коня. Она складывалась исподволь — веками, по кирпичику, как надежные кремлевские стены. Тяга земли в народном представлении всегда сочеталась с любовью к земле, с глубоким знанием ее. Она рождалась мудрым законом взаимного послушания хлебороба и поля. Земля определяла и характер, и направление хозяйству. Вятские луга создали знаменитую погостинскую корову и «парижское» масло, поволжский чернозем породил золотую саратовскую пшеницу, а среднеазиатские степи — курдючных баранов.

«Знания у народа от векового общения с природой. А наука только дисциплинирует ум...» — говорил известный сибирский ученый-селекционер Николай Лукич Скалозубов. Приноравливаясь к земле, русский крестьянин дал великолепные образцы разумного хозяйствования.

Казалось бы, опираясь на вековые знания народа, на его опыт, наша наука и выступающее от ее имени планирование должны были бы своими директивами только развивать специфику сельскохозяйственного производст-

ва каждой области, каждого района. Но в последние годы случалось нередко обратное. Административные методы руководства в сельском хозяйстве порой приводили к тому, что с лица земли стиралось «необщее выраженье».

2. *Строптивцы*

На наше счастье, в каждой области находились ясные умом и твердые характером хозяева. Всеми силами сопротивлялись они шаблонному планированию. Но чего это им стоило?

Николай Иванович Лозовой, председатель колхоза имени Калинина, одного из лучших в Казахстане, до последнего времени носил строгий выговор; Лозового даже убрать из колхоза пытались, да колхозники не позволили... Виктор Александрович Кукушкин, председатель колхоза «Заветы Ильича», лучшего в Спасском районе Рязанской области, до сих пор имеет выговор и строгий выговор. А председателя колхоза имени Ленина, члена бюро Рязанского обкома Ивана Егоровича Балова даже из партии исключали. За что же такая немилость? За то, что не слушались ретивых администраторов, а делали так, как диктовали земля, опыт, расчет.

Уж сколько раз клеймили Якова Митрофановича Савина, председателя колхоза «Красный горняк», как злостного травопольщика! На всю Рязанскую область гремела анафема. Но он все-таки сохранил и люцерновые поля, и клеверá, и овес, и вику. И вот теперь к нему то и дело обращаются с одной просьбой: «Дай семян травки. Кроме тебя, нет ни у кого во всей округе...»

А сколько нареканий пришлось выслушать Лозовому за ликвидацию свинофермы?

Но Лозовой разводил то, что самой природой предназначено, что было выгодно — крупный рогатый скот, овец, лошадей. На богатых альпийских лугах, где лошади и коровы находят обильный корм в любое засушливое лето, а овцы в самую снежную зиму пасутся в горах, или, как здесь говорят, тебенюют, малый резон — разводить свиней. Отказавшись от плановых нерентабельных свиней и птицы, Лозовой стал сдавать значительно больше мяса и зерна. И тем не менее... Однажды при мне один из руководителей района, увидев за Солдатовом небольшое озеро, наставлял Лозового:

— Послушай, тебе надо уток разводить... пекинских. Хорошее озеро имеешь.

— А вы знаете, какое зеркало требуется на тысячу уток? — спросил его Лозовой.

— Зачем тебе зеркало! Уток разводи — и все...— обиделся начальник.

Это все прошлое, вчерашний день, скажут нам. Да, мартовский Пленум ЦК КПСС решительно осудил волевой стиль руководства сельским хозяйством. Весь смысл решений Пленума в том, что колхозники должны стать хозяевами земли не на словах, а на деле! Именно поэтому нельзя забывать, что преодоление навыков администрирования в сельском хозяйстве — не кампания, а кропотливая, серьезнейшая работа, не на один день рассчитанная. Слишком въелись эти «волевые» навыки, так что и сегодня дают себя знать.

В конце апреля был я в Старожиловском районе у Ивана Егоровича Балова. В свое время он с трудом, с большим риском ликвидировал колхозный курятник, который приносил ему одни убытки.

— Теперь меня опять заставляют — строй птичник! План дали — сто тысяч яиц. Выполняй без рассуждений, и точка,— говорил Иван Егорович.— Значит, в разгар весны разводи строительную канитель. Людей нет, и деньги лишние не валяются. Ну построю я этот курятник. Что тогда? Доярок да свинарок сокращай и посылай их в курятник. Десять яиц мне приносит гривенник убытку, а на килограмме свинины я беру почти сорок копеек прибыли. Так откажись от этой прибыльной свинины и разводи курей!..— Балов нервно пристукнул кулаком по столу, с минуту молчал.— И со свеклой такая же история, с гречихой... 850 тонн свеклы запланировали! А мы самое большее сдавали 350 тонн. Не свекловоды мы. Людей нет, техники не хватает. 250 гектаров пашни на один трактор приходится. Нам ли возиться еще со свеклой, гречихой, с просом? План... Что поделаешь?

Еду в район. Начальник управления Борис Глебович Михайлов — опытный агроном. Излагаю ему претензии Балова. Только руками разводит Михайлов:

— Нажимают на нас и со свеклой, и с яйцами, и с гречихой. Мы построили птицекомбинат районный. Но когда он еще наберет мощность?.. Говорим, погодите. Рассчитаемся в конце года. Нет! Пусть колхозы сейчас строят птичники. Слушайте, ведь если, к примеру, доменная печь не набрала еще проектной мощности, не заставляют

доменщиков сейчас же варить чугун в горшках. А в сельском хозяйстве привыкли к таким приказам. Старое не умирает само собой, и самым хорошим решением «враз и навсегда» не изменишь привычки человека. За претворение в жизнь решений мартовского Пленума надо бороться.

Многолетнее волевое планирование было одним из главных козырей в руках иных руководителей. Больше сдашь, больше выжмешь из колхоза — стало быть, и цена тебе выше.

— Мы по плану должны сдать 140 тонн хлеба, а сдали уже 250, и все еще приказывают сдавать,— сетовали мне полтора года назад члены правления колхоза «Россия» Спасского района Рязанской области.— То был план, а теперь спустили обязательство.

— Мы, брат, два плана имеем,— сказал мне в то время бригадир С. Дианов,— один для управления, начальству для отчета, другой для себя.— И кивнул бухгалтеру: — Покажи-ка ему!

Бухгалтер долго гремел ключами, откинул крышку кованного железом сундука и в самом деле вынул две папки с двумя планами.

— Это, значит, нам управление приказало составить, а тут мы для себя старались. По этому плану работаем, а по этому отчитываемся, ежели из начальства кто нагрянет.

Смотрел я на эти планы и диву давался... Но то самое «начальство», которое вынудило колхоз хитрить, и в ус не дуло. Его, секретаря Спасского парткома А. Семкина, хвалили в области: он шел впереди своих соседей — сдал более двух планов по зерну... И главное — раньше других! «Блеснул» он и в прошлом году... по той же самой методе.

Мы радуемся мартовскому Пленуму ЦК КПСС — наконец-то установлен твердый план! Он избавит колхозы и совхозы от разорительных директивных обязательств, выработанных чаще всего в далеких кабинетах. Так, может быть, мы ломимся в открытую дверь? Ой нет! Рано еще успокаиваться. Лучше подумаем о том, как с наибольшей выгодой или с наименьшим уроном для государства и для колхоза следует выполнять каждую цифру этого твердого задания. Из доклада на Пленуме мы узнали, что план по зерну был выполнен только в прошлом году. Нелегкое дело — выполнить этот план. И всем нам вовсе не безразлично — что будет стоять за коротким ра-

портом: «Область такая-то выполнила или перевыполнила план». Какой ценой? Каким методом? Не сможет ли еще разгуляться иная «волевая» единица, чтобы вырваться вперед, сдать «в целом» пораньше с пользой для себя и в ущерб для иных колхозов?

Слишком живуча замашка хвастовства и представительства. Раскройте газеты! Опять трубят о рекордах на севе. Да подождем до лета! Посмотрим, что вырастет из этих рекордов. Я вовсе не хочу опорочить достижения какого-либо добросовестного механизатора. Пусть старается. Но рано трубить о пользе, ведь проделана только часть работы. Как она проделана, увидим только летом. Чего же мы шумим? Сколько вреда принесла нам эта преждевременная шумиха вокруг «досрочных» завершений сева! И все-таки откройте газеты... Крестимся по привычке, как говаривали в старину.

Вот почему я снова возвращаюсь к Семкину, чтоб разобраться в «секретах» нехитрой стратегии его успеха.

В Спасском районе по соседству находятся два колхоза: «Заветы Ленина» и «За коммунизм». У каждого примерно по 5 тысяч гектаров земли (у «Заветов Ленина» гектаров на 300 побольше). И земля примерно одинаковая по качеству. Но вот чудо какое! «Заветы Ленина» должны были сдать по плану 140 тонн зерна, а соседи — только 50, первые — 1000 тонн картофеля, а вторые — 300, мяса соответственно 126 тонн и 72, молока — 700 тонн и 388. Тяжелее чем в два раза везет воз «Заветы Ленина». У его председателя В. Кукушкина два выговора. За что же? Первый за то, что отказался убирать хлеб раздельным способом: «Да у меня комбайны некуда девать... Уберусь за пять дней со жнитвом».

И хотя Кукушкин и в самом деле убрался первым, но выговор получил за «отсталые» взгляды.

А второй, строгий, выговор дали за то, что прошлым летом от хорошего урожая Кукушкин выдал колхозникам помимо денег по одному килограмму зерна на трудодень.

— На бюро его! Рога ломать будем враз и навсегда,— изрек во гневе свою любимую фразу Семкин.

— Ох уж этот Кукушкин! Строптивец из строптивцев,— жаловался мне А. Семкин.— Подумать только, он от раздельного способа уборки хлеба отказался. А ведь раздельный способ — передовой. Я его убеждал, приказывал. Не подчиняется, и все! Как же его тут не наказывать?

— Но ведь Кукушкин раньше всех убрался... И урожай у него выше всех, и потери ничтожные,— пытался возразить я.

— Все равно не по правилам... Строптивец!

Что Кукушкин строптивец — это уж так точно. И учен, и опытен... Бывший директор школы, педагог с высшим образованием, высокий, громкоголосый. И язык у него подвешен, и смелости не занимать. За несколько лет председательства он колхоз на ноги поставил. Луга заставляли распахивать... А он взял да улучшил их, подсеял канареечник да тимофеевку. Тут бы и наказать Кукушкина. Ан глядь — у него урожай сена под сотню центнеров с гектара. И повалили к нему со всей округи «кукурузники» за кормами. И опять богатеет Кукушкин. На одном только сене взял около ста тысяч чистой прибыли. Но районное начальство его не хвалило. А за что ж? Ведь не по правилу вырастил Кукушкин траву. И мало того, в самый разгар кампании, когда по клеверу уже поминки справляли, этот же Кукушкин расширил свои клеверные поля до 250 гектаров. Наконец-то строптивец должен был получить по заслугам за возврат к травопольной системе. Но... Лето пошло на убыль. А там — «зима катит в глаза». И опять потянулись более покладистые соседи к В. Кукушкину за семенами клевера.

Недавно я встретил Семкина в Рязани. Он работает теперь в обкоме. Семкин не вспоминает о том, как переводил клевера, как луга распахивал... И далекий Кукушкин кажется ему уже хорошим председателем. «Инициативен, умен,— говорил мне Семкин в обкоме.— А выговора? Что ж! Пусть заявление подает. Разберем... Снимем...»

Но как только мы заговорили о плане, тут Семкин проявил завидную стойкость характера:

— Кукушкин печется о колхозниках, а не о плане, не о государстве.

— Но помилуйте, он в два раза больше сдает, чем соседи. С равной посевной площади!

— Правильно! Он должен сдавать больше в два, в три раза. Он может... В силах! План у него такой. А план есть закон.

Да, план есть закон. Но в Спасском районе, например, устанавливал свой закон сам Семкин. По его логике, он-то — Семкин — и есть государство, а Кукушкин — нечто прямо противоположное этому государству. И если план

есть государственный закон, то как же тогда в каждом районе мог появиться законодатель, который на свой аршин отмеряет этого «плану» хозяйствам, словно портной чертовой кожи на пиджаки?

3. Странная арифметика

Ныне перестали планировать колхозам посевные площади. И это хорошо! Но отобрано ли право у местных руководителей узаконивать колхозам размеры поставок? Ни в коем случае. Госплан и теперь дает областям только размер закупок: продать по установленным ценам столько-то мяса, молока, зерна и проч. А дальше?

Мы уже говорили о том, как неравномерно доводится план заготовок до колхозов Спасского района Рязанской области. Эти заготовки, размеры их менее всего исходят от земли; они «накладываются» сверху по совокупности всяческих соображений, порой просто необъяснимых. «Научность» этого планирования укладывается в примитивное правило деления: раскинуть по хозяйствам то, что спущено сверху. А там уж кому что достанется, кому как повезет.

Возьмем, к примеру, тот же Большенарымский район Восточно-Казахстанской области. В нынешнем году колхозам этого района увеличили план по мясу в полтора раза, а совхозам всего лишь на четыре процента.

— Отчего же такая неравномерность?

— Такое указание,— ответил мне секретарь райкома А. Сембеков.

Я тщетно пытался установить разумность или хотя бы предел плановых заданий для отдельных хозяйств. В прошлом году, например, колхоз имени Калинина по плану должен был сдать 2 тысячи центнеров мяса, а сдал он три. И тотчас план ему на новый год повысили до 3 тысяч.

— Почему?

— По фактическим показателям,— отвечают.

— А если он недовыполнит план? Тогда что?

— Тогда остается все на прежнем уровне...

Не правда ли, весьма оригинальная логическая фигура? Значит, тому, кто перевыполняет план, подкладывают еще — пусть везет! Подобное планирование напоминало испытание битюгов-тяжеловозов. Тянет битюг телегу с

грузом — ему подкидывают по дороге еще мешки с песком до тех пор, пока он не остановится.

Отсутствие в прошлом какой-либо твердой меры в плане заготовок способствовало развитию крайнего субъективизма и в оценке работы хозяйств. И оказывалось порой — то, что хорошо, вовсе не хорошо...

Соревновались колхозы Большенарымского района за право занесения в республиканскую золотую книгу Почета. По всем показателям сданной продукции с гектара земли колхоз имени Калинина оставил всех позади себя. Но попал в книгу Почета колхоз имени Жданова. Почему? У него, видите ли, старание выше.

Давайте сравним фактические данные. Колхоз имени Калинина имеет пашни в три с лишним раза меньше, чем колхоз Жданова, а угодий меньше в два раза. И тем не менее колхоз имени Калинина сдал 3175 центнеров мяса, а колхоз имени Жданова — только 2852, шерсти соответственно — 388 центнеров и 224. Или зерна с одного гектара пашни колхоз Калинина сдал 10 центнеров, а колхоз имени Жданова всего лишь 6,5 центнера. И тем не менее колхоз имени Жданова оказался «впереди». И земля у них одинаковая, и природные условия те же... Соседи!

— Почему же одним больше дают план, другим меньше? — спросил я первого секретаря Восточно-Казахстанского обкома Алексея Семеновича Колебаева.

— Лозовой тянет... вот на него и накладывают. К тому же кое-кто из бывшего сельскохозяйственного обкома не любил Лозового. А некоторые и завидовали его популярности. Вот общими усилиями и не допустили его до книги Почета,— ответил мне Колебаев.— Беда в том, что мы поставлены в такие условия, когда наш план сельскохозяйственный, как резиновая шапка, на большой голове большим становится, на малой — маленьким. Эта, мягко выражаясь, произвольность в обращении с хозяйствами должна быть устранена.

Выполнение плана — не школьная игра. Это основа основ экономики хозяйства. Ведь поступление денег от реализации плана — единственная статья дохода большинства колхозов. От того, сколько надо сдать по плану, а сколько продать по свободным закупкам, будет зависеть благосостояние колхозников. И это должно быть определено законом: пользуешься такой-то землей — изволь платить за нее определенную цену, а не простой административной раскладкой местных работников. Иначе доро-

гой ценой, убытками, а не прибылью приходится иной раз колхозам расплачиваться за выполнение планов.

— Каждую мою корову обложили планом в 1700 литров, а корову соседа всего в 800,— жаловался мне В. Кукушкин.— Наши коровы больше 2 тысяч литров и не дают. Тут не то чтоб колхозникам молока — телятам не выкроишь.

— А велик ли доход от молока?

— Какой там доход! — махнул рукой Кукушкин.— Себестоимость молока обходится нам по 16 копеек литр. А сдаем по 12 копеек. Вот и считай: сдашь тонну молока — 30 рублей убытку.

Ныне увеличили закупочную цену молока до 15 копеек за литр. Теперь хоть убытков не будет. А прибыль пойдет от сверхплановой продажи. Но у Кукушкина ее не будет: не угодил, не заслужил.

На территории колхоза «Красный горняк» находится дом отдыха.

— Дирекция умоляет нас продавать молоко для отдыхающих. И нам бы продавать на месте: и удобно и выгодно. Но мы не имеем права,— рассказывал мне председатель колхоза Яков Митрофанович Савин.— Все, что ни надоим, отвозим. План! Думал: вот выполню летом план и сами начнем распоряжаться своим молоком. Не тут-то было. Только рассчитались, сдали 500 тонн — нам бух! Еще добавили. Среди лета... Район, мол, еще не выполнил плана... Так и добавляют нам каждый год. По сравнению с 1957 годом нам увеличили план по всем продуктам в три раза. А земля все та же, и возможности хозяйства, по сути дела, те же.

Было бы очевидной экономической несуразностью сделать этот утроенный план для Савина твердым. А для его соседа — колхоза имени Калинина, имеющего такие же земли, утвердить план облегченный.

Опять же придется изворачиваться, хитрить председателю сильного колхоза.

В начале января этого года я снова побывал в Спасском районе. К сожалению, колхоз «Россия» все еще вынужден сохранять два плана.

— Иначе нельзя,— говорил мне уже сам председатель колхоза Михаил Иванович Дианов.— Нам опять свеклу навязывают... Запланировали сдать 2 тысячи тонн луку. А мы более 150 гектаров не можем засевать луком. Не под силу! Машин специальных нет. Все вручную приходится обрабатывать.

— А может быть, вы с этой площади снимете высокий урожай и рассчитаетесь?

— Невыгодно нам рассчитываться, то есть выполнять план по луку.

— Почему?

— Потому что разоримся. Сами подумайте, у нас принимает государство лук по 22 копейки за килограмм, а колхозу он обходится по 35 копеек. Представляете, какие убытки мы понесем, если выполним план? Разоримся.

— И мы не уверены, что выполним план по свекле,— признался второй секретарь Скопинского парткома В. Макаров.— Нам не только тоннаж увеличили — и площади посевные! Свекла, говорят, исключение. Сей столько, и все.

— Из каких же соображений исходя?

— Из самых простейших. Посчитали, сколько гектаров мы засевали свеклой последние пять лет и какая была средняя урожайность. Применили правила арифметики — умножение да сложение. И пожалуйста, плановое задание готово. Но ведь каждый год завышали, навязывали нам площадь посева под свеклу. Не под силу давали... оттого она и родилась плохо.

— Почему же вы даете колхозам невыгодные, непосильные планы? — спросил я секретаря Рязанского обкома А. Макарова.

— А что же нам остается делать? Нам запланировали в Госплане 335 тысяч тонн свеклы. Такая цифра нам и во сне не снилась. В прошлом году мы сдали всего 245 тысяч тонн. А ведь год был очень благоприятным. Как же мы позволим сократить посевные площади под свеклу? Люди те же, техники специальной не добавили. Опыта нет. Мы никогда не были свеклосеющей областью. И вообще больше половины рязанской земли непригодно для свеклы. Но нас не спрашивают — хотим мы сеять свеклу или нет. Понял? Давай свеклу — и точка! Хоть оно и неразумное задание, но называется планом. А планы принято у нас выполнять. И мы обязаны доводить их, так сказать, до колхозов. И доводим... А что ж ты хочешь? Подскажи?

Я давненько знаю Александра Тимофеевича Макарова; человек он еще молодой, горячий в рассуждениях и не любит дипломатически обтекаемых фраз.

— Протест хоть написали от имени обкома? — спросил я,

— А как же ты думаешь? Мы-то написали. А теперь вот ты напиши.

Был я и в Госплане. Заместитель председателя Госплана РСФСР Василий Павлович Домрачев не обрушился с ответным обвинением на рязанцев, не отрицал даже справедливости упреков своего горячего заочного оппонента.

— Давайте посмотрим! — он раскрыл ведомость, нашел Рязанскую область.— Так... 55 тысяч тонн мяса...— Посмотрел на меня, спросил: — Много?

— Они говорят, много!

Он улыбнулся:

— Знакомо... В тот день, когда мы выдаем плановые задания, почти все секретари обкома собираются в Госплане. И знаете, какое слово произносит каждый, входя сюда? — он снова чуть заметно улыбнулся.— «Много!» Но давайте посмотрим, как выполняют план по мясу рязанцы.

Он раскрыл другую ведомость...

— Смотрите,— показал он мне на соответствующую графу,— прошел всего лишь январь, а они более чем наполовину выполнили план за первый квартал. Что это значит? Это значит придерживали скот в прошлом году,— отвечал он сам себе.— Видят, что план все равно не выполняют — значит, и стараться нечего. Зато, мол, нажмем в новом году. Вот и жмут. Впрочем, многие так делают.

— Выходит, состязаетесь в хитрости? Кто кого?

— По крайней мере, рязанцам по мясу обижаться не следует,— уклонился он.— В прошлом году у них план был 63 тысячи тонн. А еще раньше и по 100 тысяч сдавали, и больше...

— Но где же их предел? Экономически разумный?!

Василий Павлович пожал плечами:

— Трудно сказать. Такие исследования плановые органы, к сожалению, не в силах проделать.

— Из чего же исходя дали им такой высокий план по сахарной свекле?

Василий Павлович снова посмотрел в ведомость:

— Очевидно, их сахарные заводы способны переработать такое количество. Может быть, по свекле план для них тяжеловат... Но ведь это очень выгодная культура.

— Странная выгода, от которой руками и ногами отталкиваются.

Я вспомнил многочисленные сетования председателей колхозов средней полосы: «Свекла выгодна, когда она

дает двести центнеров на гектаре. А на наших подзолах да без удобрений что вырастет? Южанам сей рис, да хлопок, да ту же свеклу — разбогатеешь. А за наше просо да лук копейки платят. На свекле нам тоже разор. И выходит — бедному Ванюшке везде все камушки...»

— Но поймите и нас,— возражает Домрачев,— страна наша не может жить на привозном сахаре. И с махоркой, и с луком такая же история. А ведь моршанская махорка — отличная! И это, знаете ли, совсем недалеко от Рязани.

Как видим, у работников Госплана свой резон. Хотя они и признают, что свекла не столь выгодна рязанцам, как, допустим, где-нибудь на Кубани... А лук, что ж? На лук повысим цены. Пересмотрим. Но план они обязаны выполнять...

Да, очевидно, и сахар и махорка стране нужны. Но очевидно и другое — никаким плановым заданием сразу не превратишь Рязанскую область ни в сахарную, ни в табачную плантации. Кроме вреда земле и колхозам, такое планирование ничего не приносит.

Мы не пишем здесь научного трактата о поземельном налоге, не ставим себе целью определить его размер и порядок обложения. Мы только указываем на нелепость сложившейся практики в нашем сельскохозяйственном планировании. Вспоминаются указания Ленина по этому поводу. Как известно, в основу решения о замене продразверстки натуральным налогом лег ленинский «Предварительный черновой набросок тезисов насчет крестьян». Под пунктом третьим читаем: «Одобрить принцип сообразования налога с старательностью земледельца в смысле повышения %-та налога при повышении старательности земледельца». И далее, в четвертом пункте этих же тезисов: «Расширить свободу использования земледельцем его излишков сверх налога в местном хозяйственном обороте, при условии быстрого и полного внесения налога».

4. *Цена земли*

«...При условии быстрого и полного внесения налога». Уточнение чрезвычайно важное. Может, пришло время восстановить этот твердый погектарный налог?

Но первый же специалист, к которому мы обратились,— Г. Котов, заместитель директора Института эко-

номики сельского хозяйства, высказался против погектарного налога.

— Почему?

— Потому что при отсутствии кадастра, то есть определения подоходности земельных участков, погектарный налог разорит слабые земли.

Однако многие работники Госплана высказываются и против введения кадастра. И опять вопрос — почему?

Несколько неожиданный ответ получил я от Федора Ивановича Романова, заведующего сельхозотделом Казахстанского госплана. Он набросал на бумаге несколько столбиков цифр:

— Смотрите — вот наша средняя урожайность за последние десять лет — 7,3 центнера. А планируют нам в этом году урожайность — 10,1 центнера... Кстати, и в прошлом году нам такую же урожайность планировали. А знаете, какая была у нас самая высокая урожайность за последние десять лет? 9,7 центнера!

— Ну и что же?

— А вот что... Процент изъятия от плановой урожайности установлен 66 процентов. Значит, мы должны сдать по 6,6 центнера с гектара. Вроде бы и не так уж много при урожае 10,1. Только фактическая наша урожайность — 7,3 центнера. Значит, нам остается всего лишь 0,7 центнера. А по Целинному краю и того не получается. Там процент изъятия — 7,3 центнера. Значит, чтобы выполнить план, нам надо еще подкупить зерна где-нибудь на стороне и сдать. Но Госплану что? Они задание дали — план! Работайте, говорят, лучше, тогда и вам больше останется. А если ввести кадастр, представляете, сколько возни будет Госплану?

Разумеется, введение кадастра, а вместе с ним и поземельного налога неизбежно изменит весь уклад планирования. От простейшей разверстки по областям придется отказываться. Вместо этого надо будет скрупулезно учитывать каждый район, каждое хозяйство. Да что там хозяйство!.. Каждую лощину считать, каждый бугор... Менять всю налаженную практику — такую удобную для одних и вызывающую тысячи нареканий у других.

— Оренбургская область должна сдавать по 5,3 центнера зерна с гектара, а соседняя с ней, наша Кустанайская область,— по 6,6. А ведь земли оренбургские, по крайней мере, не хуже кустанайских. Почему же так? — спрашивал Федор Иванович Романов.— Почему оренбуржцы сдали по 5,4 центнера зерна и в героях ходят?

А кустанайцы на целый центнер больше сдали, но их бьют и плакать не велят! Где же справедливость?

Происходит это потому, что отсутствует экономическая мера сопоставления земель, нет кадастра — определения доходности земель, нет твердого поземельного налога, падающего на чистый доход, доставляемый землей. Определение размера среднего чистого дохода с земельных имуществ и составляет задачу так называемого кадастра, неотъемлемой части законодательства почти каждой страны. Существовал он испокон веков и в России. Люди еще в глубокой древности понимали: разные земли и налогом надо обкладывать по-разному, в зависимости от силы земли, от ее доходности. Отсюда и шли тщательные переписи и оценки земельных угодий. В старой Москве еще Василий Темный завещал сыновьям своим произвести общую перепись всех земель. Затем появились знаменитые «Писцовые книги», которые при Иване Грозном приобрели характер кадастра.

В тридцатые годы у нас отменили кадастр, говорить о нем было неприлично. Трудно оценить отрицательные последствия для нашего сельского хозяйства этого догматического запрета.

Правда, сегодня в Институте экономики сельского хозяйства имеются сравнительные оценки земель по областям в баллах. Доктор экономических наук Сергей Дмитриевич Черемушкин, один из страстных пропагандистов кадастра, говорил мне:

— К сожалению, даже эти приблизительные оценочные коэффициенты не всегда принимаются во внимание при составлении планов. Отсутствие кадастра прежде всего пагубно отражалось на тощих землях.

— Я работал несколько лет в ГДР,— вспоминает Черемушкин.— Приезжаю поначалу в кооператив. На одном поле 40 центнеров снимают с гектара, на другом — всего 30. «Отчего ж это вы отстаете?» — спрашиваю я того, что собрал по 30 центнеров. «Я не отстаю,— отвечает он.— Мое поле имеет 60 баллов, а у соседа — 80. Все в порядке». У них кадастр в крови сидит.

— Кто же у нас выступает против кадастра?

— Многие... И те, кто работать по-новому не хочет. И те, которые вчера еще писали, что кадастр — элемент буржуазного землепользования. Кое-кто и сегодня пытается сказать: мол, буржуазные элементы в экономику протаскивают. Срабатывает еще это ржавое оружие...— Черемушкин едко усмехается, качает головой, потом гру-

стно вздыхает: — Не ценим мы землю... Лицо ее потеряли. В прошлом году ушло под отчуждение поселкам да заводам более двух миллионов гектаров пашни. Что это за земля? Какого качества? Какой цены? Никому не интересно... А сколько ценнейшей пойменной земли подтопили мы в Калининской, Ярославской, Костромской областях? А в низовьях Волги? А на Днепре?.. Строят гидростанцию — все учтут и рассчитают: на какую высоту поднять еще плотину, чтобы напор был выше, киловатт подешевле. Только одного не считают, самой великой непреходящей ценности — земли! Поднимут на десять метров выше плотину и шумят: киловатт стал самый дешевый — полторы копейки. А того не учитывают, что этот десятиметровый подъем плотины затопил еще миллион гектаров пойменной земли. Золотой земли! Да посчитай, сколько она стоит — вложи ее цену в киловатт, и он окажется не дешевле, а самым дорогим... Отвечать надо за землю! Пора знать ей цену.

Я слушал эти горькие слова и вспоминал Солдатово с его сказочной тишиной и летней прохладой, вспоминал солдатовские поля, раскиданные на округлых увалах и крутых взъемах под самыми облаками... Каждый клинышек там обихожен.

Вспоминаю я этих пахарей и думаю: «Вот так надо знать цену своей земли».

1965 г.

ЛЕСНАЯ ДОРОГА

— Как у вас голова насчет качки, крепкая? — спросил меня шофер Попков.

— А что? — я подозрительно посмотрел на его суровое, цвета кедровой коры, лицо.

— Так, на всякий случай.

Я пожал плечами: вроде нам не по морю плыть, а ехать по таежной дороге. Но шофер больше — ни слова. Он, видимо, сердился на то, что пришлось меня ждать, а тем временем ускользнул его начальник лесопункта Мазепа. Лови его теперь на заснеженных лесных времянках!

Ехать нам далеко, километров за сто, до Ачинского лесопункта, аж в предгорья Сихотэ-Алиня. Попков повезет туда сено на своем грузовике. Где-то ему еще надо

нагрузиться — не то в Улове, не то в Баине. «Уточним на месте,— сказал ему Мазепа.— Заедешь — найдешь меня».

Мне тоже нужен был этот самый Мазепа. В редакцию пришло письмо от рыбнадзора: «На Теплой протоке гибнет кета... Мазепа уничтожает нерестилища. Помогите! — Чуряков».

Накануне я звонил из редакции директору леспромхоза, просил с утра задержать Мазепу, разумеется, не сказав — по какой причине.

Мазепа у газетчиков был на хорошем счету. И директор, видимо, понял, что будет очередная похвала. Поэтому он не стал задерживать своего начальника лесопункта. А когда увидел меня, только руками развел: «Поздно прилетел самолет... Опоздали, дорогой мой. Мазепа-то уехал...» — «Какая жалость!» — «Ну ничего — нагоните. Я задержал тут грузовик».

День выдался морозный, солнечный, с тем необыкновенно чистым и бодрым снежным духом, который бывает только в начале зимы.

Дорога из Трухачева потянулась к сопкам, пропадая в частом буром мелколесье. Грузовик шел резво по накатанной снежной колее. Хотя еще и октябрь не кончился, но снегу в тайге навалило по колена. Ранняя зима выпала. Дубы стояли огненно-рыжими, не потерявшими ни единого листика; и даже голенастый маньчжурский орех топырил еще в зеленоватое холодное небо поредевшие, свернутые в трубку длинные листья.

Клубились паром незастывшие бурные таежные протоки, а на обмелевших речных перекатах, мотая обнаженными спинными плавниками, обдираясь о коряги и камни, на брюхе ползла, пробираясь вверх, кета. Нерест все еще продолжался.

Мой попутчик сидит за баранкой прямо, вытянув вперед подбородок, словно правофланговый в строю, по которому все должны равняться. И фуфайка на нем защитного цвета, и шапка серая армейская; будто он и впрямь только со службы. Но ему уже за сорок — баранку он крутит нехотя, как бы между прочим; и, глядя на его строго сведенные брови и немигающие глаза, можно подумать, что машину ведут не руки, а вот эти насуплённые брови.

— Давно здесь работаете? — пытаюсь я завести беседу.

— С детства.

— И все шофером?

— Раньше плоты гонял по Бурлиту.

— Какие плоты?

— Леспромхозовские, какие же еще? Раньше в плотах сплавляли лес-то. А мой батя вроде за лоцмана был. И меня держал при деле...

— Что ж вы ушли? Шофером выгодней?

Он как-то искоса смерил меня взглядом, криво усмехнулся:

— Ты что, нездешний?

— Да вроде бы...

— Чудак. Ныне одни кедры валят... А кедра и молем плывет. Зачем же ее в плоты вязать?

— Почему же вы одни кедры берете?

— Такой порядок,— ответил он просто.

— Но это же вредно для тайги...

— Само собой. Заламывается...

— Почему же вы не протестуете?

— Чего?! — он опять удивленно искоса посмотрел на меня.

— Протестовать, говорю, надо. Тайга мертвой станет. Кедр уничтожат — зверь уйдет...

— Из одного места уйдет, в другое придет. Зверь — он и есть зверь. Намедни вон старуху волки съели. Одни валенки остались... В Баин шла из Улова... К фельдшеру. Да сбилась с дороги-то. Они ее и вылечили.

Дорога начинает показывать свои первые лесные капризы. Вот она, вырвавшись из мелкого ельника, неожиданно ныряет в глубоченный ухаб. Ухаб настолько крут, что мне из кабины кажется он обрывом. Я невольно хватаюсь за держальную скобу; но грузовик на мгновение будто застывает на откосе и плавно съезжает вниз. Я с удивлением смотрю на Попкова, но он по-прежнему невозмутимо суров. Машина встает на дыбы, с ревом вырывается из ухаба и облегченно мчится под откос. Вдруг — поворот, и перед нами темная полоска полыньи, клубящейся паром,— а глаза шофера уже отыскали желтую ленту бревенчатого моста и гонят к нему машину. Короткая встряска — и снова грузовик летит по извилистой коварной дороге.

Вскоре я заметил, что все эти бесчисленные бревенчатые мосты имеют совершенно одинаковый характер: чуть только дотронутся до них колеса грузовика, как они начинают трястись, точно в лихорадке; и чем длиннее мост, тем он трясучее.

— А не провалимся? — спрашиваю я.

— Бывает,— невозмутимо отвечает Попков, подпрыгивая за рулем, точно верховой в седле.

— А дальше лучше?

— Дальше хуже.

Грузовик размеренно ныряет в ухабы, точно плывет по волнам, и до меня доходит предупреждение шофера насчет качки.

— Ничего себе качка!

— Подходящая. Это у нас «шифером» зовется.

— Неужто нельзя выправить его?

— Почему же нельзя? Можно. Прицепил нож к трактору да и посрезал бы ухабы.

— А что ж, тракторов нет?

— Есть! Как же так? Леспромхоз — и без тракторов?

— Отчего же не исправите дорогу?

— Приказа нет.

— А если без приказа? Прицепили бы нож и попутно посрезали бы ухабы...

— Чудак! Нож — это ж государственное имущество. Его просто не возьмешь! Порядок заведен!

— Какой же это порядок?! — указываю я на ухабы.

— Ничего, проехать можно... Конечно, без привычки трудновато... Ежели голова слабая насчет качки. А привыкнешь — ничего. Зимой-то еще благодать. Вот уж летом не прыгнешь.

Говорит об этом Попков вроде бы и с радостью, словно ему доставляет удовольствие ежедневно нырять по этим выбоинам.

На одном из крутых поворотов, посреди самой дороги, стоит ясень, в наезженном прогале намертво села машина, груженная какими-то бочками. Мы еле выбираемся из месива новой колеи, вылезаем из кабины, осматриваем место аварии. Машина карданом сидит на пне, рядом валяются рассыпанные передние рессоры.

— Крепко сел...— удовлетворенно замечает Попков.— Теперь без домкрата его и трактором не стащишь.

— Неужели трудно срубить этот пенек?

— А зачем? Проехать можно. В лесу пеньков много... Что ж теперь? Ты их и будешь всех рубить?

— Так пень-то посреди дороги стоит!

— Возьми да объехай... Кто тебя на него толкает? — Мы усаживаемся в свою машину и едем дальше.

— Я вот тоже один раз на пенек сел,— сказал шофер.— Ночь, зима... Крутился я, крутился возле машины, взял да и лег в кабинке. И вот слышу, будто во сне, тру-

бы играют, а очнуться не могу никак. Потом вроде меня несут на носилках санитары, и пение кругом... А это, оказывается, проезжий шофер меня вытаскивал из кабины и матерился. Чуть не замерз. Еле очухался...

Он ловко, орудуя одной рукой, достал папироску, зажег спичку и прикурил; второй рукой держал баранку и правил, не сбавляя скорости.

— Зимой у нас рай. Хоть плохая, да есть дорога. Вот с весны и такой не будет. Здесь только пеший да верховой и проберется.

— Сколько же лет здешнему леспромхозу?

— Да уж больше двадцати лет.

— И все без дороги?

— Лет пять назад начали было строить. Да вон, видите просеку? Под дорогу делали.

Эту просеку я заметил раньше, она тянется от самого Трухачева.

— И далеко ее прорубили?

— Аж до Бурлита... Километров на двадцать пять,— отвечает Попков.— И кюветы под дорогу прорезали... Делов наделали тут, да все и бросили.

Проскочив одну из проток, Попков свернул направо.

— Заедем в Улово,— сказал он.— Здесь недалеко, Мазепу надо разыскать, чтоб сена отпустил.

— Прямо гетман ваш начальник,— сказал я.

— Гетман у нас лесником работает.

— Прозвище, что ли?

— Может, и прозвище, может, фамилия... Кто его знает!

Вскоре в стороне от дороги показалась приземистая избушка; она была так сильно завалена снегом, что издали походила на сугроб.

— Это и есть Улово?

— Здесь конюшня,— ответил Попков.— А Улово чуть подальше — два барака... Там, за протокой.

Мы остановились напротив избушки. Попков посигналил; сиплый, словно простуженный гудок коротко оборвался, как будто утонул в снегу.

— Дрыхнут, как медведи, чтоб им через порог не перелезть...— незлобиво выругался Попков; но и сам не стронулся с места, только поглядывал на избушку вроде бы с завистью.

Между тем мы остановились на самой границе леспромхозовских владений — там, за широкой, скованной

льдом протокой, начинались приметы недавнего разгула пилы и топора.

За частой щетиной невысокого прибрежного краснотала виднелись обломанные, похожие на черные костыли, ясени; покосившиеся в разные стороны со сшибленными верхушками лиственницы; корявые толстенные ильмы с белеющими ранами отодранных сучьев толщиной с доброе дерево. Сердце сжималось от этой мрачной картины.

— Что сделали с лесом? Заломали и бросили... Негодяи! — не выдержал я.

— Одни кедры рубили. А кедра, я те скажу, что колокольня... Все деревья ей вот до сих пор,— Попков ребром ладони провел по ремню,— то есть по пояс... Кы-ык она шарахнет наземь... Всем макушки посшибает.

Наконец из избушки вышел старик в нагольном полушубке, в малахае с одним ухом, торчащим в сторону, как вывернутое крыло у заморенного гусака; сначала он было двинулся к нам, но, видимо передумав, остановился, достал кисет, стал закуривать.

Шофер опять посигналил.

— Чего орешь? — крикнул старик.

— Мазепа здесь?

— Утром был,— ответил тот.— На Баин подался.

— Догоним его? — спрашивал Попков, высунувшись из кабины.

— Пожалуй, не настигнете.

Грузовик разворачивается долго, словно норовистая лошадь, не желающая пятиться задом. Колея была сдавлена наметенными сугробами, и грузовик осторожно тыкался в них тупым рылом, словно принюхивался. Наконец мы развернулись и покатили к Баину быстро, в надежде настигнуть ускользнувшего от нас Мазепу.

Вскоре пошли бывшие поселки лесорубов: один, другой, третий...

Скучно они выглядят! Покосившиеся заборы, пустые, с выбитыми окнами избы, почерневшие от времени бревенчатые амбары без крыш и дверей... Тишина и запустение. Да и кому нужны эти поселки? Лесорубы покинули их, ушли вместе с тракторами, пилами, подвижными электростанциями в более глухие и нетронутые таежные дебри, а здесь остались либо кородеры, либо охотники, либо рабочие тощих подсобных хозяйств, любители огородничества и «самостоятельной» жизни; в леспромхозе их зовут иронически «пенсионерами». А те, которые рубили эти избы, где-то в новых местах снова строят бара-

ки, избы, также наспех и также вскоре бросят их, чтобы идти куда-то дальше на временное житье. Куда они идут? Куда торопятся? Зачем бросают столько добра в тайге? Здесь бы жить и жить да работать на славу еще десятки лет. Кругом стоят исполинские ильмы, лиственница, маньчжурский орех и, наконец, золото нашей тайги — ценнейшее дерево — ясень! Но сплавлять их нельзя — тонут. А вывозить — нет дороги. И вот их заломали, захламили и бросили чахнуть да гнить...

Баин ничем особенным не отличается от других поселков. Те же маленькие, кособокие бревенчатые избы с неаккуратно обрезанными углами, те же длинные приземистые бараки, срубленные из толстых красных бревен, с окнами без наличников, с безобразно частыми переплетами, похожими на тюремные решетки. В Баине было побольше застекленных изб и бараков, да чаще над тесовыми крышами кудлатились жидкие дымки. Здесь расположилось подсобное хозяйство ОРСа, осели многие семьи далеко откочевавших лесорубов.

Мы остановились на конном дворе. Возле ворот две бабы навивают воз сена.

— Мазепа здесь? — спрашивает у них Попков.

— Кажется, на Мади уехал,— отвечает ему женщина в фуфайке и, сняв рукавицы, дует на руки.

— Тьфу, дьявол! — плюнул шофер и, повернувшись ко мне, сказал: — Посидите в сторожке, а я тут поразведаю.

Под сторожку была отведена половина пятистенной избы, во второй половине помещалась шорная. Я рванул дверь в сторожку — не поддается.

— Она примерзла! — кричит кто-то со двора.— Ногой ее долбани!

Я бью ногой в притвор, дверь с сухим треском распахивается. В сторожке никого не было. Посреди избы топилась плита, в углу стоял топчан, у окна — стол с табуреткой. Через минуту в сторожку вошла та самая женщина в фуфайке, что отвечала Попкову.

— Окаянный мороз,— сказала она беззлобно, протягивая над плитой большие иссиня-красные руки.— Аж с пару сошлись.

— Вы что, конюхом работаете? — спросил я ее.

— Да где поставят, там и работаю. Заработки у нас ни к черту. Одно слово — подсобное хозяйство.— Она нагнулась и начала заметать щепки травяным веником.

— А на лесозаготовках зарабатывают?
— Там зарабатывают.
— Что ж вы там не работаете?
— Да куда мне с детьми скакать с места на место? У меня их двое. Я уж здесь привыкла.
— А что, мужа-то нет?
— Нет мужика...— Она аккуратно собрала щепки, бросила их в печь.— Старший-то у меня семилетку кончил и в город подался на каменщика учиться. Вызов ему пришел оттуда. Уж так рад! Да и я радехонька — лишний рот с плеч.
В дверь вошел сухощавый мужик средних лет с таким выражением лица, как будто он знает что-то такое, от чего все могут ахнуть.
— Саня,— обратился он к женщине.— Поди навивай, Мазепа приказал.
— Он здесь?
— Нет... Давеча верхом на Мади подался. А мне наказал распорядиться...
Женщина натянула тряпичные рукавицы и пошла на двор.
— Механизация механизацией, а все равно без лошади и в лесу ни шагу,— прищуриваясь, словно оценивая меня, хрипло заговорил вошедший.— Шорник в колхозе первый человек... А здесь...
— Вы, должно быть, шорником работаете? — спросил я его.
— Без расценок какая работа! Я тебе, положим, клещи переберу, а ты опиши все как есть. Или возьми потник — он у тебя сопрел, а ты с ним возись.
В сторожку вошел плечистый человек в новом полушубке.
— Вот это Евстафий Дмитрич, ветврач,— сказал шорник.— На него все лошади замыкаются.
Мы поздоровались.
— Ты ему расскажи насчет поросят,— попросил шорник ветврача.
Евстафий Дмитрич вдруг заговорил очень тихим, тонким, не по комплекции, голосом:
— Видите ли, ОРС тут бракованных поросят продает по дешевке. Вот рабочие жалуются.
— На то, что дешево?
— Нет, на то, что поросята потом дохнут. Видите ли, для отчетности ОРСу выгодно проводить поросят проданными, пусть даже дешево. Это значит — помощь населе-

нию. А какая же это помощь — одна видимость. Я им запрещал, да не слушают меня.— Он говорил равнодушно, не веря, что его слова что-то могут изменить.

— А Мазепа знает?

— Мазепа все знает.

— Почему же он не запретит?

— Невыгодно ему с ОРСом ругаться. Без мяса оставят... Рабочие и так разбегаются. А план выполнять нужно.

Вошел Попков, за ним высоченный мужчина в тулупе с кнутом в руках. Это и был Гетман, здешний лесник. Он уже собрался ехать на Мади, вслед за Мазепой.

— Зачем вы за ним гонитесь? — спросил я лесника.

— Ему новые лесосеки дали... Не проверишь — он обязательно лишку прихватит. Да выберет, что получше.

— Возьмите меня... Мне он тоже нужен.

Гетман критически осмотрел мою куртку.

— В этой одежке до пупа только за девками бегать — полы в ногах не путаются. А в санях да по тайге тулуп нужен.

— Тулупов у нас нет,— сказал ветврач.— Так что поезжайте с Попковым до Ачинского.

— За Баином перемело дорогу? — спросил Попков.

— Перемело. Но с утра машины пробили, проедешь,— успокоил его лесник.

— Вот опять же непорядок,— снова сердито заговорил шорник, поглядывая с неодобрением на меня.— Ведь каждый день за этим Баином машины вязнут. Переметает не больше километра. Что бы плетень там поставить? Нет никому до этого дела...— Он смотрит на меня с такой укоризной, словно я-то и есть главный дорожный мастер.

Чтобы как-то оправдать себя в глазах шорника, я спросил Евстафия Дмитриевича:

— А почему снегозадержатели там не поставят?

— Не знаю,— пожал плечами ветврач.— Оно дело-то пустяковое, да сверху никто не распоряжается... Видать, привыкли.

— Теперь дорога сносная,— возразил свое Попков.— Зачем понапрасну обижаться. Вот летом фасон другой...

— Это уж точно... Летом тяжельше.

— Сахару месяцами не было.

— Что там сахар! Хлеба не подвозили...

— А ныне и хлеб и сахар... Магазин вон торгует. Чего еще надо?

— Зачем обижаться? Теперь жить можно.

— Точно, точно,— повторяли со всех сторон, и даже шорник согласно кивал головой.

Километровый участок дороги за Баином мы пробивали медленно, метр за метром; машина дрожала от рева и напряжения, продвигаясь мелкими рывками по заметенной колее. И когда уже оставалось рукой подать до лесной опушки, грузовик затрясся, как в ознобе, и стал.

— Так... Понятно! — Попков выключил зажигание и вылез из кабины.

С минуту он осматривал задние скаты, зачем-то бил каблуком по неподатливой, как дерево, резине и наконец изрек:

— В колесник сели... Это мы си-ичас.

Он полез в кабинку, сдвинул сиденье и выбросил оттуда грязную брезентовую куртку, топор, пилу и лопату.

— Дай покопаться,— попросил я.

— Сиди! — он взял лопату, встал на одно колено и начал откидывать снег из-под задних колес.— Это еще ничего... Снег ноне неглубокий. Вот в марте сядешь — беда. Не докопаешься.

По словам Попкова получалось так, что я попал в самую счастливую пору его шоферской жизни. Вот комедиант! Меня это стало раздражать.

— Значит, у вас теперь самая легкая пора?

— Чего? — он перестал копать и глядел на меня с недоумением.

— Легкая пора, говорю, у тебя.

— Ага! И у тебя сейчас будет легкая пора,— подмигнул мне Попков.— Ну-ка, подай куртку! Та-ак... А теперь лезь под машину! Полезай, полезай! Во-от... Протаскивай рукава скрозь колесо... Та-ак! Тащи, тащи! Чего смотришь? Ну-к, дай сюда.

Он, сердито сопя, стал повязывать брезентовую куртку на заднее колесо. Рукава протянул между скатами и скрутил их жгутом. Потом залез в кабину, громко хлопнул дверцей. Заурчал, завизжал мотор, затряслась машина, и бешено закрутились задние колеса, поднимая снежную пыль. Ни с места...

Попков высунулся из кабинки:

— Эй, из конторы! Возьми топор и дуй в лес. Вагу сруби подлиньше... Да еще чурбак! Вывешивать машину будем.

А потом негромко матюгнулся вслед мне:

— Легкая пора! Язви тя...

Странно, меня ничуть не обидела ругань Попкова. Мне даже доставляло какое-то непонятное удовольствие его озлобление. Еще несколько минут назад я думал о скверной привычке человека довольствоваться малым.

Но это была привычка циркача, танцующего на канате. А что нам стоит? Перекувыркнуться? Пожалуйста! Все очень просто... Но не вздумай сказать ему, что работа его и в самом деле простая и легкая.

Пока я вырубал вагу и чурбак, пока нес их из лесу, обливаясь потом, возле грузовика уже крутился «газик», а мой шофер командовал, размахивая руками:

— Давай назад! Осади, говорят!! То-ой! Эй, из конторы! — крикнул он, увидев меня.— Ты что, в лес по грибы ходил, что ли ча? Давай сюда! Чего остановился? Обрубок клади под колесо... Та-ак! Да это ж нешто вага? Это ж бревнище! Хоть в венец укладывай... Эх, заставь богу молиться... медведя.

Он подошел к «газику», открыл правую дверцу:

— Как вас по имени-отчеству, извиняюсь?

— Иван Макарович,— раздалось из «газика».

Потом тяжело вылез хорошо одетый грузный мужчина. Я узнал директора леспромхоза Пинегина. Мы поздоровались.

— Берись за верхушку, Макарыч! — подвел Попков Пинегина к ваге.— И гни, дави ее! Из конторы! — обернулся он ко мне.— А ты поддерживай ногой чурбак и тоже на вагу ложись... Брюхом. Та-ак! — Попков залез в кабину и продолжал оттуда командовать. Он включил мотор.— Ну, взяли. Р-раз-два! Эй, поехала...

Мы подняли засевшее колесо, «газик» натянул трос, и грузовик медленно выполз на пробитую колею.

Попков собрал свой шанцевый инструмент, отвязал с колеса брезентовую куртку и спросил меня:

— Со мной поедешь или пересядешь к ним?

— А вы куда едете? — спросил я Ивана Макаровича.

— На Мади. Мазепу ищу.

— И мне он нужен, Мазепа. Подвезете?

— Пожалуйста.

Попков кивнул мне:

— Ну, бывай, помощник из конторы.

Так и не простил он мне «легкой поры».

Иван Макарович подал ему руку и сказал уже в «газике»:

— Орел... Сразу видно — мазеповской выучки.

Иван Макарович человек приятный, обходительный — светлая улыбка постоянно на его лице. И одет он как-то весело: светло-белые валенки, серое пальто, серый каракуль... И шутит как-то весело:

— Наши хозяйственники рупь в карман кладут, десять на дорогу бросают.

— Мазеповская выучка,— сказал я.

— Ты Мазепу не трогай... Он уже в счет будущего года работает.

Мы подъехали к реке Бурлиту... Длинный бревенчатый мост, настланный по каким-то деревянным козелкам и по неокрепшему льду, местами перехлестывала вода, вырывавшаяся из промоин и трещин. Река кипела. Ехать по такому шаткому основанию было рискованно. Иван Макарович вылез из машины, потрогал валенками бревна, вздохнул:

— Эх, Мазепа ты, Мазепа! Атаман ты, и больше ничего... Видал, какая стихия? — спросил он меня, кивая на кипящую реку.— А они каждый день мотаются по ней. Башки отчаянные! Одначе, с волками жить — по-волчьи выть,— сказал он, влезая в «газик», и потом смиренно своему шоферу: — Давай, Петя! Плыви...

Но как только «газик» забарабанил по шаткому бревенчатому настилу, Пинегин приоткрыл дверцу:

— Ты на всякий случай тоже приоткрой дверь-то,— обернулся он ко мне.— Все успеем вынырнуть.

Он опасливо заглядывал в реку, вытягивая, как гусь, шею.

— Да тут вроде и неглубоко, а, Петя?

— Местами по шейку,— тихо ответил Петя.

— Вот обормоты! Даже бортовых бревен не положили... Да куда ты на край-то лезешь? — крикнул Пинегин.

— Чуток занесло.

Петя, остроносенький белобрысый паренек в черной фуфайке, как скворец, сидел сгорбатившись, крепко вцепившись в баранку, положив подбородок на руки, и пугливо таращил глаза.

— Весной на этом месте растащило мост... ЗИЛ провалился,— сказал Петя.— Шофер вон там, у «Монаха», вылез.— Он кивнул в сторону высокого черного камня, одиноко торчащего из воды.

— Да, купель в эту пору так остудит, что штаны примерзнут,— сказал Пинегин.

«Газик» приостановился; сразу за мостом разлился широкий заберег с раскрошенным снегом и льдом.

— Прикройте двери,— сказал Петя.— С разгона пойдем. Не то сядем в этой квашне.

Я захлопнул дверцу.

— А здесь не глубоко? — Пинегин вопросительно посмотрел на шофера.

— По-моему, по дифер.

— Ну давай... С разгона так с разгона...

Но дверцу Пинегин все-таки не прикрыл; и пока «газик» шумел колесами по воде, он напряженно поглядывал, как волны обмывали подножку. Наконец мы выскочили на прибрежный откос.

— Сколько героизма проявляется на одной только дороге! — сказал Пинегин, облегченно вздыхая и шумно хлопая дверцей.— Скромные, незаметные труженики... А чуть поскреби каждого — романтик! Мало мы говорим о них, мало пишем! Простите за любопытство, вы очерк о Мазепе думаете написать? — спросил он, обернувшись ко мне.

— Пожалуй, нет.

— А что же, если не секрет?

— Еще не знаю.

— Он стоит и очерка. Сам покоя не знает и другим не дает.

Пинегин торжественно умолк, чтобы дать почувствовать значимость сказанного.

— Такие кадры — наша опора,— сказал он через минуту.— Завтра в райкоме совещание передовиков. От Мазепы целая бригада будет. Вот так...

— Вы представляете, сколько стоит временный мост через Бурлит? — спросил я Пинегина.— Ну, хотя бы приблизительно...

— Зачем приблизительно? Я могу вам точно сказать: десять тысяч списывают на него ежегодно.

— Десять тысяч! За двадцать пять лет — двести пятьдесят тысяч... два с половиной миллиона рублей на старые деньги! — считал я вслух.— За эти деньги можно было четыре постоянных моста построить.

— Но вы не учитываете фактор времени,— снисходительно улыбнулся Пинегин.— Времянку за неделю наводят, а постоянный мост и за год не построишь.

— Да кто же за нами гонится?

— Время такое... Стране нужен лес сегодня, а не вообще...

— А завтра не понадобится?

Пинегин даже не взглянул на меня: то, что он говорил, казалось ему настолько очевидной истиной, что и доказывать не нужно.

— Мы должны торопиться... Обязаны!

— А если я не хочу торопиться?

Пинегин наконец обернулся и весело поглядел на меня:

— Жизнь заставит!

Мади встретила нас огромными штабелями бревен; они тянулись как высоченная крепостная стена вдоль понад берегом промерзшей до дна речушки. Медно-красные в корне, желтовато-масляные на срезах, как располосованные свежие дыни, они поражали своими размерами: крайнее кедровое бревно, у которого мы остановились, в поперечнике было под крышу «газику». Казалось, что эти громадные кедры валили под стать им великаны-люди, а потом, играючи, укладывали их, как кирпичики, в эти стены. Но люди были самые обыкновенные, даже большей частью малорослые, все, как один, в серых выгоревших фуфайках, в кирзовых сапогах,— сидели они тут же, на бревнах, курили. Поодаль стоял черный, как ворон, длинноносый автокран. Неужели все эти горы они наворочали? Не верилось.

Откуда-то из лесу доносились глухие раскатистые удары, будто кто-то колотил там по мокрому белью огромным вальком.

Мы вылезли из «газика», поздоровались.

— Мазепа здесь? — спросил Пинегин.

— Был... Только что уехал в Ачинское.

— На чем?

— На хлебовозке...

— Ах ты, неладная! — Пинегин обернулся ко мне:— Может, догоним?

— Надо сходить на нерестилища.

— А что там?

— Посмотрим! Как пройти на Теплую протоку? — спросил я лесорубов.

От автокрана подошел черноглазый скуластый паренек, подал нам по очереди маленькую, но жесткую руку.

— Мастер,— представился он.— Между прочим, моя фамилия Максим Пассар.

— Хорошо работаете! — весело сказал Пинегин, кивая на бревна.— Но как вы их вывозить отсюда станете?

— О, милай!.. Весна все сволокет,— ласково щурясь, отвечал маленький, но длиннорукий мужичок.— Вы не глядите, что эта речушка воробью по колено. А взыграет, вспузырится... так попрет, что верхом на лошади не угонишься...

— Нам нерестилища надо посмотреть... Теплую протоку,— сказал я Пассару.

— Туда в обход надо. Лесом нельзя — валка идет.

Из лесу, прямо на нас, словно танк, подминая с треском молодняк, выпер черный стосильный трактор. Здесь, на раскряжевочной площадке, он развернулся, утробно всхрапнул и умолк.

— Отчаливай!— крикнул тракторист.

Один раскряжевщик бросился снимать чокер с огромного кедрового хлыста, приволоченного трактором.

— Вот это кедровина! Кубов на десять будет...

— Две нормы на рыло...

— Боров!

— Слон!

— Китина...

Поваленный кедр и в самом деле напоминал исполинскую тушу кита; и петля стального троса была внахлест затянута на суковатой развилине, как на хвостовом плавнике. За кедром тянулся глубокий черный след вспаханного им, перемешанного с землей снега... Широченная борозда! Кора его была вся обита, ободрана о корневища. А сколько он поломал, повыдрал с корнем, похоронил молодняка на этом долгом пути, подумалось мне.

— Пойдемте через лес! — сказал я Пинегину.— Валку посмотрим.

— Но туда нельзя.

— Пассар нас поведет... Как, Максим, проведете?

— Если не боитесь, конечно, можно такое дело...

Я смотрел на Пинегина. Он откашлялся, вынул платок, долго утирался.

Наконец сказал своему шоферу:

— Подожди меня здесь, Петя.

Мы пошли по черной борозде, проложенной кедром; она завиляла, пересекаясь с такими же глубокими бороздами, извиваясь вокруг уцелевших раскоряченных ильмов да стройных стального воронения ясеней.

— Э-ге-гей! — кричали нам вслед.— Смотрите поверху, не то рябчик долбанет.

— Это что еще за рябчик? — спросил Пинегин Пассара.

— Сучки у нас так называются.

Кедровые сучья, перемешанные с валежником, с покалеченным, искореженным молодняком, повсюду высились в завалах — не перелезть...

Сверху, с заломанных, обезображенных деревьев тоже свешивались кедровые сучья, комлями вниз, тяжело покачиваясь, готовые в любую минуту сорваться и ринуться наземь.

— Идите только за мной... В сторону ни шагу,— сказал Пассар.

Мы вытянулись гуськом, шли молча след в след, словно по сторонам было минное поле. Глухие ухающие удары, доносившиеся с лесосеки, перемежались теперь с раскатистым треском, напоминавшим пулеметные очереди.

Потом стал долетать до нас высокий, комариный голос пилы, и чем ближе мы подходили, тем надсаднее, ниже и злее становился этот звон.

Наконец Пассар поднял руку, остановился.

От неожиданности мы почти столкнулись.

Перед ним метрах в ста качнулся и стал валиться высокий кедр; сначала он вроде бы застыл в наклонном положении, и казалось, что он еще выпрямится и его тупая, словно подстриженная небесным парикмахером, вершина снова появится в оголенном проеме. Но, помедлив какое-то мгновение, тяжелыми косматыми лапами погрозил он, опрокидываясь, небу и быстро пошел к земле, со свистом рассекая воздух, по-медвежьи с треском подминая долговязый орешник, и с пушечным грохотом ударился наконец оземь. Гулким стоном отозвалась земля, и долго, как смертный прах, парило в воздухе облако снежной пыли. И в наступившей тишине было жутко смотреть на этого поверженного недвижного, точно труп, лесного великана, на мотающиеся обломанные, как костылыжки, ветви орешника да трескуна, на пустой, как прорубь в пропасть, небесный проем, который еще мгновение назад закрывала кудлатая голова кедра.

— А теперь бегом, бегом! Чего, понимаешь, стали?— Пассар пропускает нас вперед.— Бегом! Прямо к кедру...

Я бегу впереди и чувствую, как у меня колотится, словно от испуга, сердце. «С чего бы это?» — удивляюсь я.

Возле высокого пня, похожего на лобное место, стоял вальщик в оранжевой каске с брезентовым, спадающим на плечи, покрывалом.

На пне лежала бензопила,— совсем игрушечной ка-

залась она на этом поперечнике, размером с хороший круглый стол.

— Как же вы ухитрились эдакую махину? — спросил я вальщика.

— Минут сорок провозился... С подпилом брал ее, с обоих концов... Натанцевался.

Вальщик — немолодой, густая темная борода на щеках заметно серебрилась, но был он плотный, коренастый и, видимо, немалой силы.

Однако я заметил, что пальцы у него дрожали; когда он скручивал цигарку, крупинки махры полетели на землю.

— Не владеют пальцы,— как-то извинительно улыбнулся он, перехватив мой взгляд.— Как повалишь кедру — руки и ноги трясутся. Ничего не поделаешь.

— От чего? От усталости?

— Да нет... Вроде оторопь берет. Испуг не испуг, но сердце бьется, и что-то такое подкатывает под самый дых! Повалишь такое вот дерево, как живую душу сгубишь. Пятнадцать лет уж как валю, а все еще оторопь берет.

— Это наш лучший вальщик Молокоедов,— сказал Пассар, подходя с Пинегиным.

— Замечательно у вас получается. Прямо салют! Как пушечный залп...

Пинегин похлопал вальщика по спине:

— Вот они, покорители тайги!

Вальщик смущенно улыбался и жадно затягивался дымом.

— А зачем ее покорять, тайгу-то? — спросил я Пинегина.

— Как зачем? Человек — хозяин своей земли.

— И это по-хозяйски? — я указал на заломанные деревья.

— Ну, это пустяки... Зарастут, новые вырастут.

— Как можно говорить такие слова? Кто в тайге живет, знает: такое дело не зарастет. Гнить будет, болеть будет... Короед появится. Тайга пропадет! Гиблое место называется это! — неожиданно вспылил Пассар.

— А кто виноват? Ты ж и виноват, милый... А на меня шумишь,— Пинегин засмеялся.

— Я не виноват...— Пассар отвернулся.— Пойдемте на Теплую протоку...

Мы опять растянулись гуськом и шли за Пассаром,

Ухающие раскатистые удары теперь раздавались где-то справа, но все казалось, что вот-вот перед нами повалится очередной кедр.

— Зачем же вы одни кедры рубите? — спросил я Пассара.

— Еще ель немножко берем. Больше ничего нельзя, лиственные породы тонут. Сплавлять нельзя. Дороги нет. Что делать?

— Стройте дорогу.

— Не могу... Мое дело — рубить лес.

— Но ведь кедр не восстанавливается при такой рубке?

— Конечно...

— По закону запрещена такая рубка! — кричу я ему в спину.

— У нас есть разрешение,— отвечает Пассар, не оборачиваясь.— Трест давал...

— Но послушайте, это же преступление! — я оборачиваюсь к Пинегину, и мы останавливаемся лицо в лицо.

Он чуть ниже меня и поэтому смотрит исподлобья своими бесцветными навыкате глазами.

— Не кричите! Вы что, не знаете?! Нужен лес не завтра, а сегодня.

— А завтра что, лес не понадобится?

— Ну и что?! Завтраками кормить будем государство? Мол, подождите там, наверху... Вот построим дорогу, тогда и лес будет. Так, что ли? — повышает голос и Пинегин.

— Не умеете рубить по-человечески, не лезьте! Лучше будет.

— Да поймите же, дело не в рубке!.. Лес — это стройки, лес — это химия, лес — это валюта, наконец.

— Чего спорите!— крикнул Пассар.— Протока подошла.

Мы не заметили, как он отошел на значительное расстояние.

— Идите!

Пинегин кивнул в сторону Пассара и все так же смотрел исподлобья.

Мне не хотелось подставлять ему спину и топать впереди, как под конвоем.

— Ступайте вы! — сказал я.

Но и Пинегин заупрямился.

Мы стояли друг перед другом, как бараны. Его округлое лицо как-то вытянулось — отвисли щеки, и на пе-

реносице проявилась красная сетка частых прожилок. Передо мной был другой человек — упрямый, злой и старый.

Наконец он свернул в сторону и пошел чуть сбоку. До самой протоки мы шли медленно, молча, не глядя друг на друга. Я — чуть впереди, и мне слышно было, как трещал валежник да тяжело дышал Пинегин.

— Вот она и есть, Теплая протока! — сказал Пассар.— Зимой и летом не замерзает.

Мы остановились на обрывистом берегу. Неширокая порожистая протока была завалена кругляком, коряжником и кетой. Оседавшие на галечных перекатах заломы из выворотней, бурелома да почерневших коряжин обросли за лето свежими бревнами и сплошь перегораживали течение. Перед заломами вода кишела кетой; сильная рыба тараном шла на бревна, билась хвостами о галечные отмели, выпрыгивала из воды, сверкая радужным полукружьем, старалась перемахнуть через высоченные заломы, плюхалась снова в воду и опять шла на приступ.

Выбившись из сил, в кровоподтеках и ссадинах, она отходила к берегу и здесь, раздвигая трупы своих собратьев, торопливо разбивала хвостом один из продолговатых бугорков, выбрасывала оттуда уже политую молоками икру своих предшественников, выметывала сама икру в эту ямку и, не успев как следует зарыть ее, тут же умирала. Вода красная от икры; отмель усеяна сдохшей рыбой.

Закатное солнце тяжело плавало над лесными вершинами, и в этом медно-красном свете рыбины казались окровавленными.

Мы долго молчали и смотрели на это мрачное рыбье побоище.

Затихли отдаленные глухие раскаты — видать, вальщики закончили работу.

Ветра не было — ничто не шелохнется. И только редко и жирно каркали вороны; они лениво перелетывали над протокой, садились на прибрежные кедры и сердито кричали на нас.

— Хоть бы вы растащили эти заломы,— сказал я Пассару.

— Нам некогда... Людей нет. И очень бесполезно. Сплавщики много раз взрывали заломы. Все равно затягивает. Вода села к осени. Вот беда!

— Значит, вода виновата? А вы — молодцы!

— Зачем молодцы? Конечное дело — наши бревна в заломах лежат.

— И опять сплавлять будете... Сваленный лес на Теплую трелюете?

— Куда же еще? — сказал Пассар.

Я посмотрел на Пинегина.

— А что бы вы стали делать на месте Мазепы? — спросил он с вызовом.

— Во-первых, не поехал бы на совещание передовиков...

— Смелый шаг, ничего не скажешь,— усмехнулся Пинегин.— Кстати, пора ехать. Не то ночь застанет.

— Счастливого пути.

— А вы остаетесь?

— Да.

Пинегин обернулся к Пассару.

— Пошли! — и уже на ходу громко заговорил:— Оказывается, не умеем мы лес рубить, не умеем... Теперь журналисты будут руководить лесорубами.

Пассар крикнул мне:

— Идите по следу! Как раз в бараки... Понял?

— Ладно, ладно!

До самых сумерек ходил я по берегам протоки.

Странная рыба! Живет, вырастает в океане... Но настанет время метать икру — уходит в далекие таежные речушки на родину. Только здесь, в своем родном нерестилище, может она выметать икру, народить детей.

Каким непостижимым чутьем находит она эту единственную из тысячи проток, затерявшуюся в глухой тайге за тысячи километров от моря-океана?

Какие приметы расставлены там, в морских и речных волнах, что она не сбивается с пути?

Что это за мудрый и строгий закон, который гонит ее в далекую таежную речушку, чтобы народить детей и помереть самой?

Да, помереть во имя жизни детей... Эти малыши, вылупившиеся из икринок, зарытых в песчаное дно, в голодную и холодную апрельскую пору будут поедать то, что осталось от родителей; чтобы, подкрепившись, выйти в дальнее плавание — в море-океан. Жить и жить!..

Но из этих икринок, торопливо брошенных в воду, ничего не вылупится; унесет их равнодушная вода в большую реку, и будут они долго носиться в волнах, пока не потеряют цвета и запаха и не упадут вместе с песчинками в береговую отмель.

В бараки пришел я вечером.

Поселок Мади ничем особенным не отличался от многих других мастерских точек, виданных мной за долгие разъезды по Амурской и Уссурийской тайге,— три приземистых барака — в одном столовая и лавка, в двух других живут лесорубы.

Один барак — мужское общежитие, другой — смешанное: женщины и семейные.

Еще кроме этих бараков стояла маленькая избенка, покрытая корьем,— в ней складывались пилы, бочки с горючкой, тросы, запчасти к тракторам и всякий тряпичный хлам.

Пассара нашел я в столовой, он сидел при керосиновой лампе и пил густой, как деготь, чай. В помещении было жарко натоплено.

Максим расстегнул фуфайку, лицо его разопрело до красноты, от головы густо валил пар, как от самовара.

Из раздаточного окна выглянул щуплый смуглый человечек в белом колпаке с выпуклыми блестящими глазами.

— Ты озябла? — спросил он, улыбаясь, и подал мне кружку такого же черного дымящегося чая.— Бери, кушай!

— Дай ему поесть! — сказал Пассар.

— Картошка хочешь? Икра хочешь? — спрашивал меня повар.

— Давайте, что есть! — Я сел рядом с Пассаром.

— Попков тебя вез, да? — спросил Пассар.

— Попков.

— Застрял возле моста. Я трактор послал.

Распаренный, без шапки, с торчащими черными волосами, Пассар не казался таким уж юным, как давеча. К тому же на висках заметно пробивались иголки седины.

— Сколько же вам лет? — спросил я его.

— Тридцать семь.

— Что вы говорите! А я вам дал не более двадцати пяти.

— Я капли водки не истреблял,— сказал Пассар.

Повар поставил на стол икру и картошку:

— Своя готовим. Кушай.

Икра, с пружинящей, точно вулканизированной кожицей, раскатывалась по зернышкам.

— Тоже нанай? — спросил я Пассара, когда повар ушел.

— Его узбек. Крепко сердился на вас Пинегин,— сказал Пассар, закуривая.— Везде, говорит, суется...

— Он что, сват или брат Мазепе?

— Почему?

— Горой за него стоит... покрывает.

— Мазепа план хорошо выполняет... Очень выгодно для района.

— Послушайте, Максим, вы же таежный человек... Выросли здесь. Неужели не жалко вам леса?

— Я уж привыкал.

— Рыба погибнет...

— Конечно... Нанай так говорит: рыба есть — и жизня есть, рыбы нет — и жизни нет.

Мы долго молчим, курим...

— Сначала я так говорил Мазепе: давай рубить все подряд... дорогу строить, дома строить. Плюнем на директора. План свой составим... А он мне сказал — дурак! Нас прогонят — других возьмут.— Максим смеется, крутит головой, потом внезапно замолкает и с грустью смотрит в темный угол.— Рабочие бегут, понимаешь. Живем как в стойбище, через год поселки бросаем. Мужчины и женщины в одном бараке... Давайте, говорю, хоть столами отгородим — женатых в один ряд, холостых в другой. Тогда одна женщина встает и говорит: «А мне куда ложиться? Днем я холостая, а ночью женатая».

— А что же Мазепа? — спросил я.

— Ну что Мазепа?! Я говорю — давай поставим еще один барак. А он: «Зачем? На будущий год и эти бросим...» Тож правильно, Ачинское — большой поселок. Дома двухквартирные... Школа есть, больница, клуб... Тротуары дощатые, понимаешь. Все равно через год бросим. Кедры вырубили.

— Сколько же вы кубометров берете с гектара?

— Сорок кубометров берем, а двести пятьдесят бросаем...

— Богато живете...

— Пора спать! — бесцеремонно сказал Пассар.— Только вам придется идти в женский барак. В мужском мест нет. Ларда вас проводит. Аделов! — крикнул он повара.— Корреспондента проводи в барак! Койку там приготовили. Спокойной ночи.— Пассар подал свою маленькую сухую руку и вышел.

Меня удивила простота нравов, которая царила в женском бараке.

Койки стояли двумя рядами попарно, вплотную друг к другу.

На койках спали по соседству женщины и семейные пары.

В далеком углу, слабо освещенные висячей лампой, сидели и целовались влюбленные.

Длинный дощатый стол загородил весь проход; одним торцом он упирался в кирпичную облупленную печь, вторым подходил к самым дверям.

Над плитой с веревки свешивались портянки; тени от них перечеркивали весь потолок и стены широкими ломаными полосами, отчего в бараке казалось таинственно и мрачно. Пахло приторно-сладковатым духом преющего тряпья, распаренной резины и жженого волоса.

Указав мне на свободную крайнюю койку, Аделов прошел в дощатый чулан, отгороженный в ближнем углу. Оттуда высунулась маленькая смуглая ручка в цветастом рукаве и быстро задернула такую же цветастую штору.

Потом в чулане часто, горячо и непонятно забубнили.

На меня никто не обратил внимания.

Я разделся, прилег на койку.

За столом сидели несколько человек, занятых кто чем. Крайняя к двери пожилая женщина в зеленой шерстяной кофте и белом в горошинку платочке вязала и часто нашептывала. Напротив нее, на скамье, девушка в синей рябенькой кофточке и черных шароварах считала на маленьких счетах и потом что-то заносила в табличку.

За ней сидели два парня, покрытых черными тенями от портянок, зато девушка между ними была ярко освещена — белоносая, с обветренным красным лицом, она часто прыскала от шепота ухажеров и закрывала лицо ладонями.

Из дальнего угла влюбленных раздался затяжной вздох, похожий на стон, потом высокий довольный смешок.

— Что ж это вы при людях-то обнимаетесь, иль не терпится? — спросила, отрываясь от вязки, пожилая женщина.

— Я глухой... Меня трактором переехало... Девять месяцев пролежал, дело прошлое,— лениво отзывается из угла парень.

— А то вы ночью не слышите, что делается,— недовольно огрызнулась девица из угла.

— Да тебе все едино — что ночью, что днем,— беззлобно возразила женщина.

— Завидуешь? — в углу послышался сдавленный смех.

— Дура.

Женщина снова принялась за кофту.

Я приподнялся, пытаясь разглядеть тех, в дальнем углу: парень опрокинулся на подушку, девушка висела над ним — лицо не разглядеть, только спутанные черные волосы да широкие дюжие плечи, обтянутые синей футболкой, которым и добрый мужик позавидовал бы.

— Новички, должно быть? — спросил я пожилую женщину.

— Она только что приехала откуда-то с целины. А он из наших «старичков», уже третий год доживает. Вот и соскучился, бедный...

— А чего мне скучать? Житуха нормальная... По сто восемьдесят зарабатываю в месяц,— донеслось из угла.

— Вы что ж, пожениться решили? — спросил я.

В углу засмеялись. Прыснула и белобрысая девушка за столом.

— Она его лет на десять старше,— сказала девушка с таблицей в руках.

— Возраст не помеха, дело прошлое,— донеслось из угла.

И снова хохот.

— Весело живете! — сказал я.

— Это еще хорошо — в бараке живем,— сказала пожилая женщина.— Тепло. Зима пришла — времянку проложили, по ней и ездим. А вот всю осень жили возле делян в будках. В каждой будке восемь человек. Повернуться негде — комары, холод, грязь... Ездили туда на волокушах. Двадцать пять верст — два дня едешь. А потом работаешь по двенадцать часов, чтобы наверстать упущенное в дороге.

И сразу разговор становится общим.

— А дорога-то не оплачивается...

— Рябчики заклевали...

— У нас одно дерево повалят, у десяти других сучки пообламывают. Вот они и висят. Сунешься за хлыстом — он тебя сверху и долбанет.

— Вальку Парилова, шофера, стукнул рябчик. Долго валялся, дело прошлое,— не вытерпел и влюбленный.

— А Белова лесина зажала... К пихте его притиснула. Чокеровщики шли, чокера собирали. Вдруг слышат —

что такое? Вроде коза блеет. Подошли — а это Белов. Он уже голос потерял.

— Бывает, дело прошлое.

В барак ввалился высокий парень в свитере, без шапки, лохматый, как медведь, и заголосил:

Обниму свою милую женушку
И усну на груди у нея...

— Ты что, Чечиль, с ума спятил? Орать в такую пору? — сердито сказала девушка с таблицей в руках.

Между тем на койках никто даже не шевельнулся. А Чечиль, покачиваясь, пошел к столу и плюхнулся на скамью рядом с рябенькой кофточкой:

— Эх, Любушка-голубушка! Я тебя на ангарскую сосну не променяю. Звали — не поехал. И никуда от тебя не поеду. Да брось ты эту стиральную доску! — он потянулся за таблицей.

— Не мешай шахматку заполнять! Ну! Кому говорят.— Люба вырвала у него таблицу.

— Ты вот как, да?! А может, я с тобой поговорить пришел последний и решительный, а?

— Вон садись к Сереге на койку. Он там уговаривает одну. А мне не мешай.

— Десятник у нас серьезный,— сказал один из ухажеров, выныривая из-под портяночной тени.

— Ты, Чечиль, смотри не толкни ее. Не то она мне вместо плюса минус поставит.

— А на черта тебе плюсы! Ты и так гребешь по две сотни!

— Как на черта? А вон Ларда ящик водки привез... Иль ты хочешь один всю выпить?

— Я даю только тому, кто озябла,— высунулся из чулана Аделов.

— Брысь! — цыкнул на него Чечиль.

И Ларда мгновенно скрылся.

— Давеча прошу у него пол-литру — не дает. На обогрев, говорю. Человека спасать еду, говорю. Не дает, ханжа насредине!

— В самом деле, тебя же посылали Попкова выручать? — спрашивает Люба Чечиля.

— Ну? — тот любезно осклабился.— Еще что?

— Вытянул?

— Вон на дворе стоит его сено.

— Зачем ты его припер сюда?

— Он сам приехал.

— Так ему же в Ачинское надо.

— А я почем знаю... Он в кабинке уснул...

— Где ж вы нализались?

— Водку из ОРСа везли да засели. Мы их вытянули и литровку бухнули...

— А где Попков?

— Да говорю, в кабинке! Спит...

— Он же замерзнет, чертяка! — Люба бросает шахматку, встает: — А ну-ка марш на двор! Вся застолица... Пошли, пошли! Надо вытащить Попкова.

Две девушки и три парня, накинув фуфайки, вышли из барака.

— Господи, господи, вот шалопутные! Ни днем, ни ночью угомону не знают, — сказала женщина в зеленой кофте, снова берясь за свою вязку.

— Откуда они приехали? — спросил я.

— Кто откуда... Всё бором-собором. Слетятся, года не проживут — и бежать. Я уже вот в третьем месте по вербовке доживаю. Тоже сорвалась, дуреха, на старости лет. Помирать уж пора, а я все ищу, где лучше. Народ ноне проходной стал... Не держится на месте... Кругом одно озорство.

Этот неприхотливый, веселого нрава люд пришел сюда, в таежные дебри, из дальних далей, чтобы в рабочей сутолоке добыть свои нелегкие рубли и опять податься на новые места в поисках хорошей работы, большого заработка, жилья, романтики... По-всякому это называется. Но суть одна — человек стремится туда, где лучше...

Я спал тревожным сном. Мне все снилось, что я иду по тайге и куда ни сунусь — везде высоченные завалы. Я карабкаюсь на завал, хватаюсь за какие-то ветки, сучья... И вдруг — завал уже не завал, а сопка: на вершине стоит огромный Пинегин и размахивает кедром: «Ты куда лезешь? Забыл, что времена теперь другие. А! Хочешь, я те напомню? Кедром-то как долбану сейчас...» Он ударил кедром по сопке, и земля подо мной зашаталась.

Я очнулся. Возле меня стоял Пассар и тряс койку:

— Вставайте, Попков в Ачинское едет.

Наскоро одевшись, я проглотил кружку черного чая, отдающего жженой коркой, и вышел. На улице было совсем светло. Сухой морозный воздух ударил в голову до

опьянения. Я тяжело и отрывисто дышал, как загнанная лошадь.

— Садитесь, что ли ча! — Попков открыл дверцу кабинки.

Мотор у него уже ревел, слегка подрагивал капот, и зудела какая-то железяка на дне кабинки.

— Здравствуйте! Вот не ожидал встретиться здесь,— сказал я, влезая в кабинку.

Попков только повел бровями. Выражение лица у него было такое, что казалось — вот-вот он зарычит и замотает головой.

— Может, прикажешь своему кашевару? — высунувшись из кабинки, упрашивал Попков Пассара.— Мне только полстакана. Дайте муть осадить.

— Ты что, понимаешь? Думаешь такое дело? За рулем сидишь. А кого задавишь? Я отвечай, да? — Пассар стоял на крыльце, из-за его спины выглядывал Аделов.

— Да кого я в тайге сшибу? Медведя, что ли?

— Порядок везде одинаковый.— Пассар был неумолим.

— Я водку даю только тому, что озябла,— сказал узбек.

— А я что, на печке буду сидеть? — рыкнул Попков.

— Поезжай, понимаешь... Зачем без толку говорить? — Пассар даже отвернулся.

— У-у, басурманы...— проворчал Попков.— Одно слово — азияты...

Погнал он быстро, очевидно решив всю свою обиду выместить на грузовике. Меня бросало по кабине, как горошину в бочке. Я упирался ногами и спиной во все, что было неподатливым, вцепился обеими руками в держальную скобу, и все-таки меня поминутно срывало, и я бился обо все углы либо головой, либо плечами, либо коленками. Дребезжали стекла, подпрыгивал капот, и над нашими головами, шурша о кабинку, мотался огромный воз сена. Мы оседали то на одну, то на другую сторону, но, не сбавляя скорости, летели вперед, каким-то чудом не опрокидываясь.

Только мы успели выехать на главную ачинскую дорогу, как навстречу нам из-за ельника вывернулась карета «скорой помощи».

— Больных везут. Придется нам уступить дорогу,— забеспокоился я.

— Это наш автобус... Приспособили,— сказал Попков.— Видать, участковое начальство едет.

Карета, не доезжая до нас, попятилась задом с дороги прямо в снег. Мы проехали мимо, шаркнув сеном по кабине «скорой помощи». Из кареты посыпались на снег пассажиры, все в полушубках и чесанках. Сразу видно — не на работу едут.

Мы вышли навстречу. Оказалось, что ехал на совещание начальник лесопункта Мазепа с бригадой передовиков. Я незнаком был с Мазепой и удивился при встрече с ним. Он был мал и невзрачен, сухопарый, с желтым морщинистым лицом, словно исхлестанным корявыми ветвями ильма, с печальными, умными и усталыми глазами.

— Архип Осипович,— он мне подал большую костистую руку.

Я назвался в свою очередь.

— Мне Пинегин рассказывал о вас.— Мазепа повернулся к Попкову:— Что ж ты, труженик, дороги путаешь, как слепая лошадь? Мы ночью тебя ищем, а ты в бараке дрыхнешь.

— Хвостовик у меня занесло малость,— пробурчал Попков.

— Чтобы не заносило еще раз, за вчерашний день зарплату с тебя удержим.— Мазепа кивнул на стоявшего рядом с ним сутулого, в черной сборчатке рыбного инспектора Чурякова, большеносого, с унылым, каким-то сонным лицом:— Мне эта рыбья мамка руки связала. Вот поеду в леспромхоз, там развяжут.

Видя мое недоумение, он пояснил:

— Запретил мне трелевать лес к Теплой протоке.

— Правильно сделал! — сказал я.

Мазепа ничуть не смутился.

— Это ж нерестовая протока, пойми ты. Нельзя по ней сплавлять,— нехотя пояснил инспектор.

— Лыко и мочало — начинай сначала,— вздохнул Мазепа.— А если других проток нет — что делать? Трелевать к Бурлиту за пять верст? Трактора не выдержат. И лес будет золотым.

— Стройте дорогу,— ответил равнодушно инспектор, и видно было, что подобные разговоры между ними ведутся не впервой.

— Дорогу за год не построишь.

— Будто вы здесь год работаете,— усмехнулся Чуряков.

— Вы же губите лес! Губите рыбу! Люди страдают...— сказал я.— Неужели вам это непонятно?

— Я уже на такое насмотрелся, дорогой мой, что глаза слепнут,— Мазепа потер виски и устало посмотрел на меня.— Мне за последние пять лет удвоили план, а техника все та же. Работаем на износ... А вы — строй дорогу... Кем? На что?

— Денег не отпускают на дорогу, что ли?

— Когда отпускают, когда нет. Это не наше дело. Дороги — дело высокого начальства.

— Оно кому плохо без дороги-то, а кому и подходяще,— протискиваясь боком, подмигивая мне, говорил молодой рыжий техноруk с белесыми бровями, с вислым хрящеватым носом.— Была бы дорога, небось перевели бы леспромхоз из райцентра к нам в тайгу... А может быть, и трест бы сюда загнали... Кому в глухомани жить хочется? Теперь каждый едет из леспромхоза на лесопункт — ему и суточные платят. А тогда — прощай командировочные,— он многозначительно улыбается и чем-то напоминает мне шорника.

— Ну, что мы топчемся на дороге? Поехали! — сказал Мазепа и, посмотрев на меня, спросил:— С нами поедете? Или в Ачинское?

Этот вопрос застал меня врасплох.

Те сердитые слова, что я копил за эту долгую дорогу, чтобы бросить их в лицо Мазепе, оскорбить его, отхлестать... Слова эти куда-то исчезли, ушли, точно вода в песок. Передо мной стоял усталый невысокий человек в рыжем малахае, и смиренно, по-собачьи печально глядели его округлые умные глаза. И я не знал, что сказать.

— Поезжайте к нам,— Мазепа истолковал по-своему мое молчание.— Люди у нас хорошие... Есть такие, что уже семилетку выполнили.

Мы разошлись по машинам.

Раздался пронзительный свисток «скорой помощи», и желтая карета с красными крестами на бортах заныряла по ухабам.

Тайга пошла гуще. Размеренные ухабы, словно застывшие морские волны, потянулись далее на десятки километров. Дорога так запетляла вокруг рябоватых ильмов, полосатых светлых ясеней и пегих, как в заплатах, кедров, что, казалось, решила оплести их, связать между собой. Повороты следовали один за другим, и шофер беспрестанно крутил баранку.

«Черт возьми! — думал я.— Ну, пусть за большую до-

рогу высокое начальство отвечает... А за эту? Кто должен срезать эти гребни, заваливать ухабы, ставить снегозадержатели? Неужели и для этого нужно сметы составлять?»

«Оно дело-то пустяковое»,— вспомнились мне слова ветврача. Но ежедневно и рабочие и начальники вязнут на этих дорогах, надрываются моторы... Мучаются люди. Пропадают дорогие минуты, часы, дни... «Видать, привыкли»,— слышатся мне слова ветврача. Но и он привык, что в ОРСе продают бракованных поросят; и та женщина с большими сильными руками, что грелась над плитой, тоже, видать, привыкла к низким заработкам; и Мазепа привык губить рыбу, портить лес и ежедневно мотаться по этой невероятной дороге; и даже недовольный шорник с многозначительным выражением на лице привык критиковать для успокоения совести. Откуда, из каких глубин выплывает эта привычка и где конец ее?

А дорога все петляет, все вьется, и нет, кажется, конца ни этим ухабам, ни этой монотонной размеренной качке. Я упорно смотрю на желтую, исхлестанную шинами, колею, и мне начинает казаться, что я уже еду так по крайней мере лет двадцать. И, словно из далекого детства, встают передо мной и высокий мужчина в тулупе с кнутом в руках («Видать, привыкли»,— говорит он мне и пожимает плечами); и женщина в фуфайке, протягивающая над плитой большие красные руки; и шорник с неодобрительной усмешкой: «Опять же непорядок...»

И я перестаю замечать головокружительные повороты, обрывистые глубокие ухабы, почти отвесные спуски... И мною понемногу овладевает состояние уверенного, ленивого спокойствия. «Дорога как дорога... Чего ж особенного? Обыкновенно. Дорогу, конечно, исправят...»

•

И только шофер по-прежнему остервенело крутит баранку, и сурово сведены его брови.

1965 г.

НАДО ЛИ ВСПОМИНАТЬ СТАРОЕ?

Нынешним летом я исходил мокшанские заливные луга в Савромомышевском углу. Когда-то, в тридцатых годах, стояли вдоль Иршинского озера наши пителин-

ские шестаки[1]. Сенокосные делянки шли по обеим сторонам длинной старицы. Однако с тридцать второго года иршинский луговой берег был затравлен колхозным скотом. Шестаки переселились на ту сторону. Помню — от Ирши, небольшой, в двенадцать дворов, деревеньки, вел крутой спуск к озеру, на широкий дубовый мост с перилами. Накатанная дорога пропадала сразу за озером, словно тонула в высоченной густой траве. Ехать дальше некуда — луга. Там было сено, по словам мужиков, мелким, как шерсть, духовитым, как чай. Меньше десяти зимних возов сена гектар сроду не давал. А зимний воз — тридцать пудов весу.

Я не узнал эти места... Деревеньки нет и в помине; на высоком иршинском бугру трепалась на ветру чудом уцелевшая заломанная яблонька, по озерному склону цвел розовато-блеклый одичавший маяк, да на месте бывших кирпичных дворов над темно-зеленой стеной лебеды вымахивали малиновые шапки татарника. От моста через озеро и свай не осталось. И озера нет... Его спустили, «понизили» на два метра мелиораторы; вместо озера — канава не канава, бочаг не бочаг — все сплошь заросло камышом, кувшинкой, сусаком и водяной заразой. И лугов на той стороне уж не было; они заросли, как искалеченное озеро, ольхой, да калиной, да медвежиной...

Кому же не ясно, что озера — эти естественные резервуары — поддерживают высокий уровень грунтовых вод, как бы подпирают влагу на лугах. Понизить уровень этих озер — значит обезводить прилегающие к ним луга. И все-таки вопреки здравому смыслу мелиораторы опустили на два метра длиннющую, в шесть-семь километров, цепь озер. Во имя чего? Во имя грошовой экономии. Осушая болото Мучи, они попросту превратили семикилометровую цепь озер в сточную канаву. Мне могут возразить: а если, кроме этой цепи озер, иного стока нет? Тогда стройте шлюз и регулируйте сток. Дорого? Ну так дешевизна и выгода далеко не одно и то же в таком сложном деле, как мелиорация.

Я уже не говорю о том, сколько было погублено при этом зверья, птицы, рыбы. На тревожные донесения ученых Окского заповедника, что, понижая озера, мы губим ценного редчайшего пушного зверька — выхухоль, махнули рукой. На обезвоженное самое крупное озеро Кулма, которое в прежние времена круглый год снабжа-

[1] Шестак — шестая часть общины.

ло окрестные села рыбой, тоже рукой махнули. И наконец, сняли всякое ограничение на охоту в тех самых заповедных пителинских лугах, где в устье реки Мокши, на правом низменном окском берегу, в укромных плавнях и озерах издавна гнездились бесчисленные утиные и гусиные стаи. Были эти луга когда-то объявлены заказником. Отменили заказник. Валяй, ребята, кто во что горазд!

Пишу я эти горькие строки и, наученный не менее горьким опытом, предвижу, как меня станут обвинять и в том, что я против мелиорации и что против любой и всякой распашки и перепашки лугов, прогрессивной! Что я смотрю на пойму глазами «прошлого века», что я противник обновления ее и «коренного» улучшения и прочее. Вряд ли в наше время вы найдете такие «старые глаза», которые предпочли бы кустарники с кочками возделанному лугу. По моему мнению, не было таких глаз и в прошлом веке.

Не об этом мы спорили. Мы выступали против уничтожения удобных, плодородных пойменных лугов, мы говорили и поведем разговор о том, как довели Приокскую пойму до плачевного состояния.

Возвращаясь к пителинским мелиораторам, я вовсе не хочу зачеркнуть одним росчерком пера все их дела. Есть у них и свои удачи. Н. Манторов, управляющий Пителинским отделением совхоза, показывал мне осушенное и прилично выровненное Лавнинское болото. Но когда я спросил его, кивнув на Иршинское озеро: «А кто искалечил и запустил те луга?» — он мне вполне резонно ответил: «Те луга не наши. Мы за них не отвечаем...»

От бывшей Ирши до Савринской пристани на реке Мокше километров пять. И почти все луга на этом пространстве либо выбиты, либо затравлены ранними весенними выпасами, либо перепаханы и заброшены. А ведь всего каких-нибудь тридцать лет назад не только вдоль озера Долгого трава в пояс стояла — выгон савринский выкашивали. А у Святого озера, где раньше были великолепные поповы луга, теперь ни травинки... Ток! Хоть снопы обмолачивай. Возле самой пристани, вдоль крутой излучины реки Мокши распахано около сотни гектаров лугов. Первый год хорошо уродилось просо, но созреть не успело. А в последующие три года распаханные луга превратились в пустошь, даже сорняки не растут на них. Все забивает в полую воду оседающим с реки песком.

Я ходил по этим, знакомым мне с детства, когда-то богатейшим лугам и думал: кто же виноват?

Потом я видел занесенные песком пойменные земли на реке Цне под Сасовом, на Оке возле села Аграфенова Пустынь, знаменитую Дединовскую пойму, сплошь занесенную песком от села Маливы до Белоомута. Читал отчеты географической экспедиции Московского университета о заносах песком Окской поймы под Ватажкой, Муромом, исследования научных сотрудников ВНИИГИМа о смывах почв и песчаных заносах на Вятской пойме, на реке Клязьме под Владимиром и Ковровом, на пойме Тёши под Арзамасом, на пойме Сейма у Курска и в других местах. Причина смыва почвы и заноса пойм песком везде одна и та же — неразумное, неумелое распахивание пойменных лугов и уничтожение лесозащитных полос.

По подсчетам С. С. Соболева, ежегодный снос и смыв почв по всей стране причиняет государству около 35,7 миллиарда рублей ущерба. В настоящее время смытые пойменные почвы, измеряемые сотнями квадратных километров, отмечаются в Кировской, Ивановской, Московской, Рязанской и других областях нечерноземной полосы.

Любопытен и такой факт: журнал «Проблемы животноводства» № 3 за 1933 год опубликовал подсчет — пойменные луга до 1932 года давали около 20 процентов всей кормовой продукции страны. Взгляните на карту, на эти тоненькие ниточки рек, и вы поймете — какой необыкновенной плодородности должны быть пойменные луга, чтобы давать одну пятую часть кормов всей безбрежной степной и лесной державы нашей. Это пойменные луга, не знавшие засух, дали нашей стране наиболее известные породы молочного животноводства: Окская пойма дала черно-пестрый молочный и красный мясо-молочный горбатовский скот, пойма Северной Двины вырастила холмогорский, Вятская — истобинский и погостинский со знаменитым «парижским» маслом, Сухонская — вологодский, Волжская — костромской... Это на расчистку пойменных лугов, на осушение болот в первую очередь выделила огромные по тому времени средства молодая Советская Республика в 1923—1924 годах. И надо прямо сказать, что по тем масштабам за каких-нибудь три-четыре года Советское государство полностью разрешило тогда задачу нормального обеспечения страны продуктами питания.

С созданием в 1930 году колхозов и совхозов, с появлением новой техники появились и первые призывы: «Даешь наступление на пойменную целину!» Нашли же целину под Москвой. «Луга — неоткрытый клад!» И вот начали отрывать этот клад. Распахивали богатейшую Приокскую пойму... там же, под селом Дединовом, Ловцами, Белоомутом, Рязанью... Знакомые места! Пахали луга под капусту, морковь, свеклу... А через два года, в 1933 году, весенний паводок смыл пахотный горизонт на чуриловских лугах, возле устья реки Ройки и в других местах. Начались заносы песком... И ни трав на пойме, ни овощей.

В 1934 году правительство издает специальный запрет огульной распашки пойменных земель в стране. Об этом постановлении забыли; зато искалеченная Дединовская пойма долго напоминала о себе бескормицей и сорняками — чихотной травой, белокопытником, марью.

Но... в не столь отдаленные времена Дединовскую пойму снова распахали. И теперь, чтобы спасти ее от заноса и подмыва, по подсчетам специалистов из ВНИИГИМа, требуется 200—250 тысяч рублей только на выполнение предварительных исследовательских работ.

Кто же виноват в такой бессмысленной расточительности? Винить во всем усердного и неумного районщика? Разумеется, мы не собираемся служить ему молебны. Но во всем ли он виноват? Спору нет — усердный исполнитель без собственной головы страшнее лодыря. Заставь дурака богу молиться — он лоб расшибет. Впрочем, были и есть районщики и похитрее — те знают, откуда ветер дует и на чем вынырнуть можно. Вот и ныряли да выныривали они не очертя голову, а исполняя советы, наставления — по науке. Да, по науке! И не только... Им создавали общественное мнение, особый «настрой», как метко выразился один наш воспеватель. Эти воспеватели сначала настраивали на «рязанское чудо», потом лупили «удельных князьков» за создание этого же самого «чуда», потом корили мужиков за то, что коров держат у себя на дворе — а надо бы на колхозном, потом ругали колхозных председателей за то, что этих самых коров свели со дворов колхозников. Потом... у этих воспевателей да наставников закружилась голова. Они решили наконец: верчение — работа вредная, и призывают к тому, чтобы забыть старое. Вперед, к новым свершениям!

Горестно смотреть, как тешится подобным образом

наш брат литератор, или журналист, или руководитель из высокого ведомства. Беда не только в том, что оборотистый голова-дынь клюет на эту удочку, клюет и начинает с усердием, достойным лучшего применения, дубье ломать, так сказать, «настрой» наводить, чтоб и его заметили. Горестно оттого, что неразменное золото литературного слова, издавна отмеченное высокой пробой нравственности и гражданского мужества, становится карманной монетой, идущей на оплату капризных и непостоянных человеческих прихотей.

Но еще горше, когда подобным флюгерством начинает заниматься ученый или руководитель от науки,— тогда моральная проблема оборачивается куда более серьезными потерями.

Нынешней осенью я не раз наезжал в Мещерскую опытно-мелиоративную станцию. Это отсюда, во времена не столь отдаленные, рассылались, как из штаба действующей армии, депеши и указы, подкрепленные «научными» схемами и расчетами,— «Наступление на пойму!». Это здесь, не где-то в безымянном заведении, а, повторяю, на зональной станции луга были объявлены, так сказать, запретным плодом земледелия. Это не безымянные районщики, а директор Мещерской станции В. Антонов и руководитель отдела экономики В. Барашев возглавили наступление на окские луга. Это воодушевленные их «научными» призывами усердные районные исполнители кромсали одни из лучших лугов в стране.

Про эти самые окские луга русский классик Д. Григорович писал еще сотню лет назад: «Не мешает вам сказать мимоходом, что луга эти в общей сложности могут составить добрый десяток маленьких германских герцогств... К июлю пространство это представляет сплошное море трав, в которых крестьянские ребятишки могут свободно прятаться, как в лесу... Если вид этих лугов не порадует тогда наши сердца, если душа ваша не дрогнет, но останется равнодушной, советую вам пощупать тогда вашу душу, не каменная ли она...»

Нашлась-таки каменная десница, которая замахнулась на эти луга. Но вот что удивительно — спустя четыре года и В. Антонов и В. Барашев, глядя кому угодно в глаза, дружно заявляют: мы-де никогда не выступали против окских лугов. И вообще нечего-де вспоминать старое. Мы живем нынешними заботами, а не вчерашним днем.

Ну нет! Слишком дорого стоили эти их «научные» ди-

рективы, чтобы отмахиваться от них, предавать их забвению. История эта весьма поучительна.

Я приехал во ВНИИГИМ, запросил отчет по Мещерской станции за 1961 год. Здесь, в Москве, хорошо помнят этот отчет, потому что он вызвал в свое время бурное обсуждение. Смотрю, перелистываю страницы. Да, я не ошибся. Предлагается за год поднять 100 тысяч гектаров плодородных лугов. Засеять их в первую очередь кукурузой. А вот и красочная схема: кукурузе отведено 50 процентов пойменной земли, затем свекле сахарной, овощам, зернобобовым... И ни гектара не оставлено лугам. Я прошу запомнить вас, читатель, эти проценты. Ниже мы увидим, когда настанут времена и проценты иные, отведенные под луга все тем же Антоновым. Но пока идет 1961 год. Я читаю протокол заседания ученого совета по отчету Мещерской станции. Вот отдельные выписки из тревожных речей ученых. «Рекомендованная МЗОМС (то есть Мещерской станцией.— *Б. М.*) широкая распашка под полевые пропашные культуры долгопоемных лугов в пойме р. Оки без гидротехнических мероприятий по защите от затопления чревата опасностью нарушения почвенного покрова процессами смыва и наносов...» Это говорил член секции осушения инженер М. Левин. И далее его же слова: «В условиях обилия в Рязанской области действительно малопродуктивных заболоченных лугов и выпасов несомненно более целесообразно расширять полеводство в первую очередь *за счет этих земель. Долгопоемные же луга* поймы реки Оки после простейших улучшений и при применении минеральных удобрений могут давать 4—5 тонн высококачественного сена».

Обратите внимание, что замах Антоновым был сделан не на распашку выбитых лугов да кочкарников, а на ровные плодородные луга, дающие наиболее высокий урожай трав.

А вот что сказал начальник отдела экономики П. Марков: «Без подробного анализа рабочей силы и наличия техники не обоснована рекомендация по использованию *всех осушенных земель* под интенсивные культуры, как это предлагают авторы отчета...» (то есть В. Антонов и В. Барашев.— *Б. М.*).

Большая осторожность заметна и в высказывании председателя секции осушения ученого совета академика Шарова: «Просить Министерство сельского хозяйства СССР обсудить на совещании вопрос о рациональном

использовании пойменных земель с привлечением заинтересованных институтов и ведомств».

И вот, наконец, самое тревожное заявление — «особое мнение» старшего научного сотрудника А. Смирнова: «Считаю, что разработанные МЗОМС мероприятия по распашке Окской поймы с последующим использованием пойменных земель под кукурузу (50 процентов площади всей поймы), овощи, зернобобовые и зерновые культуры, и в связи с этим *полным уничтожением естественных сенокосов*, без предварительного выполнения сложного и дорогостоящего комплекса мелиоративных мероприятий — являются глубоко ошибочными и не оправданными природными особенностями и хозяйственно-экономической ценностью пойменных земель... Распашка Окской поймы неизбежно приведет к развитию эрозийных явлений со смывом культурного (пахотного) слоя, длительным последующим бесплодием пойменных земель, полной ликвидацией первоклассной кормовой базы и неизбежным заилением речного русла Оки...»

Надо было иметь настоящее мужество, чтобы сделать в то время такое заявление. Ну а что же Антонов? Как его отчет? А ничего. Принят был. И не просто... премию получил В. Антонов. Он знал, на что шел...

Параграфы этого «научного» трактата претворялись в жизнь тяжелыми плугами рязанских пахарей. Все трактора были брошены на распашку лугов. Я хорошо помню ту осень... Да кто ее не помнит в Рязанской области! Ворочали луга до самых белых мух. Почти 80 тысяч гектаров развалили. Во как! Маленько силенок не хватило, еще бы и не то наделали. Какие уж там кустарники да кочки выводить! Пахали вскачь, разваливали, что поудобнее, поровнее, то есть получше. План выполняли. Да зима помешала. Ничего! На другой год отложили, по новому заходу...

Вот тогда, в мае 1962 года я и выступил против шаблонной распашки пойменных лугов, против навязывания колхозам непосильных доз кукурузы и свеклы. И статья моя называлась «Без шаблона». Спустя три года в «Известиях» (№ 187 от 10.08.65 г.) секретарь Рязанского обкома А. Макаров наконец-то ответил на мою критику.

Что же пишет теперь секретарь Рязанского обкома? Пишет, что все было хорошо. Доказывает он это весьма несложными приемами. Ниже я позволю себе разобрать один из этих логических ходов А. Макарова. А пока мне

хотелось бы привести некоторые факты. Вот что говорили в то время руководители приокских колхозов и совхозов, которых двинули в «наступление» на луга, то бишь «на целину». Передо мной газета Спасского района (в то время — управления) «Знамя» от 22 октября 1963 года. Я уже приводил в одной из своих статей примеры, выписанные оттуда. Видимо, А. Макаров позабыл их. Что ж, напомним.

Агротехник колхоза «Россия» М. Климин писал тогда: «В прошлом году со 150 гектаров в пойме мы совсем не получили урожая, с такой же площади собрали низкий урожай. Мало отрадного на пойме было и в этом году...»

А вот признание в той же газете директора совхоза «Яльдино» А. Банникова: «В прошлом году, как известно, пойма была затоплена, с *распаханных земель мы не получили ничего.* Неудачным оказался и нынешний год...» А в этом совхозе распахано было около тысячи гектаров лугов! И заметьте, несмотря на разливы Оки, сено-то выкосили; лугам и разливы не страшны. А вот с распаханных земель «ничего не получили».

И еще признание агронома колхоза «Дело Октября» О. Лисицыной: «*При массовой распашке* ее (поймы.— *Б. М.*) мы допустили ошибку в подборе участков. Так, в 1961 году (опять этот же «атакующий» год! — *Б. М.*) под распашку попали низменные участки, плохо поддающиеся обработке. Сев на таких участках мы начали только в *середине мая и вели его до самого сенокоса...* В прошлом году участки оказались засоренными, и нынче ничего доброго с них не получили».

Есть и куда более печальные свидетельства. Заведующий опорным пунктом Д. Рамазанов писал: «В колхозе «Красная культура» в прошлом году распахали 130 гектаров за рекой, а питательный слой (так называемый гумусный горизонт) там только 10—15 сантиметров. Другой участок распахали с большим слоем гумуса, но на сносе. Тоже плохо...» Иными словами, несколько сотен гектаров заливных лугов превратили в пустынный песчаный пляж.

И наконец, директор Приокской ММС А. Гусятников писал: «В зоне обслуживания нашей ММС распахано малопродуктивных лугов и пастбищ более 3000 гектаров, использовали пойму один-два года, а потом начали залужать. Но как? Просто эти участки забросили и никакой работы на них не проводят. А на отдельных участках

пасется скот. Вследствие этого на *распашках образовались кочки*».

Тысячи гектаров!.. И все это в одном только районе! Выписки из одного только номера районной газеты!! Таких угнетающих душу примеров можно было приводить бесчисленное множество. И ни одна статья не вместит их...

Впрочем, я приведу еще один весьма характерный документ. 22 октября 1963 года председателю Рязанского сельского облисполкома Н. С. Приезжеву была подана докладная записка. Вот что в ней написано: «В соответствии с программой исследований осенью текущего года работниками Мещерской ЗОМС проведено обследование посевов на распаханных пойменных лугах в ряде хозяйств области. Обследованы посевы в совхозе «Яльдино» и колхозе «Дело Октября» Спасского производственного управления, совхозах «Пролетарский» и «Шиловский» и колхозах им. Кирова, им. Красной Армии Шиловского производственного управления, совхозах «Варские Шумашь», «Новоселки», «Костино» и колхозе «Красное знамя» Рязанского территориального производственного управления».

Иными словами, перечислены наиболее крупные хозяйства приокской полосы.

«Считаем необходимым доложить вам о результатах обследования, так как в большинстве названных выше хозяйств на распаханных лугах *получены низкие урожаи,* несмотря на *благоприятные в основном условия погоды* в течение весны, лета и осени 1963 года...»

Кем же подписана эта докладная? А все тем же директором зональной станции В. Антоновым и руководителем отдела освоения А. Ковтуном. Но сказано это было не для печати... Entre nouves, как говорят французы, то есть разговор между нами. Напрасно вы станете искать в публичных выступлениях того времени подобные признания у В. Антонова. Там у него были только победные реляции. Мы еще доберемся до них.

Когда напоминаешь о страшных издержках этого «наступления» на пойменные луга, противники мои обычно возражают: «Что ж вы хотите? Издержки неизбежны в любом новом грандиозном начинании». Новом! У этого «нового» многовековая борода.

Кому не известен гоголевский персонаж из «Мертвых душ» Костанжогло? Будучи в гостях у него, Чичиков дивился, как «и всякая завалящая дрянь» приносит

пользу этому рачительному хозяину. Дотошные литературоведы установили, что у Костанжогло был прототип, некий В. Ломиковский. 150 лет тому назад Ломиковский не только знал, что весенние паводки и ливни сносят пахотный слой, но и остроумно воспользовался этим при осушении болот. В брошюре, изданной в Санкт-Петербурге в 1837 году, «Осушение болот в Миргородском уезде Полтавской губернии в сельце Трудолюб» он писал: «Склоны, прилегающие к болоту, пахались всегда с осени под яровые посевы так, чтобы борозды сколько можно подходили ближе к болоту, от чего разлив вешних вод и случающиеся ливни увлекают с собой в болото немалое количество чернозема».

А вот и более древнее свидетельство. В грамоте на имя Ивана Грозного отмечается: «Деревня Шеломянское, что на Десне, лежит впусте, пашенную землю вешнюю водою смыло, потому подати платить не в мочь и не с чего...»

Наученные вековым опытом, русские крестьяне знали, где надо пахать, а где не следует, чтоб не остаться «впусте». А вот ученому В. Антонову и руководителю А. Макарову это дело, видите ли, внове.

Итак, я сделал этот широкий экскурс в прошлое только потому, что в своей полемике А. Макаров заявляет: «С учеными-мелиораторами и луговодами, с которыми тесно связаны руководители хозяйств, районов и области, у нас нет разногласий».

Видите, какого поразительного единогласия добился А. Макаров! А куда же отнести все эти особые мнения ученых из ВНИИГИМа? Или это пустяки? Может быть, А. Макаров объяснит нам тогда и такой факт: отчего же в 1962—1963 годах был невиданный в истории приокских районов падеж скота от бескормицы? Как получилось, что Рязанская область при завидном единогласии в 1963 году имела всего пять коров на 100 гектаров пашни? Ведь такого низкого поголовья область не знала даже в лихой год после «рязанского чуда». Или это тоже пустяки?!

Судя по статье А. Макарова, возмущается распашкой лугов только один Б. Можаев и тем самым сеет сомнение в умах отдельных руководителей приокских хозяйств. Да еще, мол, и упорствует этот Б. Можаев. «...Его нельзя упрекнуть в непоследовательности». А чтобы положить Б. Можаева на лопатки, А. Макаров пользуется весьма несложным приемом, ну вроде логической подножки.

А. Макаров пишет: «Он (то есть Б. Можаев) возмущается тем, что в колхозе «Большевик» Спасского района перепахали луга. Действительно, в 1961 году этот колхоз распахал часть пойменных земель и в течение двух-трех лет здесь высеивались полевые культуры...» И что же, мол, здесь такого? И в нынешнем году перепашут некоторые малопродуктивные луга...

Уважаемый Александр Тимофеевич Макаров, думаете ли вы о том, что наши с вами статьи прочтут не только в обкоме, но и в селе Лакаши, то есть в колхозе «Большевик», в том самом, где были распаханы луга? И прочтут наши статьи рядовые колхозники, и бригадир Мокроусов, и бывший агроном Абрамов, те самые возмущенные до глубины души люди, которых заставляли посланцы райкома и сам бывший секретарь В. Я. Шарков распахивать лучшие во всей округе луга, знаменитую Щелочиху. Луга ровные, с богатейшим составом ботанических трав, высокоурожайные... выходившие на самый берег Оки. Распахали эти луга... И три года не могли подступиться к ним — вода держалась на них до июня. Посеять ничего не смогли. Три года горбились эти вздыбленные дерновые валы, покрытые ржавыми пятнами конского щавеля; три года тщетно взывали они к совести каждого прохожего и проезжего.

Так, может быть, кто-нибудь наказан был за Щелочиху? Да ну, эдакие пустяки! Наоборот, В. Я. Шарков повышен был. Заместителем председателя облисполкома стал. И долго еще голос его из обширных рязанских кабинетов взывал к «успешному» наступлению на пойменные луга. Для Шаркова оно было воистину успешным. А расплачиваться за эти успехи пришлось С. Кагакову.

Помню, осенью 1961 года секретарь Спасского райкома С. Кагаков, глядя на меня, с недоумением и растерянностью говорил: «Председатели отказываются луга распахивать. Прямо не знаю, что и делать».— «Откажитесь и вы».— «Снимут. Смотрите, что соседи с лугами творят»... Соседи, ижевские, сперва Шарков, потом преемник его Котелевиц, к тому времени уже в передовики вышли, отличились на подъеме «приокской целины». А на другой год Ижевский район вместе с его «успехами» влился в Спасский; и когда начался невиданный падеж скота от бескормицы, снимали не Шаркова, а Кагакова, снимали за «либерализм» и более всего за то, что Кагаков не принимал чужой вины на свои плечи. Кстати, пришел Кагаков в Спасск из Ново-Деревенского района,

на котором просидел он более десяти лет и в самые трудные годы известного «чуда» сохранил высокое поголовье скота. Сохранил один из немногих... Сохранил, чтобы потом расплатиться за чужие «успехи».

Вот как выглядит скрытая сторона «успешного» освоения поймы. А заслоняет ее А. Макаров тем, что в том же колхозе «Большевик» действительно было с помощью ММС осушено и освоено болото Мошково, где и кукурузу сеяли, и другие культуры. Но кто же, когда и где выступал против осушки и освоения болот? Если осушение разумно, если не идет оно в ущерб соседним лугам, так с богом! Из-за такого осушения копья ломать никто не станет. А ломаем мы копья не только и не столько из-за осушения да распашки... Вопрос куда серьезнее, чем сама пойма с распаханными и не распаханными лугами. Мы ведем разговор для того, чтобы не укоренялась в нашем обществе пресловутая безответственность, ибо нет более страшной заразы, чем бацилла безответственности, выпущенная на волю. Вот почему мы снова возвращаемся к деятельности В. Антонова, которая оказалась не только примером безответственности, но и причиной значительного материального ущерба в масштабах области.

Раскроем карты... Посмотрим, на что же вели наступление в те годы в Приокской пойме. На кочки, на кустарники, как пытаются теперь заверить нас В. Антонов и А. Макаров, или на ровные плодородные заливные луга? Была ли это кампания со всеми вытекающими отсюда последствиями или обычное улучшение лугов, распашка болот?

Возьмем научный отчет МЗОМС, подписанный в 1961 году В. Антоновым. Экономика, т. 4. На с. 38 читаем: «Обком КПСС поставил как одну из неотложных задач: поднять в 1961 году *100 тысяч* гектаров рязанской целины — подготовить под посев кукурузы, сахарной свеклы, овощей, картофеля, бобовых и проса». *100 тысяч гектаров плодородных пойменных земель...*

Там же: «В течение августа — октября распахано 68 тысяч гектаров целины...»

Чтобы оценить «грандиозность» этой кампании, сравним ее с другой цифрой из того же отчета: за пять предшествующих лет было осушено, очищено от кустарников, улучшено и проч. 29 209 гектаров. За пять лет! А тут за три месяца махнули почти 70 тысяч.

Там же, в отчете, В. Антонов негодующе произносит:

«Кукурузе было отведено 5 процентов, а сенокосам и травам свыше четырех пятых этих весьма плодородных земель». Кстати заметим, что в малых, посильных дозах да на правильно выбранных участках кукуруза хорошо родилась на пойме с давних пор. Но эти разумные пределы не устраивали В. Антонова — он мечет громы и молнии, он наставляет, чем надо засевать эти распаханные луга: «МЗОМС после распашки рекомендует следующее использование поймы: *кукуруза — 50%*, сахарная свекла, овощи, картофель — по 10%, бобовые с просом — 20%. *Итого 100%*». (Т. 4, с. 39.)

«На пойменных землях травопольщине не может быть места...» — сердито восклицает Антонов, а на с. 42 запрещает не только луга, но травосеяние вообще: *«Ничем не оправдано использование поймы под сеяные травы»...* Он призывает искоренить траву в Приокской пойме на веки вечные.

«Освоение поймы под интенсивные культуры не кратковременная кампания,— пишет он там же.— Эта важнейшая работа должна проводиться с большой ответственностью и тщательностью. Прежде всего необходимо правильно решить вопрос выбора участков под распашку...»

Ну и как же он «правильно решил»? Где же приказывал он сеять кукурузу да сахарную свеклу? На осушенных болотах? На бporослых пустошах, как теперь уверяют нас А. Макаров и В. Антонов? Ой ли! Тогда они были другого мнения. На с. 43 своего научного отчета В. Антонов утверждал: *«Луга центральной поймы, наиболее ровные, с плодородной почвой,* расположенные ближе к хозяйственным центрам, *не требующие больших затрат,* должны осваиваться в первую очередь под посев кукурузы, сахарной свеклы и других интенсивных культур...»

Несколько ниже В. Антонов прямо выдает все секреты рязанской атаки шестьдесят первого года на луга. Вот что черным по белому, не стыдясь, писал Антонов: «...*Нецелесообразно* распахивать узкие гривистые, частично заболоченные участки...» А зачем же прислан был сей ученый муж? Ровные луга ворочать или осушать «частично заболоченные участки»? Ответ нам ясен — отличиться хотели, «настрой», так сказать, наводили, за дешевизной гонялись.

Впрочем, В. Антонов пока не волнуется: он работал не в одиночку. Ясно же, кому в Рязани он угождал, когда так грозно спрашивал: «Можно ли базировать хозяйство

на использовании осушенных земель под травы? Нет. Экономически это невыгодно, практически нецелесообразно...» Уж в чем другом, но, прямо скажем, по части директивности слога В. Антонов преуспел.

Как видим, В. Антонов не оставляет места для кривотолков насчет цели рязанской кампании по распашке приокских лугов. Но В. Антонов понимал, что не все ученые столь «прогрессивно» настроены, как он. Поэтому он одним махом расправлялся со своими противниками, благо обстановка позволяла. На с. 22 он пишет: «Травополье нашло свое отражение и в мероприятиях по внедрению научно обоснованной системы земледелия в колхозах и совхозах области, разработанных бригадой ВАСХНИЛ. В этих мероприятиях намечено осушить 166 тысяч гектаров *заболоченных* земель и провести *коренное улучшение* лугов на площади 184 тысячи гектаров».

Видите, какие это неразумные ученые,— коренное улучшение лугов предлагают, осушение болот... В. Антонов предлагает ровные плодородные луга распахивать, подешевле затраты, значит. А те, неразумные, в болота лезут... Один из рязанских руководителей, оснащенный научными трудами Антонова, шутя опрокидывал доводы этих луговодов:

— Хорьков, сколько стоит гектар подъема чистых лугов?

— Пятьдесят два рубля!

— А ты куда нас тянешь, Фролов? Сколько твой гектар болота стоит?

— С освоением — 1300—1400 рублей.

— О!.. А ты еще и дренаж просишь. Ты нас в болото тянешь. Смотри, мы тебя там и закопаем...

Как тут не вспомнить заверения А. Макарова в трогательном единогласии руководителей обкома со «всеми учеными-мелиораторами и луговодами».

Как же предлагала использовать эту осушенную и улучшенную пойму бригада ученых ВАСХНИЛ? Предложение было такое — 84 процента сеяных трав, остальные картофель и зернофураж.

«84 процента осушенных земель рекомендуется занять самыми малоурожайными культурами!» — патетически восклицает В. Антонов там же. И далее, вооруженный демагогической рогатиной из ширпотреба, идет в атаку: «В свете *современных требований* такие рекомендации по использованию осушенных земель при *внедрении*

научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства нельзя считать приемлемыми... Только переход от траволполья к *пропашной системе...*»

Чтобы не показаться голословным в «свете современных требований», В. Антонов на следующей, 23-й странице, «высоконаучным» доводом добивает своих противников: «Какие же мотивы выдвигаются в обоснование травопольной системы? Без трав почва распыляется, теряет свое плодородие. Выращивание трав требует меньше труда и средств. Так ли это на самом деле? Нет, не так». Вот и все доказательства, чего ж вам боле?!

Разделавшись таким методом с учеными-варягами, В. Антонов берется и за своих. В «Приокской правде» от 24 марта 1962 года читаем выступление В. Антонова на пленуме обкома: «...Восемьдесят процентов севооборота на Мещерской станции занимают травы... Научные работники станции до последнего времени продолжали упорно отстаивать травосеяние, пропагандируя порочную систему земледелия. Особенно отличался в этом старший научный сотрудник тов. Головко. Он пытался издать брошюру, пропагандирующую травопольную систему земледелия...»

Разумеется, ценная брошюра доктора сельскохозяйственных наук, старейшего ученого станции Д. Головко была изъята из областного издательства и вышла в свет только в 1965 году в издательстве «Московский рабочий». Что же пропагандировал в ней Д. Головко? Многолетний опыт освоения болотистого урочища Мертешево, засеянного тимофеевкой и канареечником. Того самого Мертешева, которое вот уже почти десять лет ежегодно дает урожай сена до 90—100 центнеров с гектара. Того самого Мертешева, на которое теперь В. Антонов возит делегации из Москвы. Того самого Мертешева, сеном которого теперь козыряет В. Антонов.

А что же это была за травопольная система на Мещерской станции, которую, по словам В. Антонова, ввели и упорно отстаивали научные работники? Может быть, тогда на станции было много скота и пашни? Да нет, скот появился позже. А в ту пору станция обрабатывала всего около 40 гектаров пашни и занималась выращиванием семенного картофеля и семян трав. Эти семена трав являлись дефицитом — шли нарасхват. С тех пор уж позабыли, как и поминки по ним справили. Так В. Антонов уничтожил собственную «травопольную» систему.

Нет нужды еще делать выписки из прошлых антонов-

ских филиппик против заливных лугов. Выступал он часто, призывал искоренить эти самые луга «враз и навсегда». Но мне думается, нетрудно разделить мое изумление, когда тот же самый Антонов, и не только Антонов, возглавляет теперь кампанию по защите лугов.

Вот что пишет он в «Приокской правде» от 19 февраля 1965 года в статье «Творцы плодородия лугов и пастбищ»: «Их богатый опыт (то есть звеньевых.— *Б. М.*) теперь *можно* и нужно широко использовать также и в работе по повышению продуктивности *лугов и пастбищ...»*

Видите, как все просто: теперь *можно,* ребятушки! Начнем, пожалуй, и мы. Что там, бишь, на этих самых лугах творится? Глушь и запустение?! Ах какой срам! Непорядок... Надо бы как-то обговорить это, «в свете современных требований», так сказать. И В. Антонов обговаривает: «*К сожалению,* этому важному делу (то есть лугам.— *Б. М.*) за последние годы *уделялось мало внимания...»*

А теперь надобно подчеркнуть, что это дело-то не пустяковое, чтоб отметили нашу осведомленность, наши старания. Время-то вон как обернулось, канальство... И В. Антонов «защищает» луга... Он пишет в той же статье: «Специалисты Мещерской зональной опытно-мелиоративной станции разработали рекомендации по *рациональному* использованию пойменных угодий. Лишь *некоторую часть* этих земель следует *осваивать под интенсивные культуры,* остальные же площади целесообразно оставлять *в качестве естественных кормовых угодий...»*

А кто же требовал: «На пойменных землях травопольщине не может быть места»?!

Я слушал и смотрел на него во все глаза, как на чудо перевоплощения... Наглаженные черные брючки, детские полуботиночки, тугие розовые щеки — ни морщин, ни седины... Нет, внешне он нисколько не изменяется за долгие годы, пока я знаю его. Изменились только слова его. Он читал доклад, составленный из своих новейших статей.

«А что значит поднять урожай наших лугов и пастбищ хотя бы на 8—10 центнеров с гектара? — спрашивал он.— Это значит получить дополнительно 250—300 тысяч тонн сена. Таким образом, те же самые угодья позволяют прокормить еще не менее 100 тысяч коров». (Это взято из той же статьи в «Приокской правде» от 19.02.65 г.)

«В прошлом году на нашей станции получено сена по 34,6 центнера на круг,— продолжал В. Антонов.— На первый взгляд может показаться, что урожай небольшой. Конечно, в наших условиях *луга могут быть гораздо более продуктивными...»*

Это из «Сельской жизни» от 18 марта 1965 года, догадался я. Статья В. Антонова называлась «Привольные луга в пойме Оки и ее притока — Прони». Я знал его последние статьи почти наизусть. Мне трудно было дальше выносить эту комедию по защите лугов В. Антоновым.

Я вышел из его кабинета, спустился в библиотеку. Там в пухлых альбомах хранятся бесценные для историка поймы вырезки из газет ранних антоновских анафем приокским лугам и новейших молебнов во здравие тех же лугов. Открываю наугад страницу посвежее. Вот «Приокская правда» от 23 июля 1965 года. В. Антонов. «Дар земли приокской». Читаю: «Луга! Это же дар земли приокской. Беречь их надо, улучшать, заботиться о них. Тогда они и воздадут сторицей».

Затем Антонов рассказывает об одном пастухе, Куприянове Алексее Николаевиче:

«Алексей Николаевич присел на землю и начал рвать траву руками. Вместе с зелеными стебельками этого года он рвал и войлок, образованный травами прошлых лет. И делал он это зло, с ненавистью, словно коросту срывал.

— Вот каким чистым должен быть луг,— проговорил он, смотря на расчищенную им площадку.— Видишь, сколько я мусора надрал? Ведь он не дает расти свежей траве...»

Правильно мыслит пастух, ничего не скажешь. Нам остается только добавить: неплохо бы сделать такую же прорывку и в некоторых заведениях, причастных к этой коросте на Приокской пойме. Прополоть, дабы дать рост свежим силам.

А что касается самой поймы, то здесь двух мнений быть не может — Приокскую пойму надо беречь, и улучшать, и попросту приводить в порядок.

1965 г.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Он стоит возле порога, прислонившись к дверному косяку. На нем овчинная безрукавка, надетая поверх гимнастерки, на ногах — бахилы. Кепчонку, как вошел, по-

весил над собой. Невысокий, плотный, лицо округлое, тугое, без морщин, с кирпичным зимним загаром, с белой переслежиной на лбу от козырька. Смотрит на нас с недоумением: с чего бы это пожаловали?

— Да вы садитесь, Станислав Станиславович,— обращается к нему председатель колхоза.

— Нет, уж вы садитесь, Мариан Осипович. А мы постоим.

Впрочем, стоит он один, жена сидит на самодельном диване, застланном многоцветным одеялом.

— Вы нам вот что скажите, Станислав Станиславович, в каком звене лучше работать, в большом или в малом? — спрашиваем его.

Отвечает жена с дивана:

— Чем меньше, тем лучше.

— О, я так и чуял! — восклицает секретарь райкома Иван Филиппович и грозит пальцем председателю.

— Но, Иван Филиппович...— Мариан Иосифович Дяшкевич говорит что-то на ухо секретарю.

Тот отмахивается:

— А ты не пугайся...

Смысл этой фразы я понял позже. А пока я слушал пояснения Станислава Скерся:

— Поначалу нас было семеро: я да шесть женщин с жинкой во главе. Соседки... Дали нам двух лошадей и три гектара картошки. Сами окучивали, сами копали, сами буртовали. Работали, как на своем огороде.

— Сколько вам платили?

— Деньги, как всем. Половину сверхплановой картошки отдавали нам как премию.

— И много вы собрали сверх плана?

— Да как сказать! На общем поле по семьдесят центнеров брали, а мы на своем по двести тридцать. У нас, как на огородах, была картошка. Дак, ведь все сами... Осень подошла — бабы там и дневали и ночевали. А я один и отвозил и буртовал.

— И сколько же вы лично картошки заработали?

— Шесть тонн. Хватит и корове на всю зиму, и продать можно.

Но в прошлом году звено Скерся увеличили до шестнадцати человек.

— Хуже стало,— говорит Станислав Станиславович.— Кто идет на работу, а кто и тянется.

— Большое дело положить картошку в мягкую землю,— отзывается хозяйка.— Ты брось ее на твердую зем-

лю, на срез, а не в отвал — и пропала... Сгниет. Когда много баб сажает, одни в отвал кладут, а другие куда ни попади кидают. И на копке то же самое. Одна чисто выбирает, а другая половину картошки в земле оставляет. Когда мы работали всемером, мы знали друг дружку. Доверяли.

— Оставьте нас всемером. Лучше дело пойдет,— просит Скерсь.

— Правильно! И остальных разбей на малые звенья. Всех! — подхватывает секретарь.— И главное, чтобы сами подбирались.

— Но, Иван Филиппович, у меня лошадей не хватит,— отвечает председатель.

— Купи! Игра стоит свеч.

— Да мы и этими обойдемся. Только фур больше дайте,— говорит Скерсь.— Пара лошадей на два звена лучше, чем две пары на двадцать человек. Один отвозит картошку, второй в это время нагружает свою фуру. Тот отвез — этот перепряжет, тоже отвезет. Так оно вкруговую и пойдет. Главное, чтоб фура была, а ежели лошадей еще — так и совсем хорошо.

Два года назад в колхозе имени Калинина Гродненской области закрепили землю и технику за звеньями. Каждое звено из шести механизаторов получило по три трактора, по комбайну и четыреста — четыреста пятьдесят гектаров земли. Землю закрепили на года по севообороту, из расчета, чтобы в звене было примерно пятьдесят пять процентов зерновых. Заработок поставили в прямую зависимость от урожая. И дело стронулось. Урожайность зерновых с шести-семи центнеров выросла до четырнадцати с половиной центнеров.

А как быть с картофелем, свеклой, льном? Неча греха таить, процент машинной обработки технических культур в здешних местах еще невысок. Одна прополка да прорывка свеклы чего стоит. Тут главной механической силой остается по-прежнему баба с тяпкой. Под лучами летнего солнца, на ветру, в пыли, под дождем, согнувшись в три погибели, а то и ползком, подвязав на колени драные стеганые рукава от изношенной фуфайки, эта «живая сила» проползает бороздой десятки километров. Такую картину видывал я прошлым летом и на тамбовских и на рязанских полях.

Где, на какой стройке, у какого станка труд так же тяжел и низкооплачиваем? Ведь не секрет, что во многих колхозах и совхозах заработок на прополке да на про-

рывке всего каких-то сорок рублей в месяц. И тем не менее на тех же тамбовских полях я видел прошлым летом много девчат из Западной Белоруссии — приезжают на сезон, работают на свекле по существующим расценкам. Работают, куда же деваться! Конечно, в конце работ, по расчету в зависимости от урожайности, заработок получается в общем-то приличным. Но, повторяю, прополка да прорывка свеклы чрезвычайно трудоемкий и низкооплачиваемый процесс. Правда, в свое время проблему прополки пытались решить наши ученые несколько странным образом: они сконструировали прицепную тележку к трактору на десять, на четырнадцать механических единиц.

Что же это была за «механическая единица», которая должна обрабатывать борозду? Имя ей — женщина. Да, да! Все та же баба с тяпкой, только теперь она не ползала на коленях, а ехала на тележке, ехала в лежачем положении, лицом вниз — глаза и руки в борозду. Это чудо механизации было окрещено в народе «бабовозом». Колхозницы предпочитали собственные колени и стеганый рукав такой вот «плацкарте» на бабовозе. Чудодейственное изобретение Мацепуры кануло в Лету. А широко описанный, воспетый всеми газетами полный набор навесных и прицепных орудий для механизированной обработки свеклы остается достоянием Первицкого да Светличного, так сказать, избранных механизаторов.

А что делать не включенным в «маяки» простым и неизвестным председателям? Либо мириться с мизерной урожайностью свеклы в пятьдесят—семьдесят центнеров, либо идти по пути разумной организации труда и решительно покончить с обезличкой земли.

Поскольку женщина с тяпкой остается все еще решающей силой на свекле, так и следовало поставить ее в такие трудовые условия, которые ей более всего желанны. Наиболее желанной оказалась полоса в тридцать—сорок сотых гектара, а самым мобильным коллективом — человекоединица, как пишут наши экономисты, то есть сама колхозница, а ее семья — главный резерв, действующий безотказно в любую пору авральных работ, будь то атака на сорняки или горячая пора уборки урожая. Разумеется, эта мобильность и высокая степень трудовой отдачи требовали и более высокой оплаты. Разумные председатели шли на это: больше вырастишь, больше и получишь. И тут дело тоже стронулось, урожаи повысились

вдвое, а то и втрое. За свеклой пошла картошка, за картошкой лен.

Разумеется, разбивка полей на такие малые вспомогательные звенья — мера временная. Будет в достатке техники — и один механизатор обработает полсотни гектаров свеклы. Но ведь нужда не ждет ведренной погоды.

Поначалу не больно шли на закрепление земли... Обманет председатель! Пообещает, а не заплатит. Оно хоть и сверх плана, а все равно много получится. Не отдадут! И чего же мы будем хрип гнуть? Лучше уж работать, как прежде,— вольготнее...

Но и храбрецы нашлись. Одним из первых был Скерсь. Поля делили — жребий тянули, чтобы без обиды. И, может быть, впервые председатель слышал такую подробную характеристику каждого участка обширных колхозных полей. Каждому звену отвели поровну и хорошей земли и похуже.

— Это что еще с картошкой! У нас вон звеньевые-льноводы не то что землю — стлища под лен и то по жребию делят,— говорил секретарь Щучинского райкома И. Сильванович.— На мягкой отаве вылеживается лен лучше. Вот и делят отаву, чтобы без обиды.

Результаты этих «мирских дележек» оказались ошеломляющими. Урожайность картофеля повысилась в колхозе имени Калинина с шестидесяти—семидесяти центнеров до двухсот тридцати, свекла теперь меньше двухсот центнеров не родит, льноволокно стало высшего качества. А ведь колхоз всего три года назад «лежал на брюхе», как говорят здесь. Теперь же у него четыреста пятьдесят тысяч дохода на тысячу восемьсот гектаров пашни. Не богато, но уже и не бедно.

Возьмем другой колхоз — «Прогресс» Гродненского района. Здесь земля и техника закреплены за небольшими звеньями с 1963 года. Вот что это дало — урожайность зерновых с девяти центнеров выросла почти до восемнадцати, свеклы — со ста сорока центнеров до трехсот. Доход колхоза превысил шестьсот тысяч. Это на тысячу восемьсот пятьдесят гектаров пашни. Неплохо! Наиболее отсталым участком было село Гриневка. Создали и там звено — братья Детченя, Апоник, Борбат. На пять человек получили три трактора, комбайн и почти три с половиной сотни гектаров. И что же? Гриневские земли родят теперь ничуть не хуже земель села Вертилишки, в прошлом наиболее урожайных в колхозе. Звену было запланировано валовой продукции на девяносто восемь

тысяч рублей, а выдало оно на сто двадцать тысяч. Средний месячный заработок в звене составил сто сорок рублей. На каждый затраченный рубль получили тридцать копеек прибыли.

— После закрепления земли у нас почти не стало простоев из-за поломок техники,— сказал мне председатель колхоза Федор Петрович Синько.— Секрет простой. Мы выдали на каждое звено лимит на ремонт техники. Сумму лимита взяли среднегодовую. Сказали: что сэкономите — пятьдесят процентов ваши; перерасходуете — платите из своего кармана. И что же? Лемеха перестали ломаться. Камни на полях все те же, да руки по-другому стали управлять машиной. А если сломает лемех, сам бежит в кузницу. Сам и заклепает. Каждый новый лемех теперь записывает — убыток! На горючее тоже лимит. Каждый год экономят. Половина стоимости тоже им. Вот и вся премудрость.

Невелика, что и говорить. В упомянутых мной колхозах так и делается, от ежедневного учета вообще думают отказаться. Созданы опытные звенья, ежедневный труд которых вообще не учитывают,— выдали технологические карты на год, на каждый месяц, там перечислено, что они должны сделать и что получат за это. А окончательный расчет в конце года, по сданной продукции.

Разумеется, в каждом районе или хозяйстве — свои специфические особенности. Амурские степи не похожи на неманские холмы да угоры. И почва разная, и структура звеньев различна. Никто и не пытается навязать единый для всех рецепт. Тут важна суть — закрепление земли не только технологический процесс, но и социальный. Человек, работающий на земле, перестает быть простым исполнителем воли командира. Он становится лицом ответственным, распоряжающимся и своим трудом и продуктами своего труда. Личность его вырастает. И второй немаловажный фактор — земля перестает быть беспризорной, она обретает своего хозяина, и не на словах.

Обезличка земли... Явление это скверное и весьма опасное. Не у нас ли в народе бытует поговорка: «Не та земля дорога, где медведь живет, а та, где курица скребет». И вот эту дорогую землю, которой вечно не хватало, вдруг перестали ценить, считать на сажени, проще говоря, уважать. Сначала обезличка в бригаде, потом в колхозе, потом... Миллионы гектаров пашни ушло в залежь, заросло кустарниками, миллионы гектаров наибо-

лее ценных пойменных земель затопили в погоне за дешевыми киловаттами, миллионы ушло под различные виды отчуждений. Только за один 1964 год отпало более двух миллионов гектаров пахотной земли под различные строительные площадки. Но, главное, и та земля, которая по сию пору служит нам, кормит и поит нас, большей частью обезличена. Чаще всего на ней работают поденщики. Ее взбудораживают и поднимают в воздух в погоне за мягкой пахотой — заработок! В поймах ранней весной затравливают скотом луга, выбивают их, вытаптывают до тока поздними осенними выпасами. А потом умывают руки — перестали родить заливные луга, и шабаш! Земля стала проходной.

Опасность обезлички земли возникла в самом начале колхозного строя. Было и постановление правительства в 1931 году о ликвидации обезлички земли, инвентаря и вообще труда колхозника. Но об этом постановлении забыли, а обезличка укоренилась. И вот теперь, когда кто-либо пытается закрепить землю, снять с колхозника мелочную опеку, дать ему как можно больше самостоятельности, порой поднимается указующий перст.

Нашлись и на сей раз. Республиканская комиссия приехала в колхоз имени Калинина и пять часов кряду повторяла свое грозное: «Непонятно, с какой целью вы это затеяли? На чьем поводу вы идете? Социализм есть учет. Понятно?!»

Люди есть люди... И в конце концов Мариан Дяшкевич стал сомневаться: может, и вправду социализм — это когда один работает, а другой учитывает? А когда сам работает и сам учитывает — может, это уже не социализм? И Дяшкевич пошел на укрупнение звеньев — двадцать человек вроде бы и не страшно. Об этом он и сказал на ухо секретарю райкома в избе Скерся. Мол, как бы чего не вышло. С этого я и начал рассказ.

Благо руководители Дяшкевича и в районе и в области понимают, что социализм и обезличка земли — понятия несовместимые.

Но, увы, такие комиссии не исключение. О подобные «деловые» точки зрения повсюду спотыкаешься, как о высокие пороги. Более решительные «теоретики» договариваются до того, что звено на закрепленной земле, да еще если оно из родственников,— это возврат к частной собственности, к эксплуатации.

Да, Александр Иванович Детченя «эксплуатирует» своего младшего брата Семена — он его в подручных

держит. И трактором управляет Семен отменно, и комбайном. Но сеет Александр Иванович сам и жнет сам. Семену позволяется пока пахать да культивировать. «Сев — дело тонкое. Семену еще рано. Пусть поучится».

Хлебороб — это не шофер на тракторе. Искусство хлебороба требует больших знаний и опыта. А у нас постиг за школьной партой устройство трактора — вот тебе и хлебороб. Воспитывать хлебороба, растить его не менее сложно, чем рабочего высокой квалификации. И традиции семьи, преемственность от отца к сыну знаний и любви к земле родной — дело чрезвычайной государственной важности.

Ведь не секрет, что мы испытываем в деревне самую острую нехватку именно молодых рук. Фраза — молодежь уходит в город — стала прописной истиной. Многие пытаются уверить нас, что это не страшно. Это естественный отток населения в город в нашу эпоху. Так, мол, происходит во всех развитых промышленных странах. И потом у нас, мол, все еще слишком велик удельный вес сельского населения.

Не станем в этом случае гоняться или примерять к себе нормативы так называемых «промышленно развитых» стран. У них и урожаи высокие, и земли не пустуют. Посмотрим, что у нас.

В 1963 году в селе жило 107 миллионов человек. Это, конечно, много. Но сколько человек работало на полях в том же году? А 19,7 миллиона человек. Из них в РСФСР всего 7,4 миллиона. Право же, это немного для наших обширных пашен и лугов. Если еще учесть перенаселенность на Северном Кавказе, на Кубани, на Дону, то нехватка рабочих рук в Сибири будет особенно острой. Да и в средней полосе России не густо. А проблему переселения административными мерами не решишь. Уж сколько лет вербовали в Сибирь да на целину! И что же? Население Сибири в тот период уменьшилось на полмиллиона человек, а на Северном Кавказе на полмиллиона увеличилось. Там — проблема нехватки рабочих рук, здесь — избыток. Ни приказами, ни призывами не удержишь сельских жителей. Жизнь надо выравнивать.

Надо сказать, что за последнее десятилетие население в деревнях Сибири не только стабилизировалось, но и стало прибывать. Причина — улучшение экономического положения колхозов и совхозов.

В моем родном районном селе Пителине Рязанской

области население увеличилось за последние тридцать лет почти вдвое. Во всех остальных селах района оно резко сократилось. Но на земле работает единственный человек из Пителина, Манторов Николай Федорович, да и то работает управляющим отделением совхоза. Почему же мои земляки не работают в совхозе? Люди там нужны. А потому, что работать в конторе и возле нее во всех отношениях выгоднее. И оплата круглогодичная, и место постоянное, и под крышей — не капает и не дует. Да и в конторах нужны работники. Секретарь райкома сказал мне: «Ужасно трудно с кадрами. Днем с огнем не найдешь». И немудрено: на четырнадцать колхозов и два совхоза в районе — сорок одно учреждение. Здесь и агрономов много, и инженеров, и мелиораторов. И молодежь есть. А в совхозах, в колхозах — нехватка специалистов.

Встретил я в селе Гридине своего бывшего ученика М. Марфина. Он работает слесарем в колхозе по шестому разряду и зарабатывает в среднем по пятьдесят рублей в месяц. Его друг в Москве на заводе «Электросила» зарабатывает более ста пятидесяти рублей. Росли они вместе, сидели за одной партой, учились слесарному делу... И вот какая разница — Лобачев, работающий в Москве в лучших условиях, зарабатывает более чем в три раза. В Гридине даже мастерских настоящих нет, работают в раскрытой церкви: проломили кирпичный бок храма и прямо в пролом въезжают тракторы; сбоку летит на них снег, сверху каплет дождь, и копаются в них рабочие...

Разумеется, Марфин при первой же возможности уедет в город, и уж, по крайней мере, коль самому не удастся — детей своих отправит туда. И говорит он об этом, никого не стесняясь. А как же иначе? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Людей же в гридинском колхозе не хватает, поля плохо обрабатываются, в том числе и по этой самой причине.

Проблема рабочих рук, проблема урожайности, проблема молодежи — это все единый клубок. И разматывать его следует с создания хороших условий жизни в деревне. Считаться со спецификой работы на земле. Если рабочий за станком — лицо самостоятельное, так крестьянин на своем поле должен быть не менее самостоятельным. И заработок его не должен сильно отличаться от заработка рабочего, и быть уж по крайней мере не меньше.

Самостоятельность в деле — великая вещь. Она требует от человека и более высоких затрат физических сил, и проявления сметливости, и умственного напряжения; но и многое дает ему: чувство удовлетворения, ощущение достоинства, независимости. Колхозник, севший на закрепленную землю, освобожденный от мелочной опеки, получающий приличную зарплату, чудеса творит — один заменяет труд многих. А куда девать тех, которые высвободятся? Я спросил об этом председателя Синько.

— Нам это нестрашно,— ответил он.— Найдем место. Больше свеклы будем сеять, больше льна, больше коров будет, больше свиней... Да мало ли! А главное, женщин освободили бы от работы в поле. Хозяйка, у которой трое детей да хозяйство на руках, и так по горло занята домашней работой. А мы еще работать в поле ее заставляем.

Это истинно. Если самостоятельность необходима каждому колхознику, то она не менее нужна и самому колхозу. Колхоз должен сам распоряжаться продуктами своего труда.

— Молока у нас много пропадает, да и прибыль от него невелика,— говорит Синько.— Нам бы лучше масло сбивать или сыр варить. Но строить сыроварню или молокозавод не имеем права — план только на молоко!

— А у нас много овощей гибнет, фруктов,— жалуется Дяшкевич.— За прошлый год только одних яблок пропало сорок тонн. Почему бы не построить нам консервный завод на паях? Не разрешают. Просили кредитов под строительство жилья. Дайте пятьдесят тысяч! Дали всего восемь. Это ж курам на смех. Мы ведь в должниках не ходим, осенью отдадим. Так не дают! Ну, как же можно жить без кредитов в деревне? Сельское хозяйство — сезонное производство. Нужно строить жилье, Дом культуры. Но ни денег, ни строительных материалов. А когда и деньги появляются, ничего не купишь: ни кирпича, ни цемента... Какие ж мы хозяева? Ждем решений высокого начальства из района да из области, как манны небесной.

— Не только строительных материалов, удобрений не купишь,— вторит ему Синько.— Жди, когда Иван Иванович распределит там, в области или в республике. Трактора нужны — тоже не купишь, грузовики, инвентарь. Да все, за что ни возьмись. Там, наверху, знают, распишут. А расписывают как? Какие неограниченные

возможности здесь для волевых решений. У нас даже некоторые колхозы в передовики выходят не потому, что хорошо работают, а потому, что у председателя связи, пробивная сила, нюх... Надо, чтобы не Иван Иванович распоряжался поставкой колхозам, а закон, регулирующий товарооборот. Мы должны покупать технику либо свободно, либо хотя бы получать ее за сданную продукцию. Словом, мы должны быть полностью самостоятельными в рамках закона и не подвластны воле вышестоящего лица.

1966 г.

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

— Прокормить корову трудно, а сбыть еще трудней. Мы с ней осенью муки-то приняли, упаси господь. Я говорю: «Иван, она за зиму-то сожрет нас. Уж больно здорова! Корма ноне не по карману. Давай,— говорю,— продадим ее, а телочку стельную купим».

Но куда ж ты ее продашь? Государство не берет. Забить ежели, на рынок. За полгода не продашь. Что у нас теперь за рынок? А в город везти мясо — дороги нет... И вдруг мы прослышали, что трех коров из Пителина примут... Беги, говорю, скорее, получай разверстку! Шутка ли сказать — три коровы на все Пителино. Пятьдесят дай — и то расхватают. Коров много развелось. Иван — в сельсовет. Ходы знакомые. Добился он разверстки. Побежал в заготскот. А там ему говорят — от своих мы не принимаем коров. Почему? А потому, говорят, что прививку сделали в Пителине против ящура. И значит, надо двенадцать ден выдержки сделать.

Ладно, прошли эти дни. Пригнали мы корову в заготскот. А нам говорят: теперь мы не принимаем совсем... Почему? Приход закрыт — исчерпали, значит. Гоните корову в Сасово. Там и сдавайте. Ба-атюшки мои! За тридцать пять верст. Но делать нечего. Веревку на рога, краюху хлеба под полу... Целый день топали в Сасово с коровой. А там говорят: где же вы раньше были? Партия личных коров уже того... улепонтована. Теперь ваша очередь придет на той неделе. Мы назад — еще целый день потеряли. Шут с ней, говорю, и с коровой. А я больше не пойду, без ног осталась. Ну, ладно. Сложились мы втроем и машину наняли. Загнали коров в ку-

зов. Ну, прямо турусы на колесах. Как машина тронется — они в рев. И пошли челюпкаться. Повыпрыгивали из кузова — перебились все... Была наша корова, как печь, а пока сдали — мослы выщелкнулись. И то слава тебе господи. Избавились.

Рассказывала мне эту историю Настя, жена брата моего.

Ну вот, скажете вы, нашел чем удивить. Экая беда — одну корову не вовремя сдали. Да и то «частную». Но эта «частная» скотина тянет чуть ли не половину всего мясного и молочного баланса страны. Однако и с общественным скотом случается нечто похожее.

В начале июля заехал я в Скопинский район к председателю колхоза «Красный горняк» Савину Якову Митрофановичу. Он озабоченно говорит:

— Откормил я шестьдесят быков весом по триста с лишним килограммов. И быки первый сорт, и мясо сейчас дорогое, и план у меня есть... А не принимают.

— Почему?

— Говорят, девать некуда... А что мне с ними делать? С откорма снял — фуража в обрез. Пастбищ тоже нет. Гонять по оврагам — от них одни хвосты останутся. Сплошные убытки. И спросить не с кого, и жаловаться некому.

Я слушал его и вспоминал сетования столичных плановиков и заготовителей — за один только май месяц мы не смогли реализовать полтора миллиона голов свиней. Потом за свои многочисленные поездки по областям я до самой глубокой осени слышал те же вопросы:

— Почему овец не принимают?

— Когда возьмут выбракованных коров?

И уж по крайней мере на вопрос: «Как с мясом?» — следовал ответ:

— Можем сдать.

Или:

— Подпирает вот так! — и ладонью проведут по горлу.

Разумеется, майские свиньи не ушли через границу, не затерялись в лесах, не смешались с дикими кабанами, а были съедены своим чередом; и быки Савина протопали своей дорогой на мясокомбинат, только не в июле, а в конце августа; рассосутся со временем и немыслимые осенние пробки со скотом... Но не надо быть экономистом, чтобы понимать очевидную убыточность подобных заторов. Застопорились не просто рога и копыта, не

одни тонны мяса,— это деньги не пошли своевременно в оборот. И вовсе не обязательно постигать природу капитала, чтобы понять, что деньги, пущенные в оборот, приносят новые деньги. Иными словами, этот многочисленный в заторах скот втоптал в землю так и не появившуюся прибыль. И это еще не все; ждущий своей очереди на мясозаготовки скот стоит и ест корма, припасенные для других голов. Получается прямо по притче — тощие коровы поедят тучных и сами не пополнеют...

О трудности сбыта сельскохозяйственных продуктов писали и «Известия», и другие газеты. Речь идет не о бедствии, вызванном недородом. Лето хоть и было засушливым в средней полосе, но кормов заготовлено не менее прошлогоднего. И спрос на мясо не уменьшился. И тем не менее...

Казалось бы, при плановом ведении хозяйства таких заторов и не должно получаться. А они получаются. Парадоксально, но факт... Существуют. И не только по мясу, но и по молоку, и по маслу. Часто некуда сбыть овощи, картофель, фрукты.

И вот что печально: учтя горький опыт предыдущих лет, колхозы и совхозы резко сократили посевные площади под овощи. И в этом году уже не хватало помидоров, огурцов, капусты. Примерно такая же история получилась и с картофелем. А не произойдет ли нечто подобное в будущем году и с мясом?

Так что же нам делать? Разбираться в причине внезапно появившихся трудностей сбыта при плановом ведении хозяйства? Или все свалить на отсталость пищевой промышленности, оказавшейся неспособной переработать возросший поток сельскохозяйственного сырья? Или, как это делают некоторые экономисты, черным по белому прописать, что план — «это гарантия сбыта товарной продукции по экономически выгодным ценам». Мол, план есть, значит, и гарантия должна быть. А есть она на самом деле или нет, это уж не наше дело.

Но давайте посмотрим, что такое сельскохозяйственный план в его теперешнем виде? Возьмем тот же Пителинский район Рязанской области. План спущен на пять лет и на мясо, и на молоко, и на яйца, и на шерсть, и на зерно и т. д. А к плану еще и обязательства в этакой пропорции: по плану надо дать девятьсот тонн зерна, а по обязательству — еще тысячу, картофеля по плану — пятнадцать тысяч тонн, а по обязательству — еще десять

тысяч. И так по всем продуктам — обязательство превышает план порой в полтора, а то и в два раза.

— А вы продавали когда-нибудь тысячу девятьсот тонн зерна? — спрашиваю.

— Столько ни разу. Вот если урожай хороший будет, тогда выполним.

— А бывает так, что вы продаете, но не берут?

— Бывает. В прошлом году картошка туго шла, в этом — мясо...

И на сторону везти некуда. Да и нельзя — план! А еще — обязательство. В нынешнем году и план по картофелю выполнили. Но...

«Сдавайте еще!» — требуют.

«Больше нельзя. С кормами у нас туго, фуражу мало. Надежда на картофель».

«Вы что, не знаете, что в нынешнем году дефицит с картошкой? Или вам свои интересы дороже государственных?»

Не правда ли? Знакомые мотивы...

Значит, ежели везешь картошку на спиртзавод — это государственный интерес соблюдаешь, а если оставляешь на корм скоту — тут дело принимает другой, чуть ли не темный оттенок. Быков держи, но картошки им ни-ни. На нее того, дефицит.

Председатель колхоза «Красное знамя» И. Кузнецов сетовал:

— Из меня все жилы вытянули за эту картошку. Засушило нас в нынешнем году. Ну и недобрали картошки — вместо двух тысяч тонн (по плану) продали тысячу девятьсот. «Давай еще!» В прошлом году урожай был — девать некуда. А в этом году нечего сдавать — но сдавай! Или яйцо... Напланировали мне и на этот и на будущий год. А птичника в колхозе нет. «Заводи птичник!» Дак у меня же зерновые плохо родят. Землю искалечили глубокой вспашкой. Похоронили гумусный слой, а дедовский навоз, то есть подзол, да песок наружу вывернули. Замучились, говорю, с зерновыми. Больше пяти-шести центнеров не родят. Картошка да луга выручают. Оттого и держим много коров. А птица невыгодна. Хоть бы птичник построили. «Строй сам».— «Из чего?» — «Найди. Ты руководитель».

Приезжаю я в район к начальнику управления С. Мысову, спрашиваю:

— Почему вы планируете Кузнецову на будущий год сто тысяч яиц?

— А потому, что он в 1965 году ликвидировал свой птичник.

— Ему невыгодно иметь птичник.

— Нет выгодно. Я вам в два счета докажу.— Мысов берет карандаш, и начинаются нехитрые подсчеты.

А я смотрю на него с удивлением: человек он еще молодой, имеет высшее образование. И прекрасно понимает, что четыре действия арифметики никак не могут подменить собой живой и сложной экономики.

— Сергей Иванович,— говорю,— такие вещи надо доказывать не за столом, а в хозяйстве, на практике.

Мысов обиделся:

— А вы что думаете, я в колхозе не работал?

Далее мы быстро находим, так сказать, общий язык, и Мысов участливо спрашивает:

— На кого же переложить эти сто тысяч яиц? На гридинский колхоз, на Кузякина? Тот и подавно не справится. А план выполнять надо.

Но вот перевыполнили план по мясу... Опять трудности. Заторы были на мясокомбинатах? Были. А неустойки платили колхозам? Я объездил десятки районов в разных областях. И никто мне не ответил утвердительно. В чем же дело? Ведь существует же постановление Совета Министров от 4 января 1966 года «О взаимной ответственности за поставки сельхозпродуктов». И тем не менее договоров, заключенных между мясокомбинатами и хозяйствами, я не видел. Графики есть, но они не имеют юридической силы. На совесть, так сказать, рассчитаны.

— Отчего же вы не заключаете такие договоры?

Отвечают в управлениях:

— Это палка о двух концах: мы с них начнем спрашивать неустойки за то, что не принимают мясо вовремя, а они с нас за то, что скот некондиционный.

На мясокомбинатах говорят иное:

— Тут политика тонка... К примеру, в декабре скота в хозяйствах много, а мясокомбинаты недогружены. Почему задерживают скот, не сдают? Кому это выгодно? Хозяйствам? Нет — управлениям и районам. Старый план уже выполнен, новый — выполнять надо. Все норовят за январь да за февраль свалить полугодовой план. А потом рапортовать — достижения!..

Директор сасовского мясокомбината жаловался:

— Наше управление планирует сдать мне за январь восемьсот тонн. А мы можем переработать за месяц всего

четыреста пятьдесят — пятьсот тонн. Да кроме Сасовского у нас еще три района. Вот и попробуйте заключить взаимно обязывающие договоры!

А тем временем наши просвещенные экономисты пишут как ни в чем не бывало: «По мере роста производства значение гарантированного сбыта продукции для колхозов и совхозов будет еще более возрастать. Это очевидно».

Видите — все ясно, как божий день. Кто там еще сомневается? Сокрушим очередным бумажным параграфом!

«Планирование сельского хозяйства должно полнее использовать механизм товарно-денежных отношений, стоимостные категории, более оперативно учитывать потребности рынка, способствовать развитию инициативы хозяйств, углублению их специализации...» Это я выписал из «Сельской жизни», из статьи, написанной тремя экономистами.

И вот, уяснив эти правильные директивные установки, я спрашивал в колхозах Пителинского района:

— Скажите, а что вам запланировано в качестве, так сказать, товарно-денежного обмена на пять лет? Что вы получите на деньги, вырученные за ваше зерно, мясо, молоко? Какую технику? Сколько удобрений? Стройматериалов?

— На пять лет нам не планируют.

— Ладно. Тогда скажите, что получат ваши хозяйства ну хотя бы в 1968 году?.. С целью углубления специализации, так сказать.

Смотрят на меня так, словно я с неба свалился.

В Скопинском районе задавал те же вопросы Савину. Отвечал:

— Не только в шестьдесят восьмом, я не знаю, что получу в этом-то году. Азотные удобрения нужны были на подкормку, а их привезли нам только осенью. Теперь год будут лежать, выдыхаться. Правда, *заявки от нас любые принимают*. Хоть напиши — требуется сто тракторов. Примут! Но что дадут? Когда дадут? Неизвестно.

Да есть же у нас ежегодные фонды для колхозов, возразят одни. А другие подумают: это все областная неразбериха, и больше ничего.

Хорошо. Возьмем другую область, отстоящую от Рязани на полторы тысячи километров,— Гродненскую. В марте месяце я задавал те же вопросы о промфинплане, о фондах секретарю Щучинского райкома И. Сильвановичу.

— Да какой там промфинплан! — махнул он рукой.— Пятнадцатое марта, а мы только фонды получили на колхозы. Понимаете, в середине марта! В конце квартала. Да и то пока что они только на бумаге. Если колхоз не выполнит план по хлебу, взгреют и председателя и меня, а если фонды задержат, никто и не почешется. В прошлом году нашему району *недодали* триста пятьдесят тонн аммиачной селитры... И спрашивать не с кого. Мы снабжаем картошкой Ленинград, продаем на Кубу, в Чехословакию... А у нас простой картофелекопалки нет. И цена-то ей всего девятьсот рублей. Нужны такие картофелекопалки позарез, ну хотя бы по одной на звено. Но нигде не купишь. И на картошку не выменяешь. Сиди и жди, когда некое руководящее лицо зашлет ее сюда. Вот вам и фонды.

— Нужны не фонды, а свободная торговля или хотя бы взаимообмен по контрактации,— говорил мне председатель колхоза «Прогресс» Гродненского района Ф. Синько.— У нас одних тракторов двадцать три штуки. Мастерские свои. Но железа — ни килограмма. И нигде не купишь. Мы же на коленях вымаливаем какое-нибудь полосовое железо. Или вон — мне нужно пастбище огородить, так арматуры для железобетонных столбов нет и достать негде. Ну что это за жизнь?

Мы же продаем и молоко, и мясо, и зерно... Так извольте и нам продавать и железо, и цемент, удобрения, машины. Пора уже, давно пора жить на равных колхозам и промышленным предприятиям. По новой экономической реформе предприятиям дают большую самостоятельность. А почему бы и нам ее не дать? Чем мы хуже? Дайте нам права на самостоятельность, чтобы и мы смогли вступать в систему прямых договорных отношений с предприятиями, с торгующими организациями, с рынком. Тогда мы сможем построить такую деревню, которая соответствовала бы уровню современной жизни.

Нынешних деловых людей деревни уже не устраивают «товарно-денежные» отношения в существующей форме. Так что же? Может быть, это отрицание плана вообще? Ничего подобного. Деловые люди не отвергают план, как таковой; они требуют увязывать его с поставкой техники, удобрений, стройматериалов. Они стоят за план как форму истинно товарно-денежных отношений. За план, который был бы взаимно обязательным и для колхоза и для промышленных и снабжающих организаций.

Впрочем, есть постановления и об имущественной ответственности, которые обязывают отделы сельхозтехники поставлять машины колхозам и совхозам в указанные сроки. Но договоров и здесь не заключают. Распределяют машины в районе по мере поступления. Если вы спросите: «А почему бы не поставить распределение машин в прямую зависимость от сданной продукции?» — вам ответят: «Нельзя, потому как мы поднимаем слабые колхозы». Странный это метод подъема. «Ты плохо работаешь — вот тебе в награду побольше тракторов и грузовиков». Иного уже тридцать лет поднимают, тот же гридинский колхоз Пителинского района, а он все на брюхо ложится. Насчет подъема слабых колхозов — это все отговорка, предлог. Истинная причина кроется в другом — очень уж не хочется районному начальству выпускать из рук самый надежный волевой рычаг управления — распределение техники по своему усмотрению. Вот в чем гвоздь.

Если мы составили план хозяйству на пять лет, то должны удовлетворить его заявки на поставку техники, удобрений, транспорта. Сейчас часто недодают даже то, что запланировано на область по пятилетнему плану. Грустными возвратились руководители Рязанской области из Госплана в начале декабря: план поставок на 1967 год области уменьшен по удобрениям на тридцать процентов, по технике — на тридцать пять, по капиталовложениям — на двадцать пять процентов. Но с области план закупок сельскохозяйственных продуктов, разумеется, спросят.

— План? Хорошо! Давайте распишем, что и сколько и к какому сроку я должен сдать,— говорил Савин.— И что нам поставят под этот план? И в какие сроки? И договор подпишем, юридически равноправный. Подошло время сдавать помидоры или там огурцы — я их везу. Но от меня не принимают. Платите неустойку. Подошло время подкормки, а удобрений азотных не поставили согласно договору. Я урожай недобрал, а вы неустойку платите. Обещали по договору поставить грузовики к страде, а их нет. Опять платите неустойку. А как же? Я исполняю все к сроку, извольте и вы исполнять, уважаемые промышленники и снабженцы. А то что получается? У вас, видите ли, помещение не подготовлено. А я помидоры вываливаю свиньям. Вы грузовики обещанные задержали, а нам урожай вывозить не на чем — зерно в валках преет. И опять же виноваты мы.

Странные это товарно-денежные отношения, не правда ли?

При теперешнем всеобъемлющем охвате сельскохозяйственного плана, право же, трудно усмотреть из одного командного пункта все непредвиденные заторы.

— Зачем же толкать в план все до последнего огурца? — спрашивают деловые люди.— Не лучше ли, не проще ли разделить заготовки на две категории. К примеру, выделить бы главную потребность: снабжение крупных промышленных центров, армии, запасы для внешней торговли... Составить надежный, ненапряженный план. А все остальное на прямые договоры, на рынок. Тогда бы и продукт по твердому плану шел отборный, и в сроки принимался бы, и обрабатывался бы вовремя. А система прямых договоров подстегивала бы рублем любителей гноить помидоры да бить яйца. Будьте уверены, и хранилища нашлись бы, и тара. Все заранее было бы приготовлено.

И в самом деле, ведь не от рождения же беспечны теперешние заготовители и работники торга. Убытки от нерасторопности порождаются, с одной стороны, безответственностью заготконтор, а с другой — независимостью торга. Заготконторы отвечают только за то, что они приняли, а за то, что не приняли, не отвечают. И главное — они имеют право не принимать. А если и права нет, они ищут причины, чтобы не принять, и находят, не принимают под любым предлогом. Интересу нет, как говорится. Ведь торг имеет свой план по валу, по деньгам, поэтому ему куда сподручнее продать литр водки, чем меру огурцов. Здесь тоже обитают своего рода деловые люди, они ищут свою выгоду, выгоду порой шиворот-навыворот.

— Сунулись было в прошлом году в Архангельскую область с ранней капустой,— рассказывал Яков Митрофанович Савин,— наш облисполком установил цену — по тридцать копеек за килограмм. Послали туда своих агентов. А им там говорят: хотите, по двадцать копеек возьмем. А наши: «Нельзя, облисполком установил. Закон!» А у нас, отвечают им, свой облисполком, и закон свой. Нагрянули к ним в одну неделю из пяти областей. Так наши и вернулись ни с чем. А были бы договоры у колхозов с теми же архангельскими базами... Разве не увязали бы цены? И субподрядчики нашлись бы, и тару достали бы. Да что там! Просто смех, гоним всю раннюю капусту в Москву, ее там бракуют — девать некуда.

А рядом, в Орехово-Зуеве ни одного кочана нет. Но везти туда не имеем права.

— План, план... На каждую кожуру все план. И хозяйства оценивают не потому, сколько ты выручил рублей с гектара земли, не по прибылям, а на сколько процентов перевыполнишь ты опять же этот план,— продолжал Савин.— Вон, «Заре коммунизма» дали план на двадцать тысяч яиц, а мне на триста восемьдесят тысяч. Земли-то у нас поровну. У тебя, говорят, птицеферма. Ну и что? Обкладывайте хоть кур-то по-божески. Да нет, по сто восемьдесят яиц на голову. У нас сроду по стольку не сносили. Мало того, еще и по срокам расписали — за первое полугодие сдай по сто десять яиц от каждой несушки. Хоть сам садись да неси. И вот мы сдали двадцать пять процентов яиц районного плана, но по срокам не уложились. А план не выполнишь? Нет тебе и баллонов для автомашин. И техника тебе в последнюю очередь, и удобрения... И за наградной стол не лезь. А ведь по прибылям, по отдаче гектара земли мы можем потягаться с любым хозяйством области.

Вот она какова, наша форма товарно-денежных отношений в деревне. Досадно не только то, что наша промышленность оказалась неподготовленной для переработки возросшего потока сельскохозяйственного сырья (того же мяса или молока), беда в том, что наша система планирования не успевает за жизнью. Дело ведь не в том, что спроса нет. Спрос есть, растет и будет расти. Но мы не умеем реализовать продукт. В разгар мясного летнего затора в магазинах того же Скопина или Сасова не купишь колбасы. Да что там в Сасове? В самой Рязани надо было в очереди стоять за колбасой. Да и то за одним сортом. А уж насчет выбора, ассортимента и не думай. А ведь не в столь отдаленные времена даже в Пителине своя колбасная была, да еще не одна. В скопинском ОРСе, например, их было три.

— У нас в Скопине на семьдесят тысяч населения производят всего две-три тонны колбасы в день,— говорил мне Савин.— Потому и не достанешь ее в магазинах. Пусти в оборот десять—пятнадцать тонн — всю расхватают. И завод может выпустить. Но лимитов не дают. То есть не разрешают варить колбасу для местных жителей... А у меня вон быки ходят, тощают. *Разрешили бы нам открыть свою палатку в том же Скопине.* Мы бы в день по быку резали... и петушков свежих, и сливки, и молоко... картошку молодую. Да мало ли? Но, хоть ты

и выполнишь план, а все равно вези молоко в Скопин, на завод. А молокозавод перегружен. Передержит наше молоко. И везем опять же к нам в Корневое. У нас шахтеров много. Здесь его нарасхват, хоть и прокисшее. В Скопин за молоком шахтерам ехать некогда. А нам продавать на месте не разрешают. План выполнил — обязательство выполняй, а потом перевыполняй...

Ну а если не берут тут же картошку или мясо, к примеру?.. Жди свой черед.

Не волнуйся, мол. Когда сдавать скот — это тебе скажут, дадим команду. Сдашь... И корову частную сдашь.

Но как ее сдают, родимую, я уже рассказывал.

Мы далеки от намерения дать готовое решение всех серьезных проблем, связанных с нашим планированием сельскохозяйственного производства. Одно мы старались доказать — существующая погоня за выполнением и перевыполнением плана изжила себя. При новом подъеме сельского хозяйства, при возросшем потоке сырья, вызванными мартовским Пленумом, требуется и новая система планирования.

1967 г.

ШЛЯХОВАЯ

Сначала мы целый час летели на самолете из Винницы на юго-запад, в Бершадь. И я удивился — как много леса под нами и еще тому, что весь лес саженый, черный, тонкомерный, похожий сверху на рядки частокола. Издали села принимались тоже за лес — так густы в них деревья и сады, что крыш почти не видно.

В Бершади стоял новый вместительный автобус — дальше ехать на Шляховую по булыжному шоссе километров сорок. Публика сельская, больше все женщины в плисовых сачках, в сапожках, низко осаженных до мелкой гармошки, с корзинами и мешками. Зато шофер в курточке, руки в карманы, стоит возле дверцы, важно покачиваясь, на билеты смотрит небрежно, сразу видно — городской.

— А ну-ка, тикайтэ! — отталкивает его бабуся с корзиной, принакрытой мешковиной.

— Не тикайте, а разрешите пройти,— поправляет ее шофер.

Все смеются.

— А я ж не знаю, як будэ по-вашему.

Плотная, затянутая в сак, словно сбитая, молодайка деловито проходит мимо шофера, даже не глядя на него.

— А вы куда? Где билет?

— Усе там.

— Где это там?

— В автобуси... там же ж мене торбина, корзина и дытына,— тараторит она.

И снова хохот.

Ехали долго и медленно: дорога скользкая — гололед. На полях снегу почти нет; повсюду из-под сизого ледяного покрывала выпирают черные валы зяблевой вспашки да жиденькие озими.

— Ох, померзнут озимые!

— Нечему мерзнуть. Они и не взошли — осень была сухой.

— Да, весна будет горячей. Пересевать придется.

— Сколько ни пересевай, а озимые яровыми не заменишь.

Обычные заботы и разговоры хлеборобов.

Приближение Шляховой — лучшего села на всю округу — сказалось и на дороге: булыжник сменился асфальтом, и автобус покатил веселее и мягче. Справа, за длинными земляными валами хранилищ засветились кипенно-белые корпуса больничного городка, потом пошли сады, белые хаты, кирпичные, салатного цвета, особняки. Вот оно, знаменитое село...

Шляховая раскинулась на двух увалах, разделенных широким распадком, с целым каскадом огромных прудов. Пруды приспущены на зиму, и вот по их берегам обнажились лобастые черные кочки, поросшие жухлым, обмякшим прошлогодним тростником; а чуть выше, понад берегом теснились целые заросли ракитника и канадского клена. Я вообразил, как по весне вольно разольются пруды, поднимется густая щетина камыша, заплещутся на отмелях карпы и зазвенят на вечерней зорьке девичьи голоса — смех, песни. Славное местечко!

Я остановился в сельском «готеле» — комната большая, светлая. На стенах по синему фону серебристые треугольнички, белые шторки, белая скатерть, широкое окно, умывальник... Грохают сапоги по широкому длинному коридору — приезжих множество. Их записывает в книгу дежурная горничная. Из Днепропетровской области, из Херсонской... Из Умани. Шум, гомон... Город, да и только.

А напротив «готеля», через дорогу, стоит белая приземистая хата, окошки игрушечные — головы не просунешь, аккуратненькие ставни, выкрашенные в темно-зеленый цвет, крыша толстая, соломенная, «под глинку». На самом верху посредине дымовая труба ендовой с рыльцем, отшлифованная, зализанная глиной... Я долго смотрел в окно на эту хату, на яркий кособокий месяц, на высокие черные пирамидальные тополя, и мне все казалось: вот-вот вылетит из глиняной трубы дородная Солоха на метле, за ней проворный и сухонький черт и начнут кувыркаться в просторном и пустынном небе.

Смесь городского с патриархальным, деревенским повсюду встречаешь в этом большом придорожном селе. В центре на высоком увале стоит четырехэтажная коробка бытового комбината с черными глазницами зияющих оконных проемов — комбинат еще только строится. Напротив него длинное здание клуба, множество раз уже виденное, с тяжелым неуклюжим фронтоном на дорических колоннах — запоздалая дань когда-то модному столичному увлечению ложным классицизмом. Есть и двухэтажные восьмиквартирные типовые дома для учителей и даже коттеджи (тоже типовые), покрытые железом и шифером. А вперемежку с ними хаты, низенькие, нахлобученные толстыми соломенными крышами, с маленькими оконцами, с глинобитными полами.

Странное однообразие наблюдаешь в новых постройках: в этих железных крышах, выкрашенных непременно ярко-зеленой краской, в этих белых наличниках, в этих салатных стенах. Представьте себе целую улицу совершенно одинаковых кирпичных домов, одинаково покрашенных и обнесенных одинаковым штакетником.

— Дети плутают...— говорил мне председатель колхоза Василий Михайлович Кавун.— Возвращаются из школы и дом свой не могут найти. Вот хочу съездить в город за разными трафаретами да нанести на стены.

Василий Михайлович человек известный, он — Герой труда, депутат Верховного Совета СССР, связи имеет большие. И даже ему трудно достать приличный и разнообразный набор типовых проектов сельских домов.

— Строятся по старому обычаю — что у соседа, то и у меня. Один козырек жестяной соорудил над колодцем — всем давай жести на козырьки,— посмеивается Кавун.— Стоит одному прибить петуха на крыше — через неделю у всех на коньках петухи будут звенеть.

Этот артельный азарт не столько порожден наивным подражанием, сколько желанием быть не хуже иных-прочих. А так как выбор новых, лучших образцов окон, дверей да украшений ограничен, то и получается такое невольное однообразие. Меня это радует, значит, появилось у сельских жителей желание выглядеть лучше, заметнее, красивее. Есть зажиток, деньжонки завелись... Скоро-скоро появятся альбомы с новыми образцами домов — выбирай на вкус. Дело теперь за нашими архитекторами.

Впрочем, общественные здания Шляховой прекрасные: огромная двухэтажная средняя школа, тот же клуб, если исключить нелепый фронтон, просторен, с богатой библиотекой, чуть ли не самой большой сценой на всю область, со зрительным залом на шестьсот пятьдесят мест... И особенно красив и внушителен больничный городок на сто пятьдесят коек! Не в каждом районном городе найдете вы такую больницу.

Если вы спросите, чем живет сейчас Шляховая? Какими главными заботами? Можно смело ответить — строительством. На центральной площади рядом с еще не завершенной махиной комбината мощный экскаватор роет траншеи под новый универмаг. За клубом идет отделка двух коттеджей для специалистов, на ферме только что окончен «дом отдыха». Его и не назовешь иначе: внизу столовая и физиотерапевтический кабинет, прекрасно оборудованный — кварц, соллюкс, УВЧ, доктор, сестра... Наверху читальный зал, телевизионный зал, спальни... И все это для одной только фермы, для работающих посменно доярок и скотников. А в клубном фойе огромный макет будущего села.

— Скажите, многоэтажные дома для колхозников будут? — спрашиваю Василия Михайловича.

— Нет. Все строят одноквартирные. Сказать по совести, и учителя разбежались бы из многоквартирных. Оно и понятно — вокруг своего дома огород, сад, цветник. Ведь на селе живем, тут подсобное хозяйство — и подспорье и удовольствие. Я сам двух кабанов держу. Утречком встанешь — первым делом во двор, подстилку сменишь, корма дашь... Крестьянская привычка.

Василий Михайлович хоть и относительно молод — сорока лет от роду, но мужчина осанистый, степенный. Есть в нем что-то от простодушия и лукавства традиционного украинского головы. На отчетно-выборном собрании утверждали новый колхозный устав. Решали вопрос,

как избирать председателя, тайным голосованием или открытым.

— Я предлагаю утвердить открытое голосование,— сказал Кавун.— Ну зачем вам тайное голосование? Вы что, боитесь меня? Нет! Тогда прямо так и говорите: ты нам больше не нужен. И голосуйте в открытую.

Так и утвердили: избирать председателя колхоза открытым голосованием.

— До тайного голосования они еще не доросли,—говорил мне Василий Михайлович.— Ведь чтобы некоторым понравиться, не многое нужно — дай побольше денег. А на пользу это пойдет хозяйству или во вред, им все равно.

Я невольно улыбнулся.

— Не верите? Да вот вам пример. Тут у нас в соседнем колхозе утвердился один такой прохвост. И председателем без году неделя, и денег особых нет, а он уже дом себе отгрохал, «Волгу» купил. И что делал? В распутье поставит «Волгу» на сани, впряжет трактор — и тащит ее километров тридцать аж до самой трассы. А там по асфальту катит на отдых. Мы сунулись было его снимать — колхозники сопротивляются. Почему? Да потому, что он почти весь доход по рукам роздал. Еле сняли его. Вот вам и тайное голосование.

Вообще, как я заметил, в суждениях Василий Михайлович смел и даже резок. Как-то спрашиваю его:

— Вы перевыполнили план по мясу?

— Да.

— На сколько процентов?

— Не знаю.

— А по зерну?

— Не помню и не хочу запоминать.

Разумеется, я понимал, что Василий Михайлович отлично помнит, сколько ему надо мяса сдать по плану, и пшеницы, и молока, и уж, конечно, проценты перевыполнения, и тем не менее он был категоричен и не желал говорить об этих процентах.

— Можете справиться в плановом отделе. А меня это не интересует.

— Почему же?

— Потому что эта игра в отчетность отнимает время. Вот мой план: четыре с половиной миллиона рублей дохода, миллион восемьсот тысяч чистой прибыли. Гектар земли дал шестьсот пятьдесят рублей. Продукция? Зер-

но, мясо, молоко... И игра в эти проценты меня не интересует.

Увы! В его словах много правды. Я знаю такие хозяйства, которые перевыполняют план в два-три раза при урожайности зерновых всего в пятнадцать-шестнадцать центнеров с гектара. И еще в передовых ходят. Я сказал об этом Василию Михайловичу, он усмехнулся:

— Иные сотворят эдакий план, да еще научным его называют. Тогда почему он, мягко выражаясь, такой приблизительный? Твердым его называют, да? Вон осенью, сижу я в Москве, мне говорят: «Сдай, пожалуйста, сотни три центнеров мяса».— «Дак у меня все планы уже перевыполнены».— «Ну, сдай еще». Ладно. Звоню по телефону: отведите, мол, на комбинат еще полсотни голов. Приехал домой, спрашиваю в райкоме: «Кто еще сдал, кроме меня?» А никто. И скот есть, и в общем-то перестаивается на дворах, а мяса нет в продаже. Почему же не сдают? Придерживают, чтобы новый план перевыполнить. Старый-то план уже выполнен, новый выполнять надо. Вот и норовят за январь да февраль полугодовой план свалить. А потом рапортовать — достижения! Перевыполнили!!

Секретарь Винницкого обкома Артем Андреевич Мазур говорил мне:

— В конце прошлого года наш винницкий мясокомбинат три месяца простаивал. Даже рабочих распускали. А теперь такая перегрузка, что невпроворот.

И опять пробки, и теряются тонны дефицитного мяса. Но вот что удивительно — мясокомбинаты внакладе не остаются. Несмотря на огромную перегрузку, перестаивание скота и неизбежные отсюда потери в весе, они, мясокомбинаты, работают только с прибылью. Почему? Да потому что в такую пору соревнования по проталкиванию голов любой приемщик делается господином положения. Какую хочу, такую и проставлю упитанность скота. Ты привез высшей, а я тебе поставлю средней. Пятнадцать копеек на киле заработаю... Что? Не согласен? Пожалуйста, гони в другое место.

— Как-то звонит мне директор мясокомбината: «Семнадцать голов мы у тебя принимаем средней упитанности»,— рассказывал Кавун.— Что такое? Мой скот и средней упитанности? (А скот у него и в самом деле превосходный.) Да я сейчас же, говорю, потребую комиссию создать! «Ладно, ладно... Пусть останется по-вашему. Но хоть пять голов я впишу тебе по средней».

Это с Кавуном так обращаются, с депутатом Верховного Совета. А что же говорить о простых смертных председателях?

И тем не менее они под любым предлогом стараются протолкнуть скот в январе. Во-первых, как мы уже говорили, проценты играют роль, во-вторых — закупочные цены. Если ты сдашь, к примеру, 30 декабря скот, получишь по девяносто семь рублей за центнер, а если 1 января, то за такую же упитанность ты получишь уже сто одиннадцать рублей. Вот так, ночь продержал — и сразу кум королю, сват министру: и проценты добыл для послужной характеристики, и по четырнадцать рублей чистой прибыли с центнера положил. Правда, закупочные цены теперь несколько повышены, но процентные сопоставления остались те же.

Вот и выходит — председатель, порой, вовсе и не страдает от передержки скота, страдает экономика хозяйства да еще потребитель. Но для председателя и для районного руководства потребитель существует только в виде настенных плакатов, так сказать. Оценка же работы ведется не по тому, есть мясо в магазинах или нет, а по тому, как выполняются проценты все тех же планов.

Василий Михайлович Кавун не без горечи говорил об этом на отчетно-выборном собрании:

— Мы не чудотворцы, не перевыполняем план в два или три раза. Мы его сами составляли так, чтобы он был впору нам. Высокими процентами перевыполнения мы не сможем похвастаться. Зато мы вырастили сорок два центнера зерновых с гектара, сдали по сто двадцать четыре центнера мяса и по пятьсот пятьдесят четыре центнера молока со ста гектаров угодий. Мы даем хлеб, мясо, молоко... Но когда нам ставят в пример тех, кто по тысяче двести рублей с гектара берет на виноделии, мы отвечаем: вино не хлеб. С вина сыт не будешь.

В этих словах сквозит упрек не виноделам, а тем, кто пытается путем нехитрой системы процентомании сопоставлять несопоставимое. А хозяйство у Кавуна прекрасное. Я обходил поля, фермы, мастерские, склады... Кажется, нет ни одной отрасли в сельском хозяйстве, за которую не брался бы Кавун и не доводил бы ее до совершенства. Неподалеку от громадной молочнотоварной фермы раскинулись длинные свинарники на шесть тысяч голов. И тут же — рукой подать — птичник. А с горы спустишься в распадок: пруды, пруды... На сто сорок гектаров. Сколько рыбы одной берется... Да какой ры-

бы! По килограмму, по полтора нагуливают зеркальные карпы за один сезон. А фермы? Коровы, что твои буйволицы, каждая больше полтонны весом. Чистые симментталы. Это за его племенными телками едут за сотни, тысячи километров из других колхозов те самые гости, которых я встретил в «готеле». Меня удивила необыкновенная простота оборудования, экономичность скотных дворов и свинарников. Поверху идет молокопровод для механической дойки, а понизу — транспортер для уборки навоза. Вот и все. И тем не менее чистота образцовая, и производительность тоже. В цехе свинарника на тысячу голов одна сменная свинарка, да на три цеха один возчик кормов на тракторе, он же и навоз бульдозером убирает. Да еще двое-трое рабочих в кормоцехе. А свиньи такие — хоть на выставку... На двадцать тысяч цыплят всего две птичницы.

Мы ходим с Кавуном по птичнику, вижу — радуется он; подойдет к отсеку, где тысячи две желтеньких, подвижных, как ртуть, комочков, цвикнет — они, как метель, в секунду сметаются сугробиком в угол.

— Живые, чертенята! — И поясняет мне:— Через два месяца петушки пойдут в ресторан, а молодки к августу несушками станут. Вот что значит ранний цыпленок.

Подходим к дальнему отсеку, здесь цыплята чуть меньше.

— А это брак. Полторы тысячи дали нам вроде бы в награду, бесплатно. У других они дохнут, а у нас растут. Сколько сдохло? — спросил он птичницу.

— Да всего двадцать три штуки.

— Вот видели, а? Остальные выживут.— Он цвикнул, и цыплята резво метнулись по соломенному настилу.— Ах вы, букашки-таракашки! Резвые... прямо рысаки.

— Василий Михайлович, вы прямо по Льву Толстому ведете хозяйство,— сказал я.

— То есть как это по Льву Толстому?

— Помните, как Николай Ростов хозяйствовал? Ему что выгодно, то и подавай.

Смеется:

— Наша специализация древняя — бери от земли все, что можешь.

Василий Михайлович хоть и агроном по образованию, но по натуре скорее предприниматель, инженер, недаром его любимое дело — строительство. Сам все оценит, ощупает, проверит глазом: хороша ли штукатурка под

«шубу», ровные ли русты облицовки здания, прямы ли откосы и разделки... Беспокойная душа.

Я прожил пять дней в этом своеобразном селе. Январь месяц. Время, как говорится, погулять да на белый свет позевать. На улице народу множество, особенно возле чайной и внутри, разумеется. Пьют, не раздеваясь. Правда, больше все пиво, и, наверно, оттого я совершенно не видел пьяных. На столиках горы кружек. Лица красные, потные. От голов пар валит... Пьют подолгу, сосредоточенно. А чего не пить? Заработки хорошие — по сто пятьдесят, а то и больше зарабатывают в месяц. У каждого свое хозяйство: куры, гуси, свиньи. Зерна бери сколько хочешь — цена государственная, по семь рублей за центнер пшеницы. Проблема прокормиться здесь давно уж канула в прошлое. И в одежде не стесняют себя. Думки о строительстве. А те, кто построился, мечтают о легковых машинах. Свадьбы хоть и редки, но играются подолгу. При мне четыре дня колобродила свадьба по селу. Сначала жениха и невесту принял председатель сельсовета в торжественной, так сказать, атмосфере: надел через плечо муаровую ленту — красное с синим, с белым гербом на груди. В руках держал он пышный каравай ситного, к которому по очереди приложились губами жених и невеста. Потом с такими же караваями под мышкой ходили гости по селу, ходили поочередно то к невесте, то к жениху. Порядок шествия строго соблюдался: впереди шел мальчик, брат невесты, точно жезлом помахивая пирамидкой из бумажных цветов «под елочку», за ним шли жених и невеста. Жених рослый, в темном драповом пальто с котиковым воротником, невеста в фате, сделанной из белого кружевного покрывала. За ними, под руку, целая шеренга жинок, одетых все, как одна, в темно-синее шевиотовое пальто в талию с серым смушковым воротником, в цветастых — красные бутоны по белому — шалях с кистями, в хромовых сапожках. Чоловики не держали равнение, шли кучно, толпой. Никто не пел, не плясал, как это бывает на русских свадьбах. Шествие замыкал сельский духовой оркестр и всю дорогу наяривал гопака: «Гоп, кума, не журися! Туды-сюды повернися...»

Толпы зевак не шли по пятам за гостями, а стояли вдоль дороги. Впрочем, более всего любопытствовали старухи и старики, обутые в суконные стеганые ичиги и в глубокие калоши.

— Кто женится? — спросил я в толпе.

— Сын доярки, Героя труда.

— Как фамилия?

— Ее Карман, а его Карманчук.

— Отчего такая разница?

— Он в армии служил. Будто над ним смеяться стали... Карман да карман... Он и записал себя Карманчуком.

— Да вы что? Все его батьки были Карманчуки.

— Ой, не скажите! А Карман откуда? Ну, откуда появился Карман?

— Одно дело жинка, другое чоловик...

И пошел длинный и забавный спор. И конечно, на украинском языке. И вообще все говорили со мной по-украински, а я, естественно, записал по-русски.

Уезжал я из Шляховой по сильному гололеду. Ехали на «газике» в сторону Умани. Булыжник вскоре кончился, и пошли такие глубокие расхлябанные колеи, и нас так катало на разъездах, что перевернуться могли в любую минуту. Шофер снизил скорость и ворчал всю дорогу:

— Дорога... Осенью из грязи не вылезешь, а летом в пыли ни черта не видать. Теперь вот гололед... Того и гляди шею сломишь.

Вскоре показалось село Терновка — соседний колхоз «Коммунар». Хаты, хаты... Подслеповатые окошки, ветхие тыны, соломенные взъерошенные стрехи, и в черных застывших гребнях вздыбленная, разбитая дорога... И всего в двенадцати километрах от Шляховой.

Я вспоминал теперь с какой-то светлой грустью похожие друг на друга бело-зеленые кирпичные дома Шляховой, опрятные мощеные улицы и думал о том времени, когда своим чередом начнет перестраиваться и Терновка.

1970 г.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УРОЖАЙ?

Впервые я познакомился с ним заочно, как знакомятся читатель с автором. Читателем был я, автором он — крестьянин из села Леонтьева Московской области. Статьи его появлялись и в «Правде», и в «Сельской жизни», и в «Литературной газете», и даже в некоторых

журналах. Писал он остро, метко и зло. И высмеивал он не соседей по двору, которые скандалят из-за поросенка или курицы, не заполошную тетку Дарью, в суматохе нечисто вымывшую конторские полы, а нападал то на директора совхоза, то на нашего брата журналиста, охотника поучать неразумных крестьян: «Не на тех дорогах ищете», «Работайте там, куда пошлют. И с огоньком!». Высмеивал сочинителей романов да фильмов, любителей индустриального захвата на земле. Поставит эдакий любитель эпопей своего героя на курган степной и пустит перед его начальственным взором на усладу души целый дивизион тракторов и восторгается: «Жми веселей, индустрия! Накручивай норму!» А лихой корреспондент увидит — аппаратом щелкнет, на первой полосе тиснет: «Смотри, какая сила! Гужом идут... И поворачивают по команде — все враз». И вторит им городской аграрий, умиляется в мягком кресле на просмотре сельского боевика: «Вот оно, преимущество наше! Экран не вмещает... Ну где еще можно враз запустить эдак вот пять, а то и десять дизелей, чтоб земля зашаталась?» Вот что значит групповой метод! Вот оно — преимущество, которое налицо.

Надо бы радоваться да восторгаться сообща такому чуду всеобщей организации, ан поди же ты... Найдется эдакий вот крестьянин из села Леонтьева да ехидно спросит: «А за что получают эти пахари?» — «Как за что? За пахоту, за норму».— «А что там вырастет?» — «А это уж что посеют».— «Кто?» — «Севари. Может, пшеницу посеют, может, картошку посадят».— «За что же платят пахарям?» — не унимается дотошный крестьянин. «Как за что? За гектары. Чем больше гектаров, тем больше денег».— «А как же с картошкой?» — «А как будет, так и ладно. Это пахаря не касается».

«А представьте себе доярку,— скажет крестьянин из села Леонтьева,— за которой закреплен лишь доильный аппарат, а коровы общие? Сколько, мол, сумеешь, столько и надоишь! Именно в таком положении находятся механизаторы, когда трактор или комбайн закреплен, а основное средство производства — земля — нет. Сколько сумеешь, столько и вспашешь...» Сколько сумеешь, столько и скосишь, добавим от себя. А что в землю втоптал, что на стерне оставил — это нас не касается. Главное — гони норму! Молоти! Жми на всю железку. Чеши по-пожарному! Это самое ведем... наступление. Кто там осторожничает?

— Да кто ж он такой, этот крестьянин из села Леонтьева? Не выдумка ли он? Не псевдоним ли, за которым прячется опытный столичный журналист?

Нет, он не выдумка. Он — лицо реальное. Его зовут Валентином Ивановичем, по фамилии Папков. Живет он в Леонтьеве и работает самым настоящим пахарем.

Я представлял его пожилым, невысоким, шустрым, аккуратным, вежливым... Словом, человеком, умудренным опытом, про которого говорят в деревне — один пишет, два в уме.

Каково же было мое удивление, когда на грязной, глинистой дороге возле ремонтных мастерских я увидел широко шагающего и размахивающего руками от постоянного скольжения двухметрового детину в огромных резиновых сапогах, словно отрезанных от водолазного скафандра.

— Здравствуйте! Вы Папкова разыскиваете? — тиснул он своей наждачной пятерней мою руку.— А я и есть Папков.

Он повел меня к себе домой. Дом кирпичный, коммунальный, на две половины — правую о четырех окнах с дощатой верандой занимал Папков. На чистом крашеном полу веранды — шлепанцы. Переобулись.

Хозяйки дома не было — работает в яслях. В детской комнате гомонили ребятишки-школьники. Мы прошли через небольшое зальце в кабинет Валентина Ивановича. Он усадил меня на тахту, сам сел за конторский двухтумбовый стол и — преобразился. Говорит плавно, глухим баском, движения неторопливые... Высокий прямой нос, удлиненное, иконописного овала лицо, чуть впалые веки, седые волосы... Доцент за работой! Разговаривая, поминутно достает то нужный журнал, то вырезку из газеты, то чертеж из научного бюллетеня, то брошюру...

Пытаюсь вовлечь его в разговор, так сказать, теоретический: почему он не любит так называемые групповые машинные методы? почему считает вредным соревнование на отдельных видах работ — пахоте, севе и прочем? Он отвечает с ходу, обстоятельно:

— Групповой метод работы на земле есть замаскированная форма поденщины. Казалось бы, что стоит земледельцам одним научиться хорошо пахать, другим хорошо сеять, третьим хорошо убирать — и высокий урожай обеспечен. И соревнования ведутся по отдельным видам работ: кто больше вспахал — почет! Кто больше скосил — премия! Нет, мне не радостно, когда объявляются

чемпионы на пахоте или жатве. Иной раз и пахать-то совсем не нужно — лучше для урожая пролущить, но пашут... Гонят гектары, премии зашибают. Вон прошлым летом мы озимые сеяли после культивации да лущения, а соседи из «Красной зари» пахали в пять тракторов. Земли рядом, через сухой ручей. У нас в середине сентября озимые стояли, как сплошной ковер, а у них до октября — черная земля. Потому что поле иссушили пахотой. Вот вам и соревнование по севу. Пора уж понять: в земледелии нельзя организовать поточное производство продукции по заводскому методу — одни пашут, другие сеют, третьи молотят. Ведь при этих операциях, взятых в отдельности, никакой продукции не получается. Только в совокупности своей они дают представление о труде хлебороба. То есть судить надо по урожаю и соревноваться. Недаром в народе говорят — цыплят по осени считают. Мы же этим групповым машинным методом способствуем формированию взглядов на труд механизатора не как на источник материальных благ для него самого и для общества, а как на источник заработка.

— Ну да,— соглашаюсь я.— Это как на бегах: коляску подогнали по рысаку, вожжи выбрали понадежнее — и дуй во все лопатки. Главное — первым прийти. Километр за минуту — вот основной показатель.

— Вот, вот! — подхватил Папков.— Там километры в минуту, а у нас гектары в смену. Сезонные и годовые задания, итоги соцсоревнования, межремонтные выработки машин — все гектары, гектары... Да что это такое, гектар? Это ж не просто единица измерения труда, а прежде всего определенный участок земли, то есть средство производства, которое должно стоять в одном ряду с человеком и машиной как производитель продукции. А при теперешнем групповом методе гектар потерял свое назначение как производитель продукции, превратившись в простую меру площади. Не этим ли можно объяснить такой парадокс — мощность машинного парка за последние десять—пятнадцать лет выросла в несколько раз, производительность механизаторов тоже, количество удобрений, что вносились и вносятся, и сравнивать нельзя, а урожайность гектара в среднем по стране повысилась всего на четыре-пять центнеров.

— Так где же тут собака зарыта?

— А вот где... И труд человека на земле, и производительность должны измеряться только продукцией. И больше ничем. Никаких норм выработки, никакой гон-

ки на пахоте или жнитве. Пора оставить эти детские забавы. Ясно ведь, как божий день: если ты механизатор, ты должен в совершенстве знать технику, уметь управлять ею. Если ты механизатор-хлебороб, ты должен еще и землю знать в совершенстве, все повадки ее, все тайны. Вот и выращивай хороший урожай. Одним словом, механизатор-хлебороб должен быть хозяином не только техники, но и земли. Не в отвлеченном понятии, как любят у нас нажимать,— хозяин всей земли... Не всей. А определенного участка, который должен быть за ним так же закреплен, как трактор.

— Но ведь закрепление земли за звеньями порой отпугивает механизаторов,— пытаюсь возразить.— Я знаю, что на Кубани, например, после черных бурь много звеньев распалось.

— Правильно! При такой безалаберной оплате, которая существует, они не могли не распасться. Ведь что происходит? Возьмем наш совхоз. В прошлом, засушливом году мы сняли зерновых по четырнадцать с половиной центнеров с гектара. Это в среднем. А конкретнее такая картина получается: в нашем отделении, где земля закреплена за звеньями, урожай в два с лишним раза выше, чем в третьем. Мы в своем звене, состоящем из четырех человек, на площади шестьсот гектаров сняли зерновых по двадцать два и две десятых центнера. А в третьем отделении на «ничейной» земле взяли всего по девять центнеров. И что же вы думаете, мы вдвое больше заработали? Шиш! Мы заработали даже меньше, чем те, на общих гектарах. Тем главное — набегать побольше гектаров. Они в проигрыше никогда не будут. Набегают. При существующем порядке оплаты звенья на закрепленных полях «горят» в засуху или в пыльные бури. Потому что им установлен более высокий потолок урожая (как бы не заработали). Нам, звеньевым, в нашем совхозе плановая урожайность установлена в двадцать восемь центнеров, на общей же земле — всего четырнадцать центнеров. Они, повторяю, получают зарплату за гектары. Вот у нас звено Чинилина сняло по сто пятьдесят центнеров кукурузы. Неплохо по такой засухе. Чинилин позаботился, чтобы всю его кукурузу взвесили. А в соседнем отделении «общую» кукурузу никто не взвешивал. Кукуруза там была тощая и вполовину не тянула до чинилинской. Кто ее жал, кто возил — поди определи. Но вот чудо — по отчетным документам та хилая кукуруза оказалась «урожайнее» чинилинской.

Как же так? Что за волшебство? Спрашиваем агронома, а он только плечами пожимает. Я, говорит, не приписывал. Это кто-то другой. Но каково же Чинилину? От лучшей кукурузы заработать меньше? Да мало того, насмешки еще выслушивать: что, мол, выгадал? Вот почему звенья страдают от засухи, а групповикам — ничто. Эти перезимуют. Иные групповики вон на целине, на Кубани и по четыреста рублей зарабатывают. Чего ж не жить?

Я вот о чем мечтаю,— откинулся он на стуле,— подойдет время, когда лучшие механизаторы страны будут соревноваться не в том, сколько скосил гектаров, а сколько снял урожая, несмотря на засуху. Вон Володя Первицкий в прошлом году по пятьдесят с лишним центнеров снял. А ведь засуха и его не миновала. Вот когда начнут считать, кто больше продукции взял с гектара равноценной земли — именно равноценной! — тогда и засуха не страшна будет.

— Дело-то не в простом счете,— говорю.— Надо иметь таких хлеборобов, которые относились бы с любовью к земле. Если бы у нас все были такие, как Первицкий!

— Ах, мы любим ссылаться на если бы да кабы... Придет любовь к земле! Куда она денется? Как цыганка говорит: женись на мне — через год полюбишь. Надо женить хлебороба на земле. Хватит уж, погулял вхолостую добрый молодец. Чем скорее мы отрешимся от скверной мысли, что с веселыми песнями, студенческим да солдатским строем, походя, по земле прогулявшись, «все посеем и вспашем», тем скорее приступим к закреплению всех земельных наделов не за колхозными да совхозными конторами, а за живыми хлеборобами, которые хозяйствовали бы на этой земле по охоте и по корысти, то есть знали бы, на что идут. И чтоб не обижать их, не ставить в невыгодное положение по сравнению с групповиками. Вот тогда и толк выйдет.

Говорит он об этом не впервой и писал об этом не впервой. Да какая газета за последние двенадцать лет не трубила о закреплении земли? А воз и ныне там. Давно пора брать нашу землю на поруки и по любови, и по расчету. Ведь не секрет — во многих районах, особенно в нечерноземной полосе России, некому ни пахать, ни сеять, ни коров доить. Вон один Ржев для своего района в прошлом году готовил триста трактористов для пахоты. Три месяца проучились в заводском цеху и на три не-

дели поехали в поле пахать да сеять. А сколько работниц с фабрик посылают на месяц коров доить! Неужто такими вот наездами можно богатырский урожай вырастить или надой повысить? Неужели не дошло еще, не допекло, что такие печенежские набеги, кроме конфуза, ничего не дадут? А сколько пустует земли в этой нечерноземной полосе России? Сколько лугов, пастбищ позаросло кустарником от бесхозности? В одной Калининской области пустует тридцать семь тысяч гектаров только огородной земли. Ухоженной землицы, рожалой... не хуже черноземов. Даже в лучших хозяйствах этой полосы не хватает работников. А ведь в этих колхозах и заработки приличные (ну, не такие, как на целине или на Кубани), и жилье есть, и клубы, и ясли, и кафе. Знают ли об этом наши государственные заведения? Да, знают. Я был в Госплане РСФСР, говорил с заведующим отделом сельского хозяйства В. Соколовым. «Мы планируем проект призыва на село,— сказал он.— С горячим словом обратиться к рабочим, интеллигенции, чтобы шли в механизаторы. Льготы дадим, ссуду на дом, на корову...»

Да, и призыв, и горячее слово не раз выручали нас. Но надолго ли хватит магического действия этого слова даже в придачу с коровой и ссудой на дом? Не растворится ли этот слабый экономический стимул до первого пота в борозде, как мираж в степи с заходом солнца? И кого сейчас прельстишь ссудой на дом в бездорожной лесной глухомани? Квалифицированного рабочего? Зачем ему ссуда на призрачный дом, когда у него готовая квартира с ванной? А завлекать в деревню разнорабочего из общежития и ждать от него высокой отдачи — это то же, что осенью ждать яблок от яблонь, посаженных весной. В современной деревне нужны не вообще рабочие руки, а умельцы-хлеборобы высокой квалификации и жадной заинтересованности, увлеченности. Такую увлеченность, такую жадность к делу дает самостоятельность. Та самая самостоятельность, творческая самостоятельность, которая рождается в крестьянине благодаря звеньям на закрепленной за ними земле. Конечно, если эту горячую жажду к делу, высокую отдачу не сбивают искусственно заниженной оплатой.

Где бы я ни видел звенья, сколько бы ни встречался с ними, будь они на полном хозрасчете, в полной самостоятельности и хорошо оплачиваемы, они по всем статьям превосходят групповые методы. Говорят, что в них

нагрузка на технику меньше по сравнению с бригадными механизаторами. Но это чепуха. В том же Леонтьевском совхозе на одного механизатора приходится шестьдесят два — шестьдесят пять гектаров пашни, а в звене Папкова — по сто пятьдесят гектаров на человека. Говорят, что звенья нарушают севообороты. Но и тут неправда. То же звено Папкова седьмой год работает в шестипольном севообороте — выращивает зерно и травы. Поля у них лучше обработаны, техника более ухожена и сохранна, урожаи выше вдвое, чем на общей земле. Оплата? Не всегда соответствует вложенным усилиям. Но, даже несмотря на обиду за такую несправедливость, звено Папкова держится. Держится потому, что работа для них не просто источник заработка, но смысл и стиль жизни.

Их четверо. Они сработались, срослись, спаялись. Недаром их зовут колхозом в совхозе. Да, это колхоз... А еще точнее — та знаменитая русская артель, в которой подобрались все по ладу да складу. Собрались, чтобы себя потешить да мир удивить. А на миру не то что работа, и смерть красна. Где артель — там и сход, то есть согласие в мыслях, в работе. Как мы теперь говорим — обсуждение и разумное распределение обязанностей. В артели Папкова каждый занят своим делом, каждый на своем месте. Но если групповик вспашет да уедет пахать другое поле, то этим никуда от своего поля не уйти. Им самим и пахать, и косить, и бруеок носить. Всем и кормиться с поля. Не потому ли никто не заставлял Николая Еремина в прошлом сезоне трижды вносить аммиачную воду и под яровые, и под озимые, и по зяби, то есть под яровые будущего года. Никто не заставляет Петра Деткова вставать до зари, чтобы в нужные сроки внести удобрения. И Аравин Иван не подведет своих напарников — выведет комбайн в поле, как по часам.

О самом Папкове и говорить нечего. Его многогранное мастерство удивительно: он и токарь, и слесарь, и конструктор. Все машины по-своему подогнаны, прилажены и просто переделаны. Существующие заводские разбрасыватели удобрений загружаются либо вручную, либо экскаватором. Это очень неудобно, отнимает много времени. Папков с товарищами сконструировал свой разбрасыватель,— он сам загружается, как ковш. Он удобнее, и производительность его намного выше заводского. У них и сцепы для сеялок и борон на свой лад

сделаны, и аммиачную воду разливает машина собственной конструкции. Да всего не перечислишь...

Звено Папкова не исключение в такой вот тороватости. Антон Дугинцев из Амурской области даже комбайны по-своему переделывал для жатвы сои. Дмитрий Лисовец из Восточно-Казахстанской области удобрения загружал в самолет ковшом своей конструкции. Я уж не говорю о знаменитом Владимире Первицком. Это не случайность, не счастливое исключение, а закономерность повсеместная — русский хлебороб, освобожденный от мелочной опеки, поставленный трудовыми условиями в полную самостоятельность, чудеса творит: у него и работа кипит, и урожаи высокие, и погода ему не страшна. Не пора ли серьезно задуматься над этим и сделать необходимые выводы?

1972 г.

ГДЕ КОМУ ЖИТЬ

В последние годы на газетных страницах, словно весенняя крупа к холоду, все чаще стали появляться статьи и заметки о том, в каких домах надобно жить нашим поселянам — в двухэтажных или пятиэтажных. И где сад-огород должен быть у них. И зачем дворы нужны им? Для скотины! Это для какой такой скотины? Ведь коровы мужикам вовсе ни к чему. И нужна ли им русская печь? И какие села закрыть надо...

Увы, это не смешно, а тревожно оттого, что иногда в кабинетах решается — стоять или не стоять какому-нибудь рязанскому селу Мамасево. «Да зачем его надо ликвидировать?» — попытаетесь выяснить вы. Вам тотчас ответят: «Существование его экономически не оправдано».— «То есть как? Оно уже тысячу лет стоит!» — «Ну и что? Раньше стихия была, а теперь у нас все по науке. Назрело».— «А почему же вы должны это делать, а не сами крестьяне? Жить-то им?» — «Потому как они выгоды не чуют... Сами прикиньте, что лучше? Ну, по клубу на каждое село надо? Надо. Меньше сел — меньше клубов построим. Это ж колоссальная экономия в масштабах всего государства. А ну-ка прикиньте, поработайте с карандашиком»... Эти экономические эффекты, извлеченные путем нехитрых операций из четырех действий арифметики, хорошо памятны нам по той поре,

когда считали, что повсеместно выращивать кукурузу по пятьсот центнеров с гектара куда выгоднее, чем тридцать центнеров клевера... Нуте-ка вспомните!..

Вопрос — кому, как и где жить — не только экономический, но и социально-нравственный. И разговор тут надобно вести не с крестьянами в поучительном тоне, а спорить о таких понятиях, как закон, ответственность, знание жизни, или о таких пустяках, как простая человеческая совестливость.

Суть этих споров можно свести к двум основным пунктам: сколько селений надо оставить (их называют «перспективными»), а сколько уничтожить (их окрестили «неперспективными»), и второе — в каких домах должны жить крестьяне?

А чего же тут спорить? — скажет сторонний наблюдатель. Каждый сельский житель знает, где ему лучше жить; к примеру, кто хочет в Соколове оставаться — пусть остается, кто хочет в соседнее большое село Пителино переехать — пусть переезжает. И насчет дома спорить нечего. Новые дома? Хорошо! Покажите нам, чего вы там напроектировали, товарищи архитекторы? — спросят поселяне. Понравится нам — возьмем, построим по-вашему. А нет — извините. Вы бы лучше лесу подбросили нам, да цементу, да жести, да кирпича, блоков. Не то ведь от нехватки строительных материалов приходится нам лепить халупы да мазанки. А еще создайте строительные конторы, где бы можно было нанимать мастеров. Вот и все...

О чем спорить?

Сколь бы ни казалась нам очевидной вся нелепость этого спора, но он существует. И некоторые особенно рьяные спорщики из газет требуют, чтобы их мнение было закреплено законом.

В чем суть этих идей, нам растолковывается таким образом: «Организация жизненной среды в сельской местности давно требует серьезного вмешательства со стороны государства. Пусть оно исстари сложилось, такое мелкопоместное расселение. Но зачем оставлять нетронутым одно из тяжких наследий прошлого...»

Они даже сердятся на вологодских старушек, которые «не пожелали переехать с насиженных мест в современные квартиры». «Где родилась, там и помру». И, обращаясь к писателям, один спорщик вопрошает: «Неужели старушки такие правы?» «А я считал бы, что долг писателей — прийти на помощь тем председателям колхо-

зов, директорам совхозов, секретарям партийных комитетов, которые хотят, чтобы и старые успели «вкусить от пирога цивилизации...»

Вот какие неразумные эти поселяне! Даже «вкусить от пирога цивилизации» не хотят добровольно, во все-то их тыкать надобно, как щенят слепых.

Давайте поговорим сначала о необходимости переселения из малых деревень в большие. Везде ли нужна эта ликвидация «тяжких наследий прошлого»?

Спору нет — там, где экономика артели окрепла настолько, что позволяет заново отстроить все жилье,— в добрый час! Пусть заказывают проекты поселка, приглашают архитектора, собирают колхозников и решают — на каком месте строить и какие дома... Что душа велит и карман позволяет. Есть превосходные примеры этого разумного переселения в тех же известных на всю Белоруссию Вертилишках или в латвийском поселке рыболовецкой артели Звейниекциемс. Этот поселок являет собою пример продуманной планировки, сочетания индивидуальных коттеджей и многоквартирных домов. Делалось это не спеша, толково, с согласия самих колхозников. Иначе и нельзя. Тут поспешишь — только людей насмешишь. Положительных примеров можно привести множество.

Но прежде зададим вопрос. Откуда появилось такое огромное количество деревень? И почему в средней полосе России, на юге, в Заволжье, Сибири села крупные, а в лесной местности — на Севере, в Прибалтике, Белоруссии — обилие мелких деревень? Случайно ли появились эти мелкие деревни? А может быть, это вовсе не какое-то «тяжкое наследие», а закономерная необходимость? Кто хоть сколько-нибудь знаком с земледелием в лесной полосе и в Прибалтике, тот знает, что там нет ни огромных массивов полей, ни безбрежных лугов, как в степных пространствах. Поля там лоскутные, жмутся меж боров, согр, уремов да суземов, луга и пастбища на погорях да лесных болотах. И все это, отвоеванное в вековой борьбе у леса, может быть в любую пору безвременья снова заполонено лесным половодьем. Вполне естественно, что деревни там мелкие. Ну и что ж? Они приспособились к местному земледелию. Ведь никого не удивляет то обстоятельство, что в Швеции, например, фермы мельче датских, а, в свою очередь, датские мельче американских. В Америке степи, а в Швеции леса... И население соответственно расселилось применительно

к способам земледелия. А у нас? Создали на юге гигантские колхозы — и давай продвигать на север эту же гигантоманию. Но на юге весь гигантский колхоз располагается в гигантской станице (еще встречаются и по два колхоза на одну станицу), а на севере в иной гигантский колхоз объединили сто и более деревень. И раскинулся этот колхоз в лесном царстве на площади эдак в пол-Голландии. И дорог нет... Управляй, председатель, как хочешь.

Возьмем, к примеру, колхоз «Новый путь» Клепиковского района Рязанской области. За последние десять лет его границы менялись несколько раз и достигли теперь внушительных размеров. Село Мамасево отстоит от центральной усадьбы — села Уткина километров на двадцать. Но дороги туда нет. Обыкновенный проселок обрывается у болота. Ездят в объезд километров за шестьдесят. И то только посуху. А так — доезжай до болота, вылезай из машины и топай по шатким длинным, почти в километр, мосткам, называемым лавой. Вот по лаве, держась за поручни, только и можно выбраться из Мамасева. А между тем село неплохое, и место удобное, чудное! Лес рядом, луга хорошие, поля. Озеро огромное. Сколько рыбы! Да проведи туда дорогу, сделай насыпь, мост... и сразу же Мамасево станет лучшим колхозным селом, и дома там будут цениться выше, чем в селе Уткине. И народ туда валом повалит — там и работать и отдыхать хорошо. А если Мамасево перевезти в Уткино, то и поля и луга заглохнут. А главное, придется ликвидировать большую молочную ферму, стоящую на местных лугах и пастбищах. А сколько малых полей, лугов заглохнут вместе с ликвидацией малых деревень? Ну-ка, прикиньте.

Если учесть все это, взвесить — вряд ли переселение в Уткино обойдется дешевле, чем построить дорогу в Мамасево. И кто возьмется утверждать, что через каких-нибудь пятнадцать лет колхоз «Новый путь» останется в теперешних границах, а Мамасево, при наличии дорог, не перерастет Уткино?

Какая же непостижимая смелость нужна, чтобы откуда-то издали определить из великого множества селений огромной страны одни «перспективные», а вторые «неперспективные», подлежащие ликвидации, руководствуясь при этом либо теперешними границами колхозов, либо пресловутой выгодой за счет экономии на строительство дорог и канализации.

Дороги строить, мол, это понятно. Но дорого. Нам бы чего подешевле... Их, мол, и раньше не было, дорог-то. Наследие прошлого! Ну, разумеется, старые дороги были проложены для старого транспорта — гужевого, конного то есть. За пятьдесят лет транспорт стал другой — автомобиль. А дорога все та же — конная. Кто же виноват? Деды? Кстати, они умели довольно быстро ездить. Вспомните-ка: «И какой же русский не любит быстрой езды?..» Где же летала знаменитая гоголевская птица-тройка «ровнем, да гладнем»?..

Пора бы, пора нам серьезно задуматься над этим. «Все нам дорого, не подошло тому время». Подумать только! Горьковская область прокладывает в год всего двести километров дорог. Да еще за это в передовых ходит. А нужно в этой области построить еще минимум десять тысяч километров.

Вот какие мысли приходят на ум, когда слушаешь призывы к экономически преждевременному переезду крестьян. В самом деле, какой скачок в цивилизацию — из отдельного дома, бах! — и в коммунальную квартиру. Веселее!

Устроители этих веселых уплотнений приводят еще довод: «Надо охватить крестьян клубными мероприятиями». Ну, что ж, клуб — дело нужное, стоящее. Давайте строить клубы. Сторонники уплотнения тут же восклицают: «Не построишь же клуб в деревне на десять дворов!» И не надо. Посмотрите, к примеру, какой прекрасный клуб построен в колхозе «Бривайс Вилнис» в Латвии. Он обслуживает рыбацкие хутора примерно в радиусе трех километров. И ничего, не жалуются рыбаки. На мопедах, мотоциклах, мотороллерах, велосипедах съезжаются зрители. А то и так пройтись, пешком. Дорога есть, личный транспорт тоже. Так что за проблема может быть с посещением клуба? Было бы что посещать да желание увидеть нечто интересное, на людей посмотреть да себя показать.

Ведь посещали же раньше церкви... И строили их не в каждой малой деревне, а на целый куст, приход то есть. А в ином селе по две, а то и по три церкви ставили. И представьте себе, построены не по типовому проекту, а по-индивидуальному. Каждая церковь была неповторима и даже с архитектурными излишествами — с колокольнями. А иные одним топором срублены, без единого гвоздика... Какие места выбирали для церквей! Загляденье!.. И поди же ты — сами мужики...

Так что же случилось? Почему церкви были красивы и оригинальны, а деревенские клубы почти все на одно лицо? Неужто наши колхозы беднее старых крестьянских общин? Но ежели бывшие крестьянские «обчества» находили средства нанимать архитекторов для строительства церквей, так почему же теперь этого не могут позволить себе колхозы при строительстве клуба? Или архитекторов у нас меньше стало, чем в старой России? Отнюдь нет.

Давайте помечтаем. Вообразим себе такую картину: почти в каждом районном центре вместо чахлых контор Сельстроя, на складах которых ни цемента, ни шифера — одни гвозди, созданы мощные, технически оснащенные управления, с несколькими прорабствами, с квалифицированными кадрами строителей, с растворными узлами, складами, транспортом... дорогами. Словом, конторы управления работ, иными словами, взаправдашние строительные управления. И чтобы было в таком управлении вариантов двадцать типовых проектов домов — выбирай на вкус. А клуб захотели строить — можете по типовому проекту, а можете заказать индивидуальный проект. Вот вам адреса архитектурных контор. В каком стиле вы хотите?.. И где хотите жить? В отдельном доме или в коммунальной квартире? И ставить эти вопросы не лукавя, не преследуя мнимые государственные выгоды. Не то ведь у нас и так спрашивают: «Где хочешь жить? В центральной усадьбе в коммунальной квартире или в деревне Пупки в своей ветхой избе?» — «Дак мне бы новый дом построить»,— ответит колхозник. «В Пупках нельзя».— «Ну, так шиферу дайте — крышу покрыть».— «Шиферу у нас нет — лимит».— «А как насчет свету?» — «Переезжай в коммунальную, там тебе будет все. А в Пупки не потянем — не выгодно». Но я уже говорил об иллюзорности выгоды от ликвидации Пупков...

Разумеется, есть такие Пупки, из которых сами крестьяне разъезжаются. Ну, так и проблема в таком случае отпадает.

Итак, мы подошли ко второму пункту спора: какой дом надо строить крестьянину — многоквартирный или одноквартирный? Оговоримся сразу: речь идет не о выборе между двухэтажным и одноэтажным домом, а именно — о многоквартирном и одноквартирном. (Двухэтажные и одноэтажные дома, с двумя противополож-

ными входами всегда были приемлемы в деревне.) Значит, вопрос еще более упрощается: нужен ли в деревне многоквартирный дом? Спорить нечего. Подходить в каждом случае надо конкретно — если нашлось двенадцать семей, желающих поселиться в одном доме, хорошо. Стройте на здоровье двенадцатиквартирный дом. Но если они хотят жить в индивидуальных домах, а им не строят... и старые дома разваливаются... и купить негде... и кто-то где-то старается доказать: вот, мол, смотрите, сами идут в многоквартирные... То мы на это скажем: нужда заставит сопатого любить.

В моем родном Пителине построили два шестнадцатиквартирных дома — с канализацией, водопроводом. Построили их для руководителей района. Прошло два года... И что же? Все руководители переселились в индивидуальные дома, а коммунальные заселили, «чтобы вкусить от пирога цивилизации»... шоферы. Кстати, канализация там часто портится, и живут они, прямо как сказал Пушкин: «Сажен за ста с чердака за нуждой бегу известной...»

Ну а что же индивидуальный дом? Каким он должен быть? В одной из газет был помещен снимок — в качестве наглядной агитации: ряд приземистых каменных коробок с двумя голыми окнами по фасаду как-то уныло и тупо смотрят на улицу. Их и домами не хочется называть — фундаменты заподлицо с землей, окна низкие — коленкой достанешь, а на крышу с разбегу запрыгнуть можно. Право же, у нас в Пителине кладовые выше были и приглянее из себя. Правда, потом некоторые кладовые в дома превратились... Но теперь нужда прошла, и дома стали строить опять хорошие. Я представляю, каким бы хохотом разразился Сергей Иванович Косолапов, глядя на этот «столичный образец». Дом он себе поставил по собственному, индивидуальному проекту — на высоком фундаменте, стены из красного леса, о восьми окнах, с верандой, напоминающей выставочный павильон. А у Алексея Манторова дом еще больше, краше — одни наличники хоть в Эрмитаж выставляй напоказ... Самый жалкий вид на улице имеет типовой финский домик на три комнаты, построенный для секретаря райкома. Кстати, такой же точно домик жалко выглядит и на улице села Высокого рязанского колхоза «Россия». Я рекомендую пропагандистам этих трехкомнатных коробок поглядеть, с каким вкусом русские крестьяне строят дома на четыре и пять комнат хотя бы в лесном

селе Уречное или в Криуше, воспетом Есениным. Я уж не говорю о знаменитых Клепиках или Елатьме.

Я бы мог без конца приводить примеры прекрасного русского домостроения в деревне.

Разумеется, я ни в коем случае не хочу утверждать, что в России все села похожи на Высокое да Уречное... Наоборот, эти села — исключение. И тот же финский домик или кирпичный дом на три комнаты в каком-нибудь Вослебове Скопинского района может стать украшением сельской улицы. Я просто хочу подчеркнуть, что села в России далеко не одинаковы. И глупо было бы предлагать проект деревянного дома где-нибудь в Курской области. Я говорю о лесной стороне, о Мещере, об Архангельской области... Откуда пошел по Руси дивный ювелир по дереву. Так почему бы нам не пропагандировать это свое, отечественное достояние и богатство? Почему бы не делать современный проект с учетом национальных особенностей архитектуры? Почему мы так неуважительно суем под нос русским мастерам эти безликие скороспелые коробки? Да еще приказываем: строй только так и не иначе! Ну чем мы хотим их удивить?

И наконец, о русской печи. Русская печь родилась не в халупе и не в мазанке. Это поистине гениальное изобретение было сотворено в просторной бревенчатой избе. Исстари повелось на Руси — кого брала сила, рубил себе пятистенок, а то и крестовик. Печь — она для избы; а там еще горница с грубкой, с голландкой да с теплой лежанкой... И не было раньше лучшей помощницы для расторопной вездесущей хозяйки, чем добрая русская печь. Хорошо протопленная с раннего утра, она до поздней ночи хранила в чреве своем все на потребу и людям и скотине — и хлёбово и месиво. И не надо было стряпать ни в обед, ни вечером: открыла заслон, ухват в руки, чугун на каток — и вот тебе чудо на шестке — горячие дымящиеся щи. Поели да снова за дело... Глупо, конечно, топить русскую печь, чтобы сварить кастрюльку супа или клюквенный кисель. Зато уж хлебы на поду да с хрустящей листвяной корочкой, пирог или пшенник, драчены!.. А блины? «У них на масленице жирной водились русские блины...» А русские блины можно испечь только на вольном огне. Чтобы дрова пылали жарко, чтобы пламя охватывало сковороду сверху... Тогда будет блин...

Часто после пожарищ оставались только русские печи, и вокруг них начиналась теплиться новая жизнь...

«Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять...» русская печь становилась лучшим лекарством. И от радикулита, и от всяких колик, да прострелов, да ломоты, да ревматизма... Недаром среди русского народа редкостью были профессиональные болезни хлебороба — ревматизм и радикулит.

Нужно ли лишать всех крестьян русской печи? Ведь природа не стала добрее к хлеборобам.

Разумеется, не везде нужна русская печь. Там, где появился газ, где есть центральное отопление, не каждому захочется иметь дело с дровами и печью. Цивилизация не стоит на месте. Настанет такое время, когда электричество будет не только освещать, но и отапливать крестьянские дома. А пока там, где есть нужда в тепле, не проще ли предложить несколько вариантов печей? Как-нибудь уж сами люди разберутся, что хуже, а что лучше. Почему бы для лесной местности не спроектировать несколько типов деревянных домов — и современных, и на старинный лад, кто хочет с камином, а кто — с изразцовой лежанкой. Вспомните Пушкина: «Приятно думать на лежанке...»

Вот и давайте думать о том, где и как строить.

1968 г.

СТАРЫЕ ЗЕМЛИ

Поехал я в Осташковский район Калининской области по письму пенсионера Чайкина в лесное село Роги.

«В 20—30 километрах северо-восточнее города Осташково, на стыке Калининской и Новгородской областей, группа соседних, в прошлом красивых деревень: Роги, Сухая Нива, Борки, Савелово, Кузино, Романиха, Лукьяново, Щучье, Заозерье, Веретье, Мошенка, Красуха и др.— теперь выглядят полуразвалившимися и продолжают разрушаться. Прежние крестьянские производственные объекты — дворы, гумна, сенники, амбары — почти все уничтожены, а новые — совхозные — не строятся...

В деревнях непролазная грязь, покосы — луга — заросли кустарником, лядины захламлены сучьями после рубки дров. Теперь стало почти негде косить сено и по полям трудно пройти...» — писал Чайкин.

В райкоме мне сказали, что села эти почти все неперспективные, вроде бы заштатные, отстраивать их за-

ново неразумно, да и не позволят. Почему же? Да потому, что задача наша — переселять деревенских жителей на центральные колхозные и совхозные усадьбы. Там и клуб, и школа... Кажется, все ясно и разумно — люди должны жить поближе к благам цивилизации, так сказать. Какие могут быть споры?

Ну вот, скажет читатель, опять тот же вопрос: где жить? В мелких селах или в крупных? Нет, речь пойдет не о простом желании или нежелании переехать с насиженных мест поближе к цивилизации, а о том, что делать с землепользованием огромного пространства, известного под названием нечерноземной полосы. Тем мыслителям, которые считают, что все беды идут от мелких деревень, мы вот что скажем: поезжайте хотя бы в колхоз «Россия» Порховского района Псковской области — там хорошо отстроены и центральная усадьба и отделения: и школа есть, и клуб, и ясли... А колхозников не хватает. По пятьдесят—шестьдесят человек ежегодно уходят на пенсию, пополнения же нет. Молодежь не держится в селе. То есть одним переселением на центральную усадьбу к школе да клубу сельскую жизнь не устроишь. Здесь надо искать иной путь, более соответствующий пожеланиям самих сельских жителей и характеру землепользования.

Прежде чем сделать выводы, давайте посмотрим, что собой представляют и земля, и хозяйство, раскинутые по этим отдаленным деревням да селам в негромкой русской стороне.

Возьмем, к примеру, совхоз «Заозерный» того же Осташковского района. Центральная усадьба его расположена в селе Свапуще, на берегу озера Селигер. В совхозе тридцать две деревни, из них есть и такие, как Жирма, Липуха, Колода, где всего-то осталось по нескольку домов. Директор знает, что эти деревни надо переносить в Свапущу. Но где взять деньги? Совхозу на строительные нужды отпускают всего сорок тысяч рублей в год. На них и скотного двора путного не построишь. Где уж там квартиры строить! Вот и стоят эти Колоды да Липухи в лесной бездорожной глуши. Вокруг них и поля-то позаросли.

— А с Илюшином не знаем, что и делать,— говорил мне директор совхоза Борис Константинович Рябочкин.— Село объявили неперспективным, а там у нас ферма на восемьдесят голов да сто двадцать телят. Земли гектаров четыреста. А приволье какое! Закрой

село — и пропадут поля. А вот в рвеницкой бригаде построили коровник на двести голов. Там, значит, перспективная деревня. Да пока строили (шесть лет прошло), люди разъехались оттуда. Теперь двор есть — рабочих нет. Держим там всего пятьдесят коров. Так что ни сено косить, ни траву щипать некому. Позарастают луга. От наших семи тысяч гектаров угодий и седьмой части не осталось удобных сенокосов.

Да, зарастают и луга, и пастбища, и выгоны... Лес наступает на древнее русское поле, отвоеванное у него в тысячелетней упорной борьбе. Я ехал по зимнику в Волго-Верховье и с грустью глядел на буйные ольховые заросли в пойменных ложбинах лесных речушек, на чернолесье, подступающее к самым задам выщербленных деревенек, на старую дорожную насыпь, заброшенную давным-давно, сквозь которую прорастают березы да осины. Мало что осталось от бывших луговых угодий: всего семьдесят пять коров в Волго-Верховье, и тем кормов не хватает.

— Раньше один женский монастырь имел столько коров-то,— сказал древний житель села Афанасий Федоров, кивая на рваный остов исполинского красного храма, стоящий на открытом холме у самого истока Волги.— Да в селе было голов пятьсот вместе с лошадьми. И всех прокармливали своим сеном.

То, что эти земли среднерусской полосы смогут выкармливать огромное количество скота, знали и крестьяне и ученые. Еще в 1924 году один из наших пионеров-луговодов профессор А. Дмитриев писал, что «эти земли богатейшие, обладающие неисчерпаемым запасом всего, что нужно для самого их пышного роста и развития». А ведь таких земель, на которых можно устроить новые луговые угодья, пастбища, поля, по данным бывшего Государственного лугового института, в то время насчитывалось примерно тридцать пять миллионов десятин. Можно с уверенностью сказать, что эта площадь с той поры не уменьшилась.

В то время знали, да не смогли поднять — сил не хватало. Знали тогда и то, что на этих землях почти не бывает ни засухи, ни вымерзания. По статистике академика Прянишникова, опубликованной в 1929 году, сравнительные данные многолетних урожаев юга России и Нечерноземья, то есть центра и севера, были почти по всем показателям в пользу Нечерноземья. Ну и что? — могут возразить. Земли центральной полосы были лучше за-

правлены, здесь была более высокая плотность скота, больше удобрений вносилось — оттого и урожаи устойчивее. Можно, мол, и теперь поднять эти земли, да дорого обойдется. Дорого, конечно. Земля не только умеет отдавать, но и требует на себя затрат, капиталовложений. Что же вы хотите получить от совхоза, который тратит на тридцать две деревни и на две тысячи гектаров пашни всего сорок тысяч рублей?

Что мы ждем от колхозов и совхозов, которые не сеют самую продуктивную культуру свою — лен? Не сеют, потому что девать некуда. Льнокомбинаты за сто, а то и за сто пятьдесят километров в соседнем Солижарском районе. И дорог нет. Везти на тракторе по лесу накладно. Да и не довезешь... полтораста верст на тракторе шлепать! Ведь это же смешно и грустно. Когда я спросил директора щучинского совхоза «Передовик»: «Сколько у вас грузовиков?» — он ответил:

— А зачем они мне? Мы ездим только на тракторах, да и то на гусеничных.

И в самом деле, держат они всего два грузовика для зимника на весь совхоз.

Я проехал не одну сотню километров по зимним времянкам Осташковского района, видел десятки деревень, от которых остались одни названия — два-три дома с покосившимися заборами, с кособокими сараями да баньками. Их давно пора передать лесничествам да мелиораторам, а то заготовителям грибов да ягод. А колхозников перевезти на центральные усадьбы. Куда сложнее обстоит дело с большими деревнями, тоже неперспективными, но еще крепкими. Их такое же множество, как и мелких деревень, они также отрезаны от внешнего мира лесным бездорожьем. Но в них еще сохранилось много хороших домов, ферм, телятников, а главное — вокруг них поля, луга и пастбища.

При мне в селе Щучьем за бесценок продали дом. Я осмотрел его: три комнаты с кухней в семьдесят квадратных метров, да светелка в три окна, то бишь мезонин, да подклет... Это не подпольная яма, а настоящий нижний этаж в два метра высотой, перегороженный на всякие надобности; да еще вышка за домом, срубленная из красного леса, да поветь на двадцать возов сена, да сарай на пять лошадей, да баня...

Все это добро обесценено только по одной причине — нет дорог. И по этой же причине, по этой главным образом, уходят из тех сел жители, и села сами объявлены

неперспективными. Да если посчитать, что стоит построить новые дома для жителей Щучья, Сухой Нивы, Лукьянова, Рогов (всего более двухсот домов), и сравнить это со стоимостью дороги к ним да прибавить к этому убытки от поломки транспорта и техники по причине бездорожья (ездить-то все равно туда придется — поля-то и луга останутся), так — боже мой! — золотыми плитками вымостить дорогу — и то дешевле обойдется. Да и зачем бросать эти насиженные древние русские места? Или уж так они плохи, что и для жизни негодны?

Тем, кто побывал в этих местах, надолго запомнятся высокие кирпичные дома с мезонинами, балкончиками, банями, подклетями, подворьями... Эти открытые, как напоказ, лесные гривы, синие перевалы, темные омуты укромных озер и могучие красные сосны на песчаных берегах! Народ здесь жил предприимчивый, мастеровой. Здесь и пряли, и ткали, и копья да косы ковали. На всю Россию шли из Осташкова знаменитые косы-литовки, а мягкой, шелковой выделки красная юфть и в Америке на вес золота ценилась. А льны какие выращивали! Здесь умели считать копейку — в лесном окружении сами «кирпич били». Здесь не лепили избушки на курьих ножках. И право же, грешно такие хоромы пускать на слом.

Ну, убери эти Роги? А кто же останется там на ферме? Ведь не летать же туда на вертолете. А если убрать и фермы, укрупнить их? Во-первых, зарастут брошенные пастбища, во-вторых, на центральных усадьбах, как мы уже отметили, резервных пастбищ нет. А выращивать скот в средней полосе по южному образцу — на стойловом содержании — накладно. У нас любят иные говорить: «Ну и что? Подумаешь, семьдесят коров убрали! Это не ферма. Четыреста голов — вот это да! А то комплекс... На шесть тысяч голов! А? Вот это размах!»

Конечно, для кубанских или украинских хлебов эти комплексы в самый раз — пастбищ там нет, а фуража, силоса много. Но ведь пастбищное содержание скота самое дешевое. Голландцы вон у моря отвоевывают землю и пускают ее под пастбища. А мы готовые луга забрасываем. Негоже это.

Всякое дело по месту складывается, по природе да по погоде... На Кубани кукуруза да зерно, а на Тверце — ленок да луга. Там степи, здесь леса... Разница. А то построили комплексы на Кубани — давай их закладывать и в Вологодчине.

Создали на Кубани гигантские колхозы — и двигай эту методу по всей стране. Но на Кубани один колхоз располагается в гигантской станице, а где-нибудь на Вятке в один гигантский колхоз объединили сотню деревень, раскиданных на территории в четверть Голландии. И дорог нет. Руководи, председатель, как хочешь.

Да и с желанием жителей деревень считаться надо. В селе Роги живет Семенов Николай Михайлович, сосед того пенсионера Чайкина. Работает он там, куда пошлют. Жена доярка. Трое детей, школьники. Есть скотина: корова, овцы, свинья. На жизнь ему вполне хватает. Уезжать из Рогов никуда не хочет. Хотя жалуется: дети ходят за десять верст в школу, ходят по лавам, иной раз мокрые по пояс заявляются. Магазина нет. Но жалуется нехотя, как бы между прочим, скороговоркой. Привык Семенов к этой жизни, и она ему по душе. Да-да, нравится, потому что есть приволье и для скотины, и для него самого — охота, рыбалка. Об одном он только говорит с горечью — о земле:

— Какую землю забросили! Ведь раньше в Рогах сто дворов стояло и пятьсот—шестьсот голов крупного скота было. И все прокармливали.

Сколько земли пустует в Калининской области, бывшей в деле! Ухоженной землицы, удобренной, рожалой. И не где-нибудь за морями, за горами, где, мол, телушка стоит полушку, да рубль — перевоз, а под боком, в сердце России. Не та земля дорога, где медведь живет, а та, где курица скребет. Конечно, была нужда, и целину поднимали. Нужно. Но мы порой увлекаемся, бросаемся за той землей, что лежит за семью перевалами, а на ту землю, что поила и кормила нас тысячу лет, рукой махнули. Да неужто ж и в самом деле она никудышная? Неужели она глуха к затратам, неподатлива, неблагодарна, не отдает того, что вложишь в нее? Неправда! Земля эта сумеет еще постоять за себя ничем не хуже прославленных южных черноземов.

При хозяйском обращении с этой землей можно и рекорды ставить. Тот же колхоз имени Кирова Калининского района много лет подряд выдает по тридцать с лишним центнеров зерна с гектара. Подошла к тридцати центнерам средняя урожайность за три последних года и в колхозе «Октябрь» Старицкого района. Да что там отдельные колхозы — Торжокский район выдает за последние годы по двадцать центнеров зерна с гектара на круг. Значит, добрая земля.

Я побывал в колхозе «Мир» Торжокского района. Колхоз этот хоть и не лучший в области, но очень интересный в том смысле, как там решена проблема переселения. Села как села, есть и большие и малые. Всего их в колхозе шестнадцать. На каждый куст примерно из пяти сел намечено построить новый поселок. Первый такой поселок — Мирный уже построен: двухэтажные дома, прекрасный клуб, детские ясли, столовая, баня, школа... Маленький городок.

— Мы построили шестьдесят квартир, еще тридцать шесть строим,— говорил Александр Борисович Мезит, председатель колхоза.— Поселяется в них в основном молодежь, старики остаются в деревнях.

— А что, не даете старикам городских квартир?

— Сами не берут. Там сад-огород, скотина и приволье другое. Народ привык к этому. Сразу его не отучишь от личного хозяйства. Да и зачем? Неплохое это дело — в земле копаться, когда она под боком. И для здоровья полезно, и для души отрада. Природа!

— Но все-таки неперспективные села-то есть?

— Числится у нас всего четыре села. Но мы их пока не трогаем — люди живут. У каждого есть газ, топливом обеспечены, автобусы ходят. Детей возим в недельный садик и по домам развозим. Школьники живут в интернате. Так что особой нужды в переселении нет. Ну, разумеется, для желающих дом на квартиру сможем обменять.

— Сколько же вы тратите на строительство? — спрашиваю Александра Борисовича.

Отвечает скромненько:

— Четыреста тысяч в год.

— И обходитесь?

— Отчего же не обходиться? У нас хозяйство справное — более двух с половиной миллионов дохода.

Это на пятьсот человек трудоспособных. Право же, неплохо! Я начинаю прикидывать в уме, сопоставлять доходы на одного колхозника и сравнивать их с доходами известных мне сильных колхозов юга. Побивает калининский колхоз многих знаменитостей. А заработки здесь меньше, чем на юге.

Да и как могут они зарабатывать одинаково, если средняя полоса до постановления о подъеме Нечерноземья получала удобрений в четыре раза меньше, чем Кубань? На каждый трактор в этой полосе нагрузка втрое больше, чем на целине, а механизация значи-

тельно ниже. Я уже не говорю о малой доле капиталовложений в земли нечерноземной полосы. В том же Ставропольском крае построили приличную дорожную сеть, и урожайность повысилась вдвое. Конечно, урожайность выросла не только от строительства дорог, но и дороги сыграли в этом деле свою роль.

А в Калининской области еще на тракторе за мукой ездят. Как же тут уравнять заработок юга и центра?

И не потому ли даже из колхоза «Мир» текут кадры?.. Уходят колхозники на сторону от такого клуба, школы, яслей, каких и на Кубани не часто встретишь. А на Кубани да на Ставрополье народу в деревнях хоть отбавляй, потому что живут в них не хуже, чем в городе. И нет в той стороне, давно уж нет заброшенных и захудалых Рогов да Щучьих. Оно бы, может, и был бы смысл смириться с потерей навсегда для нас Рогов да Щучьих, кабы не сознание того, что тысячу лет кормили они Русское государство, кабы без них Кубань да Ставрополье, пусть даже взятые вкупе с Сибирью и Казахстаном, смогли бы накормить страну и хлебом, и мясом, и молоком. И пора нам, давно пора (особенно последний год напоминает об этом) засучив рукава браться за строительство деревни средней полосы и северо-запада России, поднимать целину, оказавшуюся в центре отечества нашего.

1972 г.

НА ТВЕРЦЕ

1

Я запомнил высокий и покатый речной берег, изреженные кладбищенские сосны, вольно раскинувшие свои корявые изломистые сучья, новенькие синие да зеленые оградки, замшелые гранитные памятники, железные кресты, заросшие лопухами да глухой крапивой. А над всем этим сирым вечным покоем вознесся в мягкую вечернюю синеву могучий купол старинного храма.

И село называется Спас-на-Низу. Оно теснилось перед исполинским храмом двумя порядками обшитых тесом крашеных домов и спадало от кладбища по травянистому уступчивому склону до самой Тверцы, в которой отражался темный зареченский бор. Увидев эту картину,

невольно подумаешь с радостным изумлением: какое укромное, истинно русское местечко!

Я заехал в это село по пути из Торжка в колхоз «Мир», чтобы поглядеть на памятник старины да поклониться праху дедушки русской химии Александру Воскресенскому, похороненному на здешнем кладбище.

Еще в Торжке заметил я нечто привлекательное в знакомом облике города — древние храмы чисто засветились белыми пилястрами, голубыми фризами да зелеными куполами. А на высокой монастырской горе ожил целый сказочный городок с легкой колоннадой порталов, с высокими колокольнями и шпилями. И поневоле вспомнились восторженные слова странницы Феклуши: «Благолепие, матушка. Красота дивная!» И вот чудо: не замечались теперь ни оголенные речные осыпи, ни овражные промоины, ни разбитые городские тупики. И город будто приосанился, помолодел.

— Неужели так уж разбогатели? — спросил я в горкоме.— Эдакая красота денег стоит.

— Нам повезло,— ответил мне второй секретарь горкома Лебедев Олег Александрович.— Монастырский ансамбль реставрируют по приказу Совета Министров, а церкви восстановил Зеленоградский завод. Они там лабораторию открыли.

От Лебедева же я узнал, что храм в Спасе-на-Низу тоже охраняется государством и ждет своей реставрации. Года три тому назад я видел его раскрытым и захламленным. Увы! Он все тот же. Железные кованые двери хоть и навешены, даже заперты, зато взломана деревянная торцовая дверь, окна выбиты, царские врата повержены, алтарь разобран, чудные ампирные балясины высокого клироса вышиблены, как зубы изо рта... А здание все еще прекрасно и прочно: два просторных высоких зала, светлый, обширный, как небесный свод, расписной плафон, наборные полы, высокие и строгие портики, многоступенчатые гранитные паперти. Много еще добра здесь сохранилось. Пройдет время, оживет и это прекрасное творение. Не знаю, кто возьмет на себя расходы по восстановлению, но зато уж наверняка могу сказать, что послужит еще этот храм ее величеству Красоте Дивной и снова будет очаровывать и местных жителей, и проезжего да проходящего странника. Между прочим, эти памятники строили не цари да бояре, а русские мастера, и строили их не для кого иного, а для народа. И все тот же русский народ живет на этой земле,

и памятники старины для него священны, как свидетели неубывающей творческой мощи и величия духа его.

Так думал я, спускаясь по извилистой тропинке в деревню. На лавочке возле ближнего дома сидели мужики и бабы. Я подошел, поздоровался. Все пожилые, сидят чинно, принаряжены, семечки грызут.

— У вас что, праздник сегодня?

Отвечают весело:

— У нас теперь каждый день праздник.

— Отчего ж не работаете?

— Мы все на пенсии.

— В поле помогать надо.

— На то городские есть...

— Батлионами едут... Выйдут в поле — плюнуть негде.

— А вам не скучно так сидеть?

— Мы уж привыкли.

— А что, дома хлопот нет?

— Какие теперь хлопоты! Осень на дворе, овощи убраны. Одна картошка осталась на огороде.

— А скотина?

— Нет ее, скотины-то. Пятнадцать коров на всю деревню осталось.

— Овечьего копыта не увидишь.

— Дожили...

— Отчего ж перевели скотину?

— Старые стали...

— Поди-ка сунься купить сенца!

— Готовь четыре сотни, а то и все пять заплатишь.

— Она и корова того не стоит.

— Еще поди повозись с ней.

— Значит, невыгодно?

— Насчет выгоды нас не спрашивают. Корма обрезали, и точка.

— Почему?

— Спросите начальство.

— Оно у нас строгое... все выгоны запахало.

— Не токмо что на выгон, на жнивье не пускают наших коров.

— Скотина, говорит, ваша, а земля наша. Привязывай где хочешь свою корову, хоть вон на колокольне.

— Кто так говорит?

— Соколова, наш спасский этот самый... диктатуру гонит.

— Ты поосторожней насчет диктатуры. Могут и передать.

— Ну и что? Она сама дураком меня обзывала. А с дурака какой спрос?

— Кто это Соколова? — спрашиваю.

— По-старому, ветеринар.

— Какой она ветеринар? Тот лечил коров, а она хвосты считает. Навроде пастуха, только за столом.

— Не спорьте. Она это самое... зоо-тэхник.

— Ага, который на всем готовом.

— Не любите вы ее,— говорю.

— Зато она нас любит. Все покосы отняла.

— А Мезит в стороне стоял? Скажи, он в стороне, да?

— Вся притчина в ней. Пусть, говорит, косят только колхозные луга. Десять тонн накосишь — одну тонну себе возьмешь. Бесплатно! Во какая добрая.

— На корову по-бедному три тонны надо сенца. Вот и попробуй, накоси тридцать тонн. Ожеребишься.

— А раньше, в единоличниках, по скольку сена накашивали?

— Тонн по пять брали.

— Дак ведь клевера были.

Народ хоть и пожилой, но еще крепкий. Старое вспоминают охотно, рассказывают вперебой, со смешком.

— Раньше, бывало, праздника ждешь, как манны небесной.

— Наработаешься, намаешься... небось будешь ждать.

— Зато уж как ударит колокол к вечерне — баста! Распрягай, мужики! Где звон застал, там и работу кончай. Грешно.

— Вечерний звон, одним словом. На все луга и поля разносился. Благовест.

— Да-а, вечерний звон... Бывало, колокол как ахнет — не токмо что за рекой, в Торжке слыхать.

— Как ему не быть, звону-то? Триста пудов весил колокол. Один язык — двадцать пять пудов!

— Звон звоном... А церква, бывало, вся горит и сияет.

— Еще бы не сиять! На пасху мыли ее, на духов день мыли, на большой спас мыли. Всем селом с ведрами ходили. Она вон какая, что твоя гора Арарат. А не пойдешь — попы прижмут.

— Ежели попу не угодишь, он на тебе пять раз отыграется.

— Колидор был общий: налево пойдешь — в школу, направо — в церковь.

— Алхирей приезжал.

— Служба очень значительная была...

— Вот здесь, вдоль церковной ограды, по праздникам палатки торговые раскидывали. Народу, народу — пушкой не пробьешь.

— А на паперти нищие, богомолки, странники...

— Там Лазаря тянут; тут, возле палаток, поют: «Как на кладбище Митрофановой...» Любота.

— Служба очень значительная была.

— После службы вся нищета в трактир валит к Ершову, чай пить. Три копейки заварной чайник, копейка бублик, две копейки калач.

— Две чайных держали в деревне, два трактира.

— А то соберутся возле Тверцы в орлянку играть. Смеху что было.

— Смех-то смехом... Но, бывало, как выйдут с иконами да с херугвами — всю улицу за собой заметут, всех утянут на водосвятье. Кто молиться идет, кто поглядеть, кто послушать. Хорошо пели.

— У нас регент был. На спевки ходили.

Я слушал, слушал и спросил:

— Что ж вы хотите сказать? Раньше веселее было, красивее?

Мертвая пауза. После неловкого молчания, когда все глядели себе под ноги, старуха в цветастом платочке, оглаживая сухой и темной рукой юбку на коленях, произнесла извинительно:

— За теперешнее я не скажу. Но в то время нам казалось — красиво.

— Знамо дело — темнота. Истины не знали.

— То есть дурман одолевал.

— Теперь мы покончили и с тем и с другим.

— Ахха. Когда захотим, тогда и празднуем.

— Значит, хорошо живете?

— А как же? Ноне, слава богу, нигде не работаем. Сыты, здоровы.

— Вы говорите, школа стояла рядом с церковью?

— Во-он на том бугре. Ее в позапрошлом году перевезли в Можайцево. Четырехквартирный дом из нее сделали.

— Как же вы без школы?

— Зачем она нам? В нашей деревне и детей-то нет.

Школа теперь в Мирном. Там и молодежь живет. А у нас одни старики остались.

— Уменьшилось село-то?

— Уменьшилось, да не очень. Так, кое-кто разъехался, другие померли. Вот в этом прогале попы жили.

— Попы? Да здесь Колобок чайную держал.

— Вота, Колобка вспомнила. В его дому Карпова живет.

— А я вам говорю: этот дом построил поп Метлин. Молодой был поп, но больной. Помер он в тридцатом году, а дом остался его прислуге, Карповой.

— А здесь Анна Васильевна жила, дочь отца Василия. Зелени было вокруг, зелени! Сырень на палисаднике лежала. К ней все девица приезжала, мещанка из Твери; така беленька, мастенька...

— Болезная.

— Аллею-то помнишь? Вдоль ограды тянулась. Мы все качались в ней.

— Как не помнить! На этих качелях мы с Манькой Балашевой сцепились. Я ей в волосы впилась, она мне весь подол располосовала, до самых грудей.

— Березки и я помню. Бурей сковырнуло их.

— Какой бурей? В войну поспиливали.

— А тот дом чей? — указал я на большой дом с мезонином, стоявший на отлете.

— И этот попов дом. И в нем бывшая прислуга живет. Вон, Марья.

Мне указали на широколицую крепкую женщину в белой кофточке, на ту самую, что рассказывала про драку на качелях.

— Просторный дом вам достался,— сказал я.

— Да мы только первый этаж занимаем. А наверху живут две поповых дочери, бывшие учительницы.

— Бобылки, что ли?

— Нет, одна была замужем. Сын у нее в городе. Капитан в отставке. Герой войны, между прочим.

— А вы что, здешний, что ли? Зачем на кладбище ходили? — спросили меня.

— Поклониться дедушке русской химии, да еле могилу его нашел в лопухах.

— Знамо дело. Кто за ней посмотрит?

— Потомков не осталось у него в здешних местах?

— Не-ет. Сестра у него жила возле Бубенева. Помещица Карамышева. Одна заросль осталась от поместья.

— А школа его стоит. Сто лет школе! Сам поставил. Возле Можайцев. Сходите посмотрите... Да вы кто такой?

— Из газеты,— говорю.

— Фу-ты! А мы думали — вы по науке. Вот и развели вам уразу про старые времена.

— Из газеты — это хорошо! Вы насчет дров похлопочите. Авось вас послушают.

— А что такое?

— Три лошади оставили на всю бригаду. А в бригаде четыре села. Ну?!

— Выписать дров — ставь пол-литру. Привезти — опять пол-литру.

— Да кто тебе за пол-литру привезет? Находишься вдоволь, наплачешься.

— Одна надежда — на попутного тракториста. А тому литру ставь.

— Вон, свахе Катерине намедни на комбайне привезли дров-то.

И все дружно засмеялись.

У этой шутки была вполне реальная подоплека. На другое утро в людном колхозном правлении я слушал, как инженер Барцев и агроном Алексеев допрашивали бригадира трактористов.

— Ты куда трактор гонишь?

— Я ж говорю — комбайн вытаскивать. Егоров завалился в дорожный кювет.

— Когда ж он успел завалиться? Времени всего семь часов.

— Вчера вечером завалился, по-темному... Возле Думанова.

— Как он там оказался? Я ж его под Спас посылал! — кричал агроном.— Пшеничный клин дожать. Ну?!

— Сжал он... Возвращался, значит.

— Дак Думаново вон где! А Спас в какой стороне, а? — взорвался инженер.— Вы чего светом дурите?! Зачем трактор гоните? Там же есть один.

— Одним не вытащишь. Комбайн-то груженый, с зерном.

— Ах мать ваша тетенька! С зерном гнали комбайн... Зачем, говори?!

Тракторист молчал.

— Причина ясная,— сказал агроном.— Подрядились ячмень на огороде жать. У кого?

— А я почем знаю. Егоров гонял комбайн. Его и спрашивай.

Бригадир ушел, и кто-то сказал возмущенно:

— Пораспустились! Комбайны по огородам гоняют.

Ему возразили:

— А чем огороды жать? Серпов нет, жатки не выделяют.

— Так неужели ж с комбайном?

— А что ж ты хочешь, чтоб старухи дергали свой приусадебный ячмень?

— Ни жать серпами, ни молотить цепами теперь не станут. Дураков нет. Вон, купят литровку — и дело в шляпе.

От каждого стола летели свои соображения:

— Старухи тоже люди. Их учитывать надо, помогать.

— Села остались — лошадей нет. Кроме как на тракторе туда иной раз и не проедешь.

— А что делать? Можно бы и на тракторе развозить и корма и топливо.

— Частникам, что ли?

— Народу, а не частникам. Сам ты частник.

А я сидел и думал: откуда, с каких пор повелось у нас не то чтоб преднамеренно обделять деревенских жителей, а так просто отмахиваться от них, как от мух в жаркий день. «А ну их в болото! Чего надо — сами достанут...» И они достают, изворачиваются.

Заработки в колхозе «Мир» приличные. Старухи и те зарабатывают по сотне рублей в месяц на льне. И пенсии начисляются с «рабочего предела», то есть по 45 рублей и выше. И без топлива никто не сидит. Колхоз крепкий... Но тем не менее я не видел (а бывал там не раз), чтобы этот крепкий колхоз по заведенному плану пахал усадьбы своим колхозникам, развозил дрова, снабжал их кормами, ремонтировал избы. Ничего подобного! Промышляйте сами!

К сожалению, этот колхоз не исключение, а закоренелое правило, прописанное в нашей нечерноземной полосе. И не грех сейчас, в самый разгон кампании по освоению и подъему этих земель, поговорить о простых нуждах, житейских потребностях деревенских жителей. Если мы хотим, чтобы в эти села ехали новые работники, да еще высокие специалисты, да молодые! Так давайте спросим себя: «А как они будут жить?» То есть в каких домах жить, куда ездить или ходить на работу,

в какие школы, за сколько верст посылать детей, в каких магазинах и что покупать? Что они приобретут по сравнению с городской жизнью и что потеряют?

И в самом деле, живешь ты, допустим, в городе и даже не в коммунальной квартире, а в своем доме или снимаешь дом. Тебе нужны дрова, уголь. Ты идешь в гортоп, выписываешь, платишь за подвоз — и тебе привезут, вовремя или с опозданием, но привезут. Испортилась ли водозаборная колонка возле твоего дома, позвонишь в жэк или в райисполком — вышлют мастера, починят. Но если ты живешь в деревне, то в районе тебя уж не обслужат, а если и обслужат, то по другому лимиту, нежели городского жителя. Уголь не дадут, в лучшем случае, выпишут торфа, а транспорт? Иди на дорогу, поднимай руку: «Родимый, привези угольку! Хорошо заплачу».

Но ведь этот упорный отказ поселянам в удовлетворении самых неотложных потребностей является нездоровой почвой, на которой вырастают наклонности к воровству и всяческим махинациям. Каждому понятно, что человек без дров сидеть всю зиму не может, и, если ему не дают их организованным путем, он все равно достанет по собственной инициативе. Но любо ли это? Любо ли, когда в иных селах плохо сооруженный водопровод перемерзает на всю зиму; а там, где нет водопровода, старые колодцы давно завалились, и поселяне, как в доисторическую пору, бегают на речки да к родникам за водой?

И вот что удивительно: если рабочий человек живет в городе, его ценят и уважают и никто не замахнется на его садик или огород; но, окажись он в пригородном или загородном селе, отношение к нему резко меняется. Любо ли отбирать у него садик или огород только за то, что на своем мотоцикле он сворачивает на работу не на скотный двор, а на кирпичный завод? Ведь и кирпич и молоко также необходимы всем живущим в округе. Езжай в город, там получишь и квартиру, и садовый участок. А здесь, в деревне, нет тебе ничего, раз в колхозе не работаешь. И нам твой сад не нужен, и тебе не дадим. Пускай его лучше заломают. Что? Скажете, не бывает такое? А вы съездите хотя бы в село Волковское Калужской области, полюбуйтесь, как у протвинских рабочих поотрезали огороды по самое крыльцо. Зачем? А так, для острастки, чтоб не заживались. А то еще разбогатеют, как на какой-нибудь Кубани.

«Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу»,— как говаривал Салтыков-Щедрин, ан ведь она и не думает считаться с нашими помыслами да рассуждениями. Она, эта нескладица, рождена «вольнолюбцами», «которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове словно мухи без пристанища там и сям вольно летают». Не оттого ли в проранах почти каждой русской деревни, на задах, на месте обрезанных усадеб растут дремучие заросли бурьяна да репейника? Пропадай она, эта земля, пропадом, чтоб никому — ни нам, ни вам. А ходити ей впусте. Но мало того, что на месте садов запустело,— дай-кать мы и выгон им завалим. Пусть и там бурьянеет.

Каким недобрым удивлением полыхнули на меня глаза того же зоотехника Соколовой, когда я спросил:

— Зачем же выгоны распахали у колхозников?

— То есть как зачем? Неужто непонятно, что этот частный элемент землепользования мы приобщили к колхозному?

И вы, мол, еще спрашиваете?!

— А почему не позволяете колхозникам пасти коров на жнивье?

— Поля колхозные, а коровы частные. Потому и не позволяем.

И немолодое лицо ее даже заалело от негодования.

Вот так... Правительство поощряет разведение личного скота, а мы считаем это пережитком капитализма, посему нет им ни кормов, ни выгона, ни пастбищ. Пусть они своих коров пасут в своих же огородах.

А еще лучше — верх старания всех этих ретивых распорядителей — оставить сельских жителей без огородов и садов, согнать их до кучи в пятиэтажные городские дома, чтобы сразу избавиться и самим начальникам ото всех хлопот насчет снабжения кормами да топливом, заодно и освободить колхозников от всяких забот по части огородничества, садоводства и прочих приусадебных «страданий», вызванных не чем иным, как «заскорузлым инстинктом собственничества». Свое радетельство они оправдывают еще и соображениями государственной экономии: ну, как же? построить многоквартирный дом оказывается дешевле, чем эквивалентное количество особняков. А то ведь раньше никто и не додумался до такой глубины. Дураки-мужики жили в отдельных избах. А нет, чтобы построить для всей деревни большой

общий барак. Какая экономия на одних бревнах! То-то глупа была эта старая крестьянская община.

Однако любовь к земле прививалась веками. И любовь эта прививалась сызмальства не где-либо, а на своей усадьбе прежде всего, в том же саду и на огороде. Неплохо бы учесть нам эту вековую особенность характера русского человека, легшую краеугольным камнем в основу нашего патриотизма. И как знать, не эта ли малая земелька, что вытоптана материнскими чоботами в междугрядиях, явилась тем высоким трамплином в душе воина, с которого отправлялся он в бесстрашный полет на ратные подвиги?

Я вовсе не хочу призывать к разделу колхозной земли по едокам. Я против лишения колхозников приусадебных участков. И хочу сказать, что тяга русского человека к земле, любовь к ней есть надежный двигатель нравственного равновесия в бурном море житейских соблазнов. Вы поглядите, с каким старанием, с какой любовью городские жители — рабочие и кабинетные ученые — трудятся на своих лоскутных садовых делянках, часто в придорожной пыли, под гудящими проводами высоковольтных передач... Копаются и по выходным дням, и по вечерам до глубоких сумерек, выращивая своими руками живые и трепетные стены зеленой защиты от шумного напора технического прогресса. Так почему же мы, признавая хотя бы в оздоровительном смысле полезность приобщения к индивидуальному клочку земли рабочего от станка, не думаем о той же пользе земледелия для доярки или механизатора? Они что же, из другого теста замешаны? Железные они, что ли?

Да мы и не задумывались над этим. Много лет подряд русская деревня была нашим государственным кладезем, источником нашей силы и работоспособности. Мы брали от нее все, что могла она дать: брали продукты, сырье, капитал, рабочую силу, брали на индустриализацию, на подъем окраин, на оборону, на культуру. Брали по необходимости — где было еще взять? Брали до поры, говорили, что вернем, подымем деревню. И вот, когда русская деревня оказалась в запустении, многие по простоте душевной стали думать: а стоит ли ее восстанавливать в традиционном смысле? Может, лучше махнуть на нее рукой и заняться агрогородами. Дешевле!

Ой ли! Об этом ли в первую голову следует думать? Дом построить — не варежки связать. Да и варежки вя-

зали отнюдь не из одного соображения дешевизны, а чтобы потеплее были, покрасивее, да сидели ладно. А уж для дома и место выбиралось особое, и лес засмоленный, и тесо сухое. Мой отец в двадцать третьем году, строя дом, только за одни наличники заплатил двенадцать пудов пшена. И это не от великих запасов. Кончили стройку — на столе осталось полковриги всего хлеба. А сусеки были подметены веничком. Но родители мои радовались: новый дом стоял высокий и красивый. Мы радуемся, глядя на болгарскую деревню — вся перестроилась, в белых особняках живут. Так, может быть, и Россия заслужила этой чести? Может, и в России особняки поставим? И старые дома сохранить бы не худо.

Раньше мы и думать не могли об особняках. А теперь? Теперь, получив замечательное постановление о подъеме нечерноземной полосы, можем и помечтать. Теперь мы в радостном оживлении прикидываем, на что потратить в первую очередь эти деньги (а деньги не малые — тридцать пять миллиардов рублей): на улучшение земли? На дороги? На жилье? И думаем, спорим, как изменится характер производства, облик села. Словом, думаем обо всем, что предстоит нам сделать завтра. Но мы еще мало думаем и говорим о том, что можно сделать сегодня, сейчас же и прежде всего — изменить свое отношение к нуждам сельских жителей, обеспечивать их и топливом, и товарами, и водой, и энергией по нормативам горожан. И не колоть им глаза за этот многострадальный скот, который в наших справочниках называется личным, а в неофициальных разговорах в колхозных да совхозных конторах его обзывают частным, лишают его прав на корма и пастбища, как будто он по достижении убойного веса уйдет самоходкой за кордон.

Меня могут спросить: о чем же ты хлопочешь? Ведь сам говоришь, что люди в деревне все больше пожилые, днями просиживают на скамеечках, лузгают семечки, что работать на полях не хотят, а выгоны, корма требуют. Резонно ли это? Полагаю, что резонно. А хлопочу как раз для того, чтобы меньше сидели на лавочках и лузгали семечки или часами глядели в телевизоры.

Если мы не отыщем статьи в нашем законе, обязующей трудиться пенсионеров наравне с иными прочими (и это вполне естественно, ибо, оттрудившись свое, они заработали право на отдых), то есть юридически не понуждаем их на общеобязательный труд, но постараться

создать условия, пробуждающие интерес к нужной работе, или хотя бы смести преграды на пути к этому интересу мы можем и обязаны. Да дело не только и не столько в деревенских пенсионерах.

А дело в том, что, по нашим статистическим подсчетам, личные хозяйства дают третью часть всего молока, мяса и более половины всей картошки. А возместить эту статью дохода, на случай ее выпадения из продовольственного оборота, нам нечем. То есть вопрос нравственно-социальный оборачивается государственно-экономической проблемой. Вот в чем суть. Мы не должны, не имеем права сбрасывать со счета личные хозяйства рабочих и крестьян. Не обрезать надо огороды, а предлагать их всем желающим: берите, милые! Пользуйтесь на благо себе и обществу.

2

Обо всем этом говорил я не раз с председателем колхоза Александром Борисовичем Мезитом. Человек он занятой, постоянно отрывается то на телефонный звонок, то на вопросы частых посетителей. Перед ним на столе лежат сводки, ведомости, наряды, квитанции. Очки его перемещаются то на лоб, когда он спрашивает посетителя, то съезжают на переносицу, когда смотрит в сводку и отвечает по телефону:

— Да, да... Пшеницу подсушили, довели до кондиции. Везем, везем!

За окнами по дороге снуют грузовики с зерном, поднимая пыль. В отдалении грохочут зерносушилки механизированного тока, ревут вентиляторы. Кругом идет работа в движении, суете, шуме. И в центре этой круговерти сидел передо мной грузный человек с лицом усталым и в коротких промежутках своей рабочей импульсивной нагрузки старался ухватить суть моих упреков и пожеланий. Упреки эти казались ему пустяковыми, отвечал нехотя или отшучивался:

— Трактора гоняют, комбайны? Так ведь в лоб за это не ударишь. У нас демократия.

— Насчет дров загибают. У нас еще никто не замерзал.

— В магазине селедки нет? Вы еще скажите, что колбасу не продают.

И вдруг, плохо скрывая раздражение, замечает:

— У нас есть села, где нет ни одного трудоспособного. Одни пенсионеры живут. Вот они и дурят светом. Основные работники у нас в Мирном. Поживите здесь, поговорите с ними.

Человеку, проезжавшему по шоссейной дороге из Москвы в Ленинград, очевидно, запомнились на сорок втором километре, за Калинином, в чистом поле неведомо откуда отколовшиеся городские кварталы белых многоквартирных домов из силикатного кирпича. Это и есть центральный поселок колхоза «Мир», известного далеко за пределами своего района.

И поселился я в Мирном. Под колхозную гостиницу отведена целая квартира в двухэтажном доме городского типа: кухня с холодильником, с газовой плитой, столовая с мягкой мебелью, отдельная спальня.

Поселок этот — особая гордость колхоза. Здесь задуманы все удобства, связанные с городской жизнью: водопровод, канализация, отопление. Есть и клуб хороший, и десятилетка, и детский сад, и столовая. Из трехсот жителей поселка сто десять ходят на работу, то есть живет в основном молодежь. Помню, четыре с лишним года тому назад, когда я впервые попал в этот поселок, он выглядел более исправным. Теперь сказывается спешное строительство и отсутствие собственного ремонтного заведения: отмостки вокруг домов частично отошли и просели, обещанные бетонные дорожки и подъездные пути так и не сделаны, отчего во дворах много грязи, которую тянут и в подъезды; двери наружные перекошены, а то и просто разбиты и поломаны, в домах часто не работает канализация, уборные снаружи. И тем не менее, несмотря на эти досадные неполадки, в Мирный охотно едут поселенцы. Женщины большей частью работают доярками на близкой ферме, мужчины — механизаторами да шоферами. Спрашиваю одну молодую чету:

— Где вам лучше жить, в таком вот городском доме или в двухквартирном коттедже?

— Какой там коттедж! Хорошо хоть здесь получили квартиру!

— А все-таки, если бы предложили?

— Ну, в отдельном домике, конечно, лучше жить, если отопление налажено и водопровод есть. Огород был бы, сад... Скотину захотел завести — все под боком. А здесь вон они где, огороды! А скотный двор и того дальше.

Огороды вынесены из поселка, как у горожан-дачни-

ков, только вместо домиков на этих участках стоят сараи для дров или будки для поросят. Дровами запасаются на всякий случай — в колхозном отоплении бывает и такое, что теория с практикой расходятся. Поросят держат на огороде, во-первых, потому, что картошка и свекла тут же на грядках. И во-вторых, бежать далеко не надо — огород под боком. Зато скотный двор для личных коров за версту от поселка: и тем, кто имеет буренок, и утром и вечером предстоит легкая проминка.

Впрочем, бегать туда особенно некому — личного скота, коров да телят, в Мирном очень мало. Причина все та же — кормов не достать. Какие уж там покосы! Огороды и те большинство поселян имеет где-то под Владычней, километров за десять от Мирного. Четыре сотки здесь, под боком, а десять соток, а у кого и все пятнадцать где-то у черта на куличках. Потаскай-ка на себе оттуда картошку, попробуй выкорми свинью или поросенка!

Ранним утром я обошел и объездил эти лоскутные садики да огороды с выщербленными дощатыми заборами, с одинокими фигурами копальщиц да пропольщиц.

Видел я и школу на краю Можайцева, построенную сто лет назад Воскресенским. Школа большая, двухэтажная — стены из красного леса, крыша железная, стоит прямехонько на каменном фундаменте. Перед школой тополя в два обхвата каждый, а там еще фруктовый сад, рассаженный когда-то школьниками. Но здание это брошено: окна выбиты, двери поломаны, полы растащены и яблони в саду заломаны.

— Неужто такое большое здание и сад не нужны колхозу? — спросил я Мезита.

— Здание пригодилось бы, но капитальный ремонт нужен. А кто его проведет? Вон видите, сколько недостроенных домов в Мирном? Даже контору никак не осилим. А деньги есть.

Да, деньги есть. Говорили о доходах, об урожае... Мне нравится широкий деловой размах в этом хозяйстве, нравится его индустриальная мощь — огромные машинные парки, мастерские, гаражи, многосложный механизированный ток, похожий на могучий элеватор. И урожаи ежегодно снимают высокие: зерновых за двадцать центнеров. И доход колхоза давно уж перевалил за два миллиона рублей. Это на четыре тысячи гектаров пашни. Неплохо! Пятилетку выполнили досрочно... И все-таки хозяйство растет за последние годы туго. В чем же дело?

А дело в том, что машинный парк поизносился, тех-

никой снабжают плохо, транспортом и того хуже, землеустройство ведется от случая к случаю и то своими силами. И конечно, конечно, не хватает специалистов.

— В этом году, в засуху, мы сняли всего по семнадцать центнеров. А могли бы взять больше,— говорит Александр Борисович.— Сунулись весной сеять — все трактора поломались. Во-первых, старые, во-вторых, плохо отремонтированы. Так и упустили ранние сроки сева.

Нам нужны не просто колхозники, а высокие специалисты,— воодушевляется Мезит.— Есть и желающие переселиться к нам. Вот, видите, сколько заявлений? — он вынул из стола толстую пачку писем и потряс ею.— Этих специалистов не поселишь в старые избы. Не пойдут на постой. А кто мне построит новые дома? Строительство наше сокращается. Раньше мы строили на триста сорок — четыреста тысяч рублей в год. Теперь же всего на сто шестьдесят. А в семьдесят шестом году нам планируют на семьдесят тысяч. Это ж насмешка! Построили поселок шесть лет назад, а станцию перекачки для канализации до сих пор не строят. Школьники смеются. Живем, говорят, весело, песни поем в очереди возле нужника: сегодня ты, а завтра я.

Мезит достал из стола и подал мне письмо от строителей из ПМК-290: «Если достанете два вентилятора, два щитка, два шибера... то приступим к строительству станции...»

— Ну, что это? Издевательство! Достаньте им два шибера. Не строительная организация, а капризная принцесса. Достань перо от жар-птицы. Эх, вставить бы им это самое перо. Да не можем обязать. Не слушают они нас.

— А кто же обязан для вас строить?

— Никто. Этому ПМК навязал нас покойный Козлов Федор Васильевич, бывший председатель облисполкома. Он умер — ПМК оставил нас при своих интересах. А торжокский Межколхозстрой говорит: у нас, мол, и своих клиентов хоть отбавляй. Так мы и повисли в воздухе.

— А много ли у вас свободных денег?

— Миллион четыреста тысяч.— Мезит вдруг рассмеялся: — Старость подходит. Каково мне передавать в чужие руки такую сумму чистых денежек? И денег нет — плохо, и деньги появятся — тоже плохо. Вон у моего соседа, председателя колхоза «Большевик» Якова Осиповича Хавкина, три миллиона лежат на счету. Двадцать

с лишним лет копил. Бывало, тресту не повезет на завод — дома бабы треплют. По пятерке с центнера брал только на трепке. На всем экономил. Думал, на стройку потратит деньги-то. Яков Осипович, говорю, время на пенсию. Придет на твое место молодец краснощекий и пустит по ветру денежки. Эх, говорит, Александр Борисович, деньги что? Деньги вода. Жалко, говорит, другое — в болото стоячее они превратились. А им бы надо турбины крутить...

Пересказал я эти сетования Мезита в Торжокском горкоме.

— У нас и на город и на район всего две строительные колонны,— ответил мне Олег Александрович Лебедев.— За год они смогут освоить лишь два-три миллиона рублей. То есть обслужить с грехом пополам одного Хавкина. А у нас их сорок, таких клиентов, как Хавкин. Правда, нам начинают строить завод железобетонных изделий на семьдесят тысяч кубометров. К восьмидесятому году обещают сдать. Строят шефы Главкубаньрисстрой. Это в счет постановления о подъеме нечерноземной полосы. Но скажем прямо — для наших нужд это будет каплей в море.

А нужд много, и претензий, и недоразумений. И решать их надо теперь, не откладывая в дальний ящик.

— Посудите сами,— говорит мне Мезит,— картошку принимают у нас по четыре копейки несортовую и по шесть копеек за килограмм первосортную. А нам самим ее себестоимость обходится по шесть копеек и даже по восемь за килограмм. Вот и работай! Ведь наш главный план не зерно, а картошка. Двенадцать тысяч центнеров у нас план — не шутка. Да плюс к тому — перевыполнения. А на зерно всего три тысячи. Зерно дает прибыль, а картошка убыток. Дайте нам побольше план по зерну, а на картошку сократите! Нельзя, говорят. Ну цены повысьте на картошку. И это нельзя! Работайте, и все тут. Мы, конечно, работаем, живем неплохо. Но ведь досада берет — несправедливо с картошкой! Или вот молоко возьмите. У нас жирность плановая 3,6 процента, а в Ленинградской области всего 3,4. Почему? Что у нас, трава слаще, что ли?

Какая у них трава, я видывал. По вечерам, когда гонят стадо на ночлег, пыль поднимается на прилесном пастбище еще за версту от фермы. Четыре года назад построили коровник на четыреста мест, строили поближе к поселку, чтобы дояркам было удобнее ходить на работу.

Коровник построили, а пастбища для коров не успели подготовить: залужить, вырастить мощный дерновый слой для такого огромного стада дело трудное. Оно требует и особой возделки земли, и техники специальной, и нужных семян. Это дело под силу лугомелиоративной станции. В районе же таковой нет.

И вот гоняют этих буренок по жнивью да по пыльному пастбищу. Возвращаются они на ночлег не спокойные да удоволенные, а резвые, ревущие, идут не колонной, а вроссыпь, как солдаты в атаку. Впереди ворота в скотный двор, их надо взять с ходу и — в стойло. Там ожидает их основной корм — килограмма два-три сорного зерна или мучных отходов.

— Видите, какие голодные коровы? Разве их такой дозой накормишь? — жаловались доярки.— Оттого и надои у нас лучше зимой, чем летом.

Но если выбракованных коров сдают на мясо и они идут по нижесредней упитанности, то в конторе делают начет на каждую доярку.

— С меня шестьдесят рублей высчитали,— говорит Валя Стасюлевич.— За что?

— А за то,— с усмешкой поясняет пожилая доярка,— что наши коровы должны быть только средней упитанности и выше.

— Да я их чем напитаю? Водой из болота?

— А ты про это в правлении скажи.

— То мы не говорили.

— Да кто нас слушает?

Доярки, обступившие меня, шумят вперебой:

— С меня сто тридцать рублей высчитали!

— А с меня сто сорок!..

— Телята дохнут, а мы виноватые.

— Вот поглядите, поглядите, что у нас за родильное отделение? Это ж морозилка-душегубка.

Ведут меня в тамбурный отсек — полы в нем цементные, стены каменные, в подворотню дует, как в трубу.

— Здесь не только что телят, коров нельзя держать.

— Телята заболевают, а мы виноватые.

— Построили образцово-показательный коровник, а помыться негде.

— Погодите, погодите... А где ваши душевые?

Я вспомнил, как четыре года тому назад, когда коровник только еще сдавали, председатель водил меня по душевым кабинам, все сверкало в них эмалью и никелем.

— Вон чего вспомнил! — смеются доярки.— В них те-

перь кладовки. Все крантики, лейки, раковины — все сперли.

— Какое там крантики! Даже унитазы из уборных отвинтили и украли.

Жалобы, как лавина с горы,— лишь стоит одному бросить первый камень, как за ним срывается второй, третий, четвертый... И вот уже все обрушивается и нарастает в стремительном потоке.

— Дрова сами достаем. Где хочешь, там и бери.

— У меня печка обвалилась, и позвать некого. Хоть посреди дороги становись и ори.

— Жирность молока всего три с половиной процента, а с меня требуют три целых шесть десятых. Где я их возьму? Самой, что ли, доиться?

— У меня огород за десять километров... Что мне туда — летать?

— «Мурзилку» нельзя выписать, а вот районную газету не хочешь, но бери.

В конторе зоотехник Соколова Надежда Сергеевна тоже нервно, раздражительно спрашивает меня:

— Значит, телята дохнут и виноватых нет? С нас спрашивают и объяснений не слушают. А мы что, по головке гладить? Я, что ли, строила этот коровник? Или я придумала процент жирности молока? Да я бы завтра же приделала родильное помещение, да не умею. Некому приделать и нечем... А телят беречь все равно нужно.

Нужно, конечно... И работать нужно, и жить. Потому и появилось постановление о подъеме нечерноземной полосы. И так уж повелось у нас — дела еще нет, а разговоры на будущее, впрок, так сказать, идут.

— В Торжке планируется построить завод мелиоративного оборудования,— говорит Мезит.— А в районе создадут лугомелиоративную станцию. Это, значит, в счет постановления...

О будущем он говорит хоть и уверенно, но без особого воодушевления. Зато оживляется, когда речь заходит о насущных потребностях.

— Техникой нас не больно жалуют. Вот изменили бы порядок снабжения в счет этого постановления. Получился бы другой оборот. Раньше мы тракторов по пять-шесть в год получали. А теперь два трактора сменим в год, и ладно. Автопогрузчиков днем с огнем не добудешь, а нужны они позарез. С грузовиками туго. Каждый год нам занаряжают грузовики, но отправляют их на цели-

ну на уборочный сезон. И мало того, мы к этим грузовикам обязаны посылать на целину своих шоферов. Они там работают на этих машинах до глубокой осени и возвращаются домой с изуродованными машинами. Правда, в прошлом нам повезло — из шести человек только один разбил машину. Повезти-то повезло, но шесть шоферов целый сезон отработали на целине. А нам самим нужны они вот так,— он чиркнул себя по горлу.

Нет, не завтра, а сегодня начинать надо большую работу по реализации постановления правительства. Необходимо сегодня же создавать новые строительные управления, строить для них производственные базы, развивать дорожную сеть: нужно сегодня закладывать лугомелиоративные станции, забрасывать сюда необходимую технику и специалистов готовить. Завтра же, когда потребуется реализовать отпущенные средства для улучшения земли и жизни на ней, некогда будет искать лопату да топор. Надо, чтоб они под рукой оказались. Времени осталось в обрез, новая пятилетка начинается.

Особенно трудно и кропотливо строить жилье. Дело здесь не только в потребности специалистов высокой квалификации и технической оснащенности строительных объектов, но прежде всего в существовании мощных производственных баз, способных поставить на поточный метод обширную табель конструктивных элементов зданий и санитарно-технического оборудования. Теперешние тресты Межколхозстроя таких производственных баз не имеют, в лучшем случае, на что они способны, так это на изготовку и сборку нехитрых сооружений под гаражи, мастерские и скотные дворы. Строительство жилья, повторяем,— дело куда более кропотливое и сложное, требующее заранее продуманной организации и оснащенности. Опыт у нас есть — в каждом областном центре существуют сильные тресты жилищного строительства с хорошо развитой производственной базой. Не худо бы создать по их образцу такие же мощные организации и для сельского строительства. И не забывать, что при всем размахе освоения нечерноземной полосы без строительства дорог мы просто в грязи завязнем. Значит, в первую голову надо создавать новые мощные производственные базы, оснащенные такой необходимой и, увы, дефицитной техникой дорожного строительства.

И еще об одном следовало бы сказать. То, что мы на-

зываем нечерноземной полосой, издавна являлось стержневой осью России, ее мускулистым сердцем, посылавшим во все дальние пределы жизненные токи. И важно очень, чтобы жизнь здесь не иссякала силой и соком, чтобы земля обстраивалась и прочно и пригоже. И тут все может быть к делу и к месту использовано: и старые приглядные селитьбы, и вольные красные речные берега, и лесные холмы, и нетленные памятники старины нашей.

Грустно думать, что красивое село Савкины Горы, вольно раскинувшееся по холмистому лесному берегу Тверцы, забрасывается колхозниками в пользу какого-нибудь придорожного Думанова, растянувшегося в две вожжи вдоль автомобильной дороги. Терпят и грохот, и пыль, и стеснение от дороги только потому, что из Савкиных Гор ездить не на чем — лошадей нет, автомобили и мотоциклы по грязи не ходят.

А может быть, все-таки дешевле и проще дорогу туда построить, чем перетаскивать Савкины Горы? Ведь рано или поздно, а строить эту дорогу придется — земля-то останется там при всех случаях. Переселение жителей — не уборочная кампания, это сложный и длительный процесс, рассчитанный на многие десятилетия. И прежде чем строить новый поселок, надо хорошенько продумать — для кого строить и где?

Даже центральный поселок Мирный слишком близко прилепился к магистральной трассе Москва — Ленинград. Живя там, в гостинице, я закрывал форточку от дорожного шума. Детям в школе от шума нельзя заниматься при открытых окнах. Не грошовой экономии ради надо выбирать место для жизни. Дорога существует для езды, и нечего к ней лепиться. Посмотрите, как умело выбирают места для новых поселков в Литве, Белоруссии или в Латвии. И место чтоб высокое было, и водоем рядом, и лес поблизости. А как же иначе? Не на год строимся.

1976 г.

ПО ДОРОГЕ В МЕЩЕРУ

Она проходила мимо нашего села и называлась столбовой дорогой, большаком, Касимовским трактом, Крымкой, Владимиркой, Муромской дорогой. По ней возили пшеницу и рожь с юга на Меленки, Муром, Павлово; по

ее широкому, обвалованному от полей прогону гнали скот из Тамбова на Егорьевск, на Москву. Шли по ней странники, нищие, богомолки. По ней уезжали на заработки, в одну сторону — до Москвы, до Питера, в другую — на Оку, на Волгу, на Каспий.

На Муромской дорожке стояли три сосны,
Со мной прощался милый до будущей весны...

По ней гуляли отчаянные головы с топором за поясом да с кистенем в кармане, поджидали в темном месте богатых гостей.

Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы...

Это все про нее поется. Грабили да убивали в распадках да в оврагах, возле узких мостков — особенность повадок русских разбойников, подмеченная еще Тургеневым. Я и сам давным-давно, подростком, проходил частенько мимо таких мосточков в чистом поле,— тут вот ветеринар был застрелен, а там барин убит молотком по голове. И передавалось это из уст в уста так живо и подробно, будто бы случилось все только вчера. «Запутались кони в веревках. Почуяли неладное, забились, заржали. И он, барин-то, видать, почуял конец решающий, застонал, заухал, как леший. Коней они выпростали, не тронули. А барина молотком по голове. Заодно и кучера прикончили. Плакал кучер-то, на коленях елозил, умолял. Что я вам, говорит, сделал? За что вы душу губите? Они ему — чудак человек, душу мы твою не тронем. Она в рай пойдет, потому как сам ты невиновен, а пропадешь за компанию». Многое что делалось на Руси за компанию да на артели.

От Касимова дорога разветвлялась: налево шла на Туму и на Владимир, направо же — в Муром, Павлово, Нижний, Саратов, Самару. На широкие волжские плесы, в бескрайние степи, на вольную волюшку. По ней возвращались по осени бурлаки, в сапогах да в пушистых малахаях шли удоволенные, хмельные. «А мы, ребятишки, гурьбой за ними, ловим за разноцветные шарфы, по домам зазываем: дяденька, остановитесь у нас! Горница просторная, лежанка возле грубки, брага есть»,— рассказывала тетка моя, теперь уж покойная. Ах, дорога, дорога! Сколько по тебе прошло и проехало люду всякого роду-племени в ту страну, откуда уж никто никогда не возвращался?

Шли по ней обритые арестанты в тюремных армяках, гремя кандалами, шли этапом от ночлега до ночлега, то есть от тюрьмы до тюрьмы — Шацк, Сасово, Нестерово, Касимов... Эти тюрьмы еще стоят вдоль дороги — громоздкие побеленные каменные кубы с квадратными черными прорубями окон. Нестеровскую тюрьму после упразднения этапа еще в прошлом веке купил помещик Воейков и перестроил в спиртзавод. С той поры эта бывшая тюрьма и площадь вокруг нее стали бойким местом, соблазном для окрестных мужиков: возили сюда картошку и свеклу, рожь и даже просо, увозили потихоньку от баб, продавали по дешевке и тут же пропивали выручку. А лет через тридцать, через сорок сюда же шоферы-леваки привозили колхозную картошку и тоже пропивали. Помню, как в шестьдесят первом году в Юрьеве на заседании правления колхоза отчитывали одного орла; он стоял у дверного косяка, свесив голову, держал в руках шапку, пощипывал мерлушку и скатывал шарики...

— Ты с какой целью отвез колхозную картошку на спиртзавод? С целью воровства?

— Нет... Отвез просто так, без цели.

По этой дороге привозили к нам на базар из глухой лесной стороны всякую всячину: кадки и самопряхи, донца, воробы, ступы, пехтели, лапти, онучи, мед, пеньку, веревки, дуги расписные, колеса окованные, телеги на железном ходу, шостинские телеги! А то касимовские сани, подсанки, саночки с расписным задником, с гнутыми копылами, с подрезами. Садись и лети хоть в Москву, хоть катай до самой Сибири — на любом ухабе не опрокинутся.

Помню, в тридцать пятом году на подворье нашем тумская артель тесала сани. Не только что подворье — весь сад был заставлен штабелями гнутого дубового полоза. «Батюшки мои! — удивлялась мать.— Экая сила! Тут на пять лет тесать, не перетесать».— «Эх, кума! — весело отзывался старшой, дед Иван.— Быка не успеем съесть, как все сани разлетятся».

По четыре, по пять саней в день слаживали. А было всей артели два мужика и два подростка: Ванька да Спиряк. Спали ребята вместе с нами на печи, мужики — на полатях. Длинными осенними вечерами Ванька любил сказки рассказывать все про охотника да про волшебника:

— Настрелял он гусей да уток столько, что всю светелку забил пуховиками. И говорит своей жене Марье

Красной Ягоде: «Спи хоть на кровати, хоть прямо на полу — везде мягко будет». Ушел он за тридевять земель в тридевятое царство — перо Жар-птицы искать, а к ней подмулился волшебник-чародей...

— Баба, она что лошадь. За ней глаз нужен. Дай ей волю — поперек борозды пойдет. Всю тебе картину распишет,— отзывался с полатей дед Иван.

Дед, потому что бороду носил, поддевку да лапти. А так — мужик мужиком, не более пятидесяти лет. Тихон был помоложе, брился, носил пиджак, сапоги, на фабричного смахивал, но лицом темен, хмур. Слова из него клещами не вытянешь.

Однажды мать вышла на заднее крыльцо позвать мастеров на обед и удивилась:

— Гляди-ко! Да вы до обеда четверо саней вытесали. Эдак вы и до зимы управитесь.

Наутро Тихон не встал с полатей, лежал кряхтел, охал и матерился:

— Поясница отнялась... Сглазила меня баба, туды ее растуды...

— Да что ты, христос с тобой! Чтоб сглазить, черный глаз нужен, тяжелый. А у меня не токмо что глаз, рука легкая. Случается курице голову отсечь — час трепыхается. А ты — глаз дурной. Что ты, христос с тобой?!

— Нет, сглазила. Умывай меня!

Пришлось умывать... «А чтоб тебя скосоротило!» Так мало того, ведите ему бабку, пусть банки ставит, пятки керосином смазывает да отчитывает.

Приходила бабка Катя Кирюшина... И банки ставили, и пятки керосином смазывали, и в спальную уложили его, на хозяйскую кровать, на перину. И доктора вызывали. Пришел Семен Терентьевич, осмотрел. Радикулит, говорит. Не надо в одной рубахе на ветру работать. А тот все свое — сглаз, туды ее растуды! Так и уехал в свою Туму, не простив этого «сглаза».

Тумак, он тумак и есть. Сказано — глухая сторона. Лешаки да разбойники.

Давно меня влекло в ту сторону, где когда-то разбойники водились. «Проедешь от Тумы до Окатова — доедешь до Саратова»,— говаривали в старину про те места.

«Тума железная, а люди в ней каменные» — это Куприным записано. Бывал он там, жил в барском доме в Ветчанах, описывал окрестные столетние боры, местное население, которое «говорит не понятным для нас певу-

чим цокающим и гокающим языком и смотрит на нас исподлобья, пристально, угрюмо и бесцеремонно».

Однажды в начале шестидесятых годов случилось мне ехать на электричке из Москвы в Рязань. В вагонном тамбуре я наткнулся на груду мешков, возле которых стояли трое мужиков и бойко отбивали нападение кондуктора:

— Да ничего твому вагону не сделается.

— Ничаво, ничаво...— передразнивал их молодой щеголеватый кондуктор.— Одного мусору после вас останется ворох.

— Веник дашь, сами и заметем. Делов-то, тьфу!

— А ты не плюйся.

— Это я к примеру.

Пассажиры были в стеганках, ватных брюках и в валенках. Лица давно не мытые, усталые, но довольные, радостные.

— Чего везете? — спросил я.

— Пашано,— ответил тот, что был постарше.

— Куда?

— Домой, в Тумский район.

— Неужто в Москву за пшеном ездили?

— Да мы попутно. Из лесу едем, домой на побывку. В отходе мы. Нас тут целая артель.

Мы разговорились. Работали они на лесозаготовках где-то в Костромской области. Чем дальше я разговаривал с ними, тем все более и более удивлялся. Колхоз у них большой, одних мужиков более трехсот человек. С осени большинство колхозников отправлялись в отхожий промысел до июня. Работали, кто где устроится: и на стройках, и в лесу, и где бог даст. Приезжали домой на праздники да на уборочный сезон.

— А почему не занимаетесь этим промыслом у себя дома? — спросил я.— И лес есть, и мастера.

— Дома-то запрещают.

Была та самая пора, когда считалось — все беды в сельском хозяйстве происходят от нерадивости крестьян. То бишь эти колхозники да совхозники все больше на сторону глядят, промыслом занимаются, да своими огородами, да личным скотом. А вот как сведем у них этих коров да поросят, да огороды отберем, да промыслы всякие отберем, так волей-неволей будут смотреть крестьяне только в землю, кормиться от земли — то есть лучше будут ее обрабатывать, стало быть, больше давать государству продуктов. Все казалось вполне логичным. Но

элементарная логика для земли — вещь лукавая. Сельское хозяйство не семинария, здесь универсальную логическую фигуру не подберешь. Словом, промысел отбирали у колхозов для того, чтобы поднять культуру земледелия, но на самом деле урожаи понизились, настала бескормица, скот отощал, колхозники уходили на сторону. Потом попытаются поправить дело распашкой лугов да клеверов да кукурузу двинут на это самое травополье. Но это потом...

А в ту пору я впервые добрался до Тумы. Село как село: однообразно длинная улица вдоль шоссе, эдак километра на три с гаком, дома деревянные, большей частью старые; магазины размещены то в старых лавках, то в длинных кирпичных пакгаузах — бывших торговых складах; и клуб похож на такой же длинный красный пакгауз. Церковь огромная, с белыми пилястрами, с высокой трехступенчатой колокольней, с хорошо сохранившейся наружной росписью. Изредка попадаются забавные дома с чешуйчатой кровлей, с резными коньками, с крыльями, с фигурными окнами. Посреди села огромный, в несколько звеньев двухэтажный дом под зеленой крышей с резными наличниками — старая гостиница. Новых кирпичных домов мало — раз, два и обчелся. Некоторые из них двухэтажные из силикатного кирпича: райком да жилые дома для служащих. Что еще? Рынок посреди села, напротив железнодорожной станции; сопение да гугуканье тепловозов на путях, да высоченная труба кирпичного завода, как божий перст, грозит небу.

Остановился ночевать у первого секретаря райкома Василия Ивановича Мелешкина. Он был женат на Дусе Демидовой, моей однокласснице по потапьевской десятилетке. Потому и пригласил.

Жили они в бывшем поповом доме на каменном фундаменте из красного лесу. Хороший дом, особенно изнутри: потолки чистые, желтые — ни щелочки, как слитые, крашеные, шириной в полметра половицы, двери высокие двустворчатые — филенки резные с наплывами, массивные бронзовые ручки, печи кафельные белоснежные с надраенными бронзовыми отдушниками на цепочках, светлые обширные окна. Красота!

На столе грибки соленые да отварные, варенья разных сортов: черничное, брусничное, малиновое, моченые яблоки, помидоры свежие и розовое свиное сало толщиной в ладонь.

И воспоминания, воспоминания до глубокой ночи.

— Помнишь, как химик наш, Ашдваэс, грохнулся на льду с велосипеда?

— А помнишь, как Питерсон (тоже прозвище учителя) уснул на плащанице в церкви? Вася, милый, вот была потеха. Поехал он к попу в гости на праздник. Зятем ему доводился. Напился, ушел в церковь и завалился спать на плащанице. Тот забыл про него, вечерню пришел служить, а этот как захрапит. Перепугал насмерть прихожан. «Христос воскрес!» — кричат. И то́маром из церкви. В дверях передавились. Потом фельетон был в районной газете.

— И что же в итоге?

— А ничего. Посмеялись да и позабыли.

— А куда делся Ванька Козел?

— Этого в райпотребсоюз перевели.

— Что за Козел?

— Да директор наш, бывший. Он Леонардо да Винчи звал Леонардом Давыдычем. Выдвиженец.

Взрывы веселья сменялись печальным помином и снова смехом.

— А где теперь Малёк? Не слыхал?

— Он же погиб.

— Да, да... погиб... И Пиня погиб, и Сэр, и Натурщик...

— Прозвища у вас были какие-то нелепые.

— На то они и прозвища. И у него тоже было прозвище — граф Можаев. Ха-ха-ха! Маленький такой был, худенький, но важный.

Дуся Демидова работала директором средней школы. Рассказывая о своей работе, вдруг погрустнела:

— Счастливые вы. То в Москве живете, то в Рязани. А нас загнали в сырую Туму, и торчи здесь.

Под конец размечталась:

— Вася, говорю, устрой так, чтобы в Елатьму нас перевели. Там Ока, пароходы, сады на высокой горе... Совсем другой свет.

А я ей говорю:

— Мы только из Елатьмы. Тоня Анохина... Шурку Анохина помнишь? Тюльку?

— Ну как же? Тоже наш одноклассник и секретарь,— это мужу.

Тот мотнул головой, знаю, мол.

— Тоня Анохина также вот мечтает удрать из Елатьмы в Рязань.

— Они избалованные. Им повезло.— Дуся помолчала.— Он в обком попал. А нас куда только не кидали...

В Елатьму Мелешкины так и не переселились, осели навсегда в Кадоме. Да и район в Елатьме закрыли. Делать там нечего.

Как-то лет через пять встретил я их в поезде на Москву.

— Не мечтаете больше о Елатьме? — спросил я Дусю.

Только рукой махнула:

— Отмечтали. Наша мечта в коротком платье бегает...

С годами трезвее мы стали. А тогда верилось, что все-то откроется нам, все-то сбудется, как мечталось. Время было такое.

На другой день в райкоме у нас с Мелешкиным был иной разговор:

— Запрещают заниматься промыслом? — спросил я.

— Запрещают,— ответил он и, помолчав, добавил: — А мы поддерживаем промысел, помогаем налаживать его.

— Почему?

— Нельзя без него. Земля требует затрат, капиталовложений. А где их взять? Вот промысел и дает эти средства.

— А что у вас за промысел?

— Раньше были льнозаводы, ткацкие фабрики, ватные, дерматиновые, деревообделочные цехи, щепу драли, финскую стружку. Но все это отобрали у колхозов. Оставили одни рогожные кули. Вот те колхозы, которые ткут рогожные кули, еще держатся. Остальные на брюхе лежат.

Мелешкин вынул из стола несколько листов машинописного текста:

— Это я выписал из энциклопедии 1902 года. Смотрите, в Касимовском уезде раньше промыслом занималось почти двадцать семь тысяч мужчин (это помимо города), да не менее трех тысяч женщин обрабатывало козий пух, который шел потом на Нижегородскую ярмарку, оттуда в Оренбург, где из него вязали знаменитые оренбургские пуховые платки. Промысел был всему делу голова. Поденщиков и батраков насчитывалось всего 477 человек. А плотников было более пяти тысяч. Теперь же остались одни рогожные кули.

Мы поехали по разбитой проселочной дороге, сплошь покрытой разливанными лужами; дорога извивалась, как

Змей Горыныч, ныряла из деревни в деревню, словно пыталась оплести и удушить грязью все живое.

— Раньше здесь хорошо льны росли,— сказал Василий Иванович, глядя на жидкие озими.

— Отчего ж теперь не растут? Земля испортилась?

— Земля все та же... Раньше свои льнозаводы были, сдавали льноволокно. А теперь вези тресту аж в Туму или в Касимовский район. Невыгодно тресту сдавать, вот и льны не сеют,— говорил Мелешкин.— В Алексееве колхоз держал ткацкую артель. Зимой колхозники тик ткали. Хорошее подспорье было. Так отобрали, артель фабрикой теперь называют. Но какая это фабрика? У них добрая половина на ручных станках ткет. Смех! Зато уж колхоз захирел. У Самсона Белокурова в Оськине фабрика дерматиновая была, и колхоз крепкий был. Отобрали фабрику...

— Кто ж на этих фабриках работает?

— Да те же колхозники. Раньше председатель колхоза распоряжался всем один, и правление было одно — и для фабрики и для колхоза. Жатва подошла, к примеру, фабрику на замок — и все в поле. А теперь на фабрике директор. У него свой план. Он колхозу не подчиняется. А убирают поля все те же люди, но теперь они ходят в колхоз как бы на помощь.

Благая мысль — перерабатывать на месте свое сырье и отвозить далекому потребителю готовую продукцию — стала узаконенной позднее известным постановлением правительства о создании агропромышленных комплексов. А в те времена эта мысль решительно пресекалась.

Грустно и тогда было слушать сетования растерянных хозяйственников. Да и теперь невесело подумать — сколько крепких хозяйств осажено было на карачки не только в Мещере, но и по всей нечерноземной полосе, издавна сочетавшей сельское хозяйство с промыслом. Это еще наше счастье, что многие изворачивались...

При въезде в село Уткино, на отшибе, посреди заросшего клевером пустыря, уклонисто переходящего в просторные озимые поля, стоял новый бревенчатый дом; в широких окнах, охваченных желтыми, еще не потемневшими наличниками, и в высоком, в свежих затесах крыльце, и в светлой тесовой изгороди — во всем чувствовалось какое-то приветливое, веселое радушие: входите, люди добрые! Есть у нас и на чем присесть и чего съесть-выпить. Это правление колхоза «Новый путь».

В большом кабинете, чистом, светлом, оклеенном дорогими вагонными обоями, мы познакомились с председателем колхоза Кирюшовым Афанасием Гавриловичем, человеком пожилым, но подвижным. В его быстрых жестах, в его цепком взгляде чувствовалась добрая хозяйственная хватка. И разговор он вел бойко, пересыпая речь цифрами:

— Что дает нам кулечное дело? За прошлый сезон мы получили сто тридцать тысяч чистой прибыли в новых деньгах. Куда идут эти деньги? Поедемте, я покажу вам.

За оврагом, на пологом въезде, в строгом порядке тянулись вдоль села коровники, телятник, свинарники... дворы, дворы. Каменные фундаменты, бревенчатые стены, рифленые серые, как речные плесы, крыши... Где конец им? Мы ехали вдоль животноводческого городка несколько минут.

— Вот вам и кули,— посмеивался Кирюшов.— Чистое золото! А кредиты на промысел не дают.

— Почему же не дают кредиты?

— Говорят — неплановое производство. Не положено[1]. Просто смех! И агента своего по закупке мочала держим в Башкирии. И платим за мочало выше закупочных, кооперативных цен. И вагоны не дают нам для перевозки сырья. Так мы по праздникам перевозим, когда дорога разгружается. А в заявках на вагоны вместо мочала пишем — зерно. Мочало нельзя, ни-ни... не планово.

В тот день добраться до соседнего села Бусаева нам не удалось. Мы хотели посмотреть ткацкую фабрику, то есть бывшую ткацкую артель, которую отсоединили от колхоза в 1960 году, отчего хозяйство захирело. Сели мы в чистом поле на высоком бугре, сели посреди дороги на все четыре колеса, на дифер. Копались до глубокой ночи.

Ездить на автомобиле по лесным мещерским дорогам, да еще в слякотную осеннюю пору, в то время умел разве что один Василий Маркович Клёнушкин, старый тумский шофер, чудо-богатырь. Говорили про него, что он один за передок подымает «газик», что он с лопатой ходил на медведя, что он мог опрокинуть воз сена, что ставил на колеса телегу, груженную трестой, и всякие прочие чудеса рассказывали про него. Осенью шестьдесят второго года, когда по лесным дорогам ходили только трактора, Клёнушкин на своем «газике» возил меня и в Ветчаны, и в

[1] Известным постановлением партии и правительства это положение исправлено.

Култуки, и в Княжи, и в Уречное, и в Мамасево — в самые глухие медвежьи углы Мещеры. Ездили не столько по дороге, сколько чистым полем или по мелколесью. Глянешь, как он чешет напролом, подминая частый молодой сосничок, спросишь с опаской:

— А не засядем в лесу-то?

Только блеснет исподлобья круглыми медвежьими глазками:

— Это уж отойди проць, как говорят у нас в Малахове.

Еще у него была любимая поговорка:

— Чтобы наш рязанский лапоть да воду пропускал! Ни в жисть.

В багажнике возил он с собой полный набор шанцевого инструмента, которого хватило бы оснастить целый саперный взвод. Под Княжами мы топли. Срубили из бревен целый ряж, вывесили жердью «газик» и поехали дальше...

Признаться, меня давно разбирало любопытство, мне хотелось самому проверить, убедиться: так ли однообразно темны были жители окрестных сел и деревень, описанных Куприным полвека назад? Дело не в грамотности, а в том своеобразном укладе жизни, одежде, говоре, повадках, наконец, которые отличают жителей одного села от другого. Эдакое своеобразие складывалось веками и было живой достоверностью каждой общины, отличало ее от иных-прочих, как неповторимые черты характера отличают одного человека от другого. Уж если дожили до скучного единообразия, тут пиши пропало.

Нет, не дожили, не дошли до этой плоскости. Окрестные села своеобразны. Даже села в одном колхозе довольно резко разнятся.

Про жителей села Уречного тут говорят: «Эти четвертинку на пятерых выпьют и на другой день еще оставят». В Уречном живут потомки прославленных плотников и столяров. Трезвенный народ. В Колесникове же выпить не дураки. Мы, говорят, люди веселые, музыку любим. Ежели кто донес на своих — котел на голову тому надевают на сенокосе и палками бьют по котлу. Пусть запоминает нашу музыку. Озорники, выдумщики...

А в каких-нибудь семи верстах, среди такого же леса угрязло унылыми серыми избами, похожими на колодезные срубы, село Княжи. «Эти — колодезники. Народ смурной. Их, говорят, князь в карты проиграл». И дразнят их в округе: «Иван, завязывай!» Ремесло у них было

нелегкое и опасное. Порой копали колодец, копали, а воды все нет. И страшно становилось — а ну-ка стенки колодца завалятся и накроет, прихлобучит землей? Вот и удирали порой колодезники раньше времени, удирали потихоньку из чужой деревни, так и не докопавшись до воды. «Иван, завязывай!» Это значит — пора удирать. Завязывать надо походный мешок.

Всего в трех верстах отстоит от Малахова село Дмитриево, но какая разница не только в облике сел, но даже в конструкции изб! У дмитриевцев дома большей частью пятистенные, обшитые тесом, крашенные масляной краской, с резными карнизами, затейливыми наличниками. И даже дом с мезонином есть. И на сельской улице чисто — трава-мурава и палисадники. А в Малахове избы какие-то серые, с подклетом, стиснутые по бокам, с малюсенькими оконцами под самым карнизом. Многие окна волоковые, не растворяются — только отодвигается в сторону одна половинка, точно печная вьюшка. И старики говорят нараспев: «Цао баешь ти», «Живем в избекесь». И грязь посреди села.

— Объезжай-ка, милок, село-то полем. Тут у нас уж пятая машина тонет.

И мы объезжали Малахово полем. А в Малахове не только правление большого колхоза, но даже средняя школа стоит.

В общем-то вид здешних сел определял все тот же промысел. Норинцы, уреченцы, дмитриевцы — народ мастеровой, работали они всю бытность в отходе плотниками и каменщиками на стройках. А малаховские и култуковские ходили в далекие леспромхозы, профессий у них нет — работали подсобниками и разнорабочими.

— Куда им тянуться за нашими! — наперебой расхваливали «своих» председатель колхоза из Колесникова Воропаев и парторг Федин.— У нас есть такие столяры, что гостиницу «Москва» отделывали, павильоны на выставке в Москве! Климшов Федор Захарович из Норина.

— А зять его?

— А Яков Петрович Артамонов!

— А Емельян Иванович из Уречного?

— А Иван Иванович Пушкин! Его изделия в музей попали.

— А дед его, Кузьма Иванович Букин? В Париже первую премию получил, за самопрялку. Говорят, она в Эрмитаже хранится.

— Дак то ж до революции было. Это не в счет. До революции тумаки по всей России хоромы строили.

— Да что по России! — подхватывал Федин. — В Китае строили, на Филиппинах, в Австралии! Везде знают наших тумаков.

Им доставляло удовольствие хвалиться своими колхозниками. Оба они были относительно молоды — в пиджаках, при галстуках и в шляпах. На председателе велюровая шляпа, а парторг к пестрому в клетку пиджаку надел серую зимнюю шляпу немецкого фасона с приплюснутой тульей и с простроченными полями.

Федин — восторженная душа — все-то он читал, помнит, знает. О чем ни спросишь его, ответит.

— Откуда родом Баташиха, последняя владетельница Гуся Железного?

— Немка из родового поместья «Гуд».

— У кого здесь гостил Куприн?

— У зятя, управляющего поместьем. Фамилия его Нат.

— А кто построил тот самый барский дом, где останавливался Куприн?

— Пленные французы. А руководил сам фельдмаршал Петр Михайлович Волконский, дальний родственник Льва Толстого.

— Да, это все верно, — кивал головой Воропаев и вдруг изрек: — А молодежь у нас хорошая. Шестерых в прошлом году в институт отправили. Прямо с фермы. Да вот и фотокарточка.

Воропаев вынул из кармана фотокарточку: четверо девчат и два парня, на переднем плане — сам председатель, он что-то говорит, подняв кулак.

— Кулак не на месте оказался, — извинительно улыбнулся Воропаев.

— Между прочим, обратите внимание на этого белобрысого паренька, — указал Федин на крайнего парня на фотографии. — Хлопцев Володя. Он сирота у нас. Мы ему стипендию платим от колхоза. Тридцать три рубля в месяц.

— А сколько на трудодень платите колхозникам?

Федин засмеялся, ответил Воропаев:

— Дак ежели все со всем посчитать — пожалуй, по три рубля выйдет.

Было это в шестьдесят втором году, тогда любили так вот подсчитывать с карандашиком в руках. Воропаев и в самом деле взял карандаш, бумагу:

— Значит, так: картошку копают — десятая часть идет им. Сено даем, то есть луга нарезаем. Кому по гектару за теленка, кому так... Хорошим работникам.

— Зерна по скольку дали?

— Зерна не дали на трудодни.

— А денег?

— Денег? — Воропаев поглядел на потолок.— Деньги, значит, заработать можно... В отхожий промысел ходят. Отпускаем.

— Отпускаем только тех, кто хорошо поработал в колхозе,— пояснил Федин.— А если он трудодней не выработал, так уж не отпустим его и в отход.

— Да, да, вы не подумайте насчет шабашников. Этого у нас нет,— быстро подхватил Воропаев.— Наши работают в постоянных местах: в луневском совхозе под Москвой, на биофабрике в Щелковском районе. Нам и директора знакомы, пишут письма, лес у нас берут, взамен посылают шифер, гвозди... Оборот налажен.

— А вдруг кто-нибудь из колхозников останется там и не вернется? — спросил я.

— У нас порядок,— ответил Федин, смущенно улыбаясь.— В июне все возвращаются домой. Ведь лето подходит, на полях работать надо. А кто опоздает — осенью не пустим.

Они сильно беспокоились, что я смогу их уличить в потакании «деляческим замашкам» собственных колхозников, и поскорее перевели речь на другую тему. Чего греха таить, подобные опасения в то время были весьма основательны. Наш брат журналист любил с ходу врезать незадачливым председателям, «распускающим» свои кадры. А то, что эти кадры только и сводили концы с концами за счет этих сезонных увольнений из колхоза, это мало кого трогало. Мол, перебьются, им ничто.

— Условия у нас неплохие,— уводил меня в сторону Федин.— Возьмите хоть культурно-просветительную работу. Не хуже, чем на производстве, поставлена. Посмотрите наш парткабинет. На общественных началах держим. Одних журналов выписываем до десяти названий.

Парткабинет и в самом деле был приличный — много журналов и газет, всякие диаграммы на стенах, на них все выписано добросовестно: какой валовой сбор зерна намечен на 1980 год, и какая урожайность, и какая будет культура построена.

— А страданье играют еще на селе? — спросил я.

— А как же! — обрадовался Федин. — По вечерам село обслуживают радиофицированные точки, а после — самодеятельность. То есть девчата с ребятами по селу ходят, сормовского играют.

Я пожалел, что проявил интерес к этой культуре. Меня поселили в избе напротив столбового громкоговорителя — и шумел он железным голосом до двенадцати часов ночи. А потом перед избой сходилась эта самая самодеятельность — голосистые девчата под гармонь с припевками отплясывали до утра сормовского да цыганочку.

Видал я и отходников, говорил с ними, убедился — совсем не легкая, не прибыльная у них работа, и жизнь не сладкая, как заверяли нас частенько газетные фельетонисты.

В том же Дмитриеве ничем особенным не выделялся из общего порядка пятистенок Баринова Николая Нестеровича. Просторная, светлая горница, застланные пестрыми половичками полы. Широкие скамьи вдоль стен. Плакаты на стенах. Хозяин удивительно моложав, стройный, подтянутый, весь какой-то коричневый, словно продубленный загаром, без единой морщинки, без седины. И диву даешься, что ему перевалило уже за пятьдесят. В отход он ходит уже лет тридцать пять.

— И дед мой ходил, и отец, и я хожу, и сын. Все мы отходники. Отец, бывало, с осени брал две смены белья, две пары лаптей да кочедык, чтоб лапти в дороге подковыривать, и уходил.

— А вы когда уходите?

— И я с осени. Сын, слава богу, устроился на работу завхозом. Ныне дома останется.

Бригада их работала на Щелковской биофабрике уже шесть лет. Строили многоквартирные дома. Каждый год зачисляли их на семь месяцев «в рабочие». Работали по обычным расценкам.

— Только перерабатываем, чтобы домой деньжат привезти, — пояснял Баринов. — Жилье там, конечно, неприспособленное. То в брошенном клубе живем, то в доме, который строим. Третий этаж строим, а в первом живем. Времянку ставим — трубу в форточку, и газуй!

— Так и живете семь месяцев?

— Иногда и поболе, до двадцатого июня. Бывало, придешь домой — детишки малые не признают тебя. Дичатся! А теперь мы в январе на месяц приходим — сено с лугов возим.

— Да где ж вы больше работаете, на стройке или в колхозе?

— На стройке боле.

Я смотрел на густо исписанные страницы его трудовой книжки и все более удивлялся — что ни год, то новая запись, а в конце одна и та же фраза: «Уволен по отзыву колхоза».

У Емельяна Ивановича из села Уречного такая же трудовая книжка. Подошло время ему идти на пенсию, а стажа не хватало, хотя работал он на стройках с 1917 года. Правда, Минаеву удалось получить пенсию, но лишь по инвалидности. Говорил он о себе как-то нехотя:

— У нас иные плотники расчетные книжки на курево расходуют. Все равно, говорят, стажа не выполнишь. Вот и уходят к дяде Ване.

— А кто такой дядя Ваня?

— К дяде Ване итить — значит по чужим колхозам шляться. По договорам работать.

— А, это шабашники? — догадался я.— Есть у вас в Уречном такие?

— Человека четыре есть.— Емельян Иванович насупленно помолчал, долго скручивал цигарку.— Специальность наша чурочной стала. Теперь плотника хорошего не вырастишь. Работаем и на кладке, и землю копаем — что заставят. Бо знает что делаем. Нешто на таких работах вырастет из молодого хороший плотник? Раньше мы, бывало, от Москвы до самого Сергиева Посада все дома рубили. Вот тогда и плотниками становились. Можно было научить ремеслу. А ноне, видать, никому это не нужно.

Марка плотника из Уречного ценится высоко, и мастера здесь сохранились еще дивные.

Какое это чудесное село! Стоит оно на пологом берегу лесной речки Нармы; с одного конца подкрались к самым избам тихие камышовые плавни, а с другого подошли высокие красноногие сосны как посланцы царя Берендея. Подошли и сгрудились перед самой околицей: то ли оттого, что село уже заняли приземистые раскоряченные ветлы — попробуй столкни их, то ли просто залюбовались диковинной резьбой наличников и карнизов уреченских изб. Какая это резьба! На фоне красных, желтых, оранжевых, голубых стен, обшитых тесом, эти наличники кипенно клубятся, как взбитая пена, сорванная с дальних речных перекатов и застывшая тут навсегда.

— Таких и кружев-то не бывает! — удивляетесь вы.
— Какие там кружева! — обидится иной здешний мастеровой.— Мы режем с понятием да с подвеской, со слеги. А баба крючком вяжет. В кружеве нет такой чистоты. Одна видимость только.

Режут они в самом деле со слеги, то есть подвешивают к свободному концу закрепленной жерди пилку, натягивают ее, второй конец веревки привязывают к подножке. И работают таким образом гибко закрепленной пилой, «выкруживают», как выражаются уреченцы.

И как они зорко, как ревниво следят за украшением изб. Тут своеобразное соперничество. Попробуй спроси у любого из них:
— Чья резьба красивее?
Ответят уклончиво:
— Ведь кому что нравится...
Наличники режут подолгу, месяцами.
— А чего делать-то?
Стоит одному петуха на крышу поставить, как все один перед одним и петухов навырезывают, и коней. Но только не одинаковых, а каждый сделает на свой фасон. Какое броское разнообразие наличников! Ни разу ни один рисунок не повторяется в них.

— Вы посмотрите наличники у Тумака — загляденье! — посоветовали мне еще в Колесникове.
— Тумак — это прозвище. Его мать в Туме родила — повезла тресту сдавать да и родила в дороге.

Видел я его великолепный пятистенный дом на высоком фундаменте, под железной крышей. Стены, кажется, не срублены, а набраны из шлифованных сосновых бревен: каждое бревно словно расписано затейливой коричневой вязью волокон. А наличники! Белоснежные, огромные, они развернулись и покрыли всю стену вплоть до карниза затейливой резьбой. И в этом бесчисленном множестве вырезок — ни одного излома, ни одного угла. Удивительная плавность, какая-то согласная вихревая пляска линий.
— Пожалуй, у Тумака самые красивые наличники в Уречном,— не удержался я от похвалы в разговоре с Емельяном Ивановичем.

— Резьба мелкая,— сухо согласился он.— Да ведь он и вырезал-то их полгода.
— А стены? Бревна?!
— Обыкновенно... окантованы бревна, взяты в коль-

цо,— старый мастер отдавал должное ремеслу собрата, но от восторгов воздерживался.

Я думал о том, что мебель и всю так называемую столярку изготовляют где-то на окраинах больших городов, делают ее стандартно, безвкусно, а то и попросту скверно. Мастеров нет! А эти мастера десятки лет ходили-бродили по совхозам да фабрикам в поисках работы или месяцами резали одни и те же наличники, резали «от нечего делать». Отчего же мы так безразличны к своему национальному достоянию — к ремеслу? Почему разумно не распределяем промысел по лику всей земли? Отчего не учитываем традиции, опыт многих поколений и не создаем промысловые предприятия там, где есть из чего делать и, главное, есть кому? Зачем мы тянем все до мелочей, вплоть до промартелей, в города и в районные центры? Есть в Тумском районе село Лихунино, село, где издавна жили портные, известные за сотни верст в округе. Но нет в Лихунине швейной артели. А в Туме никогда не водились портные, зато швейную артель открыли. И стоит ли удивляться, что в окрестных магазинах висят костюмы, которые покупатели бракуют.

Возвращались мы в Туму ночью. Ехали на райкомовском «газике» вместе с Василием Ивановичем Мелешкиным. Он соглашался, что столярные цехи здесь нужно создавать. Можно изготовлять и мебель, и оконные и дверные блоки, и финскую стружку. Заказами завалят. Шиферу нет. На одной финской стружке разбогатеть можно. И все колхозы окрепнут... Но на что строить мастерские? На что покупать станки? Денег даже на мочало нет. Станки не дают и не купишь ни за какие деньги.

— Неужели и кулечное производство прикроете?

— Да ну! Как-нибудь обойдемся.

Мы подъезжали к лесу. Дорога ныряла в огромную лужу, как в озеро. Василий Маркович свернул на обочину, в мелколесье, и пошел напролом.

— А не засядем в лесу-то? — спросил я с опаской шофера.

— Ну, уж это отойди проць! — весело отозвался он.

Из многих поездок мне запомнилась еще одна, лет через десять после описанной. Мы поехали в этот лесной угол вместе с секретарем Клепиковского райкома Барановым да представителем Рязанского управления

совхозов Куропаткиным. Дорога дальняя, от Спас-Клепиков до Малахова более семидесяти километров. Разговорились. Что Куприн живал там, слыхали. Переглядываются: мол, зубы не заговаривай. Не за Куприным едешь. И как-то с ходу, без раскачки, берут меня за бока:

— Растолкуйте нам такую премудрость: почему одним мелиорацию по-человечески производят, а других угощают по известной сказке? Помните, как лиса журавля потчевала? — спрашивал меня Николай Андреевич Баранов.— Размазала угощение по сковородке — глаз видит, а клюв неймет.

— Не пойму, куда клоните?

— Чего ж тут непонятного? — отозвался и Куропаткин.— Ездили мы из Рязани в Литву на примерную мелиорацию смотреть. И вот что углядели: им средства выделяют поровну — то есть пятьдесят процентов на мелиорацию, пятьдесят на сельскохозяйственное освоение. Не то еще на освоение больше, чем на мелиорацию. Там дороги построить, жилые дома, скотные дворы и прочее. Все чередом идет: и поля осушают, и пласт нарезают, и дороги проводят, и строится все необходимое. У нас же по плану восемьдесят процентов капиталовложений на мелиорацию и только всего двадцать процентов на освоение!

— Это по плану! — перебил его Баранов.— А на самом деле что? Вон по Макеевскому мысу мелиорацию провели, а на освоение ни копейки не дали. Туда ни проедешь, ни пройдешь. Хоть на вертолете летай. Кстати, посадочных площадок для самолетов у нас тоже нет и не строят. Так что вести подкормку посевов с самолета не можем. Мелиорацию проведут, а толку мало. Только деньги ухлопают. Вот и получается лисицыно угощение — посмотри и облизнись.

— Я одного не понимаю,— сказал Куропаткин.— Почему земля средней полосы у нас на таком положении? [1] И удобрений нам меньше дают. И техники вдвое, а то и втрое меньше, чем на целину идет. О капиталовложениях и говорить нечего. А ведь по урожайности лучшие колхозы Рязанской области мало в чем уступают тем же ставропольцам, по тридцать, а то и больше центнеров берут на круг. А по плотности скота порой и кубанцев переплюнут. Но поди же ты, не в чести мы. Тем и ме-

[1] Все это имело место до принятия постановления по Нечерноземью. Теперь положение меняется коренным образом.

лиорацию, и орошение — все по правилам, нам же получай что есть, а что почем — и не спрашивай. Вот и выкручивайся.

Как выкручиваются в этих дальних бригадах да отделениях, я нагляделся всласть.

Дорога от Тумы на этот раз шла, не сворачивая в окрестные села, и была она покрыта камнем.

— Неужто успели до Малахова дотянуть? — спросил я Баранова.

Он засмеялся:

— Мы ее строим всего каких-нибудь десять лет. Наша норма — полтора километра за год. Вот и сейчас, когда мы до Малахова доберемся...

Каменное полотно кончилось посреди леса, а через двести — триста метров засел в грязи наш «газик». Шофер был молодой, неопытный, к тому ж из Рязани. Где ему до знаменитого Клёнушкина? Мы вылезли из машины и пошли в Малахово пешком.

— Здесь недалеко,— утешал меня Баранов.— Всего километров пять.

По пути мы заглянули к леспромхозовцам. Тут же договорились с ними, отправили трелевочный трактор вытаскивать наш «газик».

— Что-то у вас много тракторов,— сказал Баранов, глядя подозрительно на мастера.— Вы отрядили трактора на посевную согласно разнарядке?

— А как же, отрядили...— Мастер округло разводил руками, надувал щеки, а взгляд ускользающий, куда-то вниз, на сапоги.

— Где директор?

— Только что здесь был... Вот-вот проезжал.

— Свободной машины нет? Подбросить до Малахова.

— Да вот, говорю, только что вездеход был. Ушел с директором. Надо бы покликать.

— Ладно, дойдем и так. А нет — «газик» нас догонит,— сказал Куропаткин.— Поди, трактор не завязнет.

— Ну! — важно сказал мастер.— Машина трелевочная. Все в аккурат сделает.

В Малахово пришли пешком. Там вместо колхоза был теперь совхоз, и контора построена новая, и столовая — и тут же непролазная грязь посреди села. Директор совхоза Николай Дмитриевич Паршин встретил нас с каким-то болезненным выражением лица, словно у него мигрень была.

— Бригадиры все как с ума посходили — перепились в честь поминащей субботы. Одна Малахова трезвая.

— При чем тут поминащая суббота, когда тракторов нет,— ответил один из сидевших у длинного стола, хмуро глядя в угол.— Говорят же вам — из строя вышли. А чего нам делать?

— Сколько тракторов на ходу? — спросил Баранов Паршина.

— Ну, в ветчанском отделении всего четыре...

— А где леспромхозовские?

— Не пришли.

— Как не пришли? Мне доложили, что выделили вам три трактора.

— Вам доложили, а нам не прислали.

— А ну-ка, соедините меня с директором леспромхоза,— приказал Баранов и сел за стол к телефону.

— Да где его теперь поймаешь? — отозвалась от стола Малахова, управляющая ветчанским отделением.

— Никуда он не денется,— сказал Баранов.— Давайте звоните. Я им покажу, как обманывать. И сводку мне!

Тут подъехал «газик», вытащенный трелевочным трактором. Я воспользовался случаем, чтобы не быть в обузу Баранову, и ретировался. Дела у него спешные, разговоры откровенные, так сказать, не деликатного свойства, и нечего мне торчать свидетелем.

Мы с Фединым поехали в соседнее село Норино к Ивану Ивановичу Пушкину, потомку знаменитых ювелиров по дереву.

Помню, как-то зимой мы все с тем же Николаем Фединым шастали по норинским избам, как попы, в поисках Пушкина. Куда ни заглянем — все тот же ответ: был, но ушел.

— Что ж он дома-то не сидит? — спросил я Федина.

— Холостой. Скучно одному, вот и ходит-бродит по селу. Жениться не хочет. Ныне бабы, говорит, суете служат. Зачем, спрашивает, они теперь замуж выходят? А чтобы соки твои пить да бездельничать. Нет, говорит, меня они не проведут, не заманят.

Мы нашли его валяющимся на печи. Хозяин с хозяйкой сидели за столом, вели негромкий разговор. Топилась грубка; красноватые отсветы пламени плясали на дощатой перегородке; красный абажур гасил электрический свет, ото всего веяло покоем и уютом. Хорошо было в доме. Мы вошли, у порога обмели валенки. Запахло

свежестью и полынью. Узнав, что пришли мы по его делу, Иван Иванович потянулся за валенками.

— Куда вы на ночь-то глядя? — стали уговаривать нас хозяева.— Садитесь к столу да беседуйте. У него теперь в доме только волков морозить.

— А у меня «буржуйка» в мастерской,— сказал Пушкин.— Мы ее в момент расшуруем.

Иван Иванович надел валенки и живо спрыгнул с печки. Он был высок, строен, с лицом крупным, белым и оттого казавшимся утомленным или даже нездоровым.

В тот далекий зимний вечер мы славно поговорили за водочкой да за горячей картошкой. Мы пекли ее на раскаленной «буржуйке», поджаривая бока до черной коросты. Пушкин показывал нам с Фединым дедовский наградной лист — диплом I степени — за ту знаменитую самопрялку. И оказалось, что премию он получил не в Париже, а на Всероссийской кустарной выставке в 1913 году. Как хорошо звучит — Всероссийская кустарная выставка! И диплом выглядел внушительно — на гербовой бумаге, написанный каллиграфическим почерком с затейливыми росписями и большой гербовой печатью. А рядом с этим наградным листом висела фотография дипломной работы Ивана Пушкина — ваза с цветами: никому и в голову не придет, что эта ваза и цветы вырезаны из дерева.

— Где теперь эта ваза? — спросил я.

— В Москве, в одном музее,— нехотя ответил Иван Иванович.

Вся мастерская завалена была болванками высыхающего дерева — свилистыми осиновыми чурбаками.

— А зачем осина? Для топки, что ли?

Пушкин снял с полочки и подал мне деревянный бокал с выточенным кольцом на ножке; кольцо это свободно передвигалось от донца бокала до тульи, но не спадало. Оно было мастерски выточено вместе с бокалом из одного и того же куска дерева.

— Какое дерево? — спросил Пушкин.

Я вертел бокал в руках, долго разглядывал его матовую полированную поверхность, излучавшую серебристый, перламутровый блеск, и не мог определить — что за дерево? Волокна почти не просматривались.

— А вы поглядите на свет,— Пушкин взял у меня бокал и поднес к лампочке.

И чудо! Весь бокал просвечивался алым пламенем, словно был отлит из густого розового стекла.

— Какое же это дерево? — спросил опять Пушкин. Федин молчал и лукаво поглядывал на мастера.

— Не знаю,— сказал я.

— Осина! Это одна из самых красивых пород. В старину резали из осины и посуду, и брошки, и бусы, и церкви крыли осиной. Красивее крыши не было и нет.

Над верстаками, на полочках вдоль стен, как в музее, покоился старинный дедовский инструмент; и каких только видов и названий тут не было! И рубанки с фуганками всяких форм и размеров, и сверла, и фигурные наструги, и стамески, долотца и прямые лопаточками и загнутые ложечками, желобком... И ножовки, и пилы лучковые, пилы-пропиловочки, и лобзики величиной с серьгу. Дорогой инструмент, столетний, всевозможные клейма на нем, а больше все спаренное кольцо — знаменитая австрийская отметина. А посреди этого редкого великолепия, рядом с «буржуйкой», прилепился деревянный топчан, покрытый матрацем да ватным одеялом. Здесь жил и спал сам мастер. В изголовье на скамье стояли чайник, ведро и кастрюля с ковшом да кружка. Огромный пятистенный дом с резными божницами, шкафами, кроватями стоял пустым и заброшенным. Сам хозяин нисколько о том не печалился; лазил по шкафам и полкам, доставал нам всякие резные вещицы: то вазы, то шкатулки, то гербы, то образцы наличников. Все было вырезано, выточено изящно, любовно, не из корысти — вроде бы все это и ни к чему, а сработано так, ради забавы, от нечего делать.

Я узнал, что Пушкин окончил московское Строгановское художественное училище, и подивился тому, что он торчит здесь, в глухом углу.

— Оформители везде нужны. Поехали в Москву! Мы вас обязательно устроим.

Договорились с Пушкиным встретиться в редакции «Известий» (я в то время работал там) и расстались.

— Ничего у вас не получится из этой затеи,— сказал мне Федин на обратном пути.

— Почему?

— Устраивался он и в Рязани и в Клепиках. Но работал до первой сдачи своих изделий. У нас ведь как заведено? Что ты смастерил или нарисовал — подай на суд божий. То есть принеси начальству, выслушай замечания и переделай. А Пушкин этого не выносит. Придет, покажет. Стоять — стоит, слушает, что ему переделать надо и как. Молчит. Только губы дрожат. Он и так блед-

ный. А тут аж посинеет, ни кровинки на лице. Постоит таким макаром, послушает и уходит совсем, навсегда. Так что не придет он к вам в «Известия».

Но я верил, что придет: я видел, как он ловит оценочный взгляд и слово, как охотно показывает свои изделия, хлопочет, суетится. Значит, есть в нем тяга к работе на миру и скрытая любовь, жажда к тому шумному успеху, который так окрыляет, подстегивает силы и вдохновение истинного мастера.

И он приехал, позвонил в редакцию. Я оказался на месте.

— Вы откуда звоните?

— Снизу, из приемной.

— Погодите меня. Я сейчас спущусь.

Но когда я спустился вниз, его и след простыл. Спрашиваю вахтера: тут, говорю, был такой высокий, в черной шапке. Не видели? Видел, говорит. Звонил. Потом трубку повесил и ушел...

...На этот раз мы с Фединым застали его дома, в мастерской то есть. Он сразу начал показывать нам школьную образцово-показательную доску; в ней был фокус — доска зашторивалась подвижной, сшитой из узеньких пластиночек шторой. Но куда уходила эта штора, где она наматывалась на валик — увидеть, разгадать этот секрет мы так и не смогли. А Иван Иванович радовался, потешался, как ребенок, видя нашу растерянность и недогадливость.

— Что ж вы сбежали от меня в «Известиях»? — спросил я его.— Или обиделись на что?

— Ни на что я не обиделся. А просто так. Посмотрел направо, посмотрел налево — все лестницы в коврах. Народ по ним ходит важный да с портфелями, с папками. Разве на таких угодишь? Ну и страшно стало.

Только посмеивается.

— Так и не служите нигде?

— Так и не служу.

— А на что живете?

— Дранки[1] делаю,— сказал он и опять засмеялся.— Старые просорушки развалились, а новых уже лет сорок как не строили. Но просо еще сеют. Ну и всякому хочется поесть каши да блинов пшенных. Вот я и приспособился.

Он пнул ногой под верстаком какую-то неуклюжую

[1] Дранка — местное название просорушки.

деревянную форму, похожую на огромную ушную раковину, и сказал:

— Вот с этими штуками езжу на чугунный завод в Сынтул, отливаю там нужные детали и устанавливаю в колхозах дранки. По двести пятьдесят рублей за машину. Так и свожу концы с концами.

Из Норина мы поехали в Ветчаны осмотреть остатки того самого дома, в котором останавливался когда-то Куприн. «В нашем распоряжении двадцать три комнаты, но из них отапливается только одна, да и то так плохо, что в ней к утру замерзает вода и створки дверей покрываются инеем». Дом был построен пленными французами, «ими же был разбит громадный липовый парк в подражание Версалю».

— А еще пленные проложили дорогу, отсыпали насыпь от барского дома до самой Курши, до церковного красного бугра,— это уж Федин пояснял.— В парке было три пруда, фонтан, сирень, жасмин и всякие аллеи.

Ничего от этих прудов да жасминов не осталось; на берегу какой-то болотины жались чахлые заломанные кустики сирени; по границе бывшего сада или парка кое-где стояли черноствольные раскоряченные липы, да на одном углу в виде глаголя подымалась чудом уцелевшая лиственничная аллея. Вот и все, что осталось от «подражания Версалю».

Дом сохранился наполовину, только левое крыло — обшитый тесом фасад, широкие резные наличники, кое-где проступающая темно-бордовая окраска,— а правая половина дома с центральным двухсветным залом, с колоннами, с портиком и крыльцом частично сгорела, а частично растаскана. Обнаженный сруб сложен из кондовых сосен, каждая толщиной в обхват. Вот уж сколько времени прослужили, да еще почти полвека торчат они непокрытыми, под солнцем, ветром, дождем — и все еще целехоньки, ни гнили, ни трухи; стукнешь топором — звенят. Вот что значит русский кондовый лес.

Мы заглянули в обшарпанные комнаты левого крыла: там все забито было старыми партами, школьными досками, поломанными скамьями и стульями. Ноги не протащишь. Эти комнаты служили складом всякой рухляди для неподалеку стоявшей школы.

Мне хотелось проехать до куршинского церковного бугра по старой отсыпной дороге.

Федин только усмехнулся:

— Ее давно разбили грузовиками: ездят и свои и лес-

промхозовские. А поправить дорогу некому. Так что в объезд надо.

Федин из тех знатоков, которые все объясняют не с апломбом и снисхождением, а с тихой извинительной улыбкой — будто им неловко оттого, что собеседник такой недогадливый.

В объезд катили чуть ли не до самых Култуков по весеннему песчаному полю, сплошь исхлестанному автомобильными шинами. А в лесу была непролазная грязь, и мы долго петляли вокруг сосен и берез, выбирая сухие неизбитые места.

Описывая жителей окрестных сел, Куприн подчеркивал, что говорят они непонятным певучим языком, цокая и гокая, что это, мол, потомки поселившихся здесь давным-давно литовцев. И речка по-местному называется Куршей, и на кладбище в часовне он видел темное католическое распятие.

Часовни на кладбище не было. На месте ее стояла наспех сляпанная какая-то лубяная избушка с криво навешенной дверью и с деревянным крестом на крыше. Возле этой избушки толпился народ с зажженными свечами. Был послепасхальный день родительского поминовения. Мы подошли и заглянули внутрь избушки; там служили панихиду — на полочках перед дешевыми бумажными иконами горели свечи, и на столе перед священником горели свечи, лежал раскрытый псалтырь, по которому священник читал, помахивая кадилом. Под столом же, в ногах его, я заметил раскрытый портфель, из которого торчал большой медный крест, полуобернутый в темный плат. Видно было, что и псалтырь и кадило извлечены были все из того же черного портфеля. Да и ряса, наверное, оттуда же. Была она мятая и короткая — едва до колен доставала. Заметно было по всему, что бедный служитель культа проделал сюда немалый путь.

— Откуда священник? — спросил я Федина, когда мы отошли от этой жалкой часовни.

— Это не священник. Это брат бывшего священника. Приезжает служить по праздникам. Ездят за ним... далеко ездят,— Федин по деликатности не сказал, куда за ним ездят, а мне неловко было расспрашивать.

Мы вышли на берег Курши. Речка быстрая, с темными омутами. На берегу возле одного омута стоял крестик.

— Что это? — спросил я.

— Дочка попа утонула здесь. Маленькая девочка.

— Давно?

— Еще до войны. Вон там жили попы, на горе, перед церковью.

От попова поселения остался небольшой трехоконный домик. А фундамент божьего храма, и железная ограда, и кладбище с чугунными крестами — все позарастало березовым лесом. Мы ходили по этой молодой и трепетной роще с темными фиолетовыми ветвями и набухшими почками, осматривали оплетенные рыжей прошлогодней травой чугунные и каменные плиты, читали надписи. «Воспоминаю Вам, братие мои и друзи мои, не забывайте мя, егда молитесь ко господу...»

И еще мне вспомнилось наивное и светлое удэгейское поверье из старой сказочки: ушел храбрый охотник Нядыга за семь перевалов счастье добывать, а мать с отцом от горя и тоски взяли да и превратились в деревья. С тех пор на месте старой юрты всегда вырастают клен и береза. Нельзя их трогать.

Нынешним летом потянуло меня опять в ту дорогу, как тянет журавля на старые гнездовья. Может быть, мне хотелось увидеть своими глазами, как все теперь изменилось к лучшему? А может быть, хотелось забраться глубже, дальше в ту страну, куда ведет нескончаемая нить воспоминаний, назад к юности, к детству, к изначальным истокам? Кто его знает, что толкало меня в эту дорогу. Но толкало, это уж точно. И я поехал на автомобиле. Авось достроили ту дорогу и до Малахова, и до родного села моего, подумал я.

Ехал через Рязань, через Оку. По старой памяти спустился до пристани, где раньше стоял понтонный мост. Ни моста, ни дороги. Вернулся назад через торговый городок, свернул налево до Ряжской улицы. И тут увидел впервые высокую дорожную насыпь, протянувшуюся через луга до самой Оки.

Ехал по асфальту и не узнавал окрестных мест; все распахано, разбито, разлиновано грядками да квадратами черных полей. Капуста, морковь, свекла, кукуруза... Когда-то здесь было живое озеро многоцветных трав. Дьяково, Новоселки, Льгово и дальше на Кораблино ни лесов, ни полей — луга, луга, степное дикое раздолье. Заблудиться можно было в траве. Какие стада нагуливались здесь до глубокой осени! Сколько стогов ухо-

дило в зиму! До самого половодья подвозили их тракторами на волокушах и санях.

Помню, на речном кривуне между Дубровичами и Шумошью стояла избушка бакенщика на высоких сваях. В осеннюю пору мы, рыболовы, забегали в нее греться. Зимним февральским утром избушка загорелась. Я был в лугах, гонял зайчишек под самым Дьяковом. Неторопливо выходили на дорогу дьяковские жители, смотрели на горевшую в трех километрах избушку, переговаривались:

— И отчего она загорелась? Время зимнее, холодное. Кого туда нелегкая занесла?

— Поди, сам Мирон и поджег.

— А что ему за выгода?

— Говорят, его отстранили от должности.

— Ну?

— Жалко передавать добро в чужие руки. Вот тебе и «ну».

— Не, бабы, это самовозгорание. Говорят, он с погорей дрова в лодке возил. Колбешки то есть. Вот они и возгорелись.

— Все может быть. С погорей дрова не трогай. Колбешки оживают.

Стояли, рассуждали. Никто и не думал бежать, тушить пожар.

Когда я подъехал на лыжах к избушке бакенщика, там уж были две красные пожарные машины. Пожарники тоже, как дьяковцы, стояли кучками, смотрели на пожар и рассуждали:

— И чего она загорелась?

— Может, кто ночевал и поджег.

— Да нет, следов не было на снегу. Мы подъехали — все честь честью: на дверях замок, окна целы, вокруг чистый снег — ни одного следа. А крыша полыхает.

— Отчего же вы не тушите? — спросил я сердито.

— Ты кто такой? — спросили меня в свою очередь.

— А вам не все равно? Вы зачем сюда приехали? Пожар тушить или погреться?

— А ты зачем? Ну-ка, проверьте у него документы. Ходят здесь всякие, да еще с ружьем. А потом пожары случаются.

Пожарники обступили меня со всех сторон, я вынул свой билет, подал старшине милиции, оказавшемуся среди пожарников, и сказал:

— Вот напишу в газету, как вы тушите пожары, тогда попрыгаете.

— Вы, товарищ корреспондент, сперва разберитесь, в чем дело,— примирительно сказал старшина.— Производственная неувязка вышла. Поехали к реке, понимаешь, а тут ни одной проруби нет. Все сцементовано. И пешни нет. Ломами такой лед не возьмешь. Пробовали.

— Так езжайте за пешней.

— У нас нет такого инвентаря, не числится. Да все равно уж поздно.

Теперь возле этого кривуна стоит огромный мост через Оку. Давно мечтали рязанцы о такой бесперебойной переправе. Бывало, тронется лед, разольется река в половодье — и прощай левый берег на целый месяц, а то и на полтора. Ездили туда на лодках, а так — в объезд, через Коломну, Егорьевск, Спас-Клепики. На двести с лишним километров дугу делать. Надо ли говорить, какие неудобства и трудности испытывали при этом люди. Еще в четырнадцатом году рязанские купцы сложились, чтобы сообща строить мост через Оку, да война помешала. Было и потом много проектов, замах был, да сил не хватило. И вот он наконец построен. Мост горбатый, длинный, с широкой двухпутной колеей, с высоким бетонным бордюром, с чугунными перилами.

Дорога на Солотчу теперь пошла правее Шумоши, между Полянами и Варским, не заходя ни в одно село. С высоких мостовых пролетов далеко видно окрест: и старый кремль на берегу Трубежа с пятиглавым Успенским собором — по синим куполам золотые звезды,— и острый шпиль соборной колокольни, стоящей на том самом месте, откуда окольничий Хабар Симский, сын воеводы Василия Образца, с помощью пушкаря немца Иордана поразил войско крымского хана Махмет-Гирея; и древнее село Шумошь на левом берегу Оки — бывшая вотчина бояр Кобяковых, где скрывался от неласковой московской опеки юный и последний рязанский князь Иван Иванович.

Шумошь заметно похорошела за последние годы: на высоком песчаном берегу красуются друг перед дружкой бордовые пятистенки с широкими верандами, с тесовыми крылечками да крашеным штакетником. Даже древняя шатровая церквушка восстановлена и светится веселыми яркими красками.

За Шумошью раскинулись вдоль дороги луга; травы

стояли добрые, а сенокос затягивался — холод, дожди. На лугах безлюдно. Кое-где увидишь трактор с прицепной сенокосилкой, да и тот стоит, мокнет под дождем. И куда ни глянешь — ни одного стожка. А ехал я в середине июля. В добрый год об эту пору стога стоят кучно, как шатрища несметного войска.

За лугами пошли перелески — невысокие сосняки, аккуратно посаженные рядами, обрезанные глубокими канавами. Потом надвинулся на дорогу красный реликтовый бор,— корабельные сосны заслонили собой все пространство, и куцые зеленые вершины их были так высоко, что терялись, пропадали в зыбкой серой завесе дождя и тумана. Слева засветились белые стены и круглые башни древнего монастыря с потемневшими от дождя тесовыми кровлями, призрачно парила в тумане легкая надвратная церковь — маленький шедѐвр Якова Бухвостова, маячили пять куполов белого собора, в котором похоронен великий рязанский князь Олег, заложивший этот монастырь. Теперь в том соборе торговый склад. А когда-то на могиле князя лежала его боевая кольчуга. Воевал он много, больше все с татарами, с мордвой и с братьями московитами. И проигрывал сражения, и выигрывал... Всякое было: Рязань — княжество пограничное, открытое дикому полю для буйных набегов татар. Еще при Василии Ивановиче, отце Грозного, посол императора австрийского Герберштейн, посетив рязанские земли, дивился тучности полей и тому, что пахарь пахал с мечом на бедре, а на лошади было седло приторочено. В любую минуту мог чертом выскочить татарин из-за бугра, и пахарь превращался в воина. Этим-то и объясняются колебания князя Олега, его ссоры и примирения с Дмитрием Донским. Не просто было держать пограничное княжество перед грозной силой Золотой Орды. Это хорошо понимали современники князя Олега. Дальновидный и опытный отец Сергий Радонежский много сил положил, чтобы примирить Олега Рязанского с Дмитрием Донским. И Дмитрий Донской высоко ценил Олега, он не просто помирился с ним, а породнился, выдав дочь свою Софью за сына Олега, князя Федора.

Историкам же, утверждающим, что причиной всех ссор было властолюбие Олега, не худо бы учесть такую малость — князь Олег под конец жизни ушел в монастырь и умер под именем послушника Иоакима. Нет, человек, любящий власть превыше всего на свете, не примет до-

бровольно схиму, не уйдет в монастырь от княжеского престола.

После монастыря потянулись с обеих сторон бесконечной вереницей сосновые дома на высоких фундаментах, с резными роскошными наличниками: Солотча, Заборье, Ласково... Вот она, мещерская сторона. Не знаю отчего, но волнует меня эта лесная дорога более всего в зимние шумные метели да в туманную слякотную непогодь.

Этим летом у всех была одна забота — взять бы поскорее, что выросло, убрать вовремя. А выросло все хорошо: и рожь, и пшеница, и ячмень, и овес.

В Спас-Клепиках, в райкоме партии застал я первого секретаря Николая Андреевича Баранова. У него люди, готовился семинар, съехались со всей округи посмотреть: что растет на осушенных землях.

— Теперь-то можно проехать на Макеевский мыс, посмотреть на мелиорацию? — спрашиваю Баранова.— Или опять выделяют вам на освоение грош да копу?

— Ну что вы, что вы! Теперь у нас полный порядок, как в Литве: сорок процентов на мелиорацию, шестьдесят — на освоение.

— И удобрения дают? И техникой снабжают?

— Удобрения нам дают по восемнадцать килограммов действующего вещества на гектар.

— А Белоруссии — по двести сорок килограммов,— заметил от стола один из посетителей.

— Там — республика. Ничего не попишешь,— сказал Баранов.

— Чем можете похвастаться? Что освоили за эти два года? Что в заделе?

— Макеевский мыс освоен полностью. Две с лишним тысячи гектаров!

— И дорогу туда проложили?

— Асфальт! Вся карта разбита каналами на квадраты. Шлюзы поставлены, насосная станция. Перекачку ведем избыточной влаги в реку. А река Пра обвалована. Это дорогая мелиорация, польдерной системой называется. Не знаю как в стране, но в нашей области такая мелиорация впервые проводится.

— И что же дала вам эта мелиорация?

— А вот считайте: осушенных земель пока десять процентов от общей площади, но дают они больше половины всех кормов. Это кормов! А сколько зерна, овощей, картошки? Золотое дно.

— И пропашные культуры двигаете?

— На болотах нельзя — разрушается структура почвы. Там у нас травы, райграс многоукосный, например. Эта культура промежуточная, но по четыре-пять укосов дает. Костер безостый. Этот держится до десяти лет. Богатые укосы снимали. На Макеевском мысу у нас тысяча гектаров травы.

— Где же вы взяли такую прорву семян?

— В Тюмень ездили. Теперь и свои травы завелись — будь здоров. В прошлом году в макеевском совхозе собрали сто сорок центнеров семян одного костра, да еще тимофеевки, райграса. Всего пятьсот сорок центнеров взяли. А каждый центнер семян стоит тысячу двести рублей, костра например. Вот она и прибыль. А сколько сена, сенажа?

— Значит, выгодно травы сеять?

— А как же! У нас только люпина одного три с половиной тысячи гектаров. Два года держится люпин, после него картошка, потом рожь. По двадцать пять центнеров ржи дает гектар на Макеевском мысу. Все расходы на мелиорацию окупаются, и довольно быстро.

— А велики ли расходы?

— Да вот только по одному объекту «Большая Пра» в этом году будет сдано две тысячи двести сорок пять гектаров — почти на четыре миллиона рублей. Да запланировано одиннадцать миллионов рублей на освоение объекта Тюково. Это в основном на строительные работы. Да школу мелиораторов построили в Клепиках, да в Оськине намечено построить городской поселок на тысячу двести человек. Расходы есть. Но ведь и доходы увеличились. Земля оборот дает.

Мне вспомнилась побасенка псковских мужиков:

«Чем отличается земля от девушки?»

«А тем, что, если девушку обманут, она рожает. Но землю хоть десять раз обмани — рожать не станет».

Земля требует внимания, любовного ухода, серьезных затрат; за ней много ухаживать надо, заботиться о ней, ублажать ее, тогда и она наградит тебя, отблагодарит за все труды.

Я видел прекрасные поля и луга Макеевского мыса. Мы ехали туда по отличной асфальтированной дороге — слева тянулся высокий вал, отделявший реку Пру, справа — ровный канал, широкая водная межа, отвоеванные у болотин поля. В самом углу этих искусно созданных полей стояла внушительная кирпичная башня с широ-

кими окнами. Это насосная станция, возле которой скопилось целое озеро воды. Мы поднялись от станции на вал; здесь перепадом к реке шла широкая бетонная лестница, похожая на сливную плотину. Вдруг с верхней ступени из трех огромных труб хлынул мощный поток воды; загудели, отдаваясь подземной дрожью, невидимые насосы, забулькала, зашумела на порогах вода, рекой потекла в обвалованную Пру.

Внизу, в подвале насосной станции, стояло три мощных насоса, черным лаком блестели их округлые спины, подрагивали стрелки манометров, гудело и урчало в утробах серебристых труб. А наверху, за столиком, у светлого пульта управления сидела в мини-юбочке очаровательная девушка и читала книгу. Мы познакомились. Девушка, Рита Сухова, оказалась студенткой из московского института, проходила здесь двухмесячную практику. Она следила за водомерным постом и, если вода поднималась в приемнике до нужной отметки, включала насосы.

Потом мы долго ездили по обширным полям. Вся карта была разбита каналами на большие квадраты. В каждом канале стояли стальные шлюзы. Если воды много, шлюзы открываются, и вода стекает к насосной станции. Несмотря на проливные дожди нынешнего года, поля и луга на Макеевском мысу стояли сухие. При засушливой погоде шлюзы закрываются, уровень грунтовых вод сохраняется прежним. Мало того, из близких каналов берется вода для орошения полей — вдоль каналов на каждом квадрате стояли дождевальные установки, похожие на гигантские конные грабли. Ну а если засуха грянет? Конечно же эти каналы пересохнут. Тогда придется подавать воду из дальней реки. Однако второй насосной станции для этой надобности не построили. Сэкономили. Кто-то наверху сказал, мол, засух у вас не бывает. Обойдетесь и так.

Травы здесь были скошены, за исключением семенных участков, а на полях торчали таблички с диковинными надписями: «Неполегаемая пшеница Верлд-сидз — США», «Овес Марино — Голландия», «Леанда — голландский овес». И куда ни пойдешь — в овсы ли, в пшеницу,— все тебе по пояс и густоты непрорезной... Да полно! В Мещере ли я, думалось невольно. Значит, может родить эта земля не хуже иных-прочих? Может!

Забегая вперед, скажу, овес Леанда дал по тридцать шесть центнеров, устоял от дождей, и Верлд-сидз устоя-

ла, а Марино полег. Но урожаи хорошие дали. Да что там эти иностранцы! Наша пшеница Мироновская 808 дала здесь по тридцать три центнера. Вот что значит грамотная мелиорация, да удобрения, да плюс к тому добрый уход.

— Ухаживать за такими полями не просто,— говорил мне Виктор Алексеевич Наседкин, редактор местной газеты «Новая Мещера».— Тут надо знать и агротехнику, и водный режим, и механизатором быть на все руки. Осенью открывается у нас двухгодичная спецшкола мелиораторов. Набор — из десятилетки. Стипендия девяносто рублей в месяц. Общежитие при школе. Вот так, живи и не тужи.

На окраине Спас-Клепиков в чистом поле вырос учебный спецгородок: три белых четырехэтажных здания — классные аудитории, мастерские, лаборатории, читальни. В общежитии комнатная система, две-три койки на каждую комнату. Институт, да еще какой!

— Станут ли они на полях работать после такой житухи, вот вопрос,— сказал я.— Осядут ли?

— Местные осядут,— ответил Наседкин.— А приезжим подай после такого общежития квартиру или хотя бы комнату. А как же иначе? Ведь рабочих-то мы обеспечиваем жильем. Почему же крестьянам не строим квартиры? Ведь высокого специалиста не подселишь к тете Моте в избу. Не пойдет.

Да, не пойдет. Мелиорация земель — это лишь начало. Дальше — больше... Придется строить дома, и школы, и магазины, и клубы, и уж конечно дороги.

— Доберусь до Малахова на «Волге»? — спросил я Наседкина.

За Наседкина ответил редакционный шофер Петр Арефьевич Силкин:

— Пожалуй, сядете. Колея глубокая — дожди.

— Неужто не достроили дорогу?

— Насыпь протянули до самого Малахова,— ответил Наседкин,— а камнем покрыть не успели. Так что поезжай лучше на нашем «козлике».

И вот опять я трясусь на казенной машине все по тем же обкатанным булыжникам на Туму, на Уткино, Чувфилово, Малахово... На многие километры все тянутся и тянутся желтые поля люпина, да вдоль дороги сквозные ряды заломанных до самых макушек молодых сосняков.

— Отчего это сосенки такие заломанные,— спросил я.— Кто их так раздел?

— На корм скоту заломали.

С нами ехал фотокорреспондент местной газеты Левин. Он и ответил. Петр Арефьевич крутил баранку да посмеивался. Ему давно уж перевалило за пятьдесят.

Он ровесник и друг того самого Клёнушкина и так же всю жизнь свою возил клепиковское районное начальство. Все-то он видывал, все знает.

— Когда ж их заломали?

— Прошлой зимой. Кормов не хватило.

— Видите — нижние ветви уцелели,— отозвался Петр Арефьевич.— Это потому, что их снегом заносило.

— Что-то не помню я, чтобы в прежние годы придорожные сосны заламывали.

— Так в старые годы крестьяне дворы раскрывали. Раньше дворы соломой крыли. Вот крыши и выручали. А теперь дворы шифером покрыты, шифер коровам не дашь,— посмеивался Петр Арефьевич.

— Ну и сосновые ветки — они годятся только для витаминов,— упорствовал я.

— Это правильно,— соглашался Петр Арефьевич.

Напротив Уткина мы остановились. От самой дороги десятка полтора косцов окашивали пшеницу. Мы подошли, разговорились.

— Хорошая пшеница,— говорю,— как на Кубани. Центнеров под сорок будет.

— Да не менее,— соглашаются косцы, говорят вперебой.

— Ее ноне только молоком одним не поливали.

— И под запа́х вносили удобрения, и озимя подкармливали.

— И с самолета на нее сыпали.

— Как же ей, пашенице, не быть ноне доброй. Это не при Слезкиной.

— Слезкина, бывало, проедет по полю да матерком покроет. Только и всего.

— Не то слезу выронит.

— Она выронит слезу... Она ее из тебя, бывало, выжмет, слезу-то.

— Я уж досуха отжатый.

— Небось Егорова не матерится, и дело идет.

— Как ему не идти, делу-то? У Егоровой связи. Кому удобрения только покажут, а ей в первую очередь. Бери сколько хочешь.

— Она берет... дай ей бог здоровья.

— Бе-ерет. Соседей не жалеет. Х-хе!

Косцы были всё люди пожилые, в кирзовых сапогах, в мятых темных пиджачишках, в тертых кепочках. О теперешнем председателе колхоза Егоровой говорили с грубоватым почтением: человек, мол, с образованием, но рука мужицкая — и свое не отдаст, и чужое не пропустит. А Слезкина — давний председатель, на почетный отдых ушла еще в пятидесятых годах.

— Жива Слезкина? — спрашиваю косцов.

— Умерла в прошлом году.

— Да, хватили мы с ней редьки хвост.

— Помудровала нами, царство ей небесное.

— Бывало, и на трудодни не платит, и в отход не пускает. Живи как хочешь. Хоть святым духом питайся.

— Духом и питались. Бо знать, что ели.

— А теперь не ходите в отхожий промысел? — спросил я.

— Некому ходить. Чего нас осталось-то? Вот — и все мужики тут.

— Теперь и дома заработать можно. Хоть плотничай, хоть стены клади. Делов хватит.

— И платят не хуже, чем на стороне.

— И пенсию дают. Чего еще надо?

— Теперь в отход ходят из городов. С производства то есть.

— Ну? Берут отгул или отпуск... Сколачивают артели — и пошли шабашить. Работы везде хватает. Рук нет.

Да, рук нет. Мало рабочих даже здесь, в глухой стороне, где каких-нибудь пятнадцать лет назад их было избыточно. С этого и завязался у нас разговор в Малаховском совхозе.

— У меня всего восемь человек разнорабочих в центральном отделении. В Ветчанах косить некому. Восемнадцать баб да один мужик — вот и все косцы. Дают на заготовку сена двадцать пять рублей, а я плачу по сорок восемь, да еще премию накидываю. Но некому косить,— рассказывал директор совхоза Николай Дмитриевич Паршин.— А неудобных лугов много: кочкарник, залежь да всякие поросли. Лес не дремлет, наступает на поля и луга.

— Это в Ветчанах-то некому косить? — покачал головой Петр Арефьевич.— Ведь раньше у них по сто человек отходило на сторону.

— Больше! — подхватил Паршин.— Из Ветчан и Култуков по двести человек отходило. Зато уж как вернутся

на сенокос — любота! В две недели управлялись. Да, не удержали народ. Поразъехались да состарились.

Паршин погрустнел, задумался и вдруг тряхнул головой:

— А можно было удержать народ. Промыслом! Там бы завели столярные мастерские, там лесопилки или драночный завод, стружку упаковочную гнать, дерматин... Да мало ли что. Возле такого дела и молодежь удержалась бы. Но нельзя было, запрещался промысел. Теперь вот и можно, да не с кем. Народу нет.

— Как у вас с техникой?

— Плохо. Мало техники, и техника старая. Видите, как сыро? Дожди заливают. Силос надо заготовлять — комбайны силосоуборочные останавливаются... Старые. Правда, измельчители КИР и КУФ — эти работают. А травы нынче добрые.

При таком малолюдье техники должно быть не то что много, а на выбор. Вот говорят нам, давайте, гоните специализацию. У вас, мол, картошка хорошо родится. Ладно, хорошо родится картошка. Но ты сперва обеспечь нас всем необходимым под такую специализацию. Вон, в прошлом году мы взяли по сто сорок, по двести центнеров картошки с гектара. И сорта хорошие — Гатчинская да Темп. Гатчинская крупная картошка, по чайнику. Выворотишь этакую ковлагу — и взять не возьмешь. Машины не приспособлены, и мало их. А вручную собирать некому. Да... Вот мы и говорим: давайте специализироваться. Но сперва постройте нам хранилища, лаборатории, машины забросьте. А главное — постройте нам жилые дома, куда бы поселить приезжих механизаторов. Своих у нас нет, то есть мало их. Из города в общежитие специалисты не поедут.

Паршину перевалило за сорок лет, но выглядит молодо — ни морщин, ни седины, волосы черные как смоль, нос крючковатый. С виду не то осетин, не то абхазец.

— Из каких вы мест? Откуда родом? — спрашиваю.

— Здешний я, мещерский.

— По обличью вы какой-то ненашенский,— говорю.— У нас вроде бы больше белобрысые водились.

— Всякие были: и татары, и финны, и даже литва, говорят. Это кроме русских. Дети разных народов,— смеется.

— Как с урожаем в этом году?

— Хороший урожай. Секрет? Очень простой — дали под зерновые столько удобрений, сколько следует. В рай-

оне расщедрились: выделим, говорят, товарищ Паршин, твой глухой угол из общего потока и дадим тебе столько удобрений, сколько потребуется. А потом поглядим, что из этого получится. Глядите, говорю, милости просим. Пожалуйста. Вот завтра приедут смотреть. Семинар здесь проводить будут. Дожили и мы до урожая.

С Паршиным объехали мы поля и вокруг Малахова, и Ветчан, до самых Култуков добирались. Хорошие поля. Во ржах Паршин скрывался вместе со шляпой.

— Как в воду захожу! С головкой будет,— радовался он по-мальчишески.— Давайте за мной! Все за мной! И щелкни нас, Левин. Щелкни на память. Никто не поверит, что в Ветчанах такая рожь вымахала.

Левин фотографировал нас и во ржи, и в ячмене.

— О! Глядите, какой овес... по грудь! Он не зеленый, а синий. Какая сила прет! А кисти, кисти? На ладони не умещаются. Вот что они делают, удобрения-то.

И вдруг обернулся к шоферу:

— Петр Арефьевич, давайте я натереблю вам снопик овса. В редакции поставите. Никто не поверит, что овес из Ветчан.

На ячменном поле опять восторги:

— Вот здесь до прошлого года кустарники торчали да кочки. Залежь, одним словом. А что теперь делается, смотри! Какой ячмень! Ложись в него! Падай с разбега — не ушибешься.

А в дороге все сокрушался:

— Уберем ли? Техника старая, народу нет. А дожди так и сеют, так и поливают. Видать, вся небесная канцелярия перепилась. Чтоб ей ни дна ни покрышки.

— Пьют ваши работнички? — спрашиваю.

— Пьют, стервецы. В Акулове мужик с бабой загуляли. И борова напоили. Два дня пьяным ходил, на людей бросался.

На выезде из Ветчан я заметил в саду две круглые синие беседки, похожие на могильники киргиз-кайсацкой орды.

— Это что за чудо? — спросил я Паршина, кивая на беседки.

— Местный учитель Шишов построил.

— А для чего сразу две беседки?

— Так у него две жены. Вот и построил каждой жене по беседке. Чтоб без обиды.

Все рассмеялись, а я спросил:

— Нет, в самом деле, почему две беседки?

— В самом деле две жены. Первая, значит, законная жена умирала... Отвезли ее в больницу. Дома дети остались и сестра жены. Ну, и стал он жить с этой сестрой, как с женой. Детишки, хозяйство... То да се. Куда деваться? К тому ж доктора говорили, что больная, мол, безнадежна. А она взяла да выздоровела. Домой вернулась. Вот и получилось две жены. Для обеих жен и беседки строил.

— Да, мужик он деловой,— сказал Левин.— Три раза крышу сам перекрывал, гараж построил. Раза два переделывал его. «Москвич» держит.

— Неужто так и живут с ним две жены?

— Вторая уехала,— сказал Паршин.— Теперь все по закону.

На обратном пути в малаховском лесу нас стал нагонять грузовик: догонит, зайдет слева и вдруг начинает вилять — метит нам в бок, прижимает к канаве. Грузовик порожний, в кабине сидит один шофер. Нам видна его правая щека, красная, как из бани; глаз мутный, смотрит прищуркой, только вперед. Нас не замечает. Руки напряженно вытянуты, и кажется, что шофер не управляет машиной, а держится за баранку, чтобы не свалиться.

— Петр Арефьевич, поддай газу! Не то сшибет он нас,— забеспокоился на заднем сиденье Левин.

— Я слежу за ним,— отозвался Петр Арефьевич, наддавая ходу.

Мы оторвались, но ненадолго. Грузовик гремел за нами, как пустая бочка, и снова начал обходить слева и прицеливаться нам в бок. И та же красная щека, напряженно вытянутые руки, немигающий глаз.

— Эх, жалко, что пленка кончилась! — сокрушался Левин.— Я бы сейчас его щелкнул, а потом сунул бы кому надо.

— Кто это?

— Гулин, из Тумы. Ездит по механическому оборудованию ферм.

— Кабы этот механизатор не смазал нас в кювет,— с опаской оглядываясь на грузовик, сказал Петр Арефьевич.

— Пропустите его вперед, раз ему так надо,— сказал я.

— Боюсь, кабы не промахнулся. Дорога узкая. Захочет пролететь мимо, да в нас ударит. Пьяному море по колено,— возразил Петр Арефьевич и прибавил газу.

Так мы и ехали до самой Тумы с ведомым спутником на хвосте.

На другой день в редкую по нынешнему лету солнечную погоду весело катил я на Касимов. Дорога шла чистым полем — ни деревень, ни переездов, и в поле пустынно, мертво; редко встретится грузовик или автобус, да какая-нибудь сонная телега на обочине плетется себе потихоньку. А дорога приличная, асфальт свежий, ровный — газуй на всю железку! И я газовал.

Первую остановку сделал в Гусь-Железном. Помню, в шестьдесят первом году мы приезжали сюда с главой Окского заповедника Владимиром Порфирьевичем Тепловым: его интересовала популяция выхухоля и гнездовья диких уток по берегам местного искусственного озера, запруженного двести лет назад заводчиками Баташовыми. Выхухоль — ценный пушной зверек третичного периода — в то лето переживал бедствие: многие озера и старицы на окских лугах, где издавна обитал этот зверек, были спущены усердными не в меру мелиораторами. Погибал не только выхухоль — тысячи гектаров лугов были обезвожены из-за спуска озер, то есть сильного понижения уровня грунтовых вод.

В пойме, напротив Кочемар, спустили целиком два озера, и даже самое большое в этих краях прекрасное Ерахтурское озеро с красным бором на берегу было непоправимо искалечено понижением на два с половиной метра водяного зеркала. А всего делов-то: в верховьях этого озера было небольшое, в тридцать гектаров, болото, вот его-то и осушали.

Насмотревшись на заиленные озера, на высохшие, опустевшие от птиц и зверья прибрежные камыши, перепотевшие, запыленные, с самыми решительными намерениями ввалились мы в Ерахтурский райком. Как раз заседала комиссия по приемке осушенного болота — на это заседание и торопился Теплов. Сидели все чинно вокруг длинного стола, в белых рубашках с закатанными рукавами; вентилятор мягко шумел, пошевеливал приготовленные для торжественной подписи акты. А еще посреди стола стояла запотевшая поставка холодного квасу. Жарынь!

— Заждались вас, Владимир Порфирьевич! — шумно встретили Теплова.— Вот квасок холодный. Не хотите ли?

— Квасу выпью, а подписывать акты не стану,— сказал Теплов.

— Почему? — лица у всех за столом вытянулись.

— А потому, что это не мелиорация, а земельное душегубство. Ладно, вам наплевать на всю эту дикую живность — на выхухолей, на уток, на гусей, куликов. Но луга-то хоть пожалейте! Что вы делаете с лугами? Болото в тридцать гектаров осушили, а тысячи гектаров прекрасных лугов обезводили!

— Нельзя ли без эмоций? — сказал один из членов комиссии, кругленький розовый колобок, представитель Мещерской мелиоративной станции, от науки, так сказать.— Мы привыкли с карандашом работать, выгоду считать. Вот и приплюсуйте тридцать гектаров бывшего болота к нашему земельному обороту. Это вам не дикие утки, товарищ Теплов, а культурная земля.

Теплов, весь какой-то серый от пыли, морщинистый и злой от застарелой мучительной болезни (увы, он давно уж умер), поглядел на это розовое яблочко и изрек хриплым, рыкающим голосом:

— Какая культурная? Это ободранная земля. С карандашиком привыкли работать? Все плюсуете? А кто ваши минусы учитывать будет? Тетя Мотя или дядя Вавил? Вы просуропили канал длиной в шесть километров. Да ширина его поверху тридцать — сорок метров, да земляной отвал примерно такой же ширины. Вот и помножьте шестьдесят метров на шесть километров. Ну? Шестью шесть — тридцать шесть. Тридцать шесть гектаров прекрасных лугов выбросили кобелю под хвост. Это за тридцать гектаров болота? Да сколько тысяч обезводили? Считайте, считайте, во что обошлось ваше осушение болота!

— Вы интересно рассуждаете,— послышалось с другого конца.— Сегодня засушливое лето. А в обычное — влаги на лугах вполне хватает.

— А что делать в засушливое лето? — обернулся на тот голос Теплов.— К дяде Вавилу за сеном идти? Или коров в спячку укладывать?

— На травополье упор делаете,— сказал Колобок.— Мы осушаем болота для пропашных культур. Или что ж, по-вашему, не следует осушать болота?

— Делайте местную мелиорацию, дренажную систему, коллекторы, водоприемники. Насосные станции стройте, наконец, если понадобится. Но не смейте разрушать окружающую среду.

— А вы знаете, во что обойдется такая мелиорация?

— Так вы что ж, за дешевизной гоняетесь? — отбивался Теплов.— Тогда вспомните, что случилось с попом из сказки Пушкина, с тем самым, который за дешевизной гонялся.

Всю дорогу потом хмурился Теплов — и в лугах, и через Оку когда переправлялись, и когда по лесным кордонам шастали,— все ворчал, поругивался. Салтыкова вспоминал:

«Идите, говорит князь, передайте глуповцам: тех из вас, которым ни до чего дела нет, буду миловать, всех иных-прочих казнить».

На озере в Гусь-Железном он даже повеселел: в камышах на разводьях было много уток с утятами, нашли мы несколько норок выхухоля возле самой воды, и не было следов ондатры и енота.

— Вы только подумайте,— говорил он мне.— Есть в нашем краю редкий, ценный выхухоль. Так, видите ли, мало этого. Дай-ка мы еще и ондатру сюда завезем. И завезли. Ондатра первым делом набросилась на выхухоль, стала изгонять его из норок и просто переводить, как соперника. Но выхухоль — редкость, и редкость — наша. Кроме как в средней полосе России, его нигде нет. А ондатра по всей земле пошла, из Канады завезли. Но к нам-то ее зачем, сюда? Чтоб выхухоль перевести? Вот пустые головы. Лишь бы отличиться, отрапортовать — развели ондатру. А зачем? На пользу это пойдет или во вред? До этого никому дела нет.

Или возьмите того же енота. На кой черт его к нам завезли? Ведь что получилось? Эта прожорливая собака пошла разорять гнездовья уток и гусей. Вред от нее колоссальный, польза — сомнительная. Вот и выходит — одна рука не ведает, что творит другая. А все оттого, что много развелось публики, которой ни до чего дела нет.

Была в нем какая-то апостольская прямота и строгость: он быстро накалялся, вспыхивал, вспоминая ерахтурскую комиссию:

— Ну что это за мелиорация? Какая это мелиорация?! Знаете, на что это похоже? На старый забавный анекдот, как мужик пошел даровой хлеб брать, да впопыхах худой мешок прихватил. Насыпает в мешок — а зерно в дыры вытекает. Некогда мешок починить — торопится, жадность заедает. Вот так и мы порой к земле, к природе относимся: все бы от нее взять, да побыстрее.

Хоть в худой мешок, но толкаем. Мешок-то сначала сшейте какой следует, чтоб добро не пропадало.

Я частенько вспоминаю эти слова. И теперь вот пишу и думаю: провели в том же Клепиковском районе прекрасную мелиорацию, потратили на это дело миллионы рублей. Казалось бы, надо радоваться. И радовались целое лето... Но вот подошла осень. Заехал я в Спас-Клепики 6 октября, заморозки начинаются, зима «катит в глаза». А в полях все еще две тысячи гектаров зерновых не убрано и несколько тысяч гектаров картошки. И дождей с конца августа почти не было. Ладно, зерновые и по морозу уберут, а картошка пропала. Вот так... Миллионы рублей затратили на мелиорацию, но тысячи рублей на уборочную технику, на сушилки и прочее потратить недодумались. И гибнет, гибнет добро... на сотни тысяч... И ничего тут не сможет поделать секретарь райкома со всеми своими помощниками. Целыми днями мотаются они по полям, до глубокой ночи не вылезают из своих и чужих кабинетов. Да расшибись они в лепешку, треснись о мерзлую землю — не убрать им без нужной техники да без нужных людей вовремя урожая. Ведь не делают секретари райкомов на своих совещаниях ни жаток, ни картофелекопалок, ни комбайнов, ни тракторов. И специалистов не приготовишь на этих совещаниях. Кажись, это всем ясно. Пора снабжать районы средней полосы уборочной и прочей техникой в достаточном количестве. Может быть, мы уясним, наконец, и такую истину — никакая техника не способна творить чудеса без рук человеческих. Не на заезжего молодца рассчитывать надо в уборочную кампанию, а на своих чудо-богатырей. Но мало их, мало в деревне этой полосы нужных специалистов-механизаторов. Растеклись местные кадры, поразъехались, не сумели удержать в свое время. Уехали туда, где лучше работать и жить; туда, где светит и греет. В город они уехали. Маркс сказал: бытие определяет сознание. Бытие их толкнуло в город. А мы ждем, когда они откликнутся на призыв вернуться в деревню. Вот посовестят их пропагандисты: нехорошо, мол, родную землю оставлять вчуже. Писатели вдохновенное слово кинут: моя родная сторона червонным золотом полна! Сюда, ребятушки, сюда, к дедовским истокам! Живой воды испить да травушку-муравушку потаптывати!..

Нет, такими зазывами да посулами серьезных специалистов не завлечь в деревню. Там нужно создавать условия не хуже городских. В той же ставропольской или

кубанской деревне люди живут не хуже, а лучше, чем в городе. И особняки есть, и машины есть, и дороги есть. И никто не зазывает туда специалистов, они сами держатся. И уборка проходит в нужные сроки.

Вот такие мысли приходят в голову, когда я вспоминаю те слова Владимира Порфирьевича.

А в тот солнечный день я приехал в Гусь-Железный полюбоваться на озеро, искупаться, поплавать в нем. Доехал до речки, поднялся на бугор, глянул и... о, боже! Нет озера. По широкой впадине, окаймленной дальней опушкой бывшего прибрежного леса, текла, извиваясь, узкая, местами пересыхающая речушка. И старинной плотины, высокой, кирпичной, с чугунными шлюзами, в темных казематах которой, по преданию, разбойная баташовская братия чеканила фальшивые деньги, тоже не было. Шлюзы, регулировавшие сток, убрали, засыпали — и затянуло озеро тиной да ряской. На месте этом проходила обыкновенная дорожная насыпь; дорога делала крутой поворот, огибала белый двухэтажный барский дом, похожий на длинную казарму, заломанный чахлый парк и снова вырывалась на простор.

Главный врач детского санатория, размещенного в барском доме, показывал мне давние фотографии этого исчезнувшего озера, высокой кирпичной плотины, игрушечных торговых рядов с доисторическими портиками, водил по внутренним покоям огромного дома, заново перегороженного, приспособленного для иных надобностей. Переделка и ремонт когда-то выполнены были наспех — половицы скрипят и хлябают под ногами, двери перекошены, в оконные рамы задувает свежий ветерок.

— Сохранилась хоть одна комната от давнего времени? — спросил я.— С полами, дверями и окнами?

— Полы, двери и прочее — все порастащили. А вот стены и потолок сохранились в одном месте. Идемте, покажу.

Он ввел меня в зал, кажется в теперешнюю столовую, с белыми строгими пилястрами, с лепным потолком.

— Полы здесь были, говорят, наборного паркета, двери орехового дерева с бронзовой инкрустацией, люстра позолоченная висела.

— Жалко,— говорю,— что не сохранилось все это.

— О чем жалеть? Архитектурной ценности этот дом не имеет,— сказал доктор.

Я взглянул на него с удивлением — не шутит ли? Нет, смотрит прямо в глаза, даже с каким-то вызовом. Зади-

ристый светлый хохолок на лысеющем лбу топырился, как петушиный гребешок.

— Как не имеет цены? — говорю.— Это ж дом! Большой, крепкий, полный дорогого убранства.

— Барские покои, и больше ничего.

— Так ведь и народу пригодились бы такие покои.

— Народу нужны другие ценности. Вы еще храм пожалейте. Теперь это модно.

— А что, не жаль храма?

— И храм цены не имеет. Архитектура путаная. Специалисты приезжали, говорят — эклектика.

— И парка не жаль?

— Парк — природа, и больше ничего. В одном месте убавилось, в другом прибавилось. В любую минуту его насадить можно.

Мы стояли возле окна, внизу под нами раскинулся обширный поселок.

— Смотрите,— говорю,— сколько домов. Приличные дома, большинство новых.

— Здесь живет в основном рабочий класс.

— Вот и хорошо,— говорю.— Увеличился поселок за полвека?

— Увеличился.

— А теперь подумайте вот о чем: раньше, ну хоть в тридцатые годы, здесь меньше жило народу, но успевали не только свои рабочие дела делать, но еще и плотину чинить, озеро в берегах держать и парк обихаживать. А теперь что ж, времени на это не хватает или желания нет?

— А это,— говорит,— знакомый мотив. Это все ваше писательское ворчание. Что озеро спустили — это вы заметили, а что над каждой крышей телевизионная антенна торчит — этого вы не замечаете.

Спорить с ним трудно, почти невозможно: доводы ваши он не слушает, только глаза навострит, тряхнет головой и пойдет чесать без запинки, как на стене читает:

— Есть писатели-патриоты. Их книги читают, фильмы смотрят наравне с футболом и хоккеем, потому что яркие, незабываемые образы. И все играют против наших врагов. А есть писатели-ворчуны, которые всем недовольны. Вот одного такого лечили, а он нас же, медиков, опозорил в своем последнем сочинении. За что, спрашивается?

Да, кажинный раз вспомянешь и в дальней дороге

бессмертного писателя земли русской Николая Васильевича Гоголя: «Россия такая уж страна — стоит высмеять одного околоточного надзирателя, как вся полиция обидится».

А хорошо ехать в летнюю пору по мещерской дороге, поглядывать по сторонам на красные боры на песчаных угорах, на хмурую таинственную чащобу чернолесья в болотных низинах, на светлые березовые рощицы на открытых холмах, на пестрые многоцветные поляны, или, как в старину называли их, переполянья, окруженные темными раскидистыми, раскоряченными дубами. Того и гляди, просунется сквозь ветви косматая голова дикого вятича, Соловья-разбойника, живущего тут «на девяти дубах», и оглушит тебя трехпалым свистом.

Этим затяжным непутевым летом любопытно было наблюдать, как перепутались все сроки цветения трав и кустарников: рядом с белой таволгой, с пурпурными головками кипрея, с кисейными зонтиками дудника все еще цвел весенний ослепительно желтый курослеп, и проглядывали розовые, затейливо изрезанные лепестки дремы; в низинах бледно-лиловые болотные фиалки, эти трогательные вестники весны, цвели вперемешку с желтыми лютиками, с синими касатиками и крошечными голубенькими незабудками. К 20 июля только-только начала краснеть земляника.

Перед Касимовом дорога ныряла в глубоченный овраг и потом долго петляла по высокому откосу, поросшему соснами. Вот он, город моей детской мечты, соблазн моей юности. Касимов той поры — это пароходы с хлопающими плицами колес, это пристань с пестрой горластой толпой пассажиров, с крутыми сходнями на булыжную мостовую, где все заставлено было телегами, дрогами, тарантасами с мешками, саквояжами, сундучками; сено повсюду: и в задках на телегах, и под телегами, и прямо на дороге; его едят лошади, им укрыты возы с добром, на нем спят, и пьют, и в карты режутся. А в воздухе тяжкое сопение и гудки пароходов, лошадиное ржание, поросячий визг, залихватские припевки страданья под гармонь и проникновенный затейливый мат. «Срамословье в них пред отцы и пред снохами...» — изрек когда-то наблюдательный летописец о славянском племени вятичей.

Касимов — это крутые каменистые въезды на базарную площадь с тяжелой колоннадой приземистых торговых рядов, с блистающими главами шатровых церквей,

с высокой кирпичной колокольней исполинского собора (ее уж разобрали), с чистыми мощеными прямыми улицами, с белой татарской мечетью, с минаретом, на шпиле которого ущербленный покосившийся месяц.

— Видал, месяц завалился набок? Это в него Петр Первый стебанул. Приехал сюда на своем ботике и спрашивает: «Что-то у вас за басурманская обитель?» — «А это,— отвечают,— молельня татарских царей».— «А ну-ка,— говорит,— и я помолюсь». Забил в пушку ядро, приложился ды ка-ак шандарахнет.

Касимов — это пряно и душно пахнущие овчины, и чищенные пемзой, отдающие подпалиной белые и черные валенки, тяжкие тулупы, сети, бубенцы, мерлушковые шапки и воротники, щегольские шевровые сапожки на высоком каблучке и яловые болотные сапожища.

Касимов — это самое заветное здание с высокими готическими окнами, с красным затейливым карнизом, с парадной двустворчатой дверью, возле которой учащенно и сладостно билось когда-то мое юное сердце,— Касимовский индустриальный техникум. «Чего робеешь? Входи, поступай!» — «А где жить? На какие шиши? На что ездить сюда за пятьдесят верст?» Так и не поступил — капиталу не хватило.

Летний Касимов был весь перекопан и закрыт для проезда. Долго объезжал город в длинной веренице рычащих грузовиков. При выезде на асфальт забуксовала моя «Волга», села в песке посреди проезжей части. Вмиг захлопали дверцы грузовиков, подбежали три шофера и с прибаутками, с матерком вытолкнули мою машину. Веселый, общительный народ мои земляки.

Переправа на реке стояла возле Толстикова, в двадцати пяти километрах ниже Касимова. Дорога до переправы — одно удовольствие, асфальт свежий, ни выбоин, ни ухабов. И снова пустынность, тишина. Зато уж после реки, от Толстикова до Потапьева, не только что асфальта, булыжника порой нет. И дороги нет. Ездят по полю: по овсам, по ржи, по картошке, по лесным вырубкам, по лесным полосам вдоль березовых рядков и даже по оврагам ездят, но только не по проезжей части. Здесь, на бывшей Муромской дорожке, сядешь за милую душу и версты не проехав: ухабы крутые, глубокие, как воронки после беглого артобстрела; колеи — что траншеи полного профиля, ляжешь на дифер — ни один трактор не стащит. Двадцать семь километров до Потапьева ехал я три часа. А ведь не так давно, в конце пятидесятых го-

дов, дорогу выложили заново камнем, в те самые годы, когда гремела Рязань, когда шумно строили большое Рязанское кольцо.

Я жил в ту пору, летом, здесь, в Высоких Полянах, у своего школьного товарища Петра Михайловича Бочкарева, завуча местной средней школы. Хозяйка его в Москву уехала сдавать экзамены в институт, а мы целыми днями пропадали на лугах, рыбу ловили. Вечерами заходил племянник Петра Михайловича, Иван, колхозный молоковоз, и заводил один и тот же спор: где лучше жить, в городе или в деревне? «В городе куда хошь можно пойти и чего хошь можно купить. А здесь куда пойдешь?» — «Отчего ж ты в город не едешь?» — «Чего там делать? Там, извини за выражение, по нужде сесть негде. Но жить там все равно лучше».

А то вдруг скажет: «Наверное, молоко потеряло питательную силу. Ну, куда его идет такая пропасть? Один я отвез его целое озеро. Город утопить можно в нем».

Он мог сидеть на завалинке часами, опершись на колени руками, смотреть вдаль. А то мечтательно высоким чистым голоском запоет: «Я одену тебя в темно-синий костюм и куплю тебе шляпу большую...»

— Энтузиазма не хватает у людей,— жаловался мне председатель колхоза Иван Павлович Комов.— На одних нас, на руководителях, только и едут.

Беспокойная была у него работенка, мотался он во все концы по этой каменистой тряской дороге и гордился:

— По этой дороге сам тамбовский губернатор ездил.

А то, выражаясь и кривясь, словно от зубной боли, признавался:

— Как съезжу в Рязань или в Сасово, так, веришь или нет, по трое суток животом маюсь. Хоть со двора не сходи.

Умер он на ходу: собрался идти на заседание правления колхоза, послушать, что ему скажут «демократы», как называл он своих правленцев, вышел за калитку — и упал. Сердце не выдержало...

Дорожного полотна от той поры во многих местах почти не осталось. И куда только камень делся? Перемололи, что ли, или в землю вогнали? И только каменные мосты с железобетонными перилами все еще стоят невредимыми. Поставлены они сто лет назад, когда бетон и стальные балки только входили в модное и прочное сочетание, которое впоследствии будет названо же-

лезобетоном. Это память о той поре, когда ездил здесь тамбовский губернатор.

Да что там тамбовский губернатор! Царская невеста проезжала по этой дороге. Триста с лишним лет назад вот по этой самой дороге выехала из Высоких Полян в Москву на царские смотрины Евфимия Всеволожская. Ехали на долгих с чады и домочадцы, прихватили целый воз нарядов, белья, съестных припасов, кормов, лошадей табун гнали для перепряжек в пути. Эти выборы царской невесты, эти дворцовые смотрины дворянских дочерей на триста лет опередили известные европейские конкурсы красоты. По Оке, по Волге выбирать дворянских дочерей поехал боярин Пушкин. В Касимове, в доме архиерея, он увидел Евфимию Всеволожскую и тотчас пригласил ее на смотрины. Царевичу дал знать, что послал из Касимова такую красавицу, равной которой нет и не будет во всей Руси. И Евфимия стала царской невестой; оба круга прошла, победила московских красавиц, покорила сердце юного царевича.

Боярин Морозов, уязвленный этой победой (на тех смотринах была его племянница), приказал вплести в косы Евфимии весь ларец царских драгоценностей, а весом они были не менее пуда. Да прихватить, притянуть волоса-то потуже...

И не выдержала царская невеста. От волнения, тяжести и головной боли во время венчания упала она в обморок. Морозов объявил, что невеста больна падучей. Отца ее, Рафа Всеволожского, сослали в Сибирь за то, что хотел всучить царю-батюшке порченую дочь. Там, в Сибири, он и помер. Евфимию заточили в монастырь.

Но вот чудо — до сих пор в Высоких Полянах тот бугор, где стоял когда-то барский дом, зовут бугром Всеволожских. Удивительно, как живуче у нас предание!

Эти самые железобетонные мостки называют у нас екатерининскими. Я пытался не раз доказывать, что им всего сто лет, при Екатерине железобетона не было еще, не знали. Но не тут-то было. Старики не верили мне: «Может, где и не было железобетона, а у нас был».

Под одним из таких мосточков, за Свищевом, убили моего прадеда Трофима Селивановича Песцова. Служил он у гавриловского барина и характером был крут...

— И как ему не быть, крутому характеру? — рассуждала мать моя.— Он двадцать пять лет в армии отслужил. Чай, не мед там пил. Николаевский солдат! До какого-то чина дослужился. Ну и старался.

— За что его убили?

— А кто его знает! Может, притеснял кого, а может, из-за бабы. Встретили его возле моста. Он был верхом. Говорят, кольями били. А он в седле удержался. Вырвался... И вот какой крепости был человек — полуживой, лег на холку и в поместье приехал. Сняли его, он тут же помер.

— Куда он ездил ночью-то?

— Поди, к полюбовнице. У него их было-то, господи! Он и дома редко жил, больше все у барина. А то и приедет — радость невеликая. Крутой был, царствие ему небесное... Будешь в Любовникове — сходи на его могилу. Он возле церкви похоронен, за оградой. Памятник стоял хороший. Повалили. Но могилу найти можно: от паперти на угол ограды сделай восемь шагов. Там стоит береза, а возле березы могила. Его могила.

Нет ни березы, ни могилы, ни церкви...

От прадеда остался в Мочилах большой пятистенный дом красного лесу. Сгорел он в тридцать третьем году у меня на глазах. На пепелище нашел я витую бронзовую рукоять от его солдатского тесака. Ухитрялся я насаживать на нее деревянные точеные лезвия. Это «оружие» служило мне и шпагой и шашкой в играх в мушкетеры и в казаки-разбойники.

От Потапьева я свернул с большака в лесную сторону — через Беседки, Пёт, Станищи на Веряево, на Гридино. Это уж суть мещерские села: отсюда и начинается разливанное море «непроходимых да непроезжих» лесов на Кочемары, на Ерахтур, на Копаново...

В Гридине в далекую довоенную пору я начинал свою трудовую самостоятельную жизнь учителем семилетки. Это было огромное село на три колхоза, с больницей, семилетней школой, клубом, избой-читальней, почтой. Три поместья когда-то стояло в нем, одно из них князей Волконских, с огромным садом, с липовыми и сосновыми аллеями, с тремя прудами, с тремя островами на прудах: жасминовый остров, сиреневые острова — белый да синие... Помню, у старой экономки, жившей напротив барского сада, хранились фотографии: двухэтажный дом с колоннами, кирпичные конюшни, серые в яблоках рысаки. И сам князь в резном кресле, при орденах, и борода, как покрывало, на груди... Да, все проходит. Ушло с ветром... Ни дома с колоннами, ни прудов, ни сирени, ни сада. Две голенастые заломанные сосны — и чистое поле.

И от села осталось не более четырех десятков домов. В одном из этих пятистенных домов, у Фрола Андриановича Муханова, я и проживал. Двое нас было, снимали горницу: «уцытель маленький» и «уцытель большой». «Уцытель маленький» был я. Мне в ту пору стукнуло всего семнадцать лет.

Останавливаюсь возле дома Мухановых; на высоком крыльце, на лавочках полно народу — все молодежь, дети и внуки-москвичи. Спрашиваю старуху, она стоит в дверях:

— Тетя Катя, не узнаете?

— Нет. Чей-то чужой,— отвечает уверенно.

— А ведь я жил у вас, в горнице.

— У нас учителя все жили. Много их было, всех не упомнишь.

— Так и не запомнили ни одного?

— Почему ж? Помним, знаем. Один учитель теперь кино делает.

— Вот он я и есть.

— Ба-атюшки мои! Как же я обозналась? Да у вас вроде бы не было бороды?

— Не было,— смеюсь,— замаскировался, чтоб не узнали.

— Где ж вас теперь узнать? Полжизни прошло.

В избе чисто, светло от белых кружевных покрывал, от тюлевых штор, от большого, во весь простенок, трюмо, от скатертей, от радужных половиков.

— Как живете?

— Хорошо живем. Ноне жить можно, слава тебе господи. Это не прежние времена.

Но вспоминают больше все прежние времена, на теперешних не больно задерживаются. Тут все ясно: деньги есть, хлеб есть, картошка, молоко. А чего нет — достанем. Там же было все куда сложнее. Фрол Андрианович маленький, сморщенный весь, как усохший, но говорит свежим тенорком:

— Теперь что, никаких волнений. А в тридцатом годе повеселились. В двадцать четыре часа провесть всеобщую коллективизацию! Вот задача. У Гришки Лобачева на дворе решили стойла сделать, ко мне плуга сносить. А тут верявские пришли, соседи. И давай стойла ломать. И плуга порастащили. Тут Столярова забрали, подрядчика, в Кузнецкстрой отправили. Сына у Малышева забрали. Малышев мельницу деревянную держал, возле Борцов была мельница. Ханакова забрали Семена, сына

Андрея Андреевича. Петрушин, колесник, ободья гнул... Вот какая история была. Васю Афонина поставили председателем колхоза имени Крупской. Вступил я только в тридцать третьем году.

— Отчего ж так поздно? — спросил я.

— Я на стороне был, все в отходе. Воевал опосля. В кавалерии, в артиллерии на конной тяге и в обозе. Всю амуницию в порядке содержал: чего чинишь, чего смазываешь, чего чистишь. Бывало, все горит! Трензеля, мундштуки с четырьмя поводьями...

Я выехал от Мухановых уже в сумерках. Остановился возле школы, обнесенной штакетником. Все те же два корпуса: один — с крылечком, обшитый тесом, выкрашенный бурой краской, второй — бревенчатый с огромными во всю стену частыми окнами. Как много здесь было ребятни! Четырнадцать классов! Занимались в две смены, до ночи. А теперь, сказали мне, всего сорок учеников. Это на все окрестные села. Сказали, что закрывать будут школу, если число учеников упадет до тридцати.

Я долго стоял, опершись на забор, смотрел на опустевшую школу с темными окнами, вспоминал прежние годы, слышал давно забытые голоса и видел самого себя в хромовых сапогах, в отцовской вельветовой тужурке, с серебряными часами, отцовскими, именными... Цепочка на груди, из петли в карман пущена, ворот хомутом, шевелюра до плеч. Иду в класс широким шагом, валкой походкой — для солидности. Вхожу. Шарканье ног, хлопанье парт, прысканье.

«Здравствуйте, дети!»

«Здравствуйте»,— отвечают вяло, вразнобой, и все смотрят на доску.

Смотрю и я: через всю черную доску мелом, аршинными буквами: «Граф Можаев + Истомина». Стервецы! Мерзавцы! Это я про себя ругаюсь, а вслух что-то бормочу: «Откройте тетради, приготовьтесь к диктанту...» И малодушно стираю сам, стираю и чувствую, как позорно краснею, все лицо горит, и даже лоб вспотел. Больше всего боюсь, что передадут ей: я влюблен в нее по уши и стесняюсь ее, она — завуч и старше меня на целых два года... Мерзавцы! Откуда они пронюхали? И кто им выдал мое школьное прозвище? Ужасно я страдал от этого «графа». Это ведь когда было? В тридцатые годы! Обиднее прозвища в те поры и не выдумать.

Отсюда, из этой школы, из этого села уходил я на войну осенью сорок первого года. Много нас ушло отсюда: Коля Комаров, Иван Ханаков, Ваня Чуев, Шура Гуреев, Шура Егжов, Александр Александрович Жданов, Борис Хитров...

В один и тот же день по всеобщей мобилизации сгрудилось на этой самой Муромской дороге великое множество народу, шли на Нестерово, Любовниково, Сасово, к железной дороге. Шли медленно, с привалами, с ночевками — всего лишь по десять верст в день проходили. Обедали прямо в поле — разбирали с повозок свои мешки, располагались во кружок, по-артельному.

У нас с дядей Колей Можаевым мешок был на двоих. Припасы укладывали нам вместе по-семейному: я был еще молод и глуп, а он уже две войны прошел. Наложили мешок под завязку, проводили со слезами, с причитаниями.

И древней муромской дорогой
Пошли мы — млад и стар...
Где предки ехали на дрогах
Косами бить татар;
Где ратных проносили кони,
Хвостами пыль мели,
Где свист разбойничьей погони
Слыхали ковыли;
Где ехал на базар вчерашний
Тархан и коновал;
Где запах дегтя и ромашек
Я много лет вдыхал...
Прямая пыльная дорога,
Визгливый плач колес.
Тянулся медленно и строго
По ней войны обоз.
И люди шли, дымя махоркой,
Спокойно, как в извоз...

Да, мужики шли, спокойно покуривая, занятые своими разговорами. На обочинах стояли бабы с малыми детьми, девки, старухи; по ним плакали, рыдали, голосили, их отпевали, как покойников, а они шли, не оглядываясь, занятые своими мыслями, заботами. Молодежь, ребята куражились: шли кучно вокруг повозок, кто-то сидел на телеге, растягивал во всю грудь гармошку, наяривая страданье, из толпы же вперебой со свистом распевали соленые припевки.

Это было сильное племя. Да, «плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля».

— Двести восемьдесят человек насчитали мы по Пителину,— рассказывал мне брат Иван.— Две недели си-

дели в военкомате, выписывали. Хотели, значит, памятник не безымянный, а чтоб с фамилиями, на каждого дощечку из нержавеющей стали. Но Кашинский запретил. Вы мне, говорит, не перемешивайте погибших и пропавших без вести. На которых, говорит, похоронки есть — вешайте дощечки. А на тех нельзя. Вдруг, говорит, кто-либо из них окажется не в том месте. Но так делить погибших мы отказались. Это значит обидеть добрую треть ни в чем не повинных солдат.

Кашинского теперь сняли, перевели из Пителина куда-то с понижением. А Пителино так и осталось с безымянным памятником.

Я остановился перед въездом в Пителино, на развилке дорог, на том самом месте, где мы долго топтались когда-то, не могли войти в общий поток мобилизованных, шедший по большаку. Было пустынно, темно и тихо; только уныло и ровно гудели провода на телеграфных столбах, да никла долу, чуть вздрагивая от легкого ветерка, высокая густая пшеница. Земля здесь добрая, и урожай в этом году был хороший.

Когда-то на этом месте стоял заезжий двор с трактиром; старики рассказывали, что будто хозяин держал патент на распитие русской горькой. И вывеска была по такому случаю: «Пить велено». Оттого и название ближнего села — Пителино.

«Сельцо Пителино на черноземах» — сказано в древней грамоте. Теперь это рабочий поселок с сыроваренным заводом республиканского значения. Вот он, прямо отсюда, от большака, и начинается.

Я въезжал на освещенную асфальтированную улицу и твердил подвернувшийся стишок:

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной...

А родного дома давно уж нету.

1976 г.

ЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

Поехал я в Пензу с определенной целью — посмотреть, как претворяется в жизнь постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о личных хозяйствах кол-

хозников, рабочих, служащих и других граждан. Исполнилось полтора года со дня принятия этого постановления. Но не слыхал я пока о том, что где-то нарезают новые участки под сады и огороды. Не слышал, какие строительные организации заключают подряды на возведение домов и сараев на отведенных участках. Какие размеры этих участков? И можно ли разбить на них сад, огород да еще разместить хозяйство, то есть скотину держать? И где корма продаются? Почем? И выпасы есть ли поблизости?

Хотя, конечно, в общем и целом говорят: надо поощрять... Но ведь общими словами тут делу не поможешь. Нужны иные меры. Какие именно, поговорим об этом ниже. А пока скажу еще несколько слов о пропаганде постановления.

1

В тот самый момент, когда вышло постановление, когда нужно было разъяснять его значение, агитировать за укрепление личных и подсобных хозяйств, на экранах страны демонстрировался кинофильм «Обочина», где эдак размашисто перечеркивалась всякая идея заинтересованности в этом же самом личном хозяйстве.

Я позволю себе вкратце напомнить содержание фильма. Шофер автобуса, примерный, образцовый шофер, любит копаться в земле, делать грядки, сажать яблони, цветы разводить. Своими руками построил великолепный дом, сад вырастил, теплицы соорудил. Не усадьба, а райский уголок. Да, этот сад, эти цветники приносят не только радость душе его, но и хороший доход. И яблоки, и лишние цветы семья не выбрасывает в придорожную канаву, а отвозит на рынок. Деньги не складывает в кубышку; на вырученные деньги, заработанные своими руками, шофер покупает дорогие вещи: автомобиль, ковры, хрусталь, мебель. Все то, что, сообразно вкусу своему, считает необходимым условием радостной и безбедной жизни.

За несколько верст от этого шофера в деревне живет некий дядя Гриша. У него усадьба куда обширнее, чем у шофера. Но нет на ней ни яблонь, ни слив, ни теплиц с красными помидорами, с розами — одна картопля, да пустоши, поросшие сорняками, да ветла. Дядя Гриша не любит роз. И яблок много не надо ему, и помидоров

красных. Ну их к ляду! Сам все не съешь, продавать везти некогда, да и неохота. Дядя Гриша любит играть на балалайке, а еще в домино, ну, песни петь. Будет он с теплицами возиться! Смешно...

Случилось так, что племянник дяди Гриши женился на дочери того же шофера. Дядя Гриша был по сему поводу в гостях у шофера, и очень ему «не пондравилось», как говаривал чеховский монах из рассказа «Архиерей», это богачество. И он затаил и злобу, и даже обиду на шоферское хозяйство. Ужо я устрою ему, было написано на дяди Гришином лице. И устроил...

У того шофера бульдозером снесли усадьбу и особняк развалили, потому как не на том месте оказался. Взамен дали квартиру в пятиэтажном доме; а теплицы свои удрученный этой оказией шофер решил поставить на усадьбе своего зятя, то есть там, где живет и дядя Гриша. Вот здесь и показал ему кузькину мать дядя Гриша. Как увидел он, что на свободном пустыре, поросшем сорняками, поднялись эти самые теплицы, чтобы смущать соседей изобилием ранних помидоров, огурцов да еще каких-то чайных роз, вскипела негодованием его непримиримая душа, взял он в руки кувалду и побил, разнес вдребезги все эти легкие тепличные переплеты и каркасы, под корень подрубил эту личную собственность и свата-шофера прогнал. Вот так! И сам не хочу на земле работать, и другим не дам. Потому как врага почуял в шофере — мол, разбогатеть хочет дурень, по чистой несознательности утруждает себя в тяжелой работе. И пожалел ведь шофера дядя Гриша — ну как же? От тяжелой работы освободил. Бери, мол, в руки балалайку, садись со мной на завалинку и вместях наяривать будем. А то давай в домино «козла забивать». Очення способно — дела нет, и руки заняты. Но шофер отказался плясать под дяди Гришину балалайку, обиделся. Авторы же фильма, как мне представляется, осуждают за это шофера, а дядю Гришу хвалят. Хорошо поступил, бдительность проявил насчет личного хозяйства, наживы то есть. Крепко осуждают шофера. Весело смеются над ним, а дядю Гришу прославляют. Мне стало грустно от прославления деяний этого балалаечника...

2

Да, знакомая, традиционная фигура в нашей литературе — эдакий бдительный охранник, давненько уж бродит он по нашим селам в ореоле авторского сочувствия и поучает людей, чтоб не заживались. Ведь ежели кто будет на рынок возить овощи да цветы со своего огорода, так разбогатеет, хрусталь начнет покупать, машины. От него этим самым запахнет, мещанством. А ежели плюнет на усадьбу и, раздавив одну на троих, сядет за домино — то полный порядок. Друг и брат! Такие типы, как дядя Гриша, с луны к нам не свалились, их рождало время, литературный настрой, выражавшийся в презрительном отношении к материальной заинтересованности сельского жителя, к его хозяйской хватке — особенно на своей усадьбе. Дядя Гриша в различных вариациях появился еще полвека назад и дожил до наших дней. Да и как ему было не дожить!

Кому не знакома эта сезонная маета наших огородников да садоводов? Мало вырастить ранние огурцы да помидоры: главное — как их сбыть? Как отвезти в город? На чем? Машин для отвозки ни колхоз, ни райпотребсоюз, ни другая какая организация не выделяют. На месте ни огурцов, ни помидоров никто не закупает. Куда же их девать? А вывозят на тачках, на телегах на большую дорогу и складывают мешки этих ранних свежих огурчиков штабелями вдоль шоссе. И голосуют целыми днями. Подвези, родимый, до города! Деньгами заплачу. А то хочешь — натурой.

Каждое лето езжу я на родину, в Пителинский район Рязанской области. И видывал, как на добрые полсотни верст, от Кирицы до самого Шацка, выстраиваются вдоль шоссе шиловские огородники со своим добром. Накрывают мешки с огурцами брезентом, поливают водой, чтобы спасти от палящего солнца. Здесь, на дороге, по сорок копеек килограмм — бери хоть мешок, хоть целый воз. В Москве таких огурцов и за рубль не купишь. Три часа всего и подвозу. Но поди ты — никто и не думает подвозить это добро. Портятся, высыхают огурцы, целыми днями простаивают, маются на жаре колхозные работники. Но зато некий дядя Гриша, уже местного руководящего масштаба, спит спокойно. Ну как же? Он не дает потачки колхозникам. Хочешь на рынок — садись на свой и езжай пешой. И так из года в год, кажинный раз на эфтом самом месте.

Я вспомнил начало шестидесятых годов. Все тогда — коров, свиней и даже кур — сводили в колхозы да совхозы. А ежели там не нужно это добро, переводи его под корень, чтоб духу его не было. Ну как же? Эти усадьбы, да коровы, да свиньи, да куры отвлекают от культурного отдыха. А главное — они же, эти свиньи да куры, общественный хлеб и жрут, и клюют. Вот ежели б такую скотину изобрели, чтоб она святым духом питалась и вырастала где-нибудь на стороне, подальше от современного образцового поселка, и прямо в готовом, жареном, виде появлялась к нам на стол по строгому расписанию, тогда бы другой оборот был. И никаких тебе проблем — ни кормов, ни пастбищ.

Увы, эти горькие нелепости не плод досужего вымысла. Многие проблемы, связанные с кормами да с пастбищами, с приусадебными участками да с рыночным сбытом, остались и сейчас. А создало их время былого пренебрежения не только к личному хозяйству, но и ко всему укладу сельского жителя.

Давненько уж наблюдаю я сельскую жизнь не в качестве московского туриста, а со стороны самого сельского жителя. В шестидесятые годы проживал каждое лето в родном селе Пителине у брата; потом мать моя переселилась в село Дракино Серпуховского района. Теперь я большую часть года живу там. Это старинное русское село раскинулось на высоком окском берегу на стыке трех областей: Московской, Тульской и Калужской. В старину так и говорили: дракинский петух кричит на три губернии. Теперь этого не скажешь — границы все те же, а петухов нет. Изо всей скотины остались одни собаки. Вот разве что так можно переиначить старую поговорку — дракинская собака брешет на три области. А скотины здесь было будь здоров! Дракино издавна славилось знаменитыми заливными лугами, огородничеством да ткацким промыслом. Это отсюда, должно быть, вышел некрасовский огородник лихой, сгубивший жизнь свою за дворянскую дочь.

Атака на скотину началась еще в конце пятидесятых годов с обрезания огородов. Сверху оно виднее, там и рассудили: поскольку колхоз перешел в совхоз, то и огороды должны соответствовать. И обрезали их. И заборы приказали перенести. И вот с той поры за дракинскими заборами на месте бывших грядок шумят непролазные заросли общественного бурьяна. А за иными заборами даже березовые рощи выросли. Так и называется — Ко-

зявкина роща. Козявка — это прозвище бывшей владельницы обрезанного огорода.

Разделавшись таким макаром с «излишествами» в огородном хозяйстве, взялись за личных коров. Ну, зачем вам, глупые бабы, нужны эти коровы? Одна грязь от них на дворе да навоз, то есть вонь. Живите теперь по-культурному. А молоко вам на дом привезут или, на худой конец, в магазин сходите. Прогуляетесь, невелики господа. И эта «культурная» кампания поуменьшила поголовье коров. Ведь она сопровождалась обрезанием «частных» покосов. А как насчет привоза молока на дом? Частично выполнили и это условие — привозят один раз в неделю в магазин, по четвергам. Очередь с бидонами выстраивается с утра пораньше. Больше трех литров не нальют. Так что не надорвешься. Легкая прогулка, и больше ничего.

Но с огородами (уменьшенными) еще веселее вышло. Видно, на беду, помер директор совхоза, состарился и ушел на пенсию управляющий отделением. Заступила на их место молодежь энергичная, смелая, волевая. Прежде всего решили ликвидировать лошадей в отделении: «Зачем вам лошади? У нас механизация, электрификация, интенсификация».— «А на чем огороды пахать?» — «Это чьи огороды? Пенсионеров, что ли? Пусть на себе пашут». Рраз — и квас. Ликвидировали...

И появились в Дракине по весне цыгане. Откуда-то из-за Кремёнок приехали на своих лошадях. И пошла бойкая торговля: «Тибе лошадь дам за двадцать рублей. Пахать сам будешь. Меня и семью мою кормить будешь. Мине обед и ужин с вином. Пью только чистое белое».— «А тибе лошадь дам за тридцать рублей».— «Дак почему ж ты ему за двадцать рублей, а мне за тридцать? И где же справедливость?» — «Справедливость захотел — паши на себе».

И пахали на себе. Соседи мои пахали. В одну соху впрягались по четверо: Машка, да Палашка, да Колупай с братом. А Сашка за рассохой шел да покрикивал. Весело пахали. А еще на выручку к одиноким старухам пришли добровольцы — городская команда из тех, кого выселили на время исправления из Серпухова за непотребные действия в нетрезвом виде. Эти весельчаки пригоняли и лошадь совхозную, и весь прочий инвентарь (из другого отделения брали). Плата на совесть — сколько выпьют.

Наконец и до выгона добрались. Был в Дракине пре-

красный луг, тянулся он узкой полоской вдоль села, зажатый высоким обрывистым берегом, когда-то речным, и озером-старицей. На него выгоняли стадо личных коров, паслись на нем телята, свиньи, гуси. Распахали, вернее, разворотили этот луг лет пять назад. И посеять как следует там ничего не могли. На тракторе не развернешься, лошадей нет. Да и кому нужно возиться там? И забурьянел этот луг. Прикончили последний выпас. Некуда стало выгонять коров. И осталось в Дракине всего семь коров на триста дворов. В прошлом году предлагал совхоз телочек — не берут. Старики вымерли, а те, что помоложе, нагляделись на эту маету с коровами, осторожничают, глядят весело, шутят, если заговоришь об этом:

— С той коровой хватишь редьки хвост. Фуражу нет, покосы не дают, то запрещают. Пасти негде. Нет уж, лучше треугольным молоком обойдемся. С него тоже вроде бы не умирают.

И еще вспоминается недавнее мероприятие, когда с усердием, достойным лучшего применения, стали сводить с лица земли так называемые неперспективные села (да все ли они были неперспективные?) и свозить колхозников да совхозников в большие многоэтажные дома. Де, мол, дешевле обходится строительство квартиры в общем доме, чем строительство одноквартирного особняка. И дорог меньше потребуется, и клубов, и больниц. Сплошная экономия!

Перевозили, закрывали деревни и села там, где надо, а подчас и где не надо: оставлялись пастбища, обихоженные угодья, огороды, выгоны. На новых местах не только что пастбищ,— дворов не было; они выносились за версту от поселка, а огорды и того дальше. На кухне же поросенка не вырастишь и корову в кладовку не загонишь. Конечно, вся эта ломка, а также запрет на продажу кормов, на покосы — все это сильно сократило личный скот. Как теперь увеличить его поголовье? Какие меры нужны для выполнения правительственного постановления? Вот вопросы, вот мысли, что занимали меня по пути в Пензу.

3

В первый день по приезде я узнал, что постановление обсуждалось на областных совещаниях, на кустовых, на районных.

— Актив в основном один и тот же, так что мы его трижды охватили этим мероприятием,— сказали мне в области.

— Не много ли совещаний по одному вопросу?

— Что вы! Вопрос наиважнейший. Тут скупиться на совещания не следует.

Ну, благо, думаю. Еще порадовала меня областная газета. Как раз в день моего приезда на последней странице помещена была огромная реклама: продаются одноквартирные сборные дома для жителей сельской местности. Вот оно! Наконец-то сельский житель будет жить и впредь в отдельном доме, современном, благоустроенном. Комбинат наладил выпуск этих домов. Шведский комбинат. Дома с высокой крышей, с мансардным этажом. Внизу четыре комнаты да наверху две. Отопление паровое: и трубы, и радиаторы, и котел — все есть. Покупай, собирай и живи себе на здоровье. И цена сносная — 12 700 рублей. Если взять в кредит да в рассрочку — можно и осилить. Хорошо.

В обкоме партии попросил второго секретаря Георга Васильевича Мясникова:

— Покажите мне такой колхоз, где хорошо развито не только общественное, но и личное животноводство. А еще — где строятся, то есть собираются, эти прелестные шведские дома?

— Это можно,— ответил Мясников, улыбчивый, приветливый человек.— Поезжайте в Радищево, на родину нашего знаменитого земляка.

И мы поехали в Кузнецкий район. Но по пути сделали остановку в Павлово-Куракине. Село растянулось на добрую версту, вдоль дороги двумя порядками традиционных русских изб — с резными наличниками, с тесовой обшивкой, с палисадниками, огороженными крашеным штакетником. И вдруг — в чистом поле, на бугре, по-над избами засветились зелеными да желтыми высокими фронтонами, чистыми, полированными до блеска панельными стенами веселые шеренги шведских домов. Стоп машина! Мы вылезли из «газика», прошли расцвеченный диковинными домами придорожный косогор и оказались на строительной площадке. И прораб вышел к нам навстречу.

— Шведские дома? — спрашиваем.

— Они самые. Привозим из Чаадаевки, с домостроительного комбината. Вот собираем.

Еще с дороги мне показалось, что дома собраны как-

то тесно, в кучу, будто ребенком поставлены на игрушечной доске. Подходим ближе. Да, так и есть, дома стоят кучно, в нескольких шагах друг от друга. Что за ералаш?

— Вы что ж, насовсем поставили дома-то? Или передвигать станете?

— Зачем передвигать? — отвечает прораб.— Дома стоят на фундаментах. Каждый на своем месте.

— Отчего ж вы их сгрудили так? Лепите друг к другу, как ласточкины гнезда. Или места нету в чистом поле?

— Дак по проекту ставим. Проект составлен и утвержден свыше. Значит, по три сотки выделено на каждый дом... чтоб цветник разбить, дорожки песком посыпать. Чистота и культурность.

— Дома-то для сельских жителей! — кричу.— А где сад, огород, подворье? Это ж хозяйство!

— Хозяйство вон в кладовке-сарайчике располагай. А ежели огород или сад захотел, так в поле нарежут, что положено,— отвечает спокойно и даже глядит с недоумением: чего это приезжий человек так волнуется?

Продолжаю яриться:

— Вы сами в деревне живете?

— В райцентре.

— Где ваш сад, в поле?

— При чем тут мой сад! Я его сажал и огораживал не по проекту. А здесь — проект. Разница. Понимать надо.

Да, святая истина. И как это я забыл? Ино дело для себя, ино — для других, по проекту. Утешает меня Петр Михайлович Хоровинкин, председатель областного профсоюза сельских рабочих, добрый, мягкий человек. Он тронул меня за локоть:

— А вон тот угловой дом имеет участок поболе. Пожалуй, там и шесть соток намеряешь.

Да, этому дому повезло — от одного порядка три сотки перепало да от другого столько же.

— Но почему же, почему так скупо землю нарезаете? Или у вас общая канализация, теплоцентраль? Экономите на общих сетях?

— Нет, отопление и канализация у нас местные, то есть для каждого дома и выгреб и котел отдельные. Земли нам не жалко. Но порядок установлен не нами.

Ежели порядок установлен не нами, и переживать

нам нечего. Вот он, успокоительный эликсир подотчетного лица. Все расписано заранее. О чем думать? Зачем волноваться?

4

И тем не менее волнуются люди и переживают и за общие, колхозные дела, и за личные хозяйства. Я встречал таковых. Речь идет о развитии инициативы, самостоятельности в делах, в поведении, во взглядах. В колхозе «Гигант» Кузнецкого района несколько часов провели мы в беседах с председателем колхоза Владимиром Павловичем Цирулевым. Какое прекрасное хозяйство у него: огромные автопарки, отличные механические мастерские, четырехрядные скотные дворы и целый комбинат, завод-комплекс по откорму бычков на шесть тысяч голов! А его бригадные столовые по чистоте, по красоте отделочных работ, по интерьеру могут смело состязаться с нашими столичными кафе и даже ресторанами. Высокие стенные панели под дуб, люстры из хрусталя, метлахская плитка, как в Никольском соборе.

— Откуда сие, Владимир Павлович?

— Контакты налажены,— отвечает с улыбкой.— Эта плитка — с Северного Кавказа, панели — с мебельного комбината.

И хорошо, что контакты налаживаются между деловыми людьми, подумал я. И раньше в России ценили эти контакты, и потому где-нибудь в глухом захолустье вы могли встретить церквушку или особняк, поражавший вас совершенством форм и красотой отделки. В том же Кузнецке, в бывшем здании банка, я видел ажурную чугунную лестницу прекрасного каслинского литья. С Урала везли. А комнаты отдыха в комплексе у Цирулева обставлены лучше, чем в знаменитом совхозе «Вороново», считающемся образцово-показательным на всю страну. И тем не менее Цирулев сетовал на стесненность в действиях.

— Ну, сами подумайте,— говорил он.— В летнее время мне приходится порой кормить до тысячи человек. У меня двести с лишним шоферов да механизаторов. Эти, почитай, круглый год на столовую рассчитывают. А там еще скотники, доярки. Мне нужна для собственного потребления свинина, говядина, нужны яйца, молоко. Однако молоко я не имею права выдавать колхозникам, пока план не выполню. Конечно, я выдаю, но в план

это не засчитывается. В совхозе засчитывают, а у нас нет. Попробуй заведи я свиней для своих нужд! Мне их тут обсчитают по всем статьям, и тогда все на свете проклянешь. Не только что свинью зарезать — поросенка в расход не пустишь. А яйца! Мне нужно в год примерно восемьдесят — сто тысяч яиц. Кто мне их даст? А птицеферму держать не имею права. У меня — специализация.

— Как же выходите из положения? Ведь людей-то кормите.— Я обедал у него в столовой, кормят дай бог.

Усмехается:

— Приходится выкручиваться. В январе сдаю тонну мяса за птицефабрику. Они мне в обмен на это дают тысячу кур. Вот этих кур и держу до декабря месяца, до переучета. Кормлю их зерновыми отходами, которые раньше в пруд высыпал. Эти несушки и дают мне необходимые яйца. А в декабре сдаю их на мясо.

Нам нужна система прямых договорных отношений,— говорит он убежденно.— Дайте мне право поставить продукцию непосредственно на промышленные предприятия. Мы обговорим и сроки поставок, и количество, и виды продукции, закрепим юридически договором, по всем правилам. Что вам надо? Огурцы, помидоры, капуста, клубника, цветы? Все вырастим, все дадим в срок. И мясо, и молоко, и всякую иную продукцию мы хотим частично распределять сами. Нельзя же все, вплоть до последнего яйца, включать в план твердых поставок. Напланируют нам тех же овощей... Подходит лето, мы вырастим, отвозим на базу — не берут. Девать некуда. База одна, колхозов и совхозов много. И получается производственная затычка. В столовых, в ресторанах, в магазинах пусто, нет овощей, а база переполнена. Продавать свои овощи мы не можем — негде, да и некогда. Все это надо заранее обговаривать да предусматривать. Вот и везем это добро на ферму...

Да, знакомые разговоры. И раньше я слышал такие же претензии наших председателей. А как маялись владельцы личного скота! Сдать свою буренку на мясозаготовки в некоторые годы не было никакой возможности. И продать негде. Кто ее купит, когда корма запретили выдавать? И фураж не продавали, и покосов не выделяли. Положение в крепких хозяйствах спасали все те же самостоятельные председатели, истинные хозяева своего дела. Они попросту взяли на себя ответственность и выдавали колхозникам и зерно, и грубые корма,

И в «Гиганте», и в соседнем колхозе, в селе Радищеве, личный скот за эти десять — пятнадцать лет нисколько не уменьшился; да потому что не было такого года, чтобы колхозникам не давали зерна. Килограмм зерна на заработанный рубль здесь не диковинка. А механизаторам дают и по два килограмма. А как же иначе? Человек, живущий на селе, не должен думать о прокорме скотины или покупке городского хлеба. У него должен быть свой хлеб. Вальцовая мельница рядом — мели и выпекай сам что хочешь: блины, пышки, пироги. Ставь пиво или квас. Не хочешь — ступай в магазин, покупай готовое. Нельзя же, в самом деле, сажать сельского жителя только на привозной хлеб!

Самостоятельность в большом деле требует развития самостоятельности и в малом. Два колхоза, объединившись, сами построили асфальтированную дорогу от Кузнецка до Радищева; на свой страх и риск они взяли подряд у... подрядчика, то есть построили дорогу вместо дорожно-строительного треста. Получали по пятьдесят тысяч рублей за километр.

Здесь не обрезали огороды у колхозников и в пятиэтажные дома их не переселяли в погоне за дешевым городским комфортом. Живут колхозники в хороших, большей частью деревянных домах. Есть и водопровод и отопление, и у многих даже эти самые теплые уборные — верхняя отметка любителей цивилизации. Как в доброе старое время, украшают сельские жители наличники да карнизы затейливой резьбой, стены обшивают тесом, красят крылечки и заборы. И сады, сады...

И Нижнее Облязово, и Верхнее Облязово, ныне Радищево, эти огромные села нисколько не уменьшились за последние пятьдесят лет; а районный центр — город Кузнецк — рядом, всего в семнадцати километрах. Но не уходил туда народ в погоне за городскими удобствами и за устойчивой зарплатой. Это не значит, что отсюда вообще никто не уезжал. Дорога всем открыта, уезжали все, кто увлекался иными профессиями. Но никто не бежал. Разница. Потому и нет нужды у этих колхозов в работниках. Кадры местные, нужды в них, повторяю, нет. Средний возраст колхозников в колхозе «Гигант» — тридцать три года. А средний возраст в механических мастерских, в гараже — всего двадцать шесть лет. Что же их удерживало в этих селах многие десятилетия? Роскошные клубы? Нет, клубы здесь обыкновенные. Пятиэтажных домов, чтобы с управдомом, тоже нет. Так что

же? Этот вопрос я задавал многим на селе. Только плечами пожимали.

— А был ли хоть один год, чтобы вам не давали зерна?

— Такого не было,— отвечали уверенно.

— В 1936 году, в самом засушливом, дали всего по шестьсот граммов на трудодень. А так меньше кила сроду не давали.

Вот и весь секрет. Заботились о людях, то есть относились к ним по-человечески. И теперь живут по-людски: и государству дают, и себя не обносят. Наградили колхозника, к примеру, орденом Ленина за долгий и безупречный труд — пожалуйста, ему и прибавка от колхоза. Избрали почетным колхозником, так не только на доску Почета занесли, но еще назначили и колхозное пособие. Зерно дают, корма дают, топливом обеспечивают, огороды пашут... Это все мелочи, возразят мне. Мелочи! Но из таких мелочей складывается тот самый жизненный уклад, который является основой основ прочности и благосостояния всего государства.

Именно в этом смысле и понимать надо постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР как чрезвычайно важное условие по развитию инициативы и самостоятельности самых широких слоев населения и всемерно способствовать выполнению его.

1979 г.

ЕЩЕ НЕ СКОШЕНЫ ЛУГА

Я только что приехал с берегов Оки; вдоволь нагляделся там на неохватные просторы заливных лугов, расцвеченных белой да красной кашкой, малиновыми шапками плакун-травы, золотыми россыпями шаровидных бубенчиков купальницы да синей прошвой вязеля и касатика. Давно уж не было таких добрых травостоев. Сунешься в лиловую рощицу — и там трава по грудь, буквально кустарник глушит.

И вдруг где-то в эту светлую сенокосную пору, вместо того чтобы до седьмого пота тешиться с косой в руках на лугах да на лесных опушках, людей заставляют брать топоры, рубить березы и вязать веники. Что за прихоть досужая?

Береза-де сорняк, поля губит. Но вырубают не мел-

кую поросль — ольху, да березу, да лещину, не поля расчищают, не покосы готовят под косьбу — рубят лес, валят взрослые деревья.

«Комсомольская правда» недавно напечатала об этом письмо студентов Осташковского ветеринарного техникума: «...Каждый из нас срубил около 40 березок. А в группе нас 25 человек. Но ведь ездит не одна наша группа, и не только мы «решаем» кормовую задачу с помощью подобного браконьерства. С этим можно было бы смириться, если бы больше не было выхода из создавшейся бескормицы. Но если уделять больше внимания заготовке сена и не гноить его под осенними дождями, то отпала бы необходимость калечить лес... Неужели наша природа охраняется только на словах?..»

Случилось так, что я побывал еще до этой публикации в тех же местах, о которых писала молодежная газета, и письмо то видел, и авторов письма видел, и говорил с ними. И не только с ними... Да, это — кампания! Одно дело, когда скоту не хватает кормов и приходится рубить ветки. Другое же — когда травой все леса забиты.

Помню, ехал в Осташков и думал, гадал с каким-то странным чувством недоумения и горечи. Что за нужда? Зачем с топорами в руках идти на порубку белоствольных лесных стражей речного и озерного полноводья? Да еще где, в каких местах? На Селигере! В истоках великих рек наших. В самой колыбели Волги, Днепра, Западной Двины. Что случилось? Почему с топорами, а не с косами? Может, по научному грандиозному открытию установлено, что сено и силос потеряли питательную силу, и посему решили заменить их березовыми вениками? Были же кандидаты от науки, которые на всю страну кричали: искоренить луга, поскольку травополье устарело.

А может, не пилят и не рубят березы? Ну, может, просто заламывают, как это делали спокон веку на Руси? Перестарались, может, ребятки из техникума, сочиняя письмо? Их послали на недельку в лес позагорать да веточек поломать. А они тревогу подняли...

В старом здании Осташковского ветеринарного техникума, разместившегося в бывшем Коммерческом банке, я встретился с завучем Николаем Васильевичем Балашевым. Он ввел меня в свой кабинет и буквально со всех сторон обложил документами и фактами совсем не шуточного характера. Во-первых, из-за этих веников техникум вынужден отменить производственную практи-

ку будущих ветеринаров — вместо того чтобы наблюдать за животными на фермах, изучать их, ухаживать за ними, студенты должны все лето валить лес, ломать ветки и вязать их в пучки. Во-вторых, эта веточная кампания чрезвычайно осложнила поступление в техникум абитуриентов. Дело в том, что кампания эта охватила не один Осташковский район, а всю область. В каждом районе имеется план на веники, доведенный не только до школы, но и до каждого ученика персонально, так сказать.

— В Торжокском районе, например, каждый ученик должен заготовить и сдать тысячу двести веников весом не меньше килограмма каждый. В нашем и Кувшиновском районе эти заготовительные цифры колеблются в пределах от пятисот до полутора тысяч штук на школьника. Тут полагаются на совесть каждого директора,— Николай Васильевич усмехнулся и добавил: — Совесть, впрочем, находится под строгим контролем. Каждую неделю наш директор, по вторникам, ездит на заседание в исполком отчитываться — сколько связано этих самых веников.

— А сколько березок срубили? Об этом не спрашивают?!

— Древесина, лесные заломы и прочее — это все отходы производства. Кто ими интересуется? У нас ведь как налажено дело? Ветки, которые помельче, вынь да положь. А крупные сучья, стволы — это все пропади пропадом. Представьте себе на минуту такую картину: заготовители яблок пришли в сад не с лестницами да с подставками, а с топорами да с пилами. Спилили деревья, собрали яблоки и ушли. Вот так и мы заготовляем веники.

О нет, ему не смешно. Он смотрит на меня печально, с укором даже. Двадцать пять лет проработал он ветеринаром, не один зуб, как говорится, съел на этом, волосы потерял... И ему ли не знать, что веником корову не накормишь!

— На днях у нас ЧП было. Повалили ребята большую березу на этих заготовках и оборвали высоковольтные провода. Чуть не поубивало их,— вздохнул и головой покачал.— Ребятня! И работа и баловство — все у них вперемежку. Пошлют на группу одну лаборантку. Кто ее слушает? Они и шуруют в лесном царстве. Не то еще фехтование затеют на секирах. Того и гляди, головы посносят.

— А польза от этих веников есть?

— Относительная... если не считать вреда, который в десятки раз перекрывает эту пользу. Кто ест эти веники? Овцы да козы. И то, если они завялены как подобает. Но у нас навесы для этого не строят, сараев нет. А если и есть где старые, так их не хватает. Поэтому сушат веники чаще всего прямо на жердях, тут же, в лесу. Они совершенно высыхают, лист отваливается, не то желтеет и, по сути, ничем не отличается от палого листа. Так не проще ли осенью собрать этот палый лист? Зачем же губить березы? Ведь гибнут миллионы берез не за понюшку табаку. Вы знаете, сколько у нас овец в районе? Всего две тысячи голов. А корова эти веники есть не станет. Да и поголовье коров довели до шести тысяч...— сказал более для себя, потом поглядел на меня пристально и строго — глаза у него синие, печальные: — А знаете, сколько было до войны в нашем районе одних лошадей? Сорок тысяч голов! И крупного рогатого скота не меньше. И падеж был ничтожный, обходились без веников.

— Много пало скота за зиму?

— Он и сейчас падает.

— Почему?

— От дистрофии. Он ведь у нас вроде как ленинградскую блокаду перенес. Истощился. Съел сам себя.

— Значит, веники не помогли?

Усмехнулся:

— Вот если бы в марте приехали сюда да сходили бы на фермы... Там ноги не протащишь, как на дровосечной деляне. Зимой осиновые ветки везут. Тут чем крупнее, тем лучше. Кору гложут... Н-да. Не то еще хвою заготовляем. В зимнюю пору наточим ее по лесу, соберем в кучи да оставим, как муравейники. Летом чуть искра попадет в такую кучу, она, как порох, вспыхивает.

Да, идея заготовки веников для скота и прочий лесной деликатес, так сказать, сопряжены с весьма серьезными потерями. Неожиданно для себя я натолкнулся еще на одну неприятную сторону.

— Беда в том, что у нас частенько при этих заготовках нарушают закон о всеобщем образовании,— сказал Балашев.

— Каким образом?

— Не выдают документы об окончании школы. Задерживают до тех пор, пока не заготовят веники. Вот в этот журнал у нас внесены подобные факты нарушения закона.

Читаю записи в журнале:

«В пречисто-каменской восьмилетней школе Ртищева О. изъявила желание учиться в техникуме. Родители согласны. Но директор свидетельство об окончании школы не выдает...» По той же самой причине — не заготовила веники... «Отказал в категорической форме, сославшись на постановление районо и райисполкома о заготовке кормов».

Таких записей много. Вот еще одна:

«19 июня 1980 г. посетила красносельскую школу Торжокского р-на. Две девушки из поселка Селихова, Сомова и Васильева, изъявили согласие учиться в техникуме. Документы не дают — не наломали веников».

Вошла в кабинет Любовь Михайловна Балашева, преподаватель техникума.

— Она тоже ездила по школам,— говорит Николай Васильевич, представляя мне свою племянницу.— Спросите ее.

— Не отпускают учеников. Была я в боровской школе. Охотники поступать в техникум есть, да не дают документы. «Какое мне дело до вашего техникума,— говорит директор.— Вот положат мне веники, тогда поговорим».— «Так вы же,— говорю,— закон нарушаете! Вы же не имеете права задерживать свидетельство. Я буду жаловаться».— «Идите куда хотите!» Вышла из-за стола такая сердитая да могучая. А я маленькая, страшно стало,— смеется.— А в другой школе выдали на выпускном вечере свидетельства, потом опять отобрали. Директор говорит: «Я за вас веники ломать не стану. Вас много, а я одна».

— Значит, с боем собираете студентов? — спрашиваю Николая Васильевича.

Рукой махнул:

— Не говорите... Летом собираем, а осенью разбегаются.

— Почему?

— Другой кампании не выдерживают, картофельной. Та посерьезнее этой. Ведь дети еще! Только что восьмые классы закончили, от родителей оторвались. А их на два месяца бац — на картошку да на лен! Живут бог знает где и бог знает как. Завшивеют, чесоткой покроются. Промокают, простуживаются, ну и разбегаются от такой науки.

А в общежитии техникума чистота и порядок, пятиэтажный новый корпус, комнаты светлые, удобные. Просторный зал отдыха, синие кресла, телевизор,

Нашли мы и «виновников» нашей внезапной поездки — Марину Бадаеву и Манешина Игоря. Держатся настороженно и эдак на взводе, как у стола экзаменатора: на любой вопрос ответим, но ежели сбивать станете, не уступим. Марина даже брови свела и подбородок вскинула. И только убедившись, что упреков не будет, вроде бы расслабились.

— Сколько же вы березок погубили? — спрашиваю Марину.

— Сорок девять.

— А вы, Игорь?

— Шестьдесят семь,— и улыбка во все лицо. Я же, мол, мужчина. Об чем тут говорить?

У него щербинка в передних зубах и розовые пятна во все щеки.

— А веники куда складывали?

— В сарай,— отвечает Марина.— Старые выбросили, а новые положили. До будущего лета,— и даже ноздри ее подрагивают от возмущения.

— Где же вы работали?

— В совхозе «Путь к коммунизму», в крутецком отделении.

Мы еще заедем в село Крутецкое, поглядим на эти веники и на срубленные березки. Но пока нам хотелось поговорить с руководителями района, послушать их — что они думают на этот счет.

Один высокий руководитель нас не принял, просил подождать. Другой хоть и принял, но просил не называть его, чтобы всякие сведения, которые он давал мне, не обернулись во вред для него.

Что ж, не будем называть его, да и не в имени тут дело. Он говорит, что земли у них много — одной пашни двадцать с лишним тысяч гектаров, а угодий раз в пять больше. Крупного рогатого скота очень мало, всего пятнадцать тысяч голов, конечно, это не скот для такого пространства. Но вот беда — луга запущены, пастбища заросли. Машинную уборку наладить трудно, вручную — косить некому. Потому и ломают веники. Студентов от дела отнимаем? Известно. Школьникам по тысяче двести веников! Мало, надо еще больше. Бескормица. Бывает ежегодно... Что веники не спасают положение — знает. Что травы не выкашиваются — знает. Что травостои нынче неплохие — знает. Что вред наносится лесу — знает. Что есть падеж — ого, как еще знает! Правда, в этом году падеж был меньше, чем в прошлом. Тогда пало поч-

ти полтысячи голов, а теперь — на сотню голов меньше. Усмехаюсь: достижение за счет веников? А вы не смейтесь, говорит; вон по науке открыли, что коров надо кормить опилками. Жаль, говорю, что не дорожным песком. Ведь опилки-то еще напиливать надо да на фермы отвозить...

Почему бы все-таки тех же студентов и школьников, да и взрослых не на рубку берез посылать, а на сенокос? Это сложно, косить они не умеют. Кто их теперь обучит? А еще и потому, отвечает, что на веники есть особая разнарядка. План из области! А планы-де выполнять надо. И потом это особая кампания. Когда она проводится, тут рассуждать некогда. Тут все разом навались, как по пожару. Быстрота и натиск...

Дак ведь лес губим. Свое же добро! Ну да, так и погубишь его, лес-то! Его вон сколько, глазом не окинешь.

Заезжали мы и в Крутецкое. Село небольшое, десятка полтора дворов. Большей частью старые дома, обшитые тесом. И крыши все тесовые, почерневшие от времени. На краю села нашли тот самый покосившийся сарай, из которого выбросили старые веники и повесили новые.

А неподалеку от него, по дороге на Раменье, на лесной опушке у болота, валялось множество, больше тысячи, срубленных берез. И травы кругом в пояс.

— Это еще не трава,— говорит нам бригадир Галина Ивановна Лебедева.— Вот ступайте по дороге в Раменье. На машине не проедешь туда. Вот там травы! И по реке Сороге еще больше. Раньше здесь столько скота водили, что теперь нам и не снится. И всю траву выкашивали. И сена вдоволь было, и силос закладывали. Теперь же вся трава пропадает. А березы губим. Этим березам, что срубили да бросили, по двадцать, по тридцать лет. Нука поди же, когда она новая-то вырастет? А трава каждый год под снег уходит. Или это не озорство?

В том сарае шесть тысяч триста веников. Двадцать пять человек десять дней трудились, вязали их. Но что это за корм? Только считается, что по килограмму на веник. А для еды овце — не более двухсот граммов, листочки да кончики веток. Дня на четыре, на пять, не более. Воз сена! А если бы они эти десять дней сено заготовляли или силос? Двадцать пять человек-то?! Они бы тут на целую зиму запасли бы нам.

Живет она неподалеку, в соседнем селе Заболоть. И здесь в траве утопают старые бани да сараи на задах,

прясла да заборы скрываются в ней, улица в траве, как в джунглях, и куда ни глянешь — до самого дальнего облесья — все травы да травы.

— Прямо тонем в траве. И косить никто не хочет.

— Или скотины нет у хозяев?

— Четыре коровы на все село... А совхоз не больно старается.

Сидим у нее в просторном доме, детвора снует вокруг, хозяин от окна поглядывает, ждет свой черед, чтобы словечко вставить. Вошел со двора молодец в клетчатой рубашке, рукава закатаны, плечами поигрывает, что-то поискал в горнице, задержался у порога. Мать ласково в его сторону:

— Я все приготовила, Сережа.— И мне поясняет: — Завтра угоняют их на веники. А мы ждали, думали: вот приедут помощники и покосят нам траву. Он с приятелем учится в Осташковской ПТУ, на второй курс перешли. И на тракторах работают, и косилки знают. Сами косцы. Да поди ты, угоняют их на веники. До конца июля!

— Куда ж их угоняют?

— В дальний совхоз.

— А здесь почему нельзя остаться? Здесь же тоже совхоз!

— Такая разнарядка. Они всей группой едут веники заготовлять. И норму дали им — по двести веников в день на человека.

— Ба-атюшки мои! И это все стараются для двух тысяч районных овец?

— А кто их знает, для чего они стараются?

— Стараются не для овец, а для порядку,— вставляет хозяин свое словцо и круто поводит головой. Видно, что человек навеселе.

— У них сегодня получка,— глянув на хозяина, сказала Галина Ивановна.— Он токарем работает в охотохозяйстве.

— Совхозу-то помогаете? — спрашиваю.

— Зимой привозим хвою для них,— отвечает. И, снова тряхнув головой, произносит со значением на лице: — Мы не простое охотохозяйство, а всесоюзного значения. К нам привозят охотиться иностранцев. Ба-альшие деньги платят. Вот, к примеру, привел его егерь на глухариный ток. Стреляй! Каждый выстрел — двадцать пять рублей.

В обратный путь напоили меня молоком холодным,

прямо из колодца. Прекрасное молоко! И корова стоит на дворе упитанная, сильная.

— Вениками не кормите? — спрашиваю.

— Эта веники есть не будет,— весело отвечает хозяин,— не того сервису.

Поздно вечером возвращались мы по отличной шоссейной дороге: на Торжок, на Калинин, на Москву. Когда-то по этому старинному торговому тракту скотогоны гнали огромные гурты скота. Здесь на лесных пастбищах, по отаве на заливных лугах, на пожнях нагуливались они перед тем, как идти на шумный Осташковский рынок, на скотобойни, на колбасные, на знаменитые кожевенные заводы. Осташковский хром, спиртовые подошвы, красная юфть мягкой, шелковой выделки на вес золота ценились на своем и заморском рынке. Нет, не березовыми вениками восстанавливать славу осташковской кожевенной промышленности. Не судорожной суетливостью всеобщей кампании подымается престиж животноводов, а постоянным увеличением поголовья скота, привесов, надоя молока и сохранностью каждой животины. А для этого следует серьезно улучшать луга и пастбища, находящиеся в плачевном состоянии, восстанавливать в районе совершенно заброшенное травосеяние. И подходить к этому следует не наскоком, как по пожару, а терпеливо и упорно продвигаться в трудном деле освоения земельных угодий. Пора уж уяснить, что, отрывая людей от своего занятия, бросая их скопом то на поля, то на луга, то в леса, мы создаем только видимость азарта, а на самом деле плодим равнодушие и поголовную безответственность.

Жалко и коров, которые должны жевать пересохшие прутья, обидно за студентов, превращающихся из практикантов в лесорубов; обидно за всех этих бесчисленных уполномоченных, живущих неделями вдали от семей своих, где-то на «переднем крае», прямо как на фронте. С кем воюем-то, братцы? С березами? Опомнитесь!

Но более всего жаль безответную природу. Берез жалко. Телами своими, белеющими как мертвые кости на поле брани, усеяли они «трудовые плацдармы» нашего неразумного усердия. И как тут не подивиться и не порадоваться трезвому голосу, поданному в защиту берез детьми малыми! Как тут не спросить вместе с ними самих же себя, оглянувшись во гневе и недоумении: неужели наша природа охраняется только на словах?

1980 г.

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ!

Необходимо решительно избавляться от администрирования и мелочной опеки в отношении колхозов и совхозов, которые с полным правом можно назвать фундаментом сельскохозяйственного производства.

Из доклада товарища Л. И. Брежнева на майском Пленуме ЦК КПСС 1982 года.

— Сколько вы потратили денег на мелиорацию в последние годы?

— Более пятидесяти миллионов рублей.

— Какие же прибыли дают ваши совхозы?

— Совхозы наши убыточные, за исключением одного колхоза.

— Почему?

— Причин много. Так просто на это не ответишь.

Разговор этот происходил некоторое время назад, под осень. Спрашивал я, отвечал тогдашний секретарь Клепиковского райкома Николай Андреевич Баранов.

Лето было засушливым, посему на больших площадях осушенных земель сняли малый урожай — земли кислые, тут одного осушения мало, известковать нужно почву, но подвозить известь невозможно по причине отсутствия дорог. Даже на Мокеевском мысу польдерная система двойного действия работала неважно, потому что недостроена была. Не рассчитывали на засуху, так сказать, сэкономили заказчики на строительстве второй насосной станции да на водозаборе из реки. Это лишних полкилометра труб — дорого, мол. Засух здесь не бывает. А засуха взяла да и пришла, орошать поля — воды не было. И река близко, да пожарную кишку туда не протянешь и в кармане водички не принесешь.

Ну вот, скажут, нашел о чем толковать. О позапрошлогодней засухе!

Ладно, поговорим о прошлом лете. Было оно дождливым, и опять плохо. Шлюз двойного регулирования на польдерной системе работал скверно, отчего подтапливало низкие карты. А огромное дренированное поле в десять тысяч гектаров мелиоративного объекта под названием «Совка» сплошь оказалось в воде и прогуляло впусте. Почти не дали ничего Линевское и Никольское болота, осушенные, так сказать,— прогуляло еще две ты-

сячи гектаров. В засуху почва там каменеет, а в дождливую пору все тонет. До мелиорации эти болота хоть сено давали, правда, неважное, крупное сено, но все же. А теперь и того нет.

— По-хозяйски-то надо бы половину средств на дороги потратить да на улучшение почв, а половину — на мелиорацию. Да сделать ее качественно. Мы говорили об этом. Да кто нас слушает?

— Серьезно нарушалась технология?

— Было. И все-таки не в том главная беда,— отвечал Баранов.— Выкрутились бы как-нибудь. Да руки связаны.

— Кто же вам связал их?

— Нѐкто. Не хозяева мы, вот в чем беда.

— В райкоме сидите и не хозяева?

— Что, не верите? Вот, к примеру... У нас на тридцать пять тысяч голов крупного рогатого скота всего десять тысяч коров. С кормами ныне туго. Фуражу нет и зерно от нас забирают. Сена мало... Скажите, какой же хозяин пустит в зиму при скудных кормах так много скота? — И сам отвечает: — Только человек без головы может пойти на это с легким сердцем.

— Так не идите.

— Не имеем права. Поголовье скота спущено сверху и утверждено не нами. Оно, брат, ни от погоды, ни от кормов не зависит.

— А как же насчет научной обоснованности?

Он только усмехнулся:

— Так называемый шлейф, то есть молодняк, по научному обоснованию не должен превышать пятидесяти, ну от силы семидесяти пяти процентов от общего поголовья. Иными словами — на десять тысяч коров необходимо пускать в зиму пять, ну от силы семь тысяч молодняка. Тогда содержание скота будет рентабельным. А мы что делаем? Не пятьдесят, а двести пятьдесят процентов пускаем молодняка. В пять раз превышаем оптимальную норму! Вместо того чтобы пускать его в оборот, мы передерживаем скот по два, а то и по три года. На этих-то кормах он не привесы, а отвес дает. Что же, кроме убытков, сможем получить мы от такого скотоводства? Нет, не хозяева мы.

Это уж слишком, подумает иной читатель. Им, видите ли, регламентируют всего только поголовье скота, а они уж в панику ударились.

О нет! Дело тут не в одном поголовье скота и не только в плохо исполненной мелиорации. Все обстоит куда сложнее.

Летом прошлого года прожил я две недели в Спас-Клепиковском районе. Конец июня, двадцать седьмое число. Уже сено косить пора, а на полях все еще картошку сажали.

Вываливали ее, бедную, из мешков навалом в придорожные кучи; щуплая да сморщенная или черная, оплывшая, а то и оплетенная длинными ломкими ростками, она издали смахивала на конский навоз, пронизанный белыми червями.

Елозя на коленях, перепачканные этой слякотью, бабы перебирали картошку и ругали почем зря свое начальство:

— Это ж надо! Косы точить пора, а они гоняют нас на картошку. Осень подойдет — что здесь вырастет?

— У них зарплата. Осень подойдет — свое получат.

— Небось и ваша зарплата не усохнет,— говорю.

Смеются:

— И то правда!

— Ноне, слава богу, никто не страдает.

— Земля ходит яловой, да вон скотина мучается от бескормицы. А так ничего, жить можно.

— По-хорошему, здесь бы клевера теперь посеять или вику с овсом. А мы картошку в грязь кидаем.

— Да, сказано: сей овес в грязь — будешь князь.

— А яблоня зацветет — сажай картошку. Цвет опал — и шабаш.

— Да теперь уж и яблоки по ореху! Что за блажь сажать картошку в эту пору? Кому это в голову пришло?

Задавал и я этот вопрос директору Колесниковского совхоза Евгению Александровичу Ломскову. Только плечами пожал.

— Мы,— говорит,— все по плану делаем. Должны посадить шестьсот пятьдесят гектаров картошки, а посадили только триста с гаком. Вот и стараемся. И не мы одни, все хозяйства в таком же положении.

— Не поздно ли? — спрашиваю.

— Раньше не смогли. До 15 июня вода на полях стояла — трактора топли.

— Да ведь бесполезно же теперь сажать картошку!

— Пожалуй, да. Лучше бы траву посеять с овсом. Это успеет вырасти. Мы предлагали, но нам не велят,

Сажай картошку! План! Вон и уполномоченный сидит у меня, контролирует.

С торца за директорским столом сидел секретарь райкома комсомола Богомолов Валерий Иванович.

— Я уж целый месяц безвыездно торчу здесь,— говорит он и смеется: — Боюсь и домой возвращаться — жена прогонит. Скажет, что с кем-то снюхался.

А в кабинете у секретаря райкома партии сидел тоже уполномоченный, но уже из области — первый заместитель председателя облисполкома Семен Яковлевич Полянский. Все знакомый народ.

— Смеются над вами,— говорю,— как вы в сенокос картошку сажаете.

— Мы сами смеемся,— отвечает Баранов.— Но план есть план. И мы обязаны выполнять его.

— А может, лучше отменить его? Применительно к картошке.

— Не имею права.

— А вы? — спрашиваю Полянского.

— И я не могу,— отвечает Семен Яковлевич и тоже улыбается.— План спущен области свыше, и мы обязаны продвигать его по районам. Я прошу у них: дайте нам под травы тысяч шестнадцать гектаров,— говорит Баранов.— Ведь лучше дело пойдет. Ну? С картошкой мы не справляемся. Ее ведь, легко сказать, шесть с половиной тысяч гектаров напланировали! Людей не хватает, техники специальной мало. Мучение с ней. Убытки! А трава для нас прибыльна. И корм для скота будет. Ведь его вон какая прорва, скота-то.

— Он прав,— говорю.— Дайте им траву.

— А за счет чего? — спрашивает Полянский.— У них всего тридцать восемь тысяч гектаров пашни.

— Да за счет зерновых и той же самой картошки,— горячится Баранов.

Полянский только усмехнулся и мне отвечает:

— Каждый район отбрыкивается от картошки.— И потом Баранову: — У тебя здесь город, фабрики есть да заводишки. Ты сел на телефон, пошумел — и народ собрал. Есть кому хоть копать картошку.

— А-а, это горе-помощники,— махнул рукой Баранов.

— Горе! А вон в Сараевском районе и таких нет. Я тебе, допустим, обрежу картошку и зерновой клин. Но за счет кого? Кому добавить твои гектары? Сараевцам?

У них и так семьдесят три процента пашни занято зерновым клином. Куда уж выше?

— Так обрежьте зерновой клин, уменьшите его,— говорю я Полянскому.

У него глаза на лоб и веселое недоумение во все лицо:

— Да вы что? За уменьшение зернового клина и повыше меня начальнику дадут по шапке.

— Ну, какое у нас зерно? — спрашивает Баранов.— Так, на подсобные нужды еще пригодно. Так нет же, сдай три с половиной тысячи тонн по плану. И тут же планируют завоз нам двадцати тысяч центнеров фуражу. Так фуражное зерно-то лучше нашего! Зачем же от нас увозить его? Зачем таскать его туда-сюда? Только транспорт загружать.

— Ну, от нас сие не зависит,— развел руками Полянский.

— А все-таки, кто же может отменять эти нелепости? Ну хотя бы вот эту, с картошкой?

И они отвечают не колеблясь:

— Не знаем. По крайней мере в области сделать это единым росчерком пера, то есть изменить план посевных площадей в связи с плохой погодой, никто не может.

— Удивительно!

— И удивляться нечему. Нам уже расписано: что и сколько должны мы посеять на каждый год одиннадцатой пятилетки. Все уже спланировано. Ну? И рассуждать, следовательно, не о чем.

Не то смеются, не то всерьез говорят о неуклонности нашего планирования.

— Расчет здесь простой,— говорит Полянский.— Берут цифру — сколько мы должны сдать свеклы, или там картошки, или чего другого. Средняя урожайность наша известна. Стало быть, кинули на счетах, с карандашиком поработали, и научный план готов: сей столько-то того и сего! А наше дело выполнять.

— Но ведь еще в шестьдесят пятом году, на мартовском Пленуме отменили планирование этих самых посевных площадей.

— Да мы говорим об этом. Но что-то не больно слушают нас. Скажите вы. Может, вас послушают.

Это неукоснительное выполнение плана посевных площадей, эта привычка работать, не считаясь ни с погодными условиями, ни с особенностью, спецификой земли, ни с семенами, ни с трудовыми ресурсами, ни с тех-

нической оснащенностью, ничего, кроме вреда, принести не может. Уж сколько писалось об этом, сколько речей произнесено, сколько постановлений принято в отмену такой нелепой практики, а воз и ныне там.

Однако сдвинуть этот воз может не только мифический дядя Ваня, сидящий где-то на безымянной высоте, но и каждый конкретный работник в районе или даже в колхозе. Конечно, это нелегкое дело, надо идти на риск, а главное — брать на себя ответственность. За это, в случае неуспеха, могут и по шапке дать.

Но как же иначе? На то она и дается хозяину эта воля, эта решимость, чтобы рисковать в деле, ежели он чует выгоду, успех. И уж тут нечего прятать голову в собственные плечи: «Ах, как бы чего не вышло!»

Нелегко было секретарю Домодедовского райкома КПСС Владимиру Густавовичу Раткину вывозить свой район. Приходилось и посевную структуру ломать, приходилось и шишки зарабатывать. А теперь он вон на какой высоте! Многолетняя урожайность — сорок один центнер с гектара, надой молока на корову за четыре тысячи литров перевалил, плотность скота фантастическая — сорок одна корова на сотню гектаров! Но ему и этого мало, он уже ищет новые формы кооперации, которые дали бы возможность полнее использовать технику, землю, накопленный опыт и неугомонную смекалку. И опять прикидывает, ищет, рискует.

А разве не рисковал Сергей Иванович Жиленко, председатель колхоза «Заветы Ильича» из того же района? Он — подумать только! — отказался от проектного строительства многомиллионного комплекса и сам, своими силами, хозспособом, как говорится, рядком да ладком стал ставить простые дворы не только кирпичные но и деревянные, а то и старенькие ремонтировал и приспосабливал для нового миллионного дела. И что же вышло? Прекрасное дело получилось: он откармливает, выращивает почти девять тысяч телочек. И каких коров из них выращивает! И если стоимость ското-места в ином комплексе обходится в тысячи рублей, так у Жиленко всего двести семьдесят пять рублей.

Конечно, и у Жиленко не все гладко, и ему хочется добиться большей самостоятельности, и он что-то ищет, прикидывает, а то и рискует. Но иначе и нельзя. Нельзя же работать спустя рукава, а еще хуже — с неразумным усердием исполнять то, что сам же считаешь нелепым. Такое происходит не только с посевными площадями.

Недели две спустя после того памятного разговора заехал я в Осташковский район Калининской области. 9 июля — разгар сенокосной поры, а там вместо сенокоса березы рубят и вяжут веники. Да как! Все городские и сельские предприятия, все учебные заведения обязаны участвовать в этой кампании. По сотне, а то и по двести веников должен связать в день каждый рабочий или студент. Норма! По вторникам на исполком вызывают руководителей предприятий, каждый отчитаться должен: сколько веников связано. Народ прямо стоном стонет. Письма разослали в газеты, жалобы...

Приехал я в райисполком, спрашиваю председателя:

— Как же это, в разгар сенокосной поры вы гоните людей не на луга сено косить, а в лес рубить березки да веники вязать?

— Да ведь план на них спущен, и не для нас одних, а всем районам,— ответил он.— А план для нас приказ. Его выполнять надо.

Конечно, план есть приказ, или закон, как любят у нас говорить. Но никаким планом невозможно предусмотреть и регламентировать живое общение человека с землей. Здесь самые непререкаемые, казалось бы, экономические истины и постулаты могут обернуться своей неожиданной стороной и показать вдруг всю нелепость шаблонного подхода к делу в сельском хозяйстве.

Та же веничная кампания, буде проведена она в начале июня, да на заросших березой полях в качестве прополки, так сказать, и, разумеется, в разумных пределах, а главное — чтобы веники лиственные заготовлялись, а не голики, ни у кого бы, естественно, не вызывала бы никаких возражений. Но когда в погоне за количеством — выполнить и перевыполнить план — в июле месяце в погожую пору, плюнув на сенокос, врубались с топорами в леса, валили взрослые березы и для отчетности вязали веники, которые засыхали на открытом воздухе, превращаясь в метлы,— то уж здесь не токмо человек, дерево застонет.

Или вот еще пример об одном «поголовном» задании. На июльском Пленуме 1978 года было рекомендовано откармливать каждого быка минимум до четырехсот килограммов и потом сдавать государству. Рекомендация разумная, но во что она превратилась? В повсеместный приказ: скот сдавать не ниже четырехсоткилограммового веса,

— У нас мелкопородный скот,— жаловался Баранов.— Корова весит всего триста с хвостиком. Да разве за полтора года раскормишь от нее телка до полтонны? Это какими же кормами его надо питать? Фуражу дают в обрез, наше зерно забирают. Пастбищ хороших нет. Так что прикажете, надувать их или накачивать, бычков-то? Триста килограммов тоже неплохой вес. И мясо хорошее. Так не берут! И сдавать не думай: руки отсекут. Держи — и вся недолга. Откармливай до 450 килограммов! Че-ем? Мы их передерживаем, пускаем в зиму. Они и коров объедают, и сами тощают. Отвес дают! А уж если он за зиму отвес дал, так потом ты его хоть пять лет корми — не раскормишь. Он костенеет и малорослым становится. Просто мучение с этим скотом. С осени и скот есть для сдачи — сытый! Но не берут. А к весне одни хвосты мотаются. Как же им не быть, убыткам-то?

О том, какие убытки терпят хозяйства, я насмотрелся и наслушался в колесниковском совхозе; все говорят об этом: и директор совхоза, и агроном, и зоотехники, и просто рядовые крестьяне. Все понимают.

— У нас так — чем больше поголовье скота, тем беднее хозяйство, то есть тем выше убытки,— сказала зоотехник совхоза Ирина Андреевна Ивашкина.

— Убытки не только скот дает, но и полеводство,— добавляет парторг Баринов и на память шпарит цифирью: — Значит, по одной картошке мы планируем 62 630 рублей убытка. Почему убытка? А потому, что себестоимость картошки обходится нам в девять рублей шестьдесят одну копейку, а сдаем ее государству по шесть рублей шесть копеек за центнер.

— Но ведь закупочные цены выше,— возражаю ему.

— Ага! Но, во-первых, скидка за крахмал, потом — за нестандартность и так далее... Итого получается по шесть копеек за кило.

— От молока убытку 45 110 рублей,— говорит Ивашкина.— От мяса — 138 тысяч рублей. Себестоимость — рубль восемьдесят семь копеек кило, а получаем при сдаче откормочному совхозу по рублю сорок копеек. Овцы и те дают почти три тысячи убытку.

— А всего мы планируем убытков 624 тысячи рублей за этот год,— перебивает ее Баринов.

— По плану живете,— говорю.— Не перевыполняете план по убыткам-то?

Смеются, всякое, мол, бывает... Но вот посерьезнели и опять, перебивая друг друга, постепенно воодушевляясь, начинают толково и обстоятельно доказывать мне, как можно избавиться от этих убытков, как по-другому, не ломая и не корежа основных порядков, можно приноровиться и к земле и к делу и все изменить в лучшую сторону.

Удивительный народ! Оба они уже не молоды — седина пробивается в волосах, морщинами исхлестаны лица. За четверть века, работая в этом хозяйстве и мечтая о богатой и вольготной жизни, они столько раз убеждались в призрачности своих надежд — и пустой трудодень видели, и бескормицу, и падеж, что, пожалуй, и отчаяться могли бы. Но нет! Чуть только появится свежий человек да потрафит им чуточку в разговоре, как тотчас оживают их надежды, светлеют лица — и пошли прикидывать да считать свои возможности да вариации.

Невелики их требования. Всего и делов-то: дайте нам больше самостоятельности! Мы же выросли на этой земле, нужду мыкали с ней, ума-разума набирались от нее... Так неужто мы знаем ее возможности хуже, чем те, живущие от нее за каменными городскими стенами? Мы же вместе с ними учились, одни и те же лекции слушали, те же книжки читали. Так отчего же те, за конторскими столами, составляют для нас по всякому нужному и ненужному поводу циркуляры? Советы, рекомендации — пожалуйста! Но не циркуляры, не приказы. Дайте самим нам делать свое дело.

— Ведь что мы делаем? — спрашивает Ивашкина и сама же отвечает: — Почти три тысячи голов пускаем в зиму крупного рогатого скота. Это на тысячу-то коров! Разве мыслимо такое? По семьсот голов на передержке! До трехсот килограммов доводим бычков за счет молочного стада. Да и то сдать не можем. Триста голов смогли бы сдать прошлой осенью. И быки хорошие! По пятнадцать, а то и по восемнадцать пудов каждый. Ведь это же восемьдесят тонн отличного мяса! Так не взяли. Пускайте в зиму! Пустили. Ну и что? Они вон отвес дали, по тридцать килограммов каждый. Да еще коров оголодили. Это по-хозяйски?

— Начальство тоже понять можно,— говорю,— мясо нужно не только сегодня, но и завтра понадобится.

— Да разве ж мы не понимаем это? Мы говорим: дайте нам возможность свободной реализации, и мы увеличим на одну треть поставки мяса при тех же кормах.

— Каким образом?

— Нам нужно держать бычков примерно год. Это оптимальный вариант. Полтора центнера берут они на нагуле за пять месяцев, и примерно центнер на стойловом содержании. И хорошо! Но стоит только пустить их на передержку в зиму, как начинается чехарда: эти отвес дают, коровы тощают, яловость увеличивается, телят недокармливаем — кругом одни потери. Мы подсчитали: примерно на одну треть недобираем того мяса, что могли бы взять.

— Дак ведь вот как все хитро построено: сдавай мы ежегодно всех бычков по два-три центнера весом, и все равно потерпим убытки,— сказал Баринов.

— Почему же?

— А потому, что нам обходится живой вес по рублю восемьдесят копеек за килограмм, а принимают от нас по рублю сорок пять. То есть если бык двести пятьдесят килограммов весом, то получай за кило рупь сорок пять. А если он четыреста килограммов и выше, то за кило дают уже четыре рубля с хвостиком. А поскольку до четырехсот килограммов доводят его в откормочных совхозах, то они и прибыль забирают.

— Там, в откормочном совхозе, куда мы сдаем своих бычков, их кормят привозным фуражом,— подхватывает Ивашкина.— Чужих быков кормят чужим зерном и получают по четыре рубля с хвостиком за килограмм! Они купоны стригут, а мы тут возимся с отелом, с молочной откормкой, с выпасами, головы создаем, понимаете ли, и остаемся в убытках. Где же справедливость?

— Да, да,— соглашаюсь,— с телятами это нелепость.

Я вспомнил сетования московских животноводов: у них много племенных телят, но продавать их на племя невыгодно. Дело в том, что при такой продаже москвичам не засчитывают в план мясопоставок вес проданных телят. И они вынуждены забивать их в молочном возрасте. За год область забивает по семьдесят, а то и по восемьдесят тысяч племенных телят молочного возраста. Кругом одни убытки, как рассуждал чеховский персонаж Брынза.

— У вас,— говорю,— куда ни кинь — все клин. Одни убытки.

— Да, да,— соглашается Баринов.— Тут главная беда — притерпелись. Взять хоть картошку. Планируют нам 6877 тонн. И тут же дают площадь посадки — шестьсот пятьдесят гектаров. Почему? А вот, мол, средняя уро-

жайность ваша сто пять центнеров. Чепуха все это. Она, эта урожайность, только потому, что нам не под силу обрабатывать такую прорву картошки. Сделай площадь посадки меньше, и урожайность выше будет. Мы можем взять и по сто пятьдесят, и по двести центнеров. Дайте нам только удобрений по норме. А главное, дайте нам посильную площадь. К примеру, мы просим четыреста гектаров. Это нам по силам. И сдадим те же семь тысяч тонн. Ведь это всего будет по сто двадцать центнеров с гектара. На огородах мы берем вдвое больше. Четыреста гектаров мы обработать успеем, и удобрим лучше, и урожай снимем выше. А двести пятьдесят гектаров под травы пойдет. Опять же выгода! Но нельзя. Сажай шестьсот пятьдесят гектаров, и точка! А-а! Оттого и люди от нас бегут.

— Не хватает работников?

— Не хватает — не то слово,— отвечает Ивашкина.— Тут хоть криком кричи. Старики на пенсию уходят, а молодежь убегает. Да и как не убегать? Для коров дворцы из железобетона строим, миллионные комплексы! А людям — чего сами сляпают. Живите и стройтесь как хотите. Кто же к нам поедет из города жить в этих старых избах да лазить тут по грязи? До иного комплекса только в резиновых сапогах и доберешься. А доехать можно разве что на тракторе, да и то на гусеничном ходу.

В конце Колесникова возле речки Курши построили железобетонные дворы на тысячу голов. На «газике» мы не могли добраться до этого комплекса: дорога посреди села так разбита и размешена, такая топь посреди села, что в ней увяз и брошен автоприцеп с цистерной, заляпанной грязью. Черная, как деготь, лужа разлилась во всю улицу, от завалины до завалины. По этим завалинкам, цепляясь за оконные наличники, мы и обошли сию непроходимую топь.

Потом от кузницы до самых дворов такая же непролазная грязь. Ведет нас директор Евгений Александрович Ломсков.

— Как же вы тут ходите? — спрашиваю его.

— Вот так и ходим, по задворкам да в резиновых сапогах.

— Попросили бы строителей хоть по селу протянуть дорогу.

— Что вы? У них проект — построить десять метров дороги возле двора. А мы хоть летай сюда, как воробьи. Ведь кто-то же проектирует такую нелепость. Смеются

над нами, что ли? — только вздыхает и хмурится.— Никто нас не слушает, не считается с нами. Дороги нет — еще полбеды. Беда вот — пастбища нет. Видите, что творится на том берегу? — указал он на чернеющий за дворами приречный массив, когда-то бывший лугом, а теперь превращенный в сплошное грязевое месиво.— Ведь что мы говорили? Закладываете комплекс — одновременно готовьте к нему и пастбище. У нас же нет для этого ни семян, ни техники. Создать пастбище из многолетних трав — дело сложное. Без этого пастбища мы пропадем. Э-э! Да что попусту говорить!

У него утомленное, землистого цвета лицо, мешки под глазами. Болеет он давно и мучительно. Хотя возраст еще невелик — сорок с небольшим, и работник он толковый.

— И без комплекса нельзя,— говорит он,— и с комплексом горе. Пасем коров в лесу, почти до Акулова гоняем или до Княжей — это километров десять в одну сторону. Ходят они, бродят по лесу, как медведи. Ведь тысяча голов! Голодные... Траву вместе с землей прихватывают. Оттого и болезнь — черви какие-то в печени появились. По пять литров дают всего молока-то. А личные коровы, из того же стада взятые, дают по шестнадцать литров, потому как пасутся на задворках по травным местам. Вот она и арифметика.

— А может, поторопились вы с комплексом?

— Нужда — работников нету. В лесных селах, откуда свезли коров, совсем некому работать. Одно Акулово осталось. Там еще держим ферму. Но людей и там мало.

— А здесь, в Колесникове?

— Туго с работниками и здесь. Дорабатывают наши кадры... Года через два и тут Лазаря запоем, как говорят старики.

— Может, махнем в Акулово? — спрашиваю его.

— Что вы? На «газике» туда не проедешь. А на тракторе далеко — десять верст туда да обратно. Если и ехать, так с утра.

Попал я в Акулово только через полгода, в январе. Ездил вместе со вторым секретарем райкома Виктором Михайловичем Фоминым. Ломсков слег в постель.

Еще из райкома звонили: едем, сидеть всем по местам! Как из командного пункта. Фомин все шумел — молодой, шустрый, громкоголосый. А первый секретарь

Боков (он теперь вместо Баранова) сидел за столом хмурый.

— Сергей Васильевич,— спрашиваю его,— не больны ли вы? Что-то вид у вас печальный?

— Не с чего веселиться,— отвечает и показывает мне сводку по молоку.— Вот надой на сегодняшний день на целую тонну меньше прошлогоднего.

— А с урожаем как было?

— Неважно. Мелиорация опять подвела нас. И картошка дала всего по шестьдесят центнеров.

Зазвонил телефон. Фомин снял трубку, послушал и сердито сказал кому-то:

— Погоди минуту! — Потом зажал трубку ладонью и сказал: — В Малахове надой падает.

— Сколько? — спросил Боков.

— Одна целая четыре десятых литра.

— На корову? — удивляюсь я.

— А то на козу, что ли? — произносит хмуро Боков и Фомину: — Скажи, чтобы силос вскрывали. Резервный!

— Слушай, Юрий Алексеевич! — кричит в трубку Фомин.— Вскрывай силосную кучу. Да, да! И силос давай коровам! Что? Некому? Бери вилы и становись сам, а напарников я тебе найду, если сам не сможешь. Вот приеду и найду. Будешь у меня сам с этим усатым коров кормить. Ну, смотри!

— Что это за усатый? — спрашиваю Бокова.

— Механик ихний,— смеется тот.

Фомин кладет трубку и говорит как бы в оправдание директору совхоза:

— Молодой еще, вот и растерялся.

— А старый где? Где Паршин? — спрашиваю.

— Сняли. Запился совсем.

— Не в том дело. Он выбыл из поля зрения,— возражает Фомин.— С ними жестче надо, а мы ему поблажку давали. Вот он и дал сбой.

Фомин и на дороге руководил. Возле малаховской больницы остановил два трактора со скотом.

— Стой! Куда везете? Откуда?

И узнав, что скот везут в откормочный совхоз из Колесникова, шумит на тракториста и скотника:

— Кто позволил? Что за самоуправство?

— Поезжай в совхоз и говори с директором. А наше дело телячье,— отвечают те из кабины и посмеиваются.

— Посмеетесь у меня! Посмеетесь...

— Что вы на них сердитесь? — спрашиваю Фомина.—

Ведь они же скот везут, нормальный скот. И поди, по договору? Ведь самим выкармливать им не под силу.

— Эти еще могут держаться. В других хозяйствах с кормами хуже. Оттуда и надо брать в первую очередь. Эта Ирина больно мудра, вот она и сдает своих быков потихоньку. А у Лизы кормов на два дня. Понял?

— Но и тем передержка в убыток.

— А что делать? Тут не до жиру, быть бы живу.

После долгой лесной дороги, переметенной местами гуляющей поземкой, стиснутой красными соснами да темными корявыми дубами, вдруг засветилось и раздалось во все стороны широкое пространство с чернеющими посреди этой заснеженной благодати крестьянскими избами и скотными дворами.

Фомин повеселел, кивнул на село и сказал:

— Я с этого Акулова свою трудовую биографию начинал в районе. Прислали меня в райком первым секретарем комсомола; а из Клепиков сразу сюда — и на целый месяц посадили. Всю весеннюю посевную тут провел.

— А что? Управляющего не было?

— Почему? — удивленно переспрашивает он.— Был.

— А зачем же вас присылали?

— Как это зачем? Управляющему помогать.

В Акулове сотни полторы дворов и молочная ферма голов на четыреста. Поля и пастбища со всех сторон окружены лесом. Постройки большей частью старые, новые можно по пальцам перечесть. Механизация самая приблизительная. Навозную жижу таскают ведрами.

Молоденькая девчонка, красивая, с открытой шеей — душа нараспашку, в голубенькой кофточке, с закатанными рукавами, ринулась со двора с полными ведрами. Минуты через три вернулась с мороза — вся красная, аж пар от груди идет.

— Что вы делаете? — говорю.— Эдак и простудиться можно.

— Мы привыкли.

— Сколько же вам лет?

— Девятнадцать.

— И давно работаете на ферме?

— С самого детства,— и белозубая улыбка.

— У нее мать в доярках,— подсказывает мне пожилая женщина в черной фуфайке.— А Галька тут за нее вроде отрабатывает. Помогает то есть.

— А что мать, заболела?

— Да ну! Детей много нарожала, вот и хлопочет по

дому. У нас тут есть и такие, что мужиков своих нету, а детей рожают. И помногу,— бубнит женщина в фуфайке.

А Галя принялась уже за ведра с молоком.

— Что ж у вас скотники делают? — спрашиваю.— Ведь это их обязанность навоз убирать.

— Пьяницы они! — крикнула Галя от дверей.— Валерка, стервец, всю ночь пропьянствовал. А коровы голодные стояли,— и снова полуголой, с полными ведрами побежала на мороз.

А молочный пункт далеко от двора.

— Заставили бы ее хоть фуфайку надеть,— говорю управляющему Ивану Фроловичу Машкову.

— Нет фуфаек-то. Для нас это дефицит,— отвечает он конфузливо.

Увидев районное начальство, подтянулись к нам доярки — все пожилые женщины, взяли нас в кольцо, и пошла молотьба:

— Что там куфайки? Ни ситцу, ни сатину...

— Хлеб раз в неделю возят. И то по три кила дают на семью. Глядеть на них али есть?

— Ни крупы, ни муки... хоть бы лапши привезли.

— А постного масла почему нет?

— Сколько лет молочный пункт обещали в тепле сделать? А?! Он вон игде, на ветродуве. Ну-к потаскай туда молоко-то раздемши!

— А запарочная в другом конце. Это мысленно?

— Дорогу проложить обещали, автобус пустить... Иде же он?

— В Туму съездить — за день не доберешься.

Фомин слушал, слушал и взорвался:

— Да я вам кто, Верховный Совет или база областного значения? Что я, финансами распоряжаюсь? Была бы моя воля — я бы вам и дорогу построил, и автобус пустил бы, и ситцу, и крупы всякой завез бы — всего сколько хочешь. Но нет же у меня ничего такого, нет!

Вбежавшая с пустыми ведрами Галя сказала:

— Или мы хуже других уродились? — Потом спросила, обращаясь к нам: — Где ж наш хозяин, чего еще ждет? Мы ведь не хуже иных-прочих. И не железные. Пождем-пождем, да плюнем и разъедемся.

— Да и так уж наполовину разъехались,— сказал управляющий.— Старье остается, вроде нас. Вон Ларионовой шестьдесят лет, а все еще дояркой работает.

Мы вышли со двора втроем — Фомин, местный учитель Николай Васильевич Федин и я.

— Вот видишь, доярки и те навастривают лыжи,— сказал Федин Фомину.— А ведь им все дают в первую очередь: и ситец какой привезут, и сатин, и обувь. А учителям ничего не выделяют. Нет им ни крупы, ни молока, ни мяса, ни одежды, ни жилья. Живи где хочешь и как хочешь. Да мало того — снимешь дом или купишь его с грехом пополам — так дров не дают. Школа вон в Колесникове без дров сидит. А в Акулове учителей нет. В прошлом году приехали сюда пять молодых выпускниц. Про них еще стихи написали: пять акуловских красавиц! Но где они? Нет ни одной — все уехали.

— Тут и учеников мало,— отвечает Фомин.— Закрывать школу придется.

— Что мало, то верно,— соглашается Федин.— А третьего, пятого, шестого классов совсем нет. Но только закрой восьмилетку — сразу половина села уедут отсюда. Остатняя молодежь уйдет. А как же с фермой, полями? Тоже закрыть их? Пусть эта земля былью порастет! Так, что ли?

— Что поделаешь? Средства надо экономить, в том числе и на школе,— сказал Фомин назидательно.

— На школе экономить, да? — спрашивает Федин, все более распаляясь.— У нас здесь Василий Песков был, рассказывал. Да и в «Комсомолке» про это печатал: в Норвегии так же вот решили экономить на школах. Детей мало, невыгодно, мол. Свезли ребятишек в интернаты. Они выучились там и домой не вернулись. Так вот, норвеги с той поры не экономят на сельских школах.

Всю обратную дорогу Фомин крутил баранку и хмуро молчал. Но в райкоме разговоры об этих нуждах, об этих неотложных делах затянулись до позднего вечера. Была предсъездовская пора, все ждали и надеялись на решение этих принципиальных и серьезных вопросов. Особенно запомнился мне разговор с главным агрономом управления Валентиной Николаевной Чубарыкиной.

— Какая-то странная неувязка получается у нас,— говорила она.— Ведь, с одной стороны, чем дальше, тем все сложнее механизация и землепользование, с другой же — все меньше считаются с нами, руководителями и специалистами на местах. Взять хоть ту же мелиорацию; на Линевском болоте мы требовали поставить шлюзы, чтобы регулировать сток и удерживать воду. Отказали нам! Слепили на смех легкие конструкции — их паводком снесло. И вот стоит у нас там «Волжанка» — дорогая система! А использовать ее не можем — воды нет. А на Ни-

кольском болоте все каналы затянуло — вода не стекает. Опять плохо. Мы же не можем вновь прорыть эти каналы. Нашему ремонтному участку просто не под силу такое дело. Машин нету! А подрядчику ветер в спину; он деньги получил и руки умывает. Что это такое?

Вроде бы и не спрашивает меня, а за поддержкой обращается, но смотрит прямо и строго, и, признаться, мне становится неуютно от ее взыскующего взгляда.

— Как там на польдерной системе? — спрашиваю.— Построили вторую насосную станцию?

Вздохнула и говорит:

— Построили, весной сдавать будут. С польдерной системой еще жить можно. Вот на «Совке» у нас беда. Фактически весь объект «Совка» мелиорирован вопреки нашим требованиям. Во-первых, мы требовали зарегулировать сток реки Совки, но его до сих пор так и не сделали. Совка не принимает воду, а, наоборот, подпирает ее. В результате огромные карты — чуть ли не все десять тысяч гектаров — простояли все лето в воде. Многие участки имеют глеевый горизонт, то есть глинистую прокладку на глубине двадцать — тридцать пять сантиметров. Нужно глубокое рыхление, перед тем как дренаж укладывать. Но рыхления не сделали, и дренаж не работает — до него просто не доходит вода, ее глина удерживает. Зачем же прокладывать такой дорогостоящий дренаж? Да и как он выполнен? Трубки укладывали наспех практиканты, да еще зимой, по морозу, а то и в воду. Трубки кривые, зазор между ними не полтора миллиметра, а по целому сантиметру. Разве будет дренировать такая система? Она вон и простояла все лето в воде. Для чего ж ее делали? Чтобы деньги получить? Тридцать миллионов! Да еще отрапортовать: план выполнен, и точка. А там хоть трава не расти. Она и не растет.

— Ну, вы хоть жаловались?

— А как же! Писали, говорили, требовали. Да кто нас слушает? У них, мол, все согласовано свыше. А то вылезли на песчаники и пошли пески дренировать. Что вы делаете, говорим? На смех, что ли, пески-то дренируете? А нам в ответ: мы план выполняем. У нас проект. И чешите! Проектантов вызывали. Ну и что? Походили, побродили, носком землю поковыряли да уехали. Все правильно, говорят. А что им, работать на этой земле?

— Но ведь как-то оправдывают они свое решение?

— На бумаге-то все можно оправдать. Но нам от это-

го не легче. Только поля искалечили. Выворотили песок наружу, он всю почву накрыл. Теперь надо внести на каждый гектар до сотни тонн органики. А где взять столько? Такой прорвы органики мы за двадцать лет не скопим. А так — что на этих песках теперь вырастет? Для чего же и для кого делается такая мелиорация?

— По идее, для вас,— говорю.— Чтобы облегчить вашу жизнь. И естественно, в конечном итоге и нашу.

Только горько усмехнулась:

— Мы не заказчики, не подрядчики. Кто же мы? Дети, что ли, неразумные? Видите ли, все делается для нас, не спрашивая нас и не считаясь с нами. Что же она, эта мелиорация, сама по себе или по щучьему велению чудеса начнет творить? Ведь ее эксплуатировать надо, работать на ней. А потому ее опробовать надо, как говорят у нас мужики. То ли сотворили или не то? А потом уж сдавать, ежели она хорошо работает. Сколько раз мы требовали: сперва испытайте систему ну хотя бы в течение года, а потом уж сдавайте. А у нас как по пожару: не успели еще завершить ее, уже сдают по частям. Лишь бы поскорее доложить: выполнили и перевыполнили. Потом переделывать начинают. Ну, куда мы торопимся? Кого обмануть хотим? Землю? Ее не обманешь. Себя перемудрить хотим. Э-эх! — качает головой и смотрит на меня с укором.

— А вы предлагали что-нибудь конкретное, чтобы изменить этот пожарный метод?

— Предлагали. Лет десять назад требовали создать у нас опытный мелиоративный участок. Сперва надо посмотреть на практике — как оно получается в наших условиях, а потом уж приступать к большой мелиорации. Но нам все сделали наоборот: полсотни миллионов затратили, дров наломали... И только теперь закладывают опытный участок. Как в старину говаривали: в лес идем по-медвежьи дубье ломать. А дуболома укротить можно только дубиной. Вот мы и надеемся, что на съезде дадут укорот подобной практике. Примут необходимое решение. Заставят и с нами считаться.

Это необходимое решение принято. А еще в XII разделе «Основных направлений» сказано: «Не допускать нарушения прав объединений и предприятий, мелочной опеки и администрирования по отношению к их руководителям и специалистам».

Но чтобы решение съезда сделалось законом нашей жизни, чтобы вошло оно в повседневную практику тру-

довых взаимоотношений, надо много и серьезно потрудиться. И не только земледельцам, не только руководителям предприятий да специалистам, а всему обществу. Это очень серьезная и трудная задача.

То обстоятельство, что иные решения правительства глохли в повседневной суматохе жизни, тяжкой виной ложится на плечи не только тех, кому были они адресованы, но в значительной мере вину эту должна разделить и печать наша, а следственно, и мы, писатели. Да, да! Все мы, работники печати, в не меньшей мере повинны, чем земледельцы и партийные работники, в том, что гуляет порой впусте земля наша, что обезлюдела деревня, что не хватает того же масла, мяса, молока. Попытка некоторых из нас свалить всю вину на крестьян, на их нерадивость, на отсутствие дисциплины и прочее без серьезного анализа современной социальной и экономической структуры выглядит эдакойстародавней отрыжкой бурмистерского подхода к любому делу. Хватит уж делать ставку на горло да на голую мораль. Не то ведь до того доживем, что и стыдить-то некого будет.

Конечно же мы не должны учить крестьян, как землю пахать, или спорить с учеными — какие белковые вещества добавлять в корма; но мы обязаны вскрывать социальную сущность явлений и загодя предупреждать общество о грозящей беде. Давно уж необходимо сделать нам крутой поворот от помпезных, многолюдных и дорогостоящих выездов на парадное представительство к не заметному со стороны, но серьезному изучению жизни; поворот от празднословия, от цветистого упования на блестящие перспективы к деловой и точной оценке реально существующих проблем. И не ждать мановения волшебно палочки, легко и просто упраздняющей все наличные проблемы, а ставить их самим, опираясь на точное знание предмета, как говаривали в старину, и на его социальную сущность. Традиции нашей боевой публицистики пятидесятых и шестидесятых годов должны возродиться. Без такой всенародной трибуны немыслимо выполнение задачи, поставленной съездом.

1981 г.

2
Оставленные в наследство заветы

ЗАПАХ МЯТЫ И ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Разговор мне хотелось бы начать с разбора двух книжек, не так давно вышедших в свет. Первая из них — «Каменские портреты». Автор — Владимир Богатырев, писатель еще мало известный нашей публике. Книжка небольшая — всего три рассказа (вернее, три коротенькие повести) и один очерк. Но тем не менее она заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько добрых слов и выразить при этом кое-какие соображения.

Каждая первая книжка в художественной литературе явление любопытное не только в том смысле, что представляет нам лицо еще неведомое, но и потому, что эта книжка, как правило, отражает некоторые общие тенденции, сложившиеся в данный момент в литературе.

Лучшей вещью в сборнике я называю «Степную повесть». Если говорить о ее фабуле, то, пожалуй, особенно и не разговоришься. Это бесхитростная история о том, как чабан Бадма хотел признаться в любви своей поварихе Немит и не успел — некогда. Не будешь ведь говорить об этом за обедом: это несолидно для серьезного мужчины. А вечером спать хочется. Утром? Можно бы утром поговорить, но Немит занята — кашу варит, а потом овец надо выгонять. Так вот и не успел поговорить. Уехала Немит, а вместо нее прислали поварихой бабушку Окониху. Вот и вся фабула.

Написана эта история в той неторопливой манере, когда вниманию читателя предлагаются не столько взаи-

моотношения между персонажами, сколько описания их размышлений, чувств, переживаний, описания природы, птиц, животных, насекомых, вещей. Сами по себе эти описания и зарисовки порою даже очень неплохие. Вот как описана утренняя степь:

«Все выше и выше поднимают прозрачную песню жаворонки и звенят, первыми увидев восходящее светило. На курганах мрачно, как убийцы, сидят и перемаргиваются бурые орлы. Редким молоком ходит в ложбинах сырой туман».

А вот пробуждение зверья:

«Появится у норы первый суслик и, как углекоп, щурит на небо подслеповатые глаза, радуясь ему, серой вешкой замрет и пересвистнется с приятелями и соседями:

— Доброе утро, мужики!»

Неплохо. Но читая подобные описания, все ждешь и ждешь появления тех событий, того взрыва чувств или поворота мысли, когда вдруг начинаешь схватывать всю цепь явлений, понимать — что же тебя так увлекло, опрокинуло твое обычное представление, отчего так встрепенулась душа твоя, почему защемило в груди. Нет! Все идут, идут описания того, как выгоняет овец чабан Бадма, как он поит их, как сам обедает, что думает о своей поварихе — обаятельной девушке Немит, как он спит и что во сне видит. Да, я охотно верю, что так пасли овец и сотню и тысячу лет назад и что мысли и чувства Бадмы медлительны, как тягучее марево в летний зной. Но я читал и ждал чего-то большего и не дождался. Вообще-то можно ограничить себя и одной историей о том, как медлительный Бадма собирался поговорить о любви с поварихой, да так и не успел. Вроде бы не банально и даже забавно. Но в традициях нашей литературы всегда было желание увидеть за частным случаем нечто закономерное, общественно значимое. В «Степной повести» Владимира Богатырева в полном смысле ничего социально значимого не просматривается. Чабан пасет овец, повариха варит обеды; чабан ждет помощника, повариха — сменщицу. Наконец приезжает бабушка Окониха, Немит уезжает. Все. Сюжет исчерпан. А конфликт? Зачем конфликт? Все живы и здоровы, каждый на своем месте. Чего ж вам боле? Не потому ли эта повесть получила премию Союза писателей за 1974 год, что стосковались мы по тем сочинениям, которые никого не обижают и ничего не затрагивают? Не есть ли это свидетельство

томления души по светлым денькам бесконфликтной литературы, когда только «хорошее» соперничало с еще «более хорошим» — и все были так счастливы, за исключением читателя. И думали: авось безоблачность в литературе просветит наш жизненный небосклон. Нет, не просветило.

Я это говорю все потому, что знаю: лучшие рассказы Богатырева, опубликованные лет восемь назад в «Новом мире», имели и серьезные конфликты, и остроту, и социальную значимость. Но они не вошли в сборник, уступивши место куда более легковесным вещам. В том-то и беда, что при составлении книг молодых писателей редакторы порой приносят больше вреда, чем пользы.

Так вот и случилось, что сборник Богатырева подогнан под общий тон, так сказать, и состоит из вещей его далеко не лучших.

В одной из них приезжий главный инженер колхоза влюбляется в доярку и... оставляет ее в «интересном положении». Девушка мучается, гордость не позволяет ей признаться в этом. А он сам не догадывается. К тому же он слишком высокого мнения о себе. Наконец она уехала рожать в город к сестре. А он, узнав истину, прозревает. Ему стыдно. Он готов помириться, извиниться и пр.

Это все было в литературе, скажет читатель. Да, было. Но написано об этой немудрой истории хоть и неглубоко, но мило. И люди нарисованы с душевной теплотой. (У нас теперь очень любят этот термин — душевная теплота допрежь всего.) Видишь, что автор вроде бы и знает жизнь современной деревни, что человек он, безусловно, способный, что пишет с любовью к предмету изображения. Все это хорошо, но вот беда: читаешь и ничего не видишь ни вглубь, ни вокруг, ни далее; а видишь то, что он ее то любит, то не любит, что она работает на ферме, хорошо работает, что доярки — люди хорошие. А председатель колхоза и того лучше. И главный инженер тоже неплохой человек. Да бог с ней! Я готов поверить, что есть колхозы, где плохих людей быть не может, если бы стояла за этим утверждением определенная авторская концепция, убежденность. В конце концов, писали же об «утопиях», о «старосветских помещиках», о «новых людях» и пр. Мы охотно читали это и прощали однобокость, умиление, авторские восторги перед собственными персонажами. Прощали, потому что знали, с чем дело имеем. В том-то и беда, что теперешняя лите-

ратурная мода, которой, увы, следует и Богатырев, начисто отрицает такую определенность, уходит от социальных концепций либо подменяет их давно отработанными, апробированными положениями.

Это направление в последние годы определилось как бытописательство, как повышенное внимание к вечной красоте природы (без борьбы, без страданий за ее сохранность), к прелестям интимных переживаний относительно переезда на новую квартиру или покупки новых сапожек, шляпок, вазочек, рюмочек, употребления коктейлей, холодного пива и конечно же любовных утех. Вот почему я пишу, может быть, с излишней резкостью о первой книге Богатырева. Рассказы и повести его уже замечены в литературных кругах, о нем много говорилось на Московском литературном семинаре, он принят в члены Союза писателей еще до выхода в свет первой книги. Олег Смирнов заявил в послесловии к «Каменским портретам», что пишет Богатырев остро, что конфликты его имеют социальную глубину. Вот, мол, и на семинаре так было решено, и даже один рассказ, «На склоне лета», доработан там в нужном направлении. То есть речь идет о подмене конфликтов подлинных конфликтами мнимыми, ложными. А раз так, то в разговоре о подобных книгах не может быть скидок ни на молодость, ни на старость автора. Вопрос слишком серьезный.

В рассказе Богатырева «На склоне лета» как раз и встречается такая подмена — под видом серьезного конфликта нам преподносят апробированное противостояние. Два парня, Виктор и Семен, работают на одном комбайне. Они влюбились в одну девушку Тоню. Но не в том острие конфликта. Главное зло в том, что у Семена отец — бывший кулак. Он работает кем-то в кооперации. У него хорошая усадьба, он и Семена заставляет работать на своей усадьбе старательно, а на комбайне с прохладцей. Этот застарелый кулак, как выясняется, и на войну не пошел — броней прикрылся (в кооперации работал!). Он, этот семидесятилетний старик, и свалил Виктора одним ударом за то, что Виктор выразил удивление: отчего это не раскулачили отца Семена еще в 1929 году? Автор пытается уверить нас в этом, а мы не верим. Не верим ни тому, что старик из-за пустяка уложил так легко бравого солдата, ни тому, что этот старик был кулаком или вроде этого. Во-первых, потому, что в начале сороковых годов к таким вот кулакам отношение было несколько прохладным, и попасть кулаку на руко-

водящий пост в кооперацию было не так-то просто. Кем он там работал, мы так и не знаем. Но уверены, что не сторожем. Сторожам броню в войну не выдавали. Не верится, что отец Семена был кулаком еще и вот почему: по народной пословице — кулак не дурак, подобная категория людей отлично чует свою выгоду. А отец Семена не в ладу с трезвым умом. Ну кто, какой мужик (да еще кулак!) не сообразит, что за один день комбайнер в страду может заработать столько, что вся его усадьба вместе с забором того не стоит. Так неужели же старый крестьянин не понимает такой простой истины? Конечно же понимает. Будь здоров как понимает. Конечно же, будь он из кулаков, так он бы шкуру спустил с Семена за то, что тот свой комбайн содержит худо, то есть *зарабатывает на нем очень мало.* Я еще не видел ни одного хорошего комбайнера, у которого своя усадьба была бы не ухожена. Как правило, у хорошего работника образцовый порядок в поле и на собственном огороде. Плохому работнику все трын-трава. Конфликт Виктора и Семена прост по природе: столкнулись два человека, один — скромный работяга, второй — хапуга и хулиган. И напрасно Богатырев пытался перевести его на социально-классовую основу, получилась натяжка, и натяжка шаблонная.

В заключение скажем, что первая книжка Богатырева явилась, с одной стороны, заметным фактом: живой язык, достоверные описания природы, приятные персонажи; с другой стороны, эта книжка стала печальным повторением безоблачных конфликтов и наивных представлений о носителях социального зла.

Конфликт в литературном произведении не простое хождение стенки на стенку, не драки да скандалы, не искусное плетение интриги ради забавы, а прежде всего разлад жизненного явления, общества, семьи, личности, наконец. Говоря проще, конфликт есть противодействие добра и зла. Не будем бояться применять эти весомые старые слова. Да, противодействие добра и зла. И «Степную повесть» Богатырева я критикую не за отсутствие стычек между персонажами, а за отсутствие у них душевной сопричастности к миру насущному, за отсутствие понимания его. Человек, понимающий мир, непременно что-то осудит, а что-то будет отстаивать в этом мире, и собственные поступки его, действия будут выст-

раиваться в зависимости от этого понимания. Умение увязать поступки персонажа с его пониманием мира насущного, пониманием все того же добра и зла и выявляет, на мой взгляд, степень мастерства писателя. Ну, само собой разумеется — надо еще и уметь писать, то есть обладать слогом, как говаривали в старину. И слог, или стиль письма, как угодно называйте его, и степень проникновения в глубину жизни, и особая одаренность — способность творить характеры одновременно всем известные и неповторимые — все это выделяет истинного мастера из общего потока. Подробнее я скажу об этом ниже, а теперь мне хотелось бы остановиться на разборе другой книги, тоже молодого писателя, встреченной так же положительно, но по своему направлению, по идейной значимости книги совершенно противоположного характера.

Итак, книга Юрия Аракчеева «Листья». Это тоже первая книга автора, книга небольшая — всего одна повесть, два рассказа и очерк. Но робким опытом ее не назовешь. Эта книга легко может выдержать критику самую взыскательную. Открывает ее большой рассказ «Подкидыш». Читатель памятный, может быть, и вспомнит, что этот рассказ печатался давным-давно, еще в «Новом мире» под редакцией Твардовского.

Мне понравился этот рассказ. В нем ярко и точно написана заводская среда — не только шум и грохот моторов, скрежет конвейера, запах подгоревшего масла, теплые и упругие волны нагретого работой воздуха, но и те короткие общения между мастеровыми за конвейером или в курилке — эти полуфразы, полужесты, сразу выражающие смысл и желание каждого, эти шутки, шлепки мокрых ковриков и мочалок в душевой, эти перебрехивания за «козлом» во дворе, стреляние целковых и трешек, выпивка после работы, душевные откровения в забегаловке у инвалида-сапожника, домашняя маета и неполадки с женами... Все это написано умело, рукой уверенной и, главное, правдиво до последней степени. И вот что удивительно: прочитав одним духом рассказ, неожиданно для себя замечаешь — а ведь рассказ-то бессюжетный. И действие какое-то замедленное, вялое. Да и вообще ничего особенного не происходит, всего делов-то: пожилой и опытный мастеровой урывками собирает и отлаживает брослый мотор, определенный заводским начальством на свалку, на запчасти то есть. Этот брослый мотор и есть «подкидыш», от него и название рассказа.

Мастер-наладчик, Фрол Федорович, почуял к этому мотору «смутную симпатию», ему отчего-то жалко стало этого подкидыша. Авось мотор окажется молодцом, думал пожилой мастер. И на свой страх и риск, будучи загруженным работой по горло (двойную норму гонят — конец месяца), Фрол Федорович ухитряется сэкономить для своего подкидыша считанные минуты, «достать» нужные детали, то есть сбегать на склад, выпросить из неоприходованных запасов (созданных кладовщиком «на случай») трамблёр, бензонасос, карбюратор и прочие мелочи, носить эти тяжести в карманах, прятать в закутках, чтобы не сперли сменщики... и все-таки ухитряется все это поставить на место, отладить, покрасить мотор и с каким-то непонятным чувством, вроде бы радостью, двинуть своего подкидыша по конвейеру. Ступай, милый, служи людям! Эта, казалось бы, непонятная радость, это чувство бескорыстной симпатии к мотору-подкидышу и есть та рабочая совесть, которая движет поступками истинно мастерового человека. Она, эта совесть, в столкновении с производственными и бытовыми неполадками и заставляет Фрола Федоровича поступать так, а не иначе, она и есть внутренний двигатель повествования, то есть стержень конфликта. Пока жива эта совесть, прочно стоит на земле человек. И мы, ощутив эту жизнь всю как она есть, можем не только скорбеть, но и радоваться, потому что знаем: при всех неурядицах бок о бок с нами живет и трудится рабочий человек Фрол Федорович, трудится не из корысти, не за страх, а за совесть.

Отчего же при видимом отсутствии интересных событий с таким волнением читается этот рассказ? А оттого, что здесь все истинно, от горячей запарки возле конвейера до слез одноногого пьяницы-сапожника, потерявшего сына; оттого, что нам жалко неприкаянное одиночество доброй и сдержанной кладовщицы Сони с ее маленькой дочкой, оставленной на руках сердобольной пожилой соседки; оттого, что жалеем мы и молодую жену Фрола Федоровича, намаявшуюся за день-деньской и напрасно ждущую вечерних развлечений; жалеем и самого Фрола Федоровича, так и не нашедшего подхода к собственной жене. Нас волнует встреча с произведением искусства, наполненным живым и достоверным описанием наших современников, близких и понятных нам по той внутренней неприкаянности, бытовой и производственной неустроенности, какой-то быстротечной несуразности, которую часто переживаем мы сами, даже не стоя за кон-

вейером и не спускаясь в подвал к хромому сапожнику, чтобы «выпить одну на троих».

Юрий Аракчеев вполне сложившийся писатель с очень определенной манерой повествования. Он пишет вещи и бессюжетные, так сказать, в очерковом плане, но не бесконфликтные («Подкидыш», «Праздник»), и просто очерки («Листья»), и охотно идет на создание остроконфликтных повестей («Переполох»). Тематика, жизненный материал, персонажи самые разнообразные: цеховые рабочие, инженеры-строители, бухгалтеры, экономисты, кандидаты модных наук и представители традиционных профессий вроде юристов, учителей и пр. И везде, в каждой вещи Аракчеева проявляется его своеобразие — это прежде всего дотошная скрупулезность описания — будь то трудовой процесс, или подготовка праздничного стола собравшимися на вечеринку молодыми людьми, или организация назначенной ревизионной комиссии строительного управления — все выписывается Аракчеевым доподлинно с малыми, микроскопическими деталями. Мне, писателю другого склада, порой кажется эта дотошность излишней, но я бы не хотел посоветовать Аракчееву отказаться от нее. Дело в том, что эта микроскопическая достоверность, хорошо увязанная с психологическим моментом, и создает тот «движитель» повествования, то есть выполняет ту задачу, которую у другого писателя выполняет фабула или необыкновенная броскость характера. У Аракчеева поначалу все кажется обычным, даже ординарным, и только потом начинает раскрываться истинная суть и глубина замысла. В этом плане чрезвычайно характерен рассказ «Праздник».

Собираются молодые люди к приятелю на новую квартиру, чтобы погулять в складчину. Один мечтает попеть, другой — стихи почитать, третий заранее досадует, что напрасно пошел — не перед кем будет показать свою начитанность и остроумие. И вот этот сложный конгломерат чувств и желаний наслаивается, нагромождается в общую кучу веселья, из которой в конце концов начинает выпирать свиное рыло пошлости. Не нужно ни стихов, ни песен, ни страстных речей, ни «взоров нежных». Долой иносказательные мерехлюндии! Да здравствует раскованность и откровенность! Кому не нравится — отойди в сторону. Раз-два, начали... Да, в сатанинском вихре телесного вожделения всегда побеждает пошлость.

Самая крупная вещь сборника — повесть «Переполох» чем-то напоминает кинофильм «Премия», Правда,

появилась она на год раньше «Премии». И «Переполох» и «Премия» построены на одном и том же конфликте — строительное управление (или трест) получает премию за перевыполнение плана, а план занижен или попросту не выполнен.

В «Переполохе» для расследования назначается специальная комиссия; в «Премии» роль этой комиссии взял на себя партком. Как здесь, так и там выясняется, что премии начислялись незаконно, но развитие конфликта в этих разных вещах идет по-разному.

Вспомним, что на заседании парткома (в «Премии») рабочий Потапов сказал, что бригада его отказывается получать премию, потому что она фальшивая. План-де занижен, оттого он и перевыполнен. Если бы не был занижен план, то мы, рабочие, заработали бы значительно больше. Вот, мол, и давайте план выполнять. И в доказательство правоты своей положил тетрадь с расчетами.

И слова Потапова, и поступок его хоть и являются редким случаем (где это видано, чтобы рабочий от премии отказывался?), но литературно и жизненно правдивым событием. От производственной расхлябанности, от всяческого невыполнения планов страдают в том числе и рабочие, их заработок снижается. Вот почему понятен «бунт» бригады Потапова. Он оправдан и, более того, встречает соучастие зрителя. Потому и удался характер Потапова, что он реально действует, что добивается выполнения своих интересов. А интересы рабочего Потапова в данном случае совпадают с интересами общественными. Дело вовсе не в том, что Потапову «мало денег». Ему хочется дойти до сути, докопаться до первопричины — отчего так получается? Почему не делаем того, что обязаны делать? Почему в передовых ходим, когда надо бы краснеть за свои неполадки? Совестливость Потапова скорее лежит в социально-этической плоскости, чем является порождением чисто экономических причин. Вот в чем гвоздь вопроса.

Образ рабочего Потапова — удача фильма. А отчего же остались в тени управляющий, главный инженер, начальник планового отдела? Почему же они не удались в равной степени, как Потапов? А потому, что их роль в конфликте оказалась недостоверной, пущенной по литературной схеме.

Давайте вспомним суть дела. Вот Потапов положил на стол тетрадь с расчетами, и все инженеры — от управ-

ляющего трестом до начальника планового отдела — сникли. Так вот, простой рабочий утер всех этих итеэровцев. Затем долго спорят, выпытывают: кто дал запретные цифры из планового отдела, которые сразу повергли ниц грозное начальство. Что это за магическая цифирь, зритель так и не узнает. Но по длинному спору нетрудно установить, в чем суть,— тресту пересмотрели план, вместо одного задания дали другое, более низкое. Обычно это делается в том случае, когда тресту или управлению на главные объекты (промышленные корпуса) либо деньги не дают (титульные списки закрывают), либо не поставляют к сроку конструктивные элементы (фермы, опорные балки, трубы и пр.), которые выполняются не в тресте, а в смежных предприятиях или министерствах. В таком случае вместо крупных корпусов (денежных объектов) включаются в план всевозможные подсобные предприятия, вроде банно-прачечных, аккумуляторных, жилья и пр. На этой мелочи, как говорят строители, не развернешься. Поэтому главк и снижает план тресту. Не за красивые глазки управляющего, а по вынужденной необходимости, оттого что смежные предприятия и министерства выполняют заказы плохо (и на это есть особые причины), а мощность собственных производственных баз недостаточна. А то и денег не дают, техническая документация запаздывает. Да мало ли причин? Поэтому главным образом мы и не сдаем вовремя сотни строительных объектов. Потапов, может быть, этого и не знает. Но главный инженер треста, управляющий, начальник планового отдела, парторг, наконец, если он инженер,— они-то прекрасно знают, почему им снизили план там, в главке. И нечего темнить тайной цифирью. Эта тайна существует только до порога треста. А в парткоме давным-давно ясно, почему план снижен. И управляющий, будь он истинным управляющим, а не литературным персонажем, посмотрел бы в очи главного инженера и сказал: «Ты что, друг Ваня, или забыл, почему снизили нам план? Забыл, почему вместо главного корпуса пустили мы банно-прачечную? Забыл, что главный корпус стоит три миллиона рублей, а банно-прачечная двести тысяч?» Такого серьезного открытого спора, вскрывающего суть явления, суть конфликта, не происходит. Игра идет в одни ворота, как говорят футболисты. Бригадир, парторг, главный инженер только нападают, а управляющий только обороняется. Под конец главный инженер сражает наповал своего управляющего: ты, мол,

приступил к основным объектам, не закончив нулевого цикла. И опять гол!

Ах уж эта неотразимость положительного героя. Легко сказать — закончим нулевой цикл и только потом приступим к основным объектам. Теоретически оно можно. Отчего ж нельзя? Будь у нас система чистого подряда, так бы и делалось. Ты — заказчик, я — подрядчик. Так вот, изволь мне, подрядчику, поставить то-то и то-то и к такому-то сроку. Тогда будет тебе и нулевой цикл образцово исполнен, и все остальное в строгой последовательности. Словом, будет вам и белка, будет и свисток. Но у нас такой порядок существует только на словах. На деле же наблюдается нечто иное. Ты начал гнать нулевой цикл, а тебе труб не привезли. Для водопровода — вот они, а для канализации, теплоцентрали нету, погоди. А там хвать — кабеля нет, башмаков фундамента. Да что там башмаков? Генплана нет. Да, да, нет! Такой-то проектный институт получил срочное задание, переключился на него, а наш генплан отложил на год. Отодвинул! А деньги пошли, проекты на корпуса есть, план выполнять надо. Гони!

Или что, не хочешь? Генплан ждешь, трубы?! Тогда сядь в сторонке и жди. А управляющим станет Титков. Титков откажется — третий придет и станет закладывать корпуса, не дожидаясь окончания нулевого цикла. Станет, потому что в данной ситуации иначе и нельзя. Глупо сидеть сложа руки и целый год ждать генплан или трубы. Вот такой спор примерно мог бы вспыхнуть между управляющим и главным инженером, брось ему главный инженер обвинение насчет нулевого цикла. И главному инженеру пришлось бы искать более весомые доводы или ретироваться. Спорить так, писать так, значит, идти в глубь жизненной ситуации, в глубь конфликта, в глубь характеров. Но этого в фильме не происходит; персонажи скользят по поверхности так называемой производственной темы, сами оставаясь бледными тенями своих жизненных прототипов. Спорить так они не могут и потому, что рухнет, словно карточный домик, выстроенный сюжет. Вот и бьют себя в грудь литературные персонажи. Ребята, двери мы ставим не на том месте. Вот оказия! Но, погоди... Начнем мы их ставить где положено, потому как рабочий класс у нас на высоте, парторг тоже молодец, и комсомолия тянется кверху. А эта инженерия, которая в управляющих ходит да в плановом отделе сидит, секретные цифры придерживает. Вот ра-

зоблачим их, добудем эти цифры, прикинем что к чему, да с карандашиком поработаем — и все производство круто пойдет в гору... Наивное и старое заблуждение.

Я вовсе не утверждаю, а предполагаю те или иные причины занижения плана. Возможно, тут кроется и простое мошенничество, сделка за счет соседа и пр. Но и такой конфликт надо прописывать, а не оставлять зрителя в иллюзорном состоянии — раз поговорили на парткоме, значит, все образуется. Принять премию или не принять — это еще не самоцель, а всего лишь повод для проникновения в сложную жизненную ситуацию.

На этот счет Аракчеев не питает никаких иллюзий. У него в «Переполохе» управляющий Бахметьев отлично знает, что его передовое управление не возьмешь голыми руками. Планы не те? Объем работ завышен? Приписки есть? Премии незаконно начисляют?.. Ну что ж, за всем не доглядишь. Зато он знамя городское держит. Он голова и душа всего управления. Тысячный коллектив! Его надо организовать и двинуть в нужном направлении. А если есть какие-то технические или бухгалтерские недочеты, пусть разбирают, взыскивают... с кого следует. На то у него и специалисты, отвечать должны. И еще одна малость — у Бахметьева друг и брат начальником того самого главка, от которого зависит его ревизор Хазаров. Хазаров сам не ревизует, он только назначил комиссию. И спохватился — комиссия слишком усердствует. Бахметьев может попасть под суд, и ему, Хазарову, придется солоно от Мазаева (друга и брата). И вот Хазаров бьет отбой — не так чтобы совсем уж прекратить дело. Надо, конечно, надо наказать за незаконные премии, но кого? Лучше бы не Бахметьева, а главного инженера. Специалиста то есть. Это неважно, что главный инженер не виновен. Не виновен, но снисхождению не подлежит, как говаривал Салтыков-Щедрин. Должен смотреть в оба. Бахметьева же пожурить... а главное, проследить надо, чтобы не зарывались эти ревизоры. А если кто и посмеет ослушаться его, Хазарова, так на бюро образумят.

И вот собралось бюро. И все шло по сюжету Хазарова... И вдруг в последнюю минуту, когда уже все было улажено, нашелся один выскочка (впрочем, до сих пор был послушным человеком), ляпнул без обиняков всю правду. И вспыхнул переполох. Стали кричать даже самые покладистые. Пришлось откладывать бюро, переносить на времена отдаленные. А руководителю ревизии

дали задачу подготовиться к бюро как следует, подработать мнение отдельных товарищей.

Удастся ли Бахметьеву выйти сухим из воды? На этот вопрос автор не дает прямого ответа. Но всем ходом повествования он доказывает, что бахметьевы тогда остаются ненаказанными, когда мы пасуем перед высоким авторитетом нежданных покровителей. А пасовать не следует. Нехорошо.

В «Переполохе» и в «Празднике» Юрию Аракчееву удается решить чуть ли не самую трудную задачу — создать групповой портрет, философски целостный и чрезвычайно оригинальный в отдельных гранях своих. Решающую роль сыграла здесь точно продуманная и сработанная многоходовая механика подлинных конфликтов.

Конфликт в литературе — понятие далеко не односложное. Разумеется, конфликт в рассказе или в драме, в романе или в комедии строится по особым законам избранного жанра. Но конфликт всегда есть такая особенность вещи, ухватившись за которую можно вскрыть и глубину замысла, и философскую суть его, и достоверность характера. Опытный критик так и поступает. Вспомните, как написана статья Добролюбова о «Грозе» Островского? Даже само название ее выражает сущность конфликта — «Луч света в темном царстве». У писателя и у критика только приемы разные, а цель одна — опираясь на исследование жизни, создавать нечто более действительное и долговечное, чем те события и живые характеры, что породили это нечто. Неверность молодых жен по тому времени — явление редкостное, да не редкостным было затворничество, истязание снох и буйное самодурство кабаних да диких. И вот, опираясь на этот исключительный случай неверности молодой жены, ее самоубийства, Островский и Добролюбов, каждый посвоему, вскрыли общественный порок — нетерпимость узаконенного вседержителя в семье ли, в обществе к малейшему проявлению самостоятельности подопечного, пытающегося сохранить за собой и утвердить в поведении своем достоинство и права человеческие.

Что и говорить, порок по тому времени далеко не новый, но разоблачение его, протест против «темного царства» прозвучал свежо и сильно. И писатель и критик, каждый по-своему обличая его, вызывали одни и те же чувства протеста у сограждан. И вот в этом горниле

гражданской активности обжигались на вечные времена знакомые нам, достоверные характеры Катерины, Кабанихи и Дикого. Давно ушли в небытие домостроевские порядки, нет теперь ни купеческих семейных крепостей, ни приданого, ни вообще капитала движимого и недвижимого. Но образ Катерины до сих пор ярок и живуч — ее протест против засилия косности и нетерпимости, ее утверждение человеческого достоинства, свободы, наконец, трогает души наши, наполняет сердца гневом и состраданием. Конфликт был явлением временным, но характер, порожденный этим конфликтом, сделался вечным. Однако, не будь изображен этот временный конфликт глубоко и достоверно, не было бы и вечных характеров Катерины, Дикого и Кабанихи.

Произведение искусства вовсе не обязано копировать жизнь, общество. Порой оно показывает уродливое изображение этого общества, нелепое, фантастическое. Вспомним Гоголя, Щедрина, Сервантеса, Свифта. Но непременно нервный ток, электрические заряды, смысловое напряжение в произведении искусства будут те же, что и в обществе. И критик, берясь за то или иное произведение искусства, прежде всего точно определяет истинное напряжение этого нервного тока, как опытный инженер по накалу лампочки определяет напряжение в сети. В этом смысле роль критики как бы подсобна, вторична. И тем не менее критик наравне с автором по-своему пытается выразить ту же суть явления, оперируя не только авторским описанием, но и собственным исследованием жизни. Вот почему Базаров Тургенева не одно и то же, что Базаров Писарева, да и Катерина Добролюбова несколько отличается от Катерины Островского. В данном случае критики вместе с писателями заметили в жизни явления базаровщины и «темного царства», оценили их по достоинству, осуждая одно и утверждая другое. На таких крупных явлениях они строили свои анализ и синтез литературы и жизни.

А у нас часто проходят дискуссии, диалоги, «круглые столы» — тонны бумаги исписываются, но никак не поймешь: пошто шумим, братцы? Из-за чего сыр-бор? Есть синтез или нет его? Так ведь мало утверждать, что он есть, или отрицать его. Извольте потрудиться сперва, сделать анализ — что за жизнь отражена в нашей литературе, как? Что за идеи вдохновили авторов? Какие невиданные характеры сошли в нашу жизнь со страниц этих книг? Проанализируйте сперва, а потом приступайте к

определению — есть синтез или нет его. Я вовсе не хочу сказать, что у нас не любят анализировать. Анализируют досконально, до мелочей прослеживают — какие особенности стиля наличествуют у того или иного автора, какая атмосфера, какие ассоциации. И произведения цитируются вполне приличные, даже изящно написанные, с юмором, с настроением. Я не говорю, что этого не следует делать. Почему же? Критиковать, анализировать все надо — и вещи заметные, и выдающиеся, и вовсе ничтожные. Пушкин говорил, что распространение в публике вещей ничтожных — явление чрезвычайно важное, достойное самого серьезного исследования.

Но чего хотят наши критики из последней дискуссии насчет синтеза? Чего ждут они от литературы? Как понимают они синтез?

Зачинщик этой дискуссии Е. Сидоров так определяет смысл синтеза: «Самое трудное здесь заключается в том, чтобы в явлении, характере, поступке героя схватить и объемно передать не какую-нибудь одну или несколько граней действительности, а целое жизни, понятое как история и будущее. Именно в этом сущность художественного синтеза». Вот так, схватил один характер — и сразу выразил «целое жизни, понятое как история и будущее». Чего там возиться с «отдельными гранями действительности»! А отсюда, делает вывод Е. Сидоров, нужна главная книга. «Никогда, пожалуй, за всю историю советской литературы так остро не ощущалось отсутствие масштабного, социально-философского романа, *стягивающего воедино главные проблемы духовной жизни нашего современника»*.

Я ничего не имею против масштабного социально-философского романа. Но право же, не могу себе представить, кто бы мог решиться написать книгу, «стягивающую воедино *главные проблемы духовной жизни нашего современника»*. А кто бы мог из писателей прошлого? Ни Толстой, ни Достоевский не успели написать такой книги, чтоб воедино стянула она главные проблемы духовной жизни современника. Такую главную книгу смог бы написать разве что Козьма Прутков, автор проекта «О введении единомыслия на Руси». Тот бы, пожалуй, дал образец главной книги, без которой так неуютно Е. Сидорову, мечтающему видеть в одном литературном персонаже и современность, и историю, и даже будущее.

Ну а поскольку такой главной книги пока нет, критик И. Золотусский предполагает выход: «Соедините вер-

ность Ивана Африкановича, хитрость и непобедимость Кузькина, бескомпромиссность Сотникова и резкую реакцию на обиду героев В. Шукшина — и вы получите, на мой взгляд, современный портрет».

Сразу видно, что критик читал Гоголя. Вспомните, как рассуждает невеста Агафья Тихоновна из «Женитьбы»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась...» Вот и получился бы полноценный жених.

Хочется спросить у критика: отчего это Николай Васильевич Гоголь не соединил фантазию Хлестакова, упорство Собакевича, откровенность Ноздрева, галантность Чичикова да еще резкую подозрительность Плюшкина в одном «современном портрете»? Уж не оттого ли, что в те поры критика была менее требовательной и не выдвигала непременное условие всеобъемлющего синтеза?

И зачем все сводить к одному персонажу? Разве Печорин и Хлестаков не были синтезом своего времени? Но что общего между ними? Ничего, кроме того, что они дети одного и того же времени. Да, они каждый по-своему выразили суть этого времени, но они и пережили свое время прежде всего потому, что каждый из них выразил чрезвычайно ярко определенную грань человеческой личности. Они до сих пор живее живых, они повсюду — и в нашем обществе, и в нас самих, в наших характерах, взглядах, замашках. Рожденные в определенную пору жизни общества, они стали открытием и откровением совершенно особых, ранее не сформулированных, не выраженных живо и определенно граней характера народного, что понимаем мы как личность нации, или национальной физиономии, как говорил Тургенев. Оттого и запомнились они, оттого и врезались в нашу жизнь, что они являются не абстрактными носителями всеобъемлющей суммы добродетелей или пороков, сведенных воедино, а вследствие особых жизненных неповторимых условий сложились в неповторимые оригинальные типы с какой-то выпирающей, самодовлеющей и даже уродливой чертой характера. Ну и что за беда, если Ноздрев написан так однобоко? Зато каждый из нас не только точно знает, что есть Ноздрев, но и положа руку на сердце может признаться, что и в нас сидит этот са-

мый Ноздрев. Найти эту разновидность человеческого характера — уже великая заслуга. Определить, выразить всю глубину, все богатство и многообразие национальной личности не дано ни одному писателю. Об этом говорит обилие и в то же время глубокое своеобразие могучих дарований в истории русской литературы за последние 150—170 лет.

Про многих гениев этой поры мы сможем сказать: он выразил свое время; но, что он полностью выразил национальную личность, исчерпал ее, или, как теперь говорят, закрыл тему, сказать не можем. Рядом с Толстым и Достоевским так объемно, так глубоко изобразившими современное им общество, стоял великий Гончаров, давший нам Обломова. Вряд ли он претендовал на изображение с исчерпывающей полнотой своего времени, но он также велик, он классик; он открыл такую сторону нашего национального характера, которую до него никто, ни Гоголь, ни Достоевский, открыть не смог. Оттого-то он и сам бессмертен, и, главное, бессмертен его Обломов, ибо давным-давно стал частицей нашего духовного, да и не только духовного бытия. И ведь нашелся-таки критик, который построил наших классиков в две шеренги; в первую определил, значит, Пушкина, Гоголя, Толстого, а вот Гончарова «первым среди вторых» поставил. И откуда берется в нас эта беспокойная страсть рассчитывать всех на первый и второй? Какое чувство верховодит нами, когда выстраиваем мы писателей по группам и рангам? Поди, ведь не фельдфебелевская премудрость — всяк сверчок знай свой шесток. А что же? Отсутствие трезвости? А может, это от ума большого? Ведь не может того быть, рассуждает иной критик, чтобы писатели делились так вот просто на плохих и хороших, на больших и малых. Дай-кать мы их разобьем по всей табели о рангах, чтобы среди главных был еще и самый главный, который и написал бы ту самую заветную книгу про современный портрет, в котором отразилось бы «целое жизни, понятое как история и будущее». Заглянул бы в такой «синтез» и сразу определил — туда навострил уши или не туда. Увы, такого фантастического синтеза не было и быть не может.

Каждое время, каждая эпоха выдвигает крупных художников, совершенно противоположных по своему направлению. И не только разные писатели создавали в одно и то же время прямо противоположные характеры — и представьте, все герои своего времени! — но даже

у одного и того же писателя в одном и том же произведении были такие герои противоположного направления. Пример? Пожалуйста — «Братья Карамазовы», Иван и Алеша. Ну, и кто же из них «главный персонаж»? Кто же выразил «современный портрет»? А оба вместе и каждый в отдельности. Выразили. Хотя на роль «главного персонажа» не может претендовать ни тот, ни другой. А время свое выразили, и еще кое-что... потому что были отлиты в пламени *главных,* а не побочных идей своего времени. Вот где нужно это слово — *главные идеи.*

Вот и следует допрежь всего определить эти главные идеи времени и поглядеть, как отражаются они в характерах, как укрепляют эти характеры, поднимают их или перечеркивают. Если же характер, рожденный кипением страстей, идейной перепалкой в прямом смысле или в переносном — посредством бытовых или производственных неурядиц, становится живым и достоверным типом, то ему уж не страшны никакие «синтезы» и «анализы». Он становится реальной силой общественной жизни независимо от того, хвалите вы его или ругаете, пишете о нем или умалчиваете вовсе. Так живут бок о бок Василий Теркин, Фома Пухов, Григорий Мелехов, ничуть не скорбя о том, что один пришел из поэмы, второй из повести, третий из романа, и не жалея о том, что в их компании все еще нет «современного портрета» из главной книги.

Я вовсе не хочу зачеркивать одним росчерком пера все статьи упомянутой дискуссии. В них было много интересных мыслей, верных наблюдений, выводов. В той же статье И. Золотусского — «Познание настоящего» (кстати, наиболее интересной статьи из всей дискуссии) хорошо и весомо сказано о современной эпохе в литературе, о том, что она «отнюдь не переходная, а качественная, полноценная и полная внутри себя», встречаются в статье меткие замечания о героях Гоголя, Достоевского, Булгакова. Золотусский — критик опытный, талантливый. Его статьи отличаются хорошим языком (к сожалению, подпорченным литературными красивостями), смелостью мысли, открытым и дерзким задором, охотной сшибкой страстей и обширными познаниями литературной классики. Но в его статьях о современной литературе, как правило, отсутствует глубокий анализ жизни, такое же бесстрашное самостоятельное погружение в стихию современного конфликта, какое проявляет он при анализе классических произведений, опираясь на факты,

ставшие достоянием истории, литературы, философии. Что это? Склад мышления, направление таланта, более склонного к литературоведению, чем к исследованию жизни, или простое пренебрежение так называемой временной проблематикой как понятием, не заслуживающим внимания серьезной критики?

Но открытое пренебрежение к современной проблематике, к сверке литературы с жизнью, на мой взгляд, нет-нет да и подыграет над Золотусским скверную шутку,— он порой расхваливает произведения идиллические и обходит вниманием или говорит походя о произведениях высокохудожественных, серьезных и глубоких по всем статьям. Беда не в том, что у нас слишком много проблематики в литературе, беда в том, что у нас появилось слишком много безыдейной литературы.

Безыдейность легче всего скрывать под внешней художественностью, под гладкой стилистикой, под умелой драпировкой мнимой остроты и значимости. Но безыдейность легче всего выявлять, сопоставляя литературное произведение с жизнью, с той же самой проблематикой (да-да, проблематикой!), об которую бьемся лбами мы сами, с той же самой бытовой, производственной и прочей неурядицей, в которой варимся, как в котле. Вот когда этот самый аршин, который не раз прошелся и вдоль нашей спины, приставим мы к предлагаемому образцу изящной словесности, то вдруг заметим — не то, куце, узковато. Нет, не натянешь на себя. Да и коленкор не тот — лопнет на живом-то.

Истинному литератору идеи искать не надо; он ими дышит, как воздухом, переживает их вместе с обществом. И как часто замечаем мы, что эти истинные, а не вымученные вопросы и проблемы одновременно вдохновляют писателей различного склада и возраста на создание подлинно художественных произведений. За примером далеко ходить не надо. Для начала вот вам один из таких вопросов: трагедия женщин старшего поколения, положивших жизнь «за дети своя» и отвергнутых на старости лет детьми своими. Отвергнутых не по случайной прихоти, а оттого, что произошел разрыв поколений: те идеалы, во имя которых клали живот свой на семейный алтарь матери, теперь чужды детям. Речь идет не о социально-общественных идеалах, а о нравственно-бытовых. Эту серьезную проблему из жизни нашего общест-

ва глубоко исследовали Ф. Абрамов в повести «Пелагея» и Ю. Трифонов в повестях «Обмен», «Другая жизнь».

В основе этих вещей лежат конфликты подлинные, глубокие, характеры такие яркие, благодатные для критики, что сами напрашиваются — бери, исследуй, анализируй, выстраивай свой синтез. И в самом деле, какой охват событий! — от бревенчатой избы в захолустной северной деревеньке до городской квартиры в новом московском квартале; какое разнообразие характеров! — от простых полуграмотных деревенских баб до образованных сотрудниц научно-исследовательского института. Характеры разные, жизнь разная, а горе общее.

«Пелагея» — скупая и емкая драма о сильной деревенской женщине, охваченной общим недугом — выбиться в первый ряд, быть на короткой ноге с людьми должностными, властными, оттого и почетными. Ох это тяжкое ярмо, добровольно надетое на собственные плечи, хорошо знакомо многим из нас! Эти жалкие потуги, это яростное стремление тянуть из себя жилы, чтобы попасть в завидную компанию, выйти в люди, добиться выгодной должности, купить модное пальто, машину, дачу — одним словом, приобрести нужный атрибут значимости своей; и все с одной целью: возвыситься самим и, главное, утвердить на этом рубеже детей своих. Да, этот желанный предел губит многих из нас. Вся разница в том, что одному желанный предел — попасть на праздник в застолье к бригадиру, а другому — на прием в иностранное посольство; одному — купить плюшевку про запас, другому — старый «Москвич» обменять на новую «Ладу». И так ожесточаются души наши в этой погоне за благоприобретениями, что мы начинаем ненавидеть самых близких своих, ради которых и пускались в эти долгие труды.

Отчего ж ненавидим? Да потому что те, ради которых старались,— дети наши — стали такими же алчно-расчетливыми; но у них уже своя шкала отсчета и методы добывания иные. Если Пелагея гнула спину, надрывала силы, ворочая многопудовое тесто, чтобы выручить еще двадцать рублей и выкупить лишнюю плюшевку, то Алька и глядеть на эту плюшевку не хочет. Эта не станет тесто месить или свинью выкармливать помоями. Она знает, что за хорошее обслуживание в ресторане платят куда больше, чем на скотном дворе в колхозе. И Алька, не задумываясь, уходит на ресторанное город-

ское житье, оставляя мать свою умирать в опустевшей избе.

Да, жесток поступок Альки, черства ее натура. Но разве она не дочь Пелагеи? Разве Пелагея не обрекла на преждевременную смерть Павла? Разве не отдала она себя на одну ночь нелюбимому начальнику, чтобы получить хлебное место в пекарне? Был грех, скажете вы, но это святой грех. В какой год заступила Пелагея к хлебным печам? В голодный год, в страшный сорок седьмой. И у кого поднимется рука, кто бросит камень в нее? Да дело-то не в грехопадении во имя спасения семьи своей от голодной смерти. Беда в том, что, втянувшись исподволь в тяжелую и призрачную погоню за достатком, Пелагея становится рабой собственных честолюбивых страстей. В этом смысле Пелагея — мать родная Альки. Но Пелагея во всех иных планах выше Альки, чище, глубже и сильнее.

Пелагея — великий и непреклонный работник с крепкой нравственной основой, рожденной многовековым крестьянским опытом,— с этой уверенностью в необходимости ежедневного и ежечасного труда как физической и духовной потребности, как приобщения к высшему назначению человека — к бессмертию рода своего. Кто не трудится, тот не ест — формула старая, как сам крестьянский мир, породивший ее. И ключ к пониманию ее лежит вовсе не в физическом возмездии нарушителю этого многовекового закона, то есть лишить пайки хлеба лодыря,— крестьяне были жалостливыми людьми; они, по словам Льва Толстого, сами будучи в стесненном положении, ежедневно содержали, прокармливали четырехмиллионную армию нищих и бродяг. Нет, не в физической каре смысл этой формулы, смысл ее лежит в нравственном понятии труда как формы деяния, отличающей человека от прочих обитателей на земле. В поте лица добывать хлеб насущный; а хлеб для крестьян не просто «пайка хлеба», а хлеб — всей жизни голова. То есть хлеб — основная материальная база общественного бытия. Так вот, для крестьянина понятие добывать хлеб насущный неразрывно связано с деятельностью не только личной, но и общественной. Без хлеба ни одна земля не стоит, то есть государство, общество. Вот что значило для крестьянина трудиться в поте лица. Вот что несла в себе известная нам формула — кто не трудится, тот не ест.

Для Пелагеи эта потребность трудиться в полную силу — и основная цель и смысл жизни. Вспомните, как

она печь топит, как под подметает, как хлебы месит, как смазывает верхние корочки,— и больше всего ее возмущает даже не вольность поведения Альки, а плевое отношение к делу:

«Но самый-то большой порядок — хлебы. Одна, другая, третья... Двенадцать подряд буханок «мореных» и квелых, неизвестно где и печенных — не то в печи, не то на солнышке.

Но эти буханки еще куда ни шло: человек печет — не машина, и как совсем брака избежать? Да ведь и остальной хлеб у нее сиротой смотрит.

Пелагея заглянула в миску, из которой она обычно смазывала верхнюю корочку только что вынутой из печки буханки. Смазывала постным маслом на сахаре — уж на это не скупилась. Тогда буханку любо в руки взять. Смеется да ластится. Сама в рот просится. А эта чем смазала? Пелагея метнула суровый взгляд в сторону Альки. Простой водой?!

— Да разве ты первый раз на пекарне? — стала она отчитывать дочь.— Не видала, как матерь делает?

— Ладно,— отмахнулась Алька,— исть захотят — слопают».

Мать и дочь. Как же произошел между ними этот не просто деловой, а нравственный разрыв? Кто виноват? Время, общество, Пелагея? Все понемногу. Но больше всего виновата Пелагея. Виновата потому, что страсти ее честолюбия исключают давний крестьянский идеал — в поте лица своего добывай хлеб насущный. И ты, и дети твои, и внуки. Всем очерчен круг единый: жить в согласии и довольстве, но не в алчной зависти, не в жадности, а в умеренности. То, что для себя Пелагея считала еще законным, для дитя своего — вовсе не обязательным. Погоня за достатком во имя того, чтобы освободить от тяжкого труда дочь свою, стала самоцелью. Ладно, уж мы наработались, мы наломали спину, так пусть хоть дети наши поживут по-человечески. Работай Пелагея по силам, а не через силу, живи она в согласии и довольстве, а не в страхе голода, может быть, она бы и дочь свою приобщила естественно и просто к трудолюбию и умеренности. Но окаянная работа ее, которую и сама-то Пелагея проклинала, ничего иного не могла вызвать в душе дочери, кроме отвращения к работе вообще. И вот на диво много поработавшим матерям выросли у них такие сыновья и дочери, которые не хотят работать. То есть работать в смысле трудиться, а не тешиться да веселиться.

Увы, и так у нас понимают многие работу. И то, ради чего гнули хребет матери, теперь кажется детям и мелким и смешным.

Но и они, дети, достигнув желанного предела в своем мнимом достатке, тоже счастья не нашли. Об этом глубоко и верно написано у Василия Рослякова в его великолепном очерке «У дяди Тимохи»:

«Коля не отступал от меня ни на шаг.

— Я люблю рыбалку,— говорил он вполголоса.— Люблю, а ходить некогда. То по работе занят, то по домашним делам, так и жизнь проходит.

— Надо всему время находить.

— Пока не получается. Бьюсь всю жизнь, а не выходит. Сколько помню себя, столько и бьюсь... Свои дети пошли, хозяйство свое. Любка все время болеет, некогда кругом глянуть. А я, Петрович, очень все понимаю. И кручу вон ту, и корягу в воде, видите, голова зеленая — это верба затонула, и травку всякую понимаю, все бы мог нарисовать или рассказать обо всем, а не могу, думаю всю жизнь об этом, а доступу нет. Вот я, Петрович, выпью, и тянет меня тогда драться. Вы же видите, какой я богатырь, а вот тянет меня драться. А ведь я точно знаю: может такая жизнь быть у людей, должна быть такая жизнь, какую я вижу, какую хочу, а ее все нету. Вот, думаю, брошу выпивать, совсем брошу, с силами соберусь, вырвусь вперед, а там... все откроется. Нет, Петрович. Думаешь одно, а получается другое, опять то же самое получается.

— Коля,— сказал тогда я Коле,— вот смотри, дети у тебя есть, ты их любишь, Любку жалеешь, значит, тоже любишь, хата у тебя есть, поросенок есть, корова есть, виноград есть, куры, гуси есть, теперь скажи, чего же тебе не хватает? На тракториста ты выучился, работу свою уважаешь. Чего тебе не хватает?

— А я думал, Петрович, вы меня поняли».

И Коля, человек другого поколения, тоже, как Пелагея, бьется, гонится за своим достатком так, что оглянуться некогда. А у Альки и времени свободного много, и достаток этот дается без особого труда, но счастья нет. И вопросы, вопросы... Отчего же такая растерянность? Такое смущение? Такая тоска? Да оттого, что нельзя ставить идеалом своим материальный достаток, оттого что не хлебом единым жив человек.

Была бы культура, говорим мы, а все остальное приложится. Но ведь как понимать эту культуру? Для на-

шей Пелагеи ничего культурней быть не может, как попасть за праздничный стол к Петру Ивановичу. Ведь шутка сказать, там и председатель колхоза, и агроном, и Афонька-ветеринар, и продавец — вся интеллигенция сойдется. Культура за столом у Петра Ивановича известная:

«— Отставить! — опять заорал Афонька и встал.— За нашу советскую молодежь!

— Пра-виль-но!

— За молодежь, Афанасий Платонович.

— От-ста-вить! Разговорчики!

— За всемирный форум молодежи! За молодость нашей планеты!»

И она, пекарь, заодно с ними, со всеми этими культурными интеллигентами, тоже станет и веселой и культурной и сохранит эту зарядку культуры на многие дни. И стоит Петру Ивановичу только пальчиком пошевелить, как Пелагея бросится к нему приобщаться к этой «культуре поведения», забыв про болезнь мужа, плюнув на приглашение золовки Анисьи по случаю «дня ангела». Сладок пир, да тяжко похмелье. Наступает оно и для Пелагеи,— в горьком сознании, отрезвев от долгой и трудной погони за причастием у алтаря почета и «культуры» Петра Ивановича, Пелагея истово проклинает своего идола,— не было ни почета, ни значимости, ни культуры. Все обман, все прах и тлен. И сам Петр Иванович еще более жалок и ничтожен, чем разбитая горем и недугом Пелагея. А сколько он ей горя принес за эту сомнительную честь — введя в свою компанию.

«Да пропади она пропадом и компания евонная, и хорошие люди! Всю жизнь она тянулась к этим хорошим людям, мужика своего нарушила и себя не щадила, а чего достигла? Чего добилась? Одна. Насквозь больная... Без дочери... В пустом доме...

И ей хотелось крикнуть в лицо Петру Ивановичу: так тебе и надо! На своей шкуре спознай, как другие мучаются...»

Умирает Пелагея, пробуждая в нашем сознании трезвую мысль: не гоже высокий принцип — служение человеку — подменять расхожим чинопочитанием.

Но разве не об этом же пишет и Василий Росляков в упомянутом очерке? «Да, говорю я себе, все правильно, все так, но вот начну вспоминать, как в одном, другом месте произносят слово «директор», и опять послышится в этом слове что-то такое, наподобие как у Татьяны

Ивановны, какой-то оттенок лишний, разъединяющий директора и Татьяну Ивановну и, конечно, других прочих. Почему разъединяющий? Ведь все под одной крышей ходят, под одними привесами — и директор и рабочий, ведь есть налаженная гармония, общие интересы и так далее. Но тут приходят на память другие мелочи. Ходят-то под одной крышей, да ходят по-разному. Вот он отворяет потихонечку дверь директорского кабинета, лицо просовывает, можно, мол, и, не услышав возражения, проходит. Сначала на середину, потом ближе, к столу. «Нельзя ли, Иван Иванович, отходов выписать пудиков шесть?» Или: «Крышу, Иван Иванович, не докрыл, шиферу не хватило, нельзя ли?» Директор может оторваться от бумаг и взглянуть на просителя, может и не взглянуть, а просто сказать: «Не могу. Сейчас не могу, ступай!» Проситель уйдет. Вошел он в кабинет, между прочим, неполной своей походкой, голосом говорил тоже неполным. Личность его была тут, в директорском кабинете, неполная, усеченная личность. А вчера вечером, за столом у нас, по-соседски, обедал, выпивал, песни играл, плечи эдак разворачивал, истории рассказывал, суждения выносил. Не налюбуешься!..»

Вот привел я эти слова и уже думаю: ухватится за них критик — сторонник «вечного» и понужатель «злободневного» — и скажет: вот она, опять эта набившая оскомину проблематика! А где характеры, где поэзия, где философия? Характеры есть, оригинальные характеры, правдивые, яркие. Вот они: Пелагея, Петр Иванович, Павел, Маня Большая, Маня Маленькая, Анисья, дядя Тимоха, Татьяна Ивановна, дядя Митяй, Барыка и еще многие другие, встающие со страниц повести «Пелагея» и очерка «У дяди Тимохи». И поэзия есть, и это самое философское осмысление — без упоминания оного не могут обходиться теперь наши критики, когда пишут свои статьи. Есть. Все есть. Поэтому-то и удались «Пелагея» и «У дяди Тимохи», что в основе их лежат конфликты и проблемы подлинные и серьезные, хотя, впрочем, одно из этих произведений является очерком, а, по мнению некоторых критиков, проблемный очерк не литература.

Критик Золотусский пишет: «Е. Сидоров ссылается на роман Габриэля Гарсиа Маркеса: «Сто лет одиночества» как на пример «синтеза художественного и интеллектуального начал». Для меня примером такого синте-

за является и маленький рассказ Евгения Носова». И критик пространно цитирует пейзажи из «маленького рассказа», называя их «рисунком».

Этот «маленький рассказ» — «Шумит луговая овсяница» — размером почти в три авторских листа. Странно, каким же тогда должен быть большой рассказ? Кстати, размер «Пелагеи» тоже примерно четыре листа. И повесть эта вовсе не кажется нам маленькой. Почему же рассказ Носова показался критику маленьким? Сказать откровенно, и мне он показался небольшим, но не потому, что явился примером синтеза «художественного и интеллектуального начал», а совсем по другой причине. Однако сам автор называет эту вещь повестью. Будем соблюдать и мы авторскую терминологию.

Итак, в повести «Шумит луговая овсяница» рассказывается о том, как вдовая колхозница Анфиска провела ночь любви на лоне природы с председателем колхоза Чепуриным, у которого жена уехала в Крым на курорт. Это, конечно, элементарная, открытая фабула. Смысл вещи не в том, чтобы изобразить любовную утеху. Встретились на берегу ночной Десны не полюбовники в расхожем смысле, а люди целомудренные, добрые, хорошие. Автор как бы прикрывает полог над их ложем любви, чтобы излишняя нескромная деталь не вызвала в читателе чувство азартного любопытства: а что там? Как оно было-то?

Не в том дело, говорит автор, смысл вещи не в изображении внезапно вспыхнувшей знойной страсти Анфиски и Чепурина. И мы соглашаемся с ним — не в том.

А в чем же? А в том, говорит автор, что вот встретились два вроде бы случайных человека, сблизились и поняли, что родные они, то есть душевно близкие. Недаром Анфиска так и зовет Чепурина — «родной».

Но сказать только это, еще ничего не сказать. В ночь любви многим кажется, что они «родные». Да немногие остаются в таком «родственном» состоянии. Я вовсе не за то, чтобы автор довел зародившуюся любовь Анфисы и председателя до счастливого конца. Боже упаси меня от такого ретивого пожелания. Я просто начинаю соображать: ну провели они ночь, ну сблизились, ну почувствовали родство душ и пр. Мне-то, читателю, что до этого? Полюбовался вместе с влюбленными на лунное затмение, послушал пение птиц и стрекот насекомых, весело провел время, отдохнул? Впрочем, и это задача. Только не литературы, а беллетристики. Здесь же критик нас

пытается убедить в наличии глубокого смысла и даже синтеза «художественного и интеллектуального». Правда, в чем выражается этот синтез, в каких характерах, идеях, критик так и не говорит нам, зато он подробно цитирует описание пейзажа. Хорошие описания преимущественно, правда, есть и красивости и неточности. Но не в том дело. Как бы я ни читал про «это безмолвное, вкрадчивое чье-то прикосновение к луне...», про то, как «кто-то невидимый выел сочную мякоть луны, оставив от нее только тоненькую дынную корочку...», я все равно буду спрашивать и тревожиться: «А что же с Анфиской станет? Как она будет жить? Куда ей деваться?» Уверение критика, де, мол, «сошлись две жизни, обменялись и поняли, что они одна жизнь, неразделимая с этой поры, хотя у Чепурина жена, а Анфиска — вдова не вдова, бог знает кто», меня нисколько не убеждает. Чепурин не вольный художник, а председатель колхоза. Ему не так просто одну жену оставить, а другую завести. Уверения автора, что Анфиска поплыла после этой ночи, «полнясь тихой нежностью и надеждой», тоже мало что дают.

Наверное, и Катерина из «Грозы» шла после свидания с Борисом, «полнясь тихой нежностью и надеждой». И Катерина с Борисом «обменялись и поняли, что они одна жизнь». Что было потом с Катериной, мы знаем. И это самое «потом» — события, столкновение характеров, идей, если угодно, и стали сутью того синтеза, который до сих пор будоражит души наши и сердца.

А здесь нам показана всего лишь завязка; мы ни в чем не уверены, не догадываемся, что выйдет из этого — комедия, драма, идиллия? Потому что не знаем, как поступят Чепурин и Анфиска при том или ином повороте событий. Нет событий, нет конфликта, нет никакого противоборства. Есть полное согласие и покой, но это обманчивый покой, покой от неведения нашего. Характеры героев пока только заявлены, им еще не на чем было развернуться, утвердить свои достоинства или проявить слабости. Они сошлись всего лишь «на минутку», как сообщает нам автор. В аналогичной ситуации И. Бунин в рассказе «Солнечный удар» точно зафиксировал бессилие человеческое «остановить мгновенье» — неумолимость, неотвратность уходящей жизни и счастья.

А здесь, за эти минуты, пытается заверить нас критик, «этот остановившийся миг в природе и в их жизни решает все. Сближение есть узнавание, и вся встречная их

жизнь познается на этом коротком отрезке времени». Да ничего подобного. Ласкать друг друга, пересказывать свои биографии, что они и делают, еще не значит «познавать встречную жизнь». Эта самая встречная жизнь порой очень мало зависит от наших биографий и от жгучего желания ласки. Даже полные биографические сведения еще недостаточны для создания живого и емкого характера. Для сего потребны поступки, столкновения, мысли. А этого добра как раз и недостает в повести. Оттого-то Чепурин при всей его биографической полноте остается характером бледным.

Беда еще в том, что сенокос и сами колхозники, которые как-то смогли бы «заземлить», что ли, Чепурина, поданы в плане, далеком от реальности, мягко выражаясь.

Во-первых, когда это происходит? Судя по возрастному исчислению, которое ведет Чепурин (теперь ему сорок, успел вдоволь повоевать, юношей ушел на войну), действие повести происходит в начале шестидесятых годов, то есть в ту самую пору, когда все луговые угодья были распаханы под кукурузу, под свеклу да бобы. В ту самую пору, когда наши писатели, публицисты, ученые, партработники, рискуя своим положением, пытались отстаивать бесценные и редко уцелевшие массивы заливных лугов (в том числе и на Десне). Массивы эти крайне сокращались и по некоторым речным поймам фактически были сведены на нет. И вот в эту пору какого-то ожесточенного истребления лугов у Е. Носова и происходит всеобщая идиллия сенокосной поры. Это в то же самое время, вспомните, разыгрывается драма в семье Ивана Африкановича у В. Белова, именно из-за этого случайно обнаруженного и конфискованного сена уехал Иван Африканович в поисках высоких заработков; из-за этого сена надорвалась на косьбе и умерла Катерина. Да и у самого Носова в сильном рассказе «Объездчик» Игнат убил Яшку за самовольный покос. А здесь на одном берегу, значит, колхозные луга, а на другом вроде единоличные. Всем по едокам нарезано... А чего? Жалко, что ли?

Экая мелочь, возразит восторженный критик. Тут про любовь толкуют, а он про сенокос. Ладно, мелочь. Ну, давайте тогда поглядим на косарей, что они за люди? Или это тоже мелочь?

Вот они едут на сенокос:

«Ехали целыми семьями — с женами и ребятишками, ветхие старички и те увязались, тряслись в новых руба-

хах, ухватясь черными сухими пальцами за грядки, будто ехали к причастью...»

«Молодежь ехала особняком. Парни в пестрых майках, крутые угловатые плечи в *каштановом загаре,* девчата, *как одна, в косынках шалашиком.* Сидели в больших сенных телегах, *свесив босые ноги* в бортовые решетки...»

Завидев реку, «гулко бухались с глинистого уреза парни, выныривали, мотали головами, стирали с глаз прилипшие волосы, блаженно отфыркивались. Девчата визжали от ласки воды, неистово колотили ногами, выбрызгивая белые пузыристые столбы...»

«А на мелком, присев на край и сперва испробовав воду вытянутой ногой, *перекрестясь, сползали на костлявых задах* в реку старики...», «Старики забредали недалеко, по коленки, и, *не стыдясь сраму,* в *простой житейской потребности,* ахая и приседая, плескали на себя *бегучую хрустальную теплынь...».*

«На лужку, на обрыве, вытянув по траве ноги, сложив в подол между коленок ненужные руки, сидели рядышком замужние бабы...»

А вот как косят: «... косари все ступали и ступали рядами, *нога в ногу, замах в замах:* так спорей и легче, чем вразнобой. Ярко сверкнет *сразу дюжина кос над травами, переступит сразу дюжина сапог,* на *одно мгновение задержатся, повиснут в воздухе* косы, и тотчас снова с шелестящим певучим звоном *все разом* нырнут в зеленую глубину...»

Нет, это не крестьяне. Крестьяне на сенокос так не выезжают. Крестьяне так не косят. Косьба самая тяжелая работа, а не игра в команду под солдатиков. Эдак косят разве что в опере, то бишь в балете. Это какие-то пейзане не то с игрушечного военного поселения, не то ряженые горожане или артисты, выехавшие под видом работы подурить. (Косынки на всех шалашиком, губки — сковородником, и уж конечно *все босые.* Это на сенокосто! Н-да.)

Ну где это видано, чтобы крестьяне семьями выезжали на покос! Ладно, мужики пойдут сено косить, а что будут делать бабы и девки? Сидеть на бережку, «сложив в подол ненужные руки»? Ведь пора сгребать сухое сено подойдет только через пять или шесть дней. Так вот они и будут сидеть, «сложа в подол руки»? Смотреть с бережка, как старики не имут срама, справляя «простую житейскую потребность»? Да?! А то у этих баб дома делать

нечего. Нет у них, видать, ни телят, ни поросят, ни гусей, ни кур. Насиделись они в городских квартирах да и выехали на недельку-другую в Десне пополоскаться. Семьями поехали. А чего же мелочиться? Давайте все дружно, враз, как в песне поется: «Мы любим петь и смеяться, как дети...»

И председатель Чепурин приехал на луга повеселиться на резвом мотоцикле, с чужой косой, так помахать да с бабами побалагурить. Бабы почуяли, значит, игриво спрашивают его:

«— Что ж так: нами — командуешь, а на свою узды нету?

— Нету, бабоньки милые, ох нету! — развел руками Чепурин.— Закатила мне *домашнее бюро,* села и уехала. Я, говорит, все равно тебя не вижу. Ты готов сам сесть в свинарник, в клетушку. От тебя, говорит, *свинарником пахнет.* Вот как.

— *Знамо,*— встряла в разговор Тимофеева бабка, высокая *корявая* старуха, *говорившая басом.— Знамо, у кого грабли на плечах, а у кого задница в Сочах...»*

Хорош мужчина! Как жену-то поносит на людях.

И вот такие опереточные, пейзанские сценки должно рассматривать, по мнению критика, как пример «синтеза художественного и интеллектуального начал»? Нет уж, увольте нас, кушайте такой синтез сами. Как говорил в таких случаях Собакевич: «Ты мне хоть сахаром обсыпь устрицу, все равно я не стану есть ее. Знаю, на что она похожа».

Я уж не говорю о совершенно опереточной сцене косьбы Анфиски и Чепурина. Кстати, какую деляну получила Анфиска, сколько? Гектар? Полгектара? (Меньше не нарезают — смысла нет.) И неплохо бы знать нам, за что ей нарезали деляну? В колхозе по едокам луга не делят. Наверное, за сданного телка. Тогда положено гектар. Или это — одна десятая часть от покоса? Пять гектаров для колхоза накосила, полгектара получила для себя. Но Анфиска не косец. Так за что же ей дали деляну? Ведь не за красивые глаза. А знать это важно. Важно, потому что сошлись в любви не приехавшие горожане, а председатель колхоза, который нарезал деляну, и колхозница, которая получила «сплошной морковник» за свою животину, такую дорогую и, может быть, единственную. Ну как же? Неужто она не сказала бы ему, что ж мне нарезал? Разве это трава? Один дудник! Эта трава на подстилку и то не годится. Кто же будет есть такое сено? Но она и

не думает о сене. Она любуется метелками дудника, «похожими на хрустальную перевернутую люстру». И это колхозница? Нет, это какой-то книжный вариант старинной барышни-крестьянки. И Чепурин вовсе не председатель колхоза. Пейзане они. Начитались сказок про Берендеево царство и пошли ночью (а днем-то оно не так интересно) сено покосить. Легко сказать! Всю деляну смахнули в одночасье в сумерках, без единой заточки кос, играючи, наперегонки... Анфиска и председатель. А потом легли на охапку травы затмение наблюдать и все такое прочее. А утречком, с восходом солнца, по домам подались. Вот так... Накосились.

А у Льва Толстого атлет Левин гордился, если за день-деньской этакую четвертинку десятины выкашивал и падал в постель, как сраженный наповал. И на другой день еще разогнуться не мог от боли в мышцах и в суставах. Недаром из всех мужских работ в народе самой трудной считается косьба на заливных лугах. Недаром при виде бабы с косой у всякого мужика сердце сжимается: «Эх, бедолага! Надрываешься...» Это ведь не северные пожни, а заливные луга на черноземах. Разница! Тут косишь — аж ребро за ребро заходит. Не до игрушек.

А в повести Носова куда ни ткнешься — все игра какая-то: играют в крестьян, то бишь в колхозников, играют в сенокос, да и в любовь не особенно веришь. Как-то уж все очень просто — сошлись, порезвились да разъехались. Вспомните, как Чепурин поносит жену? Откуда мы знаем, что он скажет за глаза об Анфиске? И все эти красивые слова: эти хрустальные перезвоны, эта бегучая хрустальная теплынь, эти метелки морковника, похожие на хрустальные люстры, эти дынные корочки луны, эти каштановые загары, эти девчата все, как одна, в косыночках шалашиком,— все это в конце концов начинает раздражать, как блескучие елочные игрушки, покрытые сусальным золотом и вывешенные на городских липах.

Пейзажи в повести есть удачные. Но одни пейзажи не спасают положения. Пейзаж не самоцель. Как бы великолепны ни были пейзажи у Тургенева, они все же являются лишь составной частью его очерков, кстати, злободневных и глубоко проблемных. Именно эта злободневность, острота проблем породила и огранила бессмертные образы Хоря, Бурмистра, Пеночкина, Каратаева. И даже Калиныч и Ермолай, казалось бы — чистые дети природы, огранены все теми же социальными резца-

ми. Одной пейзажной живописью даже такому мастеру, как Тургенев, не удалось бы сделать бессмертными свои очерки.

К слову сказать, и пейзажная живопись, и прочая в полной мере наличествуют и в «Пелагее» и в очерке «У дяди Тимохи». Не место тут анализировать, как органично входит эта пейзажная живопись у Абрамова или у Рослякова в ткань произведения, как дополняет и углубляет основную идею. А у Носова все держится на красивости. Да нет, это типичная бесконфликтная повесть. И напрасно критик Золотусский пытается выдать ее за пример, достойный подражания, то бишь за синтез «художественного и интеллектуального начал». Носов писатель известный, есть у него много хороших рассказов, тот же «Объездчик» или «Красное вино победы», или «Шуба». И я вовсе не хочу перечеркивать достижений этого писателя. Но нельзя же всякую вещь писателя без должного анализа заносить в ранг высших достижений нашей литературы. От такой аттестации, кроме вреда для литературы и для самого автора, ничего иного не получится.

Итак, мы остановились всего лишь на некоторых произведениях, чтобы показать, как отсутствие жизненной достоверности, подлинных конфликтов, как подмена их конфликтами мнимыми или отсутствие вообще конфликтов снижает достоинства художественных произведений, написанных и опытными писателями, и молодыми.

Мне хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что гражданская активность писателя вовсе не должна сводиться только к отчетным выступлениям перед читательской аудиторией в дружных и веселых поездках по областям и республикам державы нашей.

Гражданская активность писателя должна прежде всего проявляться в его творчестве, в его страстном активном охвате острейших проблем времени, в отражении тех самых идей, носящихся в воздухе, которые так верно могли ухватывать наши классики, так глубоко и остро претворять их в художественных образах. Не надо шарахаться от так называемой злободневности, не надо уходить в «эмпирии вечных вопросов», связанных с глобальными понятиями жизни и смерти, пространства и времени, земли и вселенной и пр. Я вовсе не призываю сбрасывать эти вопросы с творческой повестки дня; я просто хочу лишний раз напомнить, что термин «самодостаточности» искусства, принятый как простая истина в запад-

ном мире, в России не привился; у нас давненько выработалась антитеза ему — служение писателя обществу. И это служение, как доказали нам классики, ни в коей мере не умаляло художественной и эстетической ценности произведений русской литературы. Надо помнить, что ходим мы по своей родной земле, очень определенной, своеобразной, имеющей не только свои конкретные неповторимые черты, но и нужды повседневной жизни. И негоже писателю эти нужды считать чем-то мелким, ничтожным, не заслуживающим внимания высокого искусства. Как-то мне приходилось цитировать замечательные слова Салтыкова-Щедрина, высказанные на сей счет:

«Олимпическое равнодушие к текущим (или, как обыкновенно говорится, временным) интересам действительности понятно только тогда, когда интересы эти устраиваются сами собой, идут своим чередом, по раз заведенному порядку... Но когда действительность втягивает в себя человека усиленно, когда наступает сознание, что без нашего личного участия никто нашего дела не сделает, да и само собой оно ни под каким видом не устроится, тогда необходимость осознать себя гражданином, необходимость принимать участие в общем течении жизни, а следовательно, и иметь определенный взгляд на явления ее представляется настолько настоятельным, что едва ли кто-нибудь может уклониться от нее. И чем пристальней художник вникает в эти текущие интересы, которые он не без презрительной улыбки именовал временными, чем более убеждается, что это суть интересы не менее важные, нежели те, которые он, переносясь в другую сферу, несколько напыщенно называл вечными, и что, в конечном анализе, не может существовать того мелкого человеческого интереса, который бы не был интересом вечным уже по тому одному, что он интерес человеческий».

И вот критик Золотусский тут же обвинил меня в том, что, цитируя и поддерживая эти слова, якобы я тем самым противопоставляю временное вечному, а «противопоставление тем вечных темам временным — дело бесплодное»,— писал критик. И в назидание поучал, что вечное рождается не из вечного, а из повседневного. И приводил красивое выражение: «Великое вечное не рождается из вечного же. Оно выбрасывается из кипящей лавы дня, оно жжет и горит, обжигает современников...» Не стану состязаться с критиком по части стилистической красоты, скажу просто — мысль эта была из-

вестна литераторам еще в доисторические времена. Да, да, еще во времена Гомера так вот из описания повседневных боевых стычек создавалась вечная «Илиада». Никто и не думал противопоставлять «временное вечному». Речь шла и идет о том, что некоторым литераторам, как щедринским персонажам, «ни до чего дела нет», кроме как до своих стилистических забав на «вечные темы». Помните, что сказал князь послам головотяпов, призвавших его «володеть и княжить»?

«— И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех — казнить».

Иной критик вот так и ведет себя, милует тех, «которым ни до чего дела нет». Но и критикам таким тоже ни до чего дела нет. И порой получается у нас замкнутый круг — литературные произведения, далекие от жизни, расхваливаются в сопоставлениях не с жизнью, а... с другими такими же далекими от жизни произведениями. И как только появляется нечто выпадающее из этого феерического круга своей тяжелой достоверностью, сразу сигнал — стоп! Это нетипично. Или — это, мол, очерк...

Странно, но слово «очерк» под пером наших критиков стало каким-то второсортным. В той же статье И. Золотусский пишет: «На наших глазах судьба многих талантов перестроилась, у одних *очерк ушел в прозу, у других — из прозы вернулся в очерк* («Ночь после выпуска» В. Тендрякова). Что значит «очерк ушел в прозу»? Очерк и есть проза, то есть один из жанров прозы. И многие писатели так и поступают — всю жизнь пишут и романы, и пьесы, и очерки. Каждому жанру свое место. Плохих жанров не бывает. Есть плохие писатели или неудачные произведения — неважно какого жанра: романы ли, пьесы, очерки. У того же Тендрякова есть прекрасные художественные произведения: «Падение Ивана Чупрова» и «Ненастье». А ведь это очерки. И почему это «Районные будни» нельзя назвать прозой, а вот «Жатва» — проза? Первая вещь — очерк, вторая — роман. Но очерк «Районные будни» оказал куда более сильное влияние на нашу литературу и жизнь, чем десятки романов и повестей, вместе взятых. Со страниц этого очерка сошел к нам в жизнь яркий тип Борзова, породивший даже целое явление — борзовщину. Да как же этот очерк не проза? А «Вологодская свадьба» Яшина? А «Павловские очерки» Короленко, его же «Река играет»? А «Губернские очерки» Щедрина? А «Записки охотника» Тургенева? Значит, это не проза?!

Нет, это проза. Проза, пережившая свое время, проза высоких художественных достоинств, выросшая из тех самых временных вопросов, которые «с таким олимпическим равнодушием» отвергались иным литератором. Эта проза доказала, что так называемые «временные интересы» ничуть не менее важные, чем «вечные», ибо «не может существовать того мелкого человеческого интереса, который бы не был интересом вечным уже по тому одному, что он интерес человеческий».

В народе говорят: встречают по одежке, а судят по уму. У нас в литературе порой и встречают по одежке и судят по той же самой одежке. И все валят в кучу малу — и произведения серьезной литературы и беллетристику. И все оттого, что не различаем, а чаще всего не хотим различать конфликты подлинные от конфликтов мнимых, достоверное описание действительности от витиеватого и легковесного сочинительства.

1976 г.

ПРАВО НА КРИТИКУ

(Открытое письмо Г. Троепольскому)

Уважаемый Гавриил Николаевич!

В «Литературной России» № 36 опубликована Ваша статья, в которой допущены открытые выпады против оппонента: «Здесь и просто ханжество, конечно, в позе блюстителя нравов», «Здесь самоуверенность выходит за пределы допустимого», и «переоценка своего божьего дара», и даже «он (оппонент то есть.— *Б. М.*) может доходить, извините, до безрассудства» и пр. и т. п. Всего не перечислишь.

Озаглавлена эта статья игриво-патетически — «И встрепенулась душа...». Нет, это не трепет души. Подобные споры по-русски называются иначе — из души в душу. Это что же, принято у Вас так спорить? Наверное, принято, ежели печатаете.

Увы, этим оппонентом оказался я, а предметом спора статья моя «Запах мяты и хлеб насущный». Мне и приходится отвечать Вам. Конечно, можно было бы пройти мимо явной брани, если бы не категорическое требование в конце Вашего выступления: «Очень хотелось бы,

чтобы в советской литературе не было подобных примеров, достойных сожаления», то есть не было бы ничего похожего на статью Б. Можаева. Иными словами, Вы публично высказали пожелание, чтобы подобные статьи Б. Можаева не печатались. Что и говорить, случай редкий — один писатель требует, то бишь намекает, запретить печатать другого писателя.

Я и не думаю утверждать, что моя статья бесспорна. Да она и опубликована под рубрикой «Мысли спорные и бесспорные». Очевидно, редколлегия журнала, публикуя ее, имела в виду завязать спор. Спор, а не откровенную ругань.

Основная идея моей статьи отнюдь не нова. Вот она: наши литературные произведения следует подвергать социально-нравственному анализу, сверять их с жизнью. Эта идея заслуживает, на мой взгляд, самого пристального внимания. И в своей статье я подверг социально-нравственному анализу ряд произведений советской литературы, одобряя одни и критикуя другие. Опровергаете ли Вы этот метод, эту идею? Ни в коей мере. На что же Вы сердитесь? А на всю статью сразу. Вы не нашли, умудрились не найти ни одного положительного примера моего анализа; Вы заявили: «Всю статью рассматривать нет возможности и смысла — там каждому Яшке по башке». Это сущий вымысел. Я критиковал не авторов, а их произведения. В моей статье дана высокая оценка одним произведениям за их жизненную достоверность и высказана критика в адрес других за их идилличность, за их ложные конфликты. На эту критику Вы и разгневались, но больше всего разгневались на самого автора статьи, на Б. Можаева.

Вовсе не считая бесспорными все свои мысли, изложенные в статье, и не намереваясь отвечать на все Ваши обвинения, я все же подробно остановлюсь на своеобразном методе спора, избранном Вами, когда, взяв одно какое-либо малое звено критической статьи — разбор ли сенокоса или, скажем, анализ описания колхозников, Вы путем неверных утверждений и текстовых подтасовок пытаетесь зачеркнуть статью мою и дискредитировать самого автора статьи. Знакомый метод, что и говорить...

Речь пойдет о повести Е. Носова «Шумит луговая овсяница». Сразу оговорюсь, критический анализ ее в моей статье занимает небольшое место, но для Вас эта частица заслонила все остальное. Повесть эта, на мой взгляд, лишена серьезного конфликта, идиллическая по-

весть. Об этом я и писал, доказывал, почему она идиллическая, разбирая взаимоотношения основных персонажей: колхозницы Анфиски и председателя колхоза Чепурина. Опровергаете ли Вы эти мои доводы? Нет. Попытались ли Вы сами изложить собственную концепцию на эту повесть, на ее социально-нравственную или, если хотите, философскую сущность? Нет. Зато Вы охотно пустились в долгие рассуждения по поводу антуража этой вещи: о том, как ведется сенокос, как описаны колхозники и пр. И вот здесь-то Вы и нащупали главную крамолу Можаева-критика: де, мол, не знает Можаев ни сенокосные порядки, ни самих колхозников, а туда же суется рассуждать, «тыкается», как Вы пишете. Ну а если этот Можаев пишет про то, что сам не знает, так, естественно, зачем его печатать? Отсюда — «очень хотелось бы, чтобы в советской литературе не было подобных примеров».

Ну что ж, давайте посмотрим, кто знает, как ездят на сенокос колхозники и с чем они кашу едят, а кто нет. Вместо того чтобы спорить по существу главных вопросов, затронутых моей статьей, меня принудили вести этот элементарный разговор на производственно-бытовые темы. Извольте.

Отправляясь в длинное описание сенокосных порядков, Вы иронически произносите: «Экая самоуверенность, прости боже, «при собственном исследовании жизни»!» (это про Б. Можаева). Далее про себя Вы пишете: «Мне легче многих других возразить, потому что не пришлось «исследовать жизнь», я просто жил этой жизнью — косил, пахал, молотил цепом, четверть века проработал агрономом...» И чтоб окончательно сразить москвича Можаева, Вы в конце статьи поставили, как победный флажок, заветное слово ВОРОНЕЖ. Вот, мол, вам точка с запятой. Вот откуда смотрю на жизнь. Воронеж — не столица.

А я сижу в селе Дракине, сочиняю этот вот самый ответ и гляжу в окно на знаменитую Окскую пойму, где когда-то нагуливались тысячи быков для серпуховских скотобоен. Когда-то, Гавриил Николаевич, когда-то. А теперь на бывших заливных лугах растет капуста, морковь, свекла. И это в дело — овощи нужны, население в городах сильно выросло. Луга уменьшились, отдалились от сел. Но мне повезло: я ведь не ездил из города на деревню к дедушке в гости, я вырос на заливных лугах и не одно окосье мозолями отшлифовал на колхозных покосах, прежде чем взяться за иные науки. Так что знаем, и как на сенокос ездят, и как сено косят.

Но сначала давайте определим, в какие годы происходит этот самый сенокос, описанный в повести Носова, что за время было, и тогда легче будет установить, кто же из нас мотив тянет, а кто петухом кричит.

Повесть Е. Носова «Шумит луговая овсяница» (или рассказ) была опубликована в журнале «Огонек» в 1965 году (№ 25), спустя год ее перепечатал журнал «Наш современник» под названием «Лунное затмение» (расширенный вариант). То есть действие в повести происходит в начале шестидесятых годов (это еще и нетрудно установить по исчислению возраста главного персонажа Чепурина) [1]. Отлично зная, что за сенокосы были в ту пору, Вы скороговоркой отделываетесь от этого *главного* условия той жизни, как от пустячка: «Да, много напортили в *свое время в поймах*, но не везде луга были распаханы, не все травы были уничтожены, *что-то оставалось...»*

Чтобы вспомнить и понять, как тогда напортили, достаточно заглянуть в материалы мартовского Пленума ЦК КПСС 1965 года, в статистические отчеты той поры, газеты, научные бюллетени, журналы. Вот выписка из одной статьи того времени: «Накопали, туды их мать! Сперва луга позабросили, а потом речку сничтожили. Одно слово — силос кругом идет какой-то... Читатель догадывается, что я опустил много слов, произнесенных собеседником в качестве вводных и пояснительных...» Это выписка из Вашей статьи, Гавриил Николаевич; называлась она «О реках, почвах и прочем». Опубликована была она в журнале «Новый мир» № 1 за 1965 год. Вы недвусмысленно тогда разделяли возмущение описанного Вами собеседника, и более того, Вы нарисовали впечатляющую картину бедственного положения, в котором оказались пойменные земли, а следовательно, и колхозники, живущие на них. А вот еще одна выписка из газеты той поры: «Я видел занесенные песком земли на Цне под Сасовом, на Оке возле села Аграфенина Пустынь, знаменитую Дединовскую пойму, занесенную песком от села Малив до Белоомута. Читал отчеты географической экспедиции Московского университета о заносах песком поймы под Ватажкой, Муромом, исследования научных

[1] Кстати, эта двойная публикация повести ввела в заблуждение Н. Подзорову; она на страницах «Литературной газеты» сделала вывод, что «действие в повести происходит не в начале шестидесятых годов, а именно *после* Пленума» (имеется в виду мартовский Пленум ЦК КПСС 1965 г.). Увы! С марта до выхода в свет июньского номера «Огонька» и трава не успела как следует вырасти.

сотрудников ВНИИГиМ — о смывах почв и песчаных заносах на Вятской пойме, на Кавказе, под Владимиром и Ковровом, на пойме Теши под Арзамасом, на пойме Сейма у Курска и в других местах. Причина смыва почвы и заноса пойм везде одна и та же — неразумное, неумелое распахивание пойменных лугов и уничтожение лесозащитных полос.

По подсчетам академика С. С. Соболева, ежегодный снос или смыв почв, или так называемая водная эрозия, по всей стране причиняет государству около 35,7 миллиарда рублей ущерба. В настоящее время смытые пойменные почвы, измеряемые сотнями квадратных километров, отмечаются в Кировской, Ивановской, Московской, Рязанской и других областях нечерноземной полосы». (*Можаев Б.* Уважение к земле.— Литературная газета, 1966. № 15.)

Как видите, Гавриил Николаевич, наши мнения насчет лугов и жизни на этих лугах в те поры вроде бы совпадали. Что же теперь-то случилось? Отчего же Вы теперь-то рассуждаете об этом, как о чем-то пустяковом? «Что-то оставалось, следовательно, сенокос-то у Носова не только мог быть, а обязательно был»,— пишете Вы далее.

Это уж, извините — логический пируэт, кружение на месте. Вы и меня, Можаева, приглашаете за компанию так вот покружиться. Вы пишете: «Впрочем, сам Можаев-критик согласен с воображаемым «восторженным критиком»: «Ладно, мелочь».

Как тут не вспомнить слова М. Ю. Лермонтова о проницательном читателе, то есть о публике: «Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места». Я не бранился на критика И. Золотусского, но, разумеется, я и не соглашался с ним. Я, простите, иронизировал. Конечно, ирония — штука не сладкая, но, на мой взгляд, она более приемлема в литературных спорах, чем явная брань. Нет, не мелочь для меня время повествования. Вот что сказано об этом всерьез в моей статье: «Судя по возрастному исчислению, которое ведет Чепурин (теперь ему сорок, успел вдоволь повоевать, юношей ушел на войну), действие повести происходит в начале шестидесятых годов, то есть в ту самую пору... когда наши писатели, публицисты, ученые, партработники пытались отстаивать бесценные и редко уцелевшие массивы залив-

ных лугов (в том числе и на Десне). Массивы эти крайне сокращались и по некоторым речным поймам фактически были сведены на нет. И вот в эту пору какого-то ожесточенного истребления лугов у Е. Носова и происходит всеобщая идиллия сенокосной поры. Это в то же самое время, вспомните, разыгрывается драма в семье Ивана Африкановича у В. Белова, именно из-за этого случайно обнаруженного и конфискованного сена уехал Иван Африканович в поисках высоких заработков; из-за этого сена надорвалась на косьбе и умерла Катерина. Да и у самого Носова в сильном рассказе «Объездчик» Игнат убил Яшку за самовольный покос». Это уж без иронии сказано.

Итак, в эту самую пору ожесточенного истребления лугов и происходит у Е. Носова луговая идиллия. Естественно, что в те годы этот рассказ или повесть, скажем, не оказался в центре внимания читателя и критики. Но спустя десять лет критик И. Золотусский назвал эту вещь как пример «синтеза художественного и интеллектуального начал». Против чего я возразил в статье, возразил, как умею, как привык, используя иронию, иносказание и пр. Я пишу: «Здесь на одном берегу, значит, колхозные луга, а на другом вроде единоличные». Не замечая иронии, Вы подхватываете это как прописную истину, да еще подчеркиваете: «(*Вроде единоличные* луга.— *Г. Т.*)». Вот, мол, и уличил.

Батюшки светы! «Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов...» Это Лермонтов, Гавриил Николаевич, Лермонтов. Хорошо, конечно, что Вы читаете Монтескье и выписки из него делаете... Но неужто не слыхали, что в литературе кроме буквального значения слов есть еще нечто иное, что называется истинным смыслом написанного? Ну вот Вы нашли то, что Можаев не выписал у Носова, по-Вашему, очень важное: «Эти-то опушковые покосы, разбросанные и затерянные в лозняковой чащобе и *неудобные для бригадной уборки,* Чепурин раздавал... *в счет заработанных сенных процентов»* (подчеркнуто Вами). И опять пошли допрашивать меня по буквальному значению слов: «А где же по едокам нарезано?» А я Вас спрошу: какие в ту пору были *затерянные* опушковые покосы? Где и кто выделял в то время покосы за... шевеление сена? Вы что, смеетесь, что ли?! Это городским простительно — скажи им, что в 1963—1964 годах за

шевеление сена делянки луговые нарезали, они, может, и поверят. Да и то далеко не все. Но Вы-то агрономом работали когда-то! Сами ж признаете, что кое-что в ту пору от лугов оставалось. Дак это колхозам, бригадам и то кое-что. Сами ж говорите, что косцы бригадные «вручную-то берут лишь неудобные к механизированной косьбе гектары». То есть и для колхоза косили те же самые *опушковые неудобные покосы.* Так что же оставалось для колхозников? А среди колхозников есть допреж всего трактористы, косцы, мужики, одним словом, главные работники. Им-то нечего было выделять. Где уж там еще и бабам нарезать за... шевеление сена! Действие-то происходит не на острове Утопия. Надо бы считаться с реальной жизнью той поры. Или Вы позабыли, сколько личных буренок осталось в шестьдесят пятом году? Забыли кампанию по сведению коров на общие дворы? Вспомните хотя бы, как писатель Е. Мальцев вступился тогда за колхозников и за личных буренок? Какой шум был и в печати и вокруг. А ведь все из-за этих кормов шум-то, Гавриил Николаевич.

Как добывали колхозники в ту пору сено, мы знаем по произведениям Ф. Абрамова, В. Белова, Е. Мальцева, А. Яшина. Не так колхозники добывали сено, Гавриил Николаевич, совсем не так, как это описано у Е. Носова в «Луговой овсянице». А вот в «Объездчике» у того же Носова описан жизненно достоверный случай. Об этом я и говорю в статье, не унижая, не обзывая Е. Носова. Чего же Вы сердитесь?

Далее, Вы негодуете на меня за то, что я одни цитаты выписал у Носова, а другие не выписал. И напрасно негодуете. Всего выписать невозможно. Например, я выписал: «...*перекрестясь, сползали на костлявых задах* в реку старики...», «Старики забредали недалеко, по коленки, и, *не стыдясь сраму в простой житейской потребности,* ахая и придыхая, плескали на себя *бегучую хрустальную теплынь*». Ох уж этот Можаев, подчеркнул «костлявые зады», а выбросил (не заметил) вот что: «У иных на синеватой ребристой наготе багрово проступали старые солдатские отметины». И вот Вы начинаете меня прорабатывать за то, что я «выбросил» «солдатские отметины», чтобы-де превратить колхозников в пейзан.

Уважаемый Гавриил Николаевич, никакие отметины, в том числе и солдатские, не придают сами по себе живой достоверности персонажам в художественной литературе. И солдат солдату рознь. Это наивное заблужде-

ние думать, что описал рваные ноздри, или резаное ухо, или синеватые отметины — и портрет готов. Ничего подобного! Живой портрет, характер получается от совокупности многих черт и прежде всего языка персонажа, его поведения. А поведение колхозников с «солдатскими отметинами», прямо скажем, недостоверное. Не станут они нагишом при честном народе, да еще «на мелком», стоять по колена в воде да плескаться в эдаком срамном виде, да «с пескариками разговаривать». Что они, блаженные? Имеют они понятие о стыде и сраме, уверяю Вас. Поддаваясь Вашему настрою, я могу спросить: кто они, эти деревенские старики шестидесятых годов? А это дядья мои, старшие братья мои, друзья мои. И они сраму не имеют?! Вспомните пословицу, как об этом в народе говорят? Сорок лет, а сорому нет. Тут уж пиши — пропало. Это ровесники-то века нашего сорома не знают? Солдаты трех войн, пахари и кормильцы, из которых вышли и мастера, и ученые, и государственные деятели, и писатели в том числе. Значит, те, друзья их, однокашники, которые «вышли», имеют срам, а те, которые в деревне остались, они что же, срама не имеют? Так, да?! Вот ведь какие мысли вызывает соседство этих самых «солдатских отметин» с голыми «костлявыми задами» и прочими соромными местами. Вот почему я и не цитировал их заодно; не стыкуются они, простите мне этот современный термин. А Вы мечете громы и молнии: «Забыть?», «Опустить?», «Выбросить!». Ничего я не забыл и не выбросил. Я выписал из «Луговой овсяницы» и подчеркнул то, что считаю неэстетичным.

И наконец, мы доходим до того места, как сено косят и как на луга выезжают. Вы пишете: «Да, помню, знаю! Да, выезжали на сенокос семьями... всем селом в один и тот же день выезжали, оставались бабушки, внучата малые, женщины с грудными детишками, а коли некому остаться, то соседка и корову примет из стада, и подоит, и молоко определит в погреб, и выгонит утром со двора скотину на рожок пастуха. Идет он помаленьку и играет на жалейке, а коровы сами «выплывают», только открой калитку...» Стоп! Когда это было? В 1910 году? Да, было, в двадцатые годы было, и даже в начале тридцатых годов было. И рожки были, и жалейки, и длинные широкие прогоны, по которым «отплывал» скот. И семейные выезды на луга... Но у Носова-то, Гавриил Николаевич, все происходит на сорок — пятьдесят лет позже. В шестидесятые годы происходит, Гавриил Николаевич. Уже давно

нет тех пастухов с жалейками, другие пастухи пошли, совсем другие. И пастбищ тех уж нет, с широкими прогонами, по которым неторопливо отгоняли крестьянских коров. Не только пастбища, выгоны запаханы были в конце пятидесятых годов. Оставили только овраги да буераки, вот по ним и гоняют. Какие уж тут рожки да жалейки! Волюнтаризм в сельском хозяйстве — это, к сожалению, не пустые слова, а целое бедствие. И преодолевалось оно многие годы ценой великих трудов народа и партии. Не до рожков было.

А у Носова в ту самую пору все расселись по телегам, да еще семьями, и па-аехали! Куда поехали, на чем? Ведь в шестидесятые годы телегу купить было труднее, чем грузовик. А кто должен везти эти многочисленные семейные телеги? На чем ехать-то? Ведь лошадей осталось в колхозе — по пальцам пересчитать; да и те порой дичали, потому что не было, не хватало ни сбруи, ни дуг, ни оглобель, ни колес. Ведь это добро изготовлялось когда-то в многочисленных промысловых артелях. Где они, эти артели? Или Вы, может быть, назовете многочисленные заводы по изготовлению этого добра? Не назовете. Пальцев одной руки с избытком хватит, чтобы перечислить эти захудалые заведения, оставленные на всю Россию. Преждевременная ликвидация конно-гужевого транспорта была осуждена в свое время. Вспомните, куда пошли конские табуны? У того же Носова это прекрасно описано в рассказе «Объездчик». На колбасу они пошли, в счет погашения известных волюнтаристских планов. Вот я и спрашиваю: на чем повез в луга эти многочисленные семьи Носов? На цыганских повозках, что ли? Да и у цыган в ту пору эти повозки только-только начали появляться. А ездили на луга и в шестидесятые годы, и в пятидесятые в основном на грузовиках. Двадцать — тридцать минут всей езды-то.

Я сам родом как раз из суходольского села Пителина, что неподалеку от Окской поймы. Ока-то, Гавриил Николаевич, не на севере течет, а рядом с Десной. И мы с незапамятных времен так ездили на луга: сначала мужики с ребятишками, а через несколько дней баб с девками подвозили, когда-то на лошадях подвозили, а потом на грузовиках, сено шевелить. Потому и спрашиваю я: зачем же везти всех сразу? А что будут делать бабы да девки? И вот Вы поучаете меня: «Еще в школе, Борис Андреевич, детишкам читали: «Бабы с граблями рядами ходят, сено шевеля». И там же: «Воз растет, растет, как

дом». Помните?» Помню, Гавриил Николаевич. В «Ясном утре» были напечатаны эти замечательные стихи. Так ведь шевелят-то в них бабы сено, а не траву. Сено, Гавриил Николаевич. И стихи-то начинаются строчкой: «Пахнет *сеном* над лугами»... А вот строчки из другого стихотворения: «Повеет в лицо, как бывало, соснового леса жарой, *травою* в прокосах *обвялой...»* Это Александр Трифонович Твардовский написал. Как видите, травою обвялой пахнет по-другому. А для того, чтобы скошенная трава превратилась в сено и запахла им, надо подождать. Сколько? А это уж от бога зависит, как говаривали в старину, то бишь от погоды. Я в среднем прикинул пять-шесть дней, Вы даете два дня. Это уж когда как. По сегодняшней погоде, например, и две недели прождешь, пока трава не просохнет. Кстати, в пейзажах, описанных Носовым, дожди так и поливают. Вспомните, Гавриил Николаевич, с чего начинается повесть? Вроде бы не с описания засухи, при которой за шесть дней трава пересохнет. Бывает, конечно, за шесть дней не только трава пересыхает, но и хлеб на корню поджаривается. Всякое бывает. Но даже Вами отпущенных два дня надо просидеть этим бабам и девкам. Оно, конечно, праздному человеку ничего не стоит и просидеть, «сложив в подол между коленок ненужные руки», но только не сельским бабам в летние дни. Да, не им. А стихи те, Гавриил Николаевич, Вы процитировали неточно, с важным выпуском, или по Вашей обвинительной терминологии — с выбрасыванием сути. А суть сразу идет после строчек: «Бабы с граблями рядами ходят, сено шевеля». Вот она: «Там *сухое* убирают. Мужики его кругом на воз вилами кидают. Воз растет, растет, как дом». Мужики-то с вилами, Гаврила Николаевич, с вилами, а не с косами. Да, да. Бабы с граблями сено шевелят или ворошат, мужики с вилами копнят то, что поспело, на возы навивают, на шелуги кладут и пр. Это картина верная. А вот мужики с косами, а бабы за ними рядами траву сырую ворошат — это, извините, пейзанство.

И наконец, насчет косьбы по команде, то бишь: «...нога в ногу, замах в замах: так спорей и легче, чем вразнобой. Ярко сверкнет *сразу* дюжина кос над травами, переступит *сразу дюжина сапог,* на одно мгновенье задержатся, повиснут в воздухе косы...» Так пишет Носов. Ну, прямо не косьба, а отделение солдат марширует на плацу. А Вы уверяете, да «и косили так, как у Носова». И даже меня ругаете за то, что я не верю этому. Каждый, кто

косил русской косой, а тем более человек, выросший на этих покосах, хорошо знает, что русская коса подгоняется по росту, то есть напалок затягивается на окосье на уровне, извините, пупа косца. А этот пуп бывает у одного на высоте до полутора метров, а у другого чуть ли не по земле брюхо волочится. У одного, следственно, замах сажений, у другого — аршин с четвертью. Один почаще машет косой, другой реже, зато срезает за один захват побольше. Так и идут рядами, держась примерно на одинаковом расстоянии,— это при артельной косьбе. Зачем же заставлять косцов махать косами всем враз, да еще всем враз переставлять сапоги? Это что, строевая подготовка? Так ведь известно, что при косьбе смотрят себе под ноги, а не в затылок впереди идущего. Да и расстояние, интервал то есть, соблюдают немалый, иначе пятки можно подрезать впереди идущему. И такое может случиться. Косят настолько сосредоточенно (трудно ведь!), что не замечают, как срезают перепелок, зайчат и дергачей, притаившихся в траве. Ведь не из озорства, Гавриил Николаевич, Ваш папаша перепелку срезал, о которой Вы изволили упомянуть, а потому что не успел разглядеть, некогда смотреть! Какое уж тут следить за косой соседа или сапог в сапог печатать, когда пот со лба глаза заливает. А Носов и Вы с ним за компанию уверяете нас, что по команде косить удобнее. Каких только команд не бывало на Руси! Давным-давно, правда чуть попозже Монтескье, Гавриил Николаевич, уверяли, например, что по команде надо щи хлебать, а не квас... на поселениях Аракчеева. И тоже говорили — так удобнее. А тех, которые не понимали этого «удобства», евших квас вместо щей, драли.

Поддался-таки я Вашему настрою, Гавриил Николаевич, увлекся, и вот какие вещи вспомнились, к слову. Всего уж и не перечислить — в чем только Вы и не обвинили меня за эти искажения сенокосные. А вот на поверку выходит, что никаких таких особых искажений и тем более «подделочек», как Вы пишете, у Можаева нет.

Вам еще «муторно и оттого, как ухарски объявляет свое знание деревни Можаев и помимо сенокоса. «Гектар травы за теленка» (по-черноземному пятнадцать — двадцать центнеров сена!) — это еще полбеды (ну, по характеру, ахнул, только и дела), но ведь он может доходить, извините, до безрассудства». До какого «безрассудства» разберем ниже, а пока о гектаре травы и о теленке. «По-черноземному пятнадцать — двадцать центне-

ров сена» с гектара мало, Гавриил Николаевич. Это неважные луга. Хорошие луга, заливные, дают и по тридцать и по сорок центнеров. Вот за такие хорошие луга, там, где они были, конечно, и сдавали телят. Выпаивали, откармливали до определенного веса и сдавали в колхоз за гектар травы. Этого гектара, то есть тонны три сена, и хватало на прокорм личной коровы. Сдавали, Гавриил Николаевич, очень дорогого для себя телка. И колхозу этот теленок был дорог, особенно породистая телочка, и для ремонта стада и для прироста поголовья. Потому-то и нарезали председатели по гектару травы за дорогую скотину. И никто их за это не судил. Да и как судить? Теленок — это ведь мясо, да еще голова. Для учета! Неужто мясо травы некошеной не стоит? Значит, глупость Можаев написал? А Вы умно рассудили: эту же самую делянку дали за... шевеление сена. Забыли Вы, что платили на трудодень до 1965 года за это самое шевеление.

Теперь о так называемом «безрассудстве» Можаева. Разбирая повесть писателя Владимира Богатырева, я выразил сомнение в разумности действий старого крестьянина, который сына своего, комбайнера, заставлял больше работать дома, на своей усадьбе, чем в поле на комбайне. Я написал: «Ну кто, какой мужик не сообразит, что за один день комбайнер в страду может заработать столько, что вся его усадьба вместе с забором того не стоит». Кажется, смысл написанного ясен — комбайнер в поле может заработать значительно больше, чем на своей усадьбе, так много сможет заработать, что весь его огород или сад вместе с забором того не стоит (урожай, разумеется, а не земля). А что говорите по этому поводу Вы? «Ух ты, как разудалое воображение выдается «под городские липы» за «простую истину»! Даже за весь сезон уборки комбайнер не заработает общей стоимости: дома (кирпич, черепица, работа и прочее), урожая усадьбы 25—30 соток (в совхозе — 15 соток), коровы, кур, гаража и надворной постройки. Да что там говорить — стоимость мебели с телевизором не втиснуть в две тысячи. Ну и ну!..

Ведь о заработке комбайнера и Ноздрев у Н. В. Гоголя не осилил бы придумать...»

Ну и ну, Гавриил Николаевич! Значит, и кирпич, и цемент, и телевизор, и мебель — все вырастает на усадьбе колхозника? Как это Вы не ухитрились еще и жену, и детей комбайнеровых вместе с их нарядами да игрушка-

ми втиснуть в реестр приусадебного урожая? Вот и негодуй здесь на то, что «в каждом из нас сидит этот самый Ноздрев».

Крестьяне в русской деревне понимают усадьбу как землю, на которой сад растет, огород, как место, где дом стоит. «Усад — отвод, место под крестьянский двор» — по Далю. Все же, что Вы перечисляли, Гавриил Николаевич, относится к понятию — крестьянский двор. Смотрите Даля: «Двор — дом, изба, дым, тягло, семья с жильем своим».

Давно это записано. Зато не так еще давно случались на деревне вот такие разговоры: «На работу в колхоз не пойдешь — лишим тебя усадьбы». Или: «Обрежем у тебя усадьбу». Сад ли, огород ли — все едино, одним словом это выражалось. И это, Гавриил Николаевич, вовсе не значит, что из дома выселят, что корову обрежут или телевизор,— обрежут землю, то есть сад, огород. Только и всего.

Стремление обругать оппонента, переиначить смысл, навести тень на плетень прет из каждого абзаца Вашей статьи. Стоило мне написать: «Чепурин не вольный художник, а председатель колхоза. Ему не так просто одну жену оставить, а другую завести», как Вы тотчас наклеиваете на меня ярлык: «Что это? Здесь и просто ханжество, конечно, в позе блюстителя нравов, и этакое заигрывание с окололитературной публикой, падкой до молвы о «вольных художниках», которым «просто завести другую жену».

Вы что, Гавриил Николаевич, не слыхали расхожего выражения на Руси — «вольный казак» или «вольный художник»? При чем же тут окололитературная публика и те, вокруг кого она вертится? А если бы я написал — «вольный казак»? Вы бы стали взыскивать с меня за околоказачью публику и за самое казачество? Да-а... Тут только и остается, что руками развести.

О чем же еще говорить? О том, что Можаев будто бы намекает на то, как выдают «Государственную премию РСФСР якобы за «блескучие елочные игрушки... вывешенные Е. Носовым на «городских липах»?! И такое Вы не постыдились присочинить. Просто диву даешься — что за фантазия подстегивала Вас? Неужто не знаете, что Носову дали Государственную премию за книгу рассказов и повестей, где та повесть, что я критиковал, занимает всего лишь малую часть. Но и премия, Гавриил Николаевич, не индульгенция, не табу на критику. Пре-

мия как бы обязывает и писателей и критиков еще строже оценивать наш труд, взыскательней относиться к нему. Того же самого ждет от нас и читатель. И постановления партии призывают нас серьезнее и строже относиться к своей работе, а следовательно, и к работе собратьев по перу, не затушевывать наши недостатки, вскрывать их, проверять жизнью, сопоставлять с ней, к чему, собственно, и призывает моя статья «Запах мяты и хлеб насущный». Зачем же Вы требуете запрещать печатать подобные вещи? «Очень хотелось бы, чтобы в советской литературе не было подобных примеров, достойных сожаления, и чтобы «нравственное понятие труда» писателя тоже находилось в пределах хотя бы элементарной этики»,— пишете Вы.

Вот именно, надо соблюдать элементарную этику даже в спорах, надо уважать нравственное понятие труда писателя, и в том числе критика, ибо критик тот же писатель.

с. Дракино.
7.09.76 г.

И ТВОРЧЕСТВО И ЧУДОТВОРСТВО

(К столетию со дня рождения Н. К. Рериха)

Писать о Николае Константиновиче Рерихе трудно — он был великим художником, знаменитым ученым-археологом, путешественником, поэтом и прозаиком, философом, общественным деятелем; он написал более семи тысяч картин, издал двадцать девять книг, собрал десятки тысяч археологических экспонатов, основал два института, музей, организовал и вдохновил знаменитое движение сторонников мира, это международное Общество Красного Креста по защите памятников культуры от военных разрушений, известное под именем Пакт Рериха. О нем написаны эссе и монографии, биографические очерки, скрупулезные исследования, его превозносили до небес художники, писатели, политики, просветители и обыкновенные крестьяне. Джавахарлал Неру писал о нем: «Я поражаюсь размаху и богатству его деятельно-

сти и творческого гения». «Вы принадлежите этому городу как вестник объединения человечества»,— приветствовал его мэр Нью-Йорка Джемс Уокер. Писатель Леонид Андреев высоко и точно определил мир, выстроенный художником,— державой Рериха. Поэт Волошин в ярком эссе, прославляя эту державу, писал: «...человек (здесь) равен небу, и морю, и облакам...» «Рисунок Н. К. Рериха вошел в мою жизнь, висит под стеклом у меня перед глазами, и мне было бы очень тяжело с ним расстаться...» — признавался Блок. Монгольское правительство награждало Рериха как своего героя, а индусы из долины Кулу почитали его как святого Гуру.

Но его и бичевали... Его упрекали в схематизме, надуманности, слабости рисунка, «легковесной импровизации». Его поносили и охаивали как «самозванного мессию», обвиняли в гордыне, а порой в обыкновенном подлоге, примитивно «доказывая» — нельзя же, в самом деле, одному человеку написать столько картин. Одни и те же художники и критики одновременно с похвалой язвили, посмеиваясь, над «загадкой Рериха?» (И. Грабарь). «Иные из его картин навеяны чувством поэзии... но... в большинстве случаев это поверхностные схемы...» (Бенуа). Известно, как Стасов, приветливо встретивший ранние вещи художника («Гонец», «Идолы»), гневно осудил его за появление картины «Город строят». Нелепое скопище людей! Бестолковщина!! Ералаш!!! А председатель думской организационной комиссии, контролирующей закупки Третьяковской галереей, Муромцев строго вопрошал: «Почему купили картину Рериха? Так ли строили тогда города?» И художник И. С. Остроухов подробно и убедительно отписывал государственному мужу, растолковывал — в чем смысл и прелесть этой редкостной вещи: «Я затрудняюсь ответить прямо на Ваш вопрос: «Так ли строили тогда города?» Не знаю. Но талант художника меня лично заставляет верить, что так. Я скорее усомнился бы, так ли произошла сцена убийства сына Грозным, потому что чувствую на полотне Репина театральный эффект, застывшую и скомпонованную позу «живой картины», как в «Помпее» Брюллова...

Теперь стремление к простоте и обобщению интенсивнее. И мотив Рериха проще и потому правдивее...»

Благо и то, что государственные деятели, подобные известному Муромцеву, слушались художников. Бывало и хуже.

Трудно писать о Рерихе; кажется, нет такого периода в его творчестве, который не был бы освещен, взвешен, оценен; нет такой своеобразной особенности, чтобы не обратила на себя внимание дотошных исследователей.

И тем не менее писать о Рерихе отрадно: редкий художник увлекает нас таким поэтическим многообразным сказанием о земном бытие и одновременно одаряет нас небесным, космическим откровением. Не поражает, а именно увлекает нас; как зачарованные стоим мы перед его картинами, не в силах переступить этого магического порога, войти в зыбкий, трепетный мир сказочной реальности. И что ж оттого, что нам нельзя войти в этот мир и «пожить» в нем, потому что нет в нем «исчерпывающей достоверности», по выражению Бенуа? Разве в том и состоит назначение искусства, чтобы только «поглощать» нас, насыщать своей «достоверностью» да аккуратным перечислением известных фактов ставить все точки над «i» в нашем воображении? Важно пробудить в нас чувство, зародить движение мысли и послать в нужном направлении. Рерих не дает в своих картинах исчерпывающих ответов, но он ставит вопросы, создает мироощущение, заставляет нас сопереживать, думать, участвовать вместе с ним в том творческом полете, конечная цель которого хоть и ясна, но почти недостижима. И только душа замирает от немыслимого полета, проникновения в эти космические дали природы и человеческой жизни. Не помню, кому принадлежат эти слова: «Читая Пушкина, мы становимся мудрее». О Рерихе можно сказать наверняка: смотря на его картины, изучая их, мы становимся добрее, просветленнее, чище.

Рерих жил в сложную эпоху ломки старых миров и зарождения новых отношений: бунты, забастовки, террористические деяния перерастали в революции, революции глушились войнами, а войны в свою очередь порождали новые революции... И тем не менее, как хлебная опара на свежей закваске, поднималась экономика России: строились фабрики и заводы, задувались домны, опоясала желанным обручем земную твердь величайшая в мире железнодорожная магистраль от Петербурга до Владивостока, росли города и рос, поднимался в своем сознании новый, невиданный в русском обществе рабочий класс. Могучий русский колосс проснулся от вековой спячки и семимильными шагами настигал ушедшие в своем развитии передовые капиталистические страны. Но вместе с этим внутри общества зарождалась

непримиримая вражда сословий и классов. Нельзя сказать, чтобы Рерих был певцом нового класса, экономического роста или социальных конфликтов своего времени. Но он, как чуткий художник, был захвачен тем всеобщим стремлением к устроению жизни, поиском справедливости, идеала, которые так были характерны для русского общества на стыке двух последних веков. И не случайно в эту пору пробуждается жгучий интерес в русском обществе к своей истории: в науке, в литературе, живописи, музыке. Отчетливо оформляется в эти годы то национальное чувство гордости великоросса, которое в свое время подмечал Горький в характере Ленина. Рерих почти через сотню лет после Пушкина скажет его словами: люблю свою историю, горжусь ею и другой истории для своего отечества не мыслю. Это чувство гордости за свою историю, любовь к праотцам своим на многие годы определило главное направление творчества Рериха; там, в глубоких анналах истории он ищет примеры слитности человека с окружающим миром, то разумное деяние, подвижничество, которое можно было бы приблизить ко всеобщему идеалу.

Первая же картина его «Гонец» («Восстал род на род») была сдавленным криком, протестом против людской разобщенности, вражды, кровавых междоусобиц.

Тревожную весть несет гонец, застигнутый в пути надвигающейся ночью. Впереди на высоком холме мирно засыпает славянское городище, окруженное крепостной стеной. Тревожно светит ущербная луна, и по вязкой и темной, как масло, воде бесшумно скользит лодка-однодеревка. На носу ее сидит, устало сгорбившись, старик в шапке и в меховой безрукавке; руки его тревожно ощупывают какую-то малую кладь, накрытую мешковиной, лицо померкло от того глубокого безутешного горя, которое нельзя поправить никакими словами; он никого не видит и ничего не слышит, он весь ушел в себя, в тяжелое безотрадное раздумье. Молодой кормчий стоит, как врытый, не то с веслом, не то с шестом — не поймешь; зато хорошо видно, что гребец он опытный, сильный и правит легкую лодочку верно — вперед и выше пристанища, чтобы не снесло течением. На нем такая же, как на старике, меховая безрукавка, надетая поверх белой холщовой рубахи, на ногах не то лапти, не то кожаные бутылы, на поясе нож. Лица его мы не видим, он смотрит от нас на спящее городище, куда ему надо пристать.

Все здесь достоверно, исторично, подлинно — от кре-

постной стены городища, от долбленой лодки-однодеревки, которая в нашем позднем обиходе называлась ботничком, до инкрустации на поясном ноже. Но не эта археологическая точность бросается в глаза, не психологическую неповторимость типажа запоминаем мы; нас берет за душу, саднит в сердце, как заноза, горькая обида за ту беду, что свалилась на весь людской род; нас угнетает общая атмосфера безысходного настроя. На это чувство работает все: и тяжелая, мрачная вода, и таинственные тени по склону горы, и ущербная луна, чуть видная за ломким горизонтом, словно она подглядывает в ожидании кровавой потехи, и безучастный темный лес на дальнем плане, и тревожно застывшие, ушедшие в себя одинокие в этом печальном пространстве беглецы. Все как бы вещает единым духом: «Скверно, братцы, жить в этом мире, когда происходят такие безобразия».

Это была первая в нашей живописи историческая картина, лишенная конкретного факта, зато всем поэтическим настроем и особенно мастерски выполненным пейзажем воссоздавала целостное представление о далекой эпохе. Недаром Рерих был учеником Архипа Ивановича Куинджи.

Критики тех лет после появления «Гонца» и особенно эмоционально сильной картины «Сходятся старцы» стали называть Рериха представителем «новой живописи», которая, не порывая с реальностью, отходит от иллюзорно-бытового ее изображения (Врубель, Серов). Для них, «новых» художников, важна не столько историческая фактография, сколько отношение к историческому самого художника; предание не самоцель, главное — перенесение собственной «духовной судьбы» художника в предание, оживление его своим конкретным опытом.

Картина «Гонец», выставленная на ученической выставке выпускников академии в 1897 году, тотчас же привлекла всеобщее внимание и была куплена Третьяковым для своей галереи.

Так определенно и весомо заявил о своем появлении новый художник Рерих. После второго, парижского периода ученичества, как у нас теперь бы сказали — после повышения квалификации, его замысел о создании цикла исторических полотен «Славянской сюиты» осуществляется с невиданным размахом. Еще во Франции начаты и завершены полотна «Идолы» и «Заморские гости». И сам учитель Кормон, мастерскую которого посещал Рерих, сказал: «Вы идете своим путем». Затем без малого ин-

тервала появляются «Зловещие», «Ждут», «На севере», «Заповедное место», «Город строят», «Городок», «Древняя жизнь», «Строят ладьи», «Славяне на Днепре» и пр. Только за два года (1903—1904) в продолжительных поездках по старинным русским городам Рерих создает чуть ли не сотню городских картин. История перерастает в современность, держава Рериха опоясывается великой цепью каменных крепостей. Картины эти попадают на выставку в Америку. Изумленный мир открывает в них величие и мощь России.

И так до самого кануна мировой войны, за редким исключением («Зловещие», «Небесный бой»), Рерих в неслыханном многообразии своих исторических полотен ищет и создает реальную мечту о жизни гармонической, действенной, направленной к высшим целям. «Искусство не есть наслаждение, утешение или забава — искусство есть великое дело,— писал в то время Лев Толстой.— Искусство есть орган жизни человеческой, переводящий разумное сознание людей в чувство».

И Рерих пытается перевести «разумное сознание в чувство» не только изображением на картинах старинных башен да крепостных стен, капищ, церквей, монастырей, но и прямой проповедью; он, непременный член Общества по охране памятников, постоянно ратует за их сохранность, растолковывает их значение: «Как внушить всем городским хозяевам, что с разрушением памятников погибает культура...»; он взывает: «Добрые люди, не упустите дело доходное! Чем памятник сохраннее, чем он подлиннее — тем ценнее». И горестно заключает: «...прежде всего надо создать здоровую почву для жизни старины, чтобы в шагах цивилизации не уподобиться некоторым недавним «просветителям» диких стран с их тысячелетней культурой...»

Всем сердцем, всей душой Рерих не приемлет тот вид волевой деятельности, когда непреклонный герой с гордым и тупым самодовольством огнем и мечом разрушает все, что не укладывается в его тесную головную камеру как образчик уготованного им «нового» мира. Рерих на стороне великих тружеников-созидателей; веселым, неугомонным роем, как пчелы, трудятся они на его полотнах — сообща добывают пищу, строят жилища, корабли, города. Стремление быть полезным друг другу, понятным, нужным — одно из самых ценных качеств человеческого деяния по Рериху. И правильно подметил Вс. Н. Иванов особое расположение Рериха к торговым

гостям. Приезд торговых гостей для художника — народный праздник, эти картины исполнены в мажорных тонах, играют ярким разноцветием, дышат миром, гармонией. Это они, торговые гости, пахари, скотоводы — все податное сословие, «черные люди», своим неотступным упорством, предприимчивостью, подвижничеством освоили дремучие леса и степные пространства Европейской России и огромный материк под названием Сибирь. Они, «черные люди», стали главным героем полотен Рериха. Редко кто выделяется из них. А уж если и выделяется, становится единственным персонажем картины, так праведностью своей, содеянием добра, слитностью с природой, заступничеством за род людской. Таковы Микула Селянинович, неутомимый пахарь, воины Илья Муромец и Настасья Микулична, праведник и строитель Сергий Радонежский. Даже привычные религиозные символы он очеловечивает, приближает к природе; так, Пантелеймон-целитель, обычно изображаемый на иконах юным подвижником в пурпурно-золотых ризах, у Рериха превращается в согбенного старца, на утренней зорьке собирающего целебные травы, чтобы помочь страждущим; Николай-угодник пасет крестьянских коров, Илья-пророк жнет рожь, святой Георгий стережет коней, Прокопий праведный отводит от города тучу каменную.

И когда нависает над миром новая гроза, когда запахло в воздухе пороховой гарью мировой войны, Рерих в своих тревожных, пророческих картинах вещает миру об этой опасности. Так, в 1912 году появляется картина «Город обреченных» — гигантский змей тесным кольцом окружил и сдавил обреченный город — ни выйти, ни войти. Отжили.

А вот из прорана острых скал в раскаленное небо, запрокинув чудовищную голову, кричит огромный змей — он уже проснулся, он грозит, он жаждет.

Недвижно стоит огромный рыцарь с грозным мечом возле замка. Кажется, он спит. Ничего не слышит, не видит, как за его спиной во все небо полощет зарево и ярким отсветом накаляются окна пустынного замка («Зарево»).

Безотрадные вести идут и с моря — черный корабль с неуклюжими крестообразными мачтами стоит под высоким неприютным берегом («Вестник»). Что принес он, какие вести?

И наконец, «Дела человеческие» подошли к безумному пределу — вековой город лежит в развалинах. Зна-

комые иконописные старцы слетели с неба и с грустью взирают на эти дымные груды.

Сам Рерих, как Прокопий праведный, чувствуя приближение этой каменной тучи, пытается отвести ее магическим заклинанием своего искусства. Но, увы! Такие демонические силы не подвластны искусству. Рерих это понимает, и в своих «Священных знаках» обращается словно к самому себе:

Не беги от волны, милый мальчик,
побежишь — разобьет, опрокинет,
но к волне обернись, наклонися
и прими ее с твердой душою...

Выпавшие на долю его родины испытания он принял с твердой душой. Военная гроза разметала многих художников в разные концы света. Но даже там, далеко за ее пределами, куда бы ни забрасывала его судьба — в угрюмые просторы Скандинавии, на мостовые горячих мексиканских городов, в призрачные пустыни Монголии или на синие горные склоны Тибета, в Америку или в Индию — Рерих оставался высоким патриотом своей отчизны. Он написал еще множество картин о дальних странах, но и там, над Гималайскими вершинами, в горячих и пленительных рассветах нет-нет да проступит знакомый лик Микулы Селяниновича; а то раздвинется синяя горная завеса, и вдруг проглянет ласковым солнышком приветливая холмистая «Земля славянская», и даже в облике Матери Мира, скрытом небесным покрывалом, чудится знакомая нам русская Царица Небесная из Талашкина.

В новых монгольских, тибетских, индийских картинах Рерих остается верным себе — все та же поразительная принципиальность, умение выхватывать потаенную душу исторического, передавать мимолетную причудливость небесных сияний и неуступчивую времени, неизменную в своем многообразии земную твердь. Он и там с увлечением создает яркие образы народных заступников, но только не России, а Востока; мир узнает из его картин о летучем, стрелоподобном Гэсар-хане, о массивном меланхоличном Гуго Чехане, о Ригден-Джапо, справедливом правителе страны обетованной Шамбалы, затерянной в недоступных Гималаях.

С каким радостным изумлением узнает он на Алтае в экспедиции в двадцать шестом году о мужицком Беловодье, этой русской Шамбале, созданной крестьянским

воображением и поиском справедливости на земле, о стране с молочными реками и райской тишиной, лежащей где-то за степью Губарь и Опоньским царством. И живя потом в далекой индийской долине Кулу, он мечтал о возвращении на родину, которая была и оставалась для него желанным Беловодьем. Смерть застала его за сборами домой. Умер он в конце 1947 года.

У Бориса Пастернака одно замечательное стихотворение заканчивается прощальными строчками, определяющими то заветное в духовном мире истинного художника, что покидает его последним в роковую минуту:

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

Творчество и чудотворство — это две ипостаси одного и того же духовного процесса, известного под именем — вдохновение. Именно чудотворство, то самое стремление зачерпнуть хоть каплю «стихии чуждой, запредельной» было чрезвычайно характерным для всего творческого пути великого русского художника Николая Константиновича Рериха.

1974 г.

ЧЕРНЫЕ ДРОЗДЫ НА УНТЕР-ДЕН-ЛИНДЕН

Две недели жил я на Унтер-ден-Линден, в номерах Комише Оперы, совсем неподалеку от Бранденбургских ворот.

На рассветной зорьке будили меня черные дрозды; их серебряные переливчатые дудки были так же звучны, как где-нибудь в приокской дубраве, и вызывали в душе беспокойство своими грустными и непонятными призывами. Дрозды в центре Берлина! Что это? *Запустение на границе?* Или воздух чист, как в лесу?

Увы, воздух был городской, с запахом пыли и заводской гари — традиционные липы на Унтер-ден-Линден хорошо сохраняли листву только под защитой высоких стен, а на середине улицы кроны их были чахлыми, с блекнущей листвой в мае месяце. Да и в горле першило от знакомства с берлинским воздухом. Нет, дело здесь

не в воздухе. Может, пустынность — причина поселения дроздов? Места пустынные, что и говорить. Вдоль всей границы ни души; лишь редкие часовые с автоматами на груди, да одинокие столбы Бранденбургских ворот, да обширный пустырь, заросший бурьяном и травой-муравой, на месте гитлеровского бункера. Но тишина и пустынность на границе только ночью да утром, а днем все оживает: мчатся машины вдоль стены, стучат перфораторы, взламывая асфальт, на мостовых собираются толпами прохожие и, опираясь на железные поручни, подолгу смотрят на старые триумфальные ворота, на отдаленную темную стену рейхстага и на часовых, и на фонтанчики да цветы на пограничной полосе. Город, одним словом, и у границы дает о себе знать.

Черный дрозд в Берлине традиционен, как голубь в Москве. Он охотно распевает возле автомобильных стоянок, качается на липовых ветвях над головами прохожих и даже вьет гнезда на балконах. Традиции выражаются не только в обычаях или в народном быте, но и в облике городов и деревень, старых крепостей и храмов, и даже в такой малости, в конце концов, как этот черный дрозд на улицах столицы. За две недели, прожитых в Берлине, я не раз имел возможность убедиться в разумном сочетании чисто немецких традиций с новым устроением современных условий жизни.

Дело не только в том, что в окружении старых храмов — Берлинского собора, церкви св. Марии, Французского собора — вырос новейший Дворец республики, но и в том прежде всего, как немцы, расширяя и реконструируя свою столицу, стараются сохранить и традиционную планировку Берлина и, так сказать, прописку улиц и площадей. Здесь каждый район не просто имеет административную границу — и не временную, а постоянную, но и свое исторически обретенное наименование: и Пренцлауберг, и Трептов-парк, и Александерплац, и Унтер-ден-Линден, и Фридрихштрассе — все это существует и поныне не в старых бумагах, а в народном обиходе, нисколько не смущая ревнителей всего ультрасовременного. Есть, конечно, и новые названия — Карл-Маркс-аллея, улица Ленина. Отчего ж им не быть? Город бурно застраивается, улиц вырастает множество.

Да и как не строиться? По статистике, в Берлине недостает семидесяти тысяч квартир — это то, что ищут, спрашивают. Причем половина из жаждущих не имеет вообще квартир, живут в общежитиях или у родителей.

А в городе не хватает рабочих, в Берлин призывают народ из провинции. Одна из двух построенных квартир отдается берлинцу, другая — провинциалу. Давно уж назрела необходимость реконструкции центра, но, чтобы провести ее, надо переселить на время сорок тысяч человек. Куда? Реконструкция старых жилых районов еще более необходима, чем центра. Ей и отдается предпочтение. Я побывал в одном таком старом районе.

Его главная магистраль — Шёнхаузер-аллея. Сказать по-нашему — аллея Прекрасных Домов. Она сильно обветшала: фасады серые, облупленные, карнизы и балконы выщербленные, тротуары узкие. Посреди улицы на высоком черном настиле грохочет воздушная железная дорога, этот символ былого величия громкого века электричества и пара. Пыль, копоть, шум. Но по сравнению с прилегающими улочками, тесно заставленными высокими домами казарменного типа с каменными задними дворами-колодцами, эта Шёнхаузер-аллея была и в самом деле когда-то прекрасной: здесь и фасады богаче, и мостовая привольнее, и витрины ярче. И жила здесь мелкая буржуазия, торговцы-мастеровые, выбившиеся в люди.

В Берлине такие районы называют тяжким наследием капитализма. Пренцлауберг, который я описываю, огромный район, издавна заселявшийся рабочим классом. Модернизация этого жилого фонда — дело весьма сложное. Представьте себе городскую квартиру в пятиэтажном доме без газа, без ванной, даже без уборной и с печным отоплением. Внизу в подвале хранятся брикеты землисто-серого, то бишь бурого, угля и дровишки на растопку. Хочешь истопить печку — сбегай вниз, пересчитай добрых сотню, а то и полторы сотни ступеней, принеси тазик этого топлива, большая половина которого на глазах твоих развалится в золу. И уборная на лестничной клетке, одна на несколько квартир. Да еще под замком. Немцы — народ аккуратный, раскрытой дверь не оставят. Ключ от уборной висит на кухне, один на всех. Я, признаться, с холодком под лопатками подумал: очутись я в таком доме, при своей рассеянности и склонности забывать ключи в дверях, я бы неоднократно оставлял свою семью без этого нужного заведения. Вот бы шуму было!

Во всем огромном районе я так и не нашел ни одной бани. На вопрос: «Где же тут баня?» — мне отвечали, что бани в центре Берлина. «А где же мыться?» — «А на кухне, в тазике». Аллах Керим!

Да что там баня! Сколько-нибудь сносной детской

площадки не сыщешь, чтобы с травой-муравой да с просторным плацем для игры в мяч или пятнашки. Каменные дворы-колодцы тесные, темные, с мусорными ящиками посредине. Там не то что играть, проходить не хочется. В одном подъезде, в глубине каменной пещеры через три двора-колодца что-то зазеленело. Пошли туда, как на свет божий. Подошли — это всего лишь два клена на дворике при фабрике. И тут теснота и каменная сдавленность. В конце одной улицы еще что-то приветливо зазеленело. Подходим — церковная ограда. Заперто, и надпись на дверях: «Играть и бегать запрещено».

Однако пусть не подумает читатель, что в Берлине вообще нет спортивных площадок и привольных детских садов. Их множество, они встречаются даже в старых, но уже перестроенных районах. В том же Фишеринзеле, неподалеку от городской ратуши, стоит такой детский сад, что издали можно принять за ботанический.

Я веду речь здесь о таком районе, который сохранился в неизменном виде с прошлого века. Как же выходят в Берлине из этого положения? Прежде всего — реконструкция улиц, фасады домов перестраиваются. Здесь никакой кустарщины, все делается по заранее разработанному проекту — улица реконструируется целиком: фасады, крыши, подъезды и пр.— все спроектировано, начерчено, выписано в деталях, в цвете, все утверждено свыше. Дома, в сущности, получают новый облик, старые фасады как бы смывают, и только постоянные конструктивные элементы вроде балконов, эркеров, лоджий сохраняются, но и они обрамляются новым орнаментом. От этой всеобщей реконструкции улица становится совершенно преображенной, как бы заново рожденной. Хороши эти желтые эркеры, эти широкие венецианские окна с белыми сандриками, эти высокие темно-зеленые цоколи с рустами, эти балкончики с точеными балясинами, глубокие лоджии с легкими колоннами. Некоторые обветшалые здания благоразумно снесены; и места эти, расчищенные под детские игровые площадки, частично устраняют ощущение тесноты и скученности каменных кварталов. Стоит только пожалеть, что таких площадок в модернизированном районе еще очень мало.

Ну а как же квартиры? Какова внутренняя реконструкция и отделка этих старых домов? Мы посетили несколько квартир, заселенных семьями рабочих. Хорошие квартиры, просторные. Площадь двухкомнатной квартиры семьдесят квадратных метров (немцы считают всю

площадь, в том числе и подсобную), плата за месяц девяносто три марки. Это примерно тридцать рублей. Дороговато по нашим ценам. В квартире рабочего сцены Дюринга жена его Трауте приняла нас, должно быть, за делегацию из городской ратуши с иностранным представителем. Услыхав мои восторги относительно красивых обоев и отличных ковров, сплошь укрывших полы комнат (ей все переводили), она сложила руки на груди, с вызовом поглядела на моих спутниц — а со мной были одни дамы: работница управления архитектуры, оргсекретарь Союза писателей да переводчица — и заговорила, как из автомата застрочила:

— Это же мы все сами переделывали, все! Своими руками. Вот, смотрите! — Она подняла угол ковра и обнажила бледный шероховатый пластик: — Вот что они положили. Он весь покорежился, волнами пошел. По такому полу только на лодке плавать,— обращение ко мне за сочувствием и поддержкой.— И обои мы сами наклеили. Мы еще не успели толком въехать, как те обои отвалились от стен. А потолок был весь в трещинах и потеках. Вот как ремонтируют эти строители! За такой ремонт надо с них деньги брать.

— А это что? — спросил я, указывая на кафельную печь.— Для декорации поставлена?

— Ах, мой бог! Какие декорации! — Трауте руками всплеснула.— Это ж наше наказание. Топим бурым углем. В нем одна зола. Да еще купить его надо, выписать, в подвал загрузить. Таскай его по лестнице сюда. А золу куда девать? — И пошла и пошла: — А лестницы сами моем. Дети двери пачкают. Во дворе в футбол играют. Дворы-то тесные. Ударят по мячу — он до четвертого этажа летит, стекла выбивают... А собак этих развели! Они гадят везде. Это ж не аллея Шенхаузер, это уборная для собак.

— Но ведь нет же специальных площадок для собак,— возразили ей.

— И тут мы виноваты? За что мы деньги за квартиру платим?

— Так вы что ж, недовольны своей квартирой? — спросил я Трауте.

— Как это недовольна? — удивилась она.— Очень довольна. Вы разве не знаете? У нас раньше газу не было на кухне, ванны не было... Уборной! А теперь все есть, все!

И она, мгновенно перестроившись, с видимым доволь-

ством на лице показывала нам прекрасную просторную кухню с ванной и газовым смесителем и эту самую штуку, которую упомянула как главную деталь домашнего комфорта.

Спрашиваю архитектурного представителя:

— Отчего же вместо печек не провести паровое отопление? Центральное!

Ответ короткий:

— Это очень дорого.

Расчетливость немцев, аккуратность, дисциплина вошли в поговорку. Если уж принято у них не ставить лифты в домах обычной этажности, так будьте уверены: ни одного лифта не найдете не только в пятиэтажных, но и в шестиэтажных домах. Тут никакие связи не помогут, кто бы там ни жил — не поставят.

Подымаемся на шестой этаж с редактором Лео Кошутом; дом огромный, этажи — по четыре метра каждый в высоту: издательство, которому принадлежит этот дом, богатое («Фольк унд Вельт»), и все топают по крутой лестнице своими ногами.

— Лео,— спрашиваю,— неужели трудно лифт поставить?

— Неэкономично,— отвечает и, как бы нехотя, добавляет: — В шестиэтажных домах лифты неположены.

В новом прекрасном районе, в Марцане, планируют кроме автобусов еще и трамвай.

— А почему не троллейбус? — спрашиваю генерального подрядчика.— Троллейбус удобнее, и шуму меньше.

— Трамвай дешевле,— и только плечами пожал.

Марцан — это гордость берлинских строителей. Под Берлином на ровном месте, частично занятом деревней Марцан и дачными поселками, вырастает целый город на сто пятьдесят тысяч человек. Не размах строительства и не масштабы его привели меня в восторг. Размахом строительства удивить нас трудно. Но вот организация и производство строительных работ, попытка избавиться от однотонной безликости городских кварталов здесь весьма поучительна. Весь городской район разбит на четыре части, каждая часть — на четыре секции; строительство ведется не по всей необъятной территории, а только в одной определенной секции. И застраивается эта секция одновременно: строятся не только жилые дома, но и магазины, школы, детские сады, рестораны, больницы, всяческие комбинаты. Все сразу строится — и сдается в эксплуатацию все сразу. Заселение первой

секции Марцана было в марте — апреле, а в мае на клумбах во дворах уже цвели тюльпаны, зеленели туи, тиссы ягодные, рододендроны. Работали детские сады, магазины, столовые, а на банкетные залы ресторана уже установилась целая очередь. На улицах и дворах не было ни мусора, ни щебня, ни земляных отвалов высотой в три этажа от перекопанных мостовых и тротуаров по случаю перекладки водопровода или канализации или для проводки нового кабеля, позабытого впопыхах всеобщего аврала.

Все здесь было на месте, как в давно обжитом городском квартале. А рядом строилась новая секция — и здесь ни отвалов, ни траншей, ни ухабов, ни болот; нулевой цикл окончен и сдан, а это значит: все трубы уложены, колодцы поставлены, кабели на месте, фундаменты выведены до цокольных этажей, и все спланировано, разровнено, подъездные пути, мостовые забетонированы, покрыты асфальтом. Дома возводятся строго по графику. Вот что значит истинно поточный метод.

Такая высокая организация работ достигается чрезвычайно жесткой специализацией производства. Весь строительный комбинат разбит на восемь трестов, или, по местной терминологии, заводов. Каждый трест-завод в запланированное время и в указанном месте производит только свои работы. К примеру, трест по строительству высотных домов не станет копать траншеи или строить подъездные пути. К чему? Они уже выполнены заводом нулевого цикла. Жилые дома обычной этажности и общественно производственные здания строят разные заводы, потому они и возводятся одновременно, потому и нет здесь более «выгодных» объектов, которые можно побыстрее подвести под крышу и сдать в счет «перевыполнения» объема работ. А что запаздывают при этом сдавать в эксплуатацию магазины, или школы, или жилые дома — так это ж «недостаток». А у кого, мол, не бывает недостатков в большом строительстве? Так вот, в Марцане таких «недостатков» нет, они просто немыслимы, исключены самим ходом дела.

И еще одно немаловажное достоинство: в Марцане не будет даже двух однотипных кварталов, похожих друг на друга как две капли воды. Что это? Отказ от поточного метода строительства? Отнюдь нет. Поток существует, да и трудно вообразить при теперешнем размахе производства, чтобы не применялись типовые элементы конструкций. Тип здания будет повторяться, но облик

его, расцветка, расположение элементов орнамента, наконец, планировка кварталов и улиц — все это будет варьироваться, и каждый вариант спроектирован оригинально.

Мы побывали и в деревеньке Марцан, название которой перешло на целый район. Ее не сносят с лица земли бульдозерами и сады ее не выкорчевывают по случаю великой застройки. Она сохранится навеки внутри каменного чрева этого огромного района и будет вечно напоминать потомкам, что жили на этом месте крестьяне, что у них был свой уклад жизни, свой быт. И не какой-нибудь отвлеченно-отсталый, а очень определенный, чисто немецкий. Ее подчистят да подправят, отремонтируют, одним словом. И деньги на это отпущены. На это денег не жалеют, хотя немцы, повторяю, народ расчетливый.

Ничего особенно примечательного в этой деревеньке нет — дома как дома, двухэтажные с островерхими черепичными крышами, есть и одноэтажные с каменным подворьем, окруженным кирпичными кладовыми да сенниками, да конюшнями, да хлевами... В центре деревни гладкостенная красная кирха со шпилем и потемневшая от времени харчевня с добрым старым названием «Марцанская кружка».

— В этой харчевне гуляли русские казаки, когда гнали Наполеона к Парижу,— непременно скажут вам, если вы русский.

Теперь это не харчевня, а ресторанчик, отделанный под старину, с темными дубовыми панелями да коваными массивными светильниками. Обслуживают только мужчины в черных пиджаках с черной традиционной бабочкой.

— Что подать? Свиную ногу? Пива?

Пиво в кружках — высоких, тяжелых, тех самых марцановских. Хорошо после этих долгих хождений по открытым этажам новостроек да по новеньким универсамам, где пестрит вокруг от разноцветного пластика и ярких товаров, сесть за прочный дубовый стол, ощутить губами легкое потрескивание и щекотание пивной пены да полированную прохладную гладь толстого стекла и вонзить вилку в податливую тяжелую свиную ногу...

Мне удалось побывать еще в одной деревеньке, в Прендене, это в полусотне километров севернее Берлина. Прелестное местечко! Сосны на песчаных угорах впере-

межку с буком да ясенем и сады, сады в долине речки Штрееле. В разгаре была весна, цвел розоватый миндаль, а цветущие вишни, черешни, яблони порыжели. В ночь на 10 мая был такой мороз, что свернулись и почернели даже листья на буках и ясенях. Сто лет не знали берлинцы таких морозов в мае месяце.

Меня удивило, что дома деревенских жителей стояли вперемежку с особняками берлинских дачников. И еще я подивился необыкновенной рачительности всего сущего — от последнего деревенского постояльца до поселкового совета. Вы не увидите ни ухабов, ни луж на дорогах, ни гнилых заборов, ни одной заброшенной и заросшей бурьяном усадьбы. Хотя, разумеется, и здесь люди уезжали из деревни.

Любой человек может купить дом в деревне в окрестностях Берлина, и поселковый совет оформит вам купчую. Недели за две до моего приезда один писатель купил усадьбу в Прендене — двухэтажный дом с кирпичным сараем, с кладовыми и сенниками, да еще четверть гектара земли: сад, огород, колодец свой и даже речка своя. И все это добро за три с половиной тысячи марок, то есть за тысячу с небольшим рублей. Поселковый совет только взял с него обязательство, что дом и усадьбу новый владелец будет содержать в порядке, дабы она своим мерзостным видом запустения не портила общей картины. Или сам живи, или постояльцев пускай, квартирантов. Это не имеет значения. Этот писатель решил старый дом оставить для приезжих друзей, а для себя перестраивает кирпичный сарай в двухэтажный особняк. И никто ему никаких препятствий не чинит, а, наоборот, помогают построиться, продавая необходимые строительные материалы. Вот как на деле выглядит стремление поселкового совета поддерживать лицо своей деревни.

Здесь так поставлено дело, так сохранено все старое и приспособлено к современным условиям жизни, что, по выражению гоголевского Костанжогло, и всякая заваляющая дрянь приносит выгоду. Когда-то стояла на речке Штрееле водяная мельница; со временем пришли в негодность ее колеса и жернова, выгоднее стало иметь мельницы с электрическим приводом, но рабочая основа ее — плотина и по сей день работает, держит воду; а в небольшом озерце за плотиной разводится рыба; бывшая деревенская кузница перековалась на промышленные заказы, старая харчевня стала рестораном. Да и многие деревенские жители теперь работают на мебельной фабрике. Но

им разрешается разводить скот, каждому желающему нарезают землю еще и в поле. Обрабатывай, старайся на здоровье!

— Сколько у вас земли? — спросил я Рихарда Зеегера, коренного жителя Прендена.

Он смотрит на меня с прищуркой, глаза бойкие, плутоватые, сам маленький, крепенький, а ладони большие, как деревянные лопаты.

— Не скажу,— и явная усмешка играет на губах его.

— Почему?

— Ты про это напишешь, а мне налог принесут.

Разговор вели за столом соседа его, дачника Лео Кошута, редактора издательства «Фольк унд Вельт». Хозяин с хозяйкой начинают журить его за упрямство. Он с минуту поломался еще и сказал:

— Один гектар. Больше нельзя — налог принесут.

— Один гектар в поле? — переспросил я.

— А где ж еще? — обиделся он.— Не на дворе же у меня.

—Но у вас еще две усадьбы, два огорода, два сада, сарай, дворы,— я осматривал его хозяйство.

— Это не в счет,— отмахнулся он.— Одна усадьба моя, вторая — отцовская, в наследство мне перешла.

У него полон двор скотины: корова, лошадь, свиньи, куры, утки. А до прошлого года держал четырех коров.

— Отчего ж,— спрашиваю,— при одной корове остался?

— Дочери замуж ушли, поразъехались.

— А зятья помогают?

— Только за столом.

— На лошади поле-то пашешь?

— Зачем? На тракторе.

— А где трактор берешь?

— У друга. У него трактор, у меня жатка, молотилка, мельница. Живем...

Да, живет неплохо. И не поймешь — крестьянин он или рабочий. Встает он рано, чуть свет, и уже шумит, покрикивает на дворе и в саду. К восьми часам уходит на фабрику, а с пяти — снова на усадьбе. Под вечер голос его крепнет и окрики сменяются протяжным пением.

Соседи у него — берлинский парикмахер и упомянутый мной издатель. И вот что любопытно — редактор центрального издательства арендует шесть соток у берлинского парикмахера. Граница между землевладельцем и арендатором проходит по такой замысловатой кривой,

что ни одному землемеру не перенести ее на бумагу — запутается.

— Отчего такая замысловатость? — спрашиваю Кошута.

— Он хозяин. Как захотел, так и провел.

— А вы бы откупили у него участок.

— Не продает — боится продешевить. Берет аренду — двести пятьдесят марок в год. На землю цена строгая. Ее не повысишь.

Да, цены здесь соблюдаются будь здоров. При въезде в Берлин Кошут приостановился на улице в местечке Малоф.

— Мяса купить надо.

— А в Берлине?

— Здесь знакомый частник. У него и ресторан и магазинчик. Очень хорошее мясо.

— Оно и стоит, поди, дороже?

— Цены везде одинаковые,— последовал ответ.

И мяса везде много: и в частных магазинах, и в государственных, и колбаса любая, на выбор. Поставляют мясо не только колхозы: скот, выращенный на дворах Рихарда и его товарищей, тоже ведь на те же самые прилавки попадает. Оттого и весело живут. И зрелищ много.

Любопытных да охочих до зрелищ в Берлине не меньше, чем в Москве. С ходу попасть на телевизионную башню, посмотреть на город с высоты птичьего полета и не мечтай — все посещения расписаны на месяц вперед. Даже разводы часовых возле памятника жертвам фашизма и милитаризма или свадебные процессии у древней Мариинской церкви тотчас обрастают огромными толпами прохожих. Весь караул, под зычную команду разводящего, печатает по мостовой чистейший прусский шаг: нога поднята на девяносто градусов, коленка прямая, носок оттянут. Удар всей ступней, как выстрел, так что искры из-под каблука.

А напротив, у Александерплаца, под звон колокола из дверей Мариинской церкви выходит целая процессия — впереди священник, за ним жених с невестой — черный фрак, белое длинное платье. Молодых увозят в карете, запряженной белыми лошадьми, гости разъезжаются на автомобилях. Да, это — традиции.

А за Мариинской церковью, на месте бывшего замка кайзеров, стоит современнейший беломраморный Дворец

республики с панелями из золотистого стекла. Двери его раскрыты почти круглые сутки — вход бесплатный. В него бесконечным потоком идут люди и выходят потоком, как на станции метро. В нем есть театр, молодежный клуб, концертные залы, рестораны, бары, несколько фойе, спортивный комплекс, кегельбан, картинная галерея и даже большой зал, где заседает Народная палата. Легче сказать, чего нет в этом Дворце, чем перечислить все его помещения и службы. Подсчитано, что в год посещают Дворец двадцать миллионов человек. Зачем идет сюда народ? Что он здесь ищет? Да, разумеется, посмотреть на знаменитую лампионию главного фойе, где потолок из-за этих разнокалиберных светящихся шаров, подвешенных на серебристых штоках, напоминает модель в миллиарды раз увеличенной фантастической молекулы, перенесенной сюда как наглядный экспонат из системы Менделеева. Да постоять возле картин известных художников, да посидеть в ресторане или в театре, а то поплавать в бассейне... И не только за этим.

Давно уж подмечено, что толпа, народ жаждет развлечений... «Народ, как дети, требует занимательности, действия»,— писал Пушкин. «Драма родилась на площади», потому что «народ требует сильных ощущений, для него и казни — зрелище». Человек любит толпу, жаждет приобщиться к чему-то зрелищному, чтобы почуять себя частицей той необыкновенной силы, которая рождается общностью людей. Народное сборище, если оно зрелищно,— это всегда торжество жизни. Вот почему так популярны были базары и ярмарки, масленичные гуляния, престолы и свадьбы в деревнях, пасхальные литургии, новогодние святки. Дело тут не в религии. Культовая сторона для всякого обряда или праздника являлась всего лишь отправной точкой. Смысл — в самом действе, в общении народа. Поэтому-то в свое время и были приобщены языческие «бесовские игрища» к христианским святцам.

«Толпа, народ в своем внутреннем активе удивительным образом всегда больше суммы составляющих ее людей»,— сказал один мудрец. И вот эта чудодейственная сила единения, посредством которой каждый индивид осознает себя частицей общества, «всегда бесконечно больше суммы составляющих ее людей», и заставляла издавна государственных мужей строить общественные здания. Но это еще полдела. Главное — наладить службу в них, создать действенное зрелище, «потрясающее дра-

матическим волшебством». Такой продуманной зрелищной системы, связанной общей идеей воспитания посредством искусства, во Дворце республики еще нет. Он пока еще выполняет изначальную простейшую функцию места сбора людей; он, так сказать, пока еще та «площадь», где должна зародиться «драма» национальная по форме, социалистическая по содержанию. Пока люди, приходящие сюда, еще сами по себе, они разобщены внутри стен этого Дворца, между ними нет еще взаимосвязи, взаимодействия, что позволило бы назвать их берлинским обществом, как назывался когда-то миланским обществом театр Ла-Скала, по замечанию Стендаля. Пока сюда приходят не столько для обмена мыслями и чувствами, движимые общностью зрелища, сколько посидеть и отдохнуть в отдельности: один за столиком ресторана, второй — в картинной галерее, третий — в кегельбане. Но и то уж благо, что собираются не где-нибудь в безликом квартале города, а в немецком паласе, в облике которого так тесно переплелись национальные традиции с современным днем. Не только в конструктивных элементах Дворца, но и в картинной галерее это чувствуется. Две наиболее примечательные картины из выставленных на обозрение: «Роте Фане» Зитте и «Добрый день» Маттояра — веское доказательство тому.

Даже при самом беглом взгляде на них скажешь, что писаны они немецкими мастерами. Хотя сюжеты их в полном смысле интернациональны. Первая картина — «Роте Фане» чем-то перекликается с известной картиной Делакруа «Свобода на баррикадах», но ни в коей мере не повторяет ее, наоборот, сильно отличается от нее, точнее, спорит, опровергает ее романтику.

И здесь идет на приступ яростная толпа, но в отличие от той, французской, эта обнажена совершенно, она многорука и с одним лицом, искаженным зверской ненавистью; ведет ее не дева в красном фригийском колпаке, похожая на одетую Афродиту, а гулящая нагая девка с веником цветов, прикрывающим срам; и подталкивает эту толпу косматая когтистая лапа дьявола. Чувствуется, что художник хорошо знаком с фрейдизмом, теорией о могуществе секса и темных страстей человеческих. Что-то есть животное в неуемной и необузданной ярости толпы, в этом мощном стрессе кроваво-красного, мускулистого тела, в этих толстых квадратных пятках, напоминающих копыта носорога. И девка-свобода, с нагловато-зазывающей, сардонической улыбкой, идущая пря-

мо на вас, двулика — отвернувшись в профиль, она уже позабыла о тех, с кем шла вместе, с полным равнодушием и презрением взирает она на мир божий. Конец этого неистовства закономерен: распростертый, как в анатомичке, труп и плачущие над ним дети. А сбоку, чуть в отдалении горит человеческий разум, сжигают книги на костре. С грустью глядит с высокого полотнища красного знамени Тельман. Картина поучительна, что и говорить. Многое заставляет она вспомнить из недалекого прошлого. Она осуждает всяческий экстремизм и необузданность страстей.

На картине Маттояра изображен огромный современный город, над ним высоченные заводские трубы, справа — открытый рудный карьер, какие нередко встречаешь в ГДР. В зеленоватом небе, ядовито-желтого стронциевого оттенка, выписывает кольца отработанным газом реактивный самолет. А на переднем плане вырвавшаяся из города на лужайку с мертвым деревом современная семья рабочего. Все они хорошо одеты, но лица у родителей землистого цвета, а худенькое тельце мальчика даже сквозь красный свитерок и синие рейтузы выглядит рахитичным. И название ее весьма символично: «Добрый день». Отчего же и не добрый? И солнце светит, и травка зеленая, и обуты-одеты. Но я вспомнил, как мы проезжали мимо Иены: даже в двадцати километрах от города, на шумной автостраде наглухо закрывались в машине, дабы не дышать этим едким, удушливым воздухом солнечного «доброго дня». И мне стало грустно.

Прощаясь с гостеприимными хозяевами в Союзе писателей, мы говорили о важности сохранять в современном мире национальные традиции, дабы не стерлись с лица земли и народа черты необщих выражений. Мы говорили, что в нашем едином походе во времена грядущие, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся», пусть Москва остается Москвой, а Берлин — Берлином. Но неплохо бы нам, думалось мне, идя рука об руку, приглядываться пристальнее друг к другу да и перенимать нечто полезное, пусть даже почерпнутое из чужого уклада жизни и чужих традиций.

1979 г.

«МОМЕНТ НЕПОНЯТНОСТИ» И «ЧУВСТВО СЛОВА»

Разговор о языке художественной литературы традиционен и всегда актуален. Это положение, легшее в основу дискуссии на страницах «Литературной газеты», бесспорно. Бесспорна и мысль лингвиста Ф. Филина, «что общепринятый литературный язык и язык художественной литературы хотя и тесно взаимосвязаны, но не тождественны».

Однако с некоторыми выводами Ф. Филина трудно согласиться. «...Великие мастера слова,— пишет он,— обычно использовали средства общенародного языка и лишь в незначительной степени включали в текст своих произведений *инородные слова*. Как установил профессор С. А. Копорский, в языке глубоко *народной поэзии* Некрасова имеется ничтожная доля *диалектизмов*, то есть местных разновидностей *преимущественно крестьянской речи*...» (везде подчеркнуто мной.— *Б. М.*).

По Ф. Филину выходит, что «инородные элементы» не что иное, как «диалектизмы», то есть «местные разновидности крестьянской речи». С одной стороны, крестьяне — народ (в те времена более восьмидесяти процентов населения страны), с другой стороны, этот народ говорит на «инородном языке». Несуразность какая-то. Уж если пользоваться терминологией статьи Ф. Филина, то можно фиксировать нечто иное: крестьянская речь была ничуть не хуже, не «инороднее» господской или, допустим, мещанской речи. Загляните хотя бы в «Записки охотника» Тургенева или в сочинения Льва Толстого. В самом деле, разве господин Полутыкин или Пеночкин говорят по-русски чище, складнее, образнее, чем Калиныч, Ермолай или Хорь? Нисколько. Все обстоит как раз наоборот — Хорь и Калиныч и однодворец Овсянников говорят по-русски лучше, точнее своих господ. И что за беда, если в речах тургеневских персонажей, да и в авторской речи встречаются так называемые диалектизмы, то есть орловские слова? Белинский не раз выговаривал Тургеневу за эти «зеленя» и «площадя». Но «зеленя» орловские привились с легкой руки Тургенева и стали общероссийским словом. Прав оказался Тургенев, а не Белинский. Я уж не говорю о Льве Толстом, о его упорном использовании то тульских, то кубанских слов вместо общепризнанных. Дело, в конце концов, не в «зеленях» и не в «площадях». Дело в том, что, замахиваясь

на так называемые диалектизмы, мы помимо воли нашей пытаемся высечь из русского литературно-художественного обихода самую тонкую языковую достоверность — неповторимый речевой колорит персонажа, и в том числе авторской речи.

Разве можно с бухгалтерскими счетами, кинув на косточках процент диалектизмов, подходить к оценке писателя, а тем паче языка в целом? А ведь нечто подобное и предлагает Ф. Филин. Сообщив о подсчетах Копорского, он спрашивает решительно: «А как обстоит дело в языке современной художественной литературы, какие процессы происходят в нем?»

Эдак, прикинув процент диалектизмов, в два счета можно доказать, что писатель Боборыкин чище и правильнее писателя Лескова. Ну еще бы! У Боборыкина ни диалектизмов, ни новых словообразований, а у Лескова хоть пригоршнями черпай. Одна этимология чего стоит — и Аболон Полведерский, и Кисельвроде... Лесков — прекрасный писатель, его творчество доказывает неограниченные возможности русского слова, в том числе и просторечного. Такие писатели, как Н. Лесков и В. Шишков, расширяют диапазон литературно-художественного языка. Сравните их рассказы — и вы удивитесь, какая несхожесть, какое разнообразие языка, и в основном благодаря этим самым диалектизмам. Казалось бы, языковая пропасть лежит между ними. Но кого она испугала, эта пропасть? А никого, кроме разве что ревнителя унифицированной, обесцвеченной речи.

Никита из «Хозяина и работника» у Льва Толстого и Ерошка из «Казаков» говорят по-разному.

Один использует тульские слова, другой кубанские. И сам автор в «Казаках» пишет и «карча», и «котлубань», и «душенька», а не тульское слово «зазноба». Этого требует языковой лад, настрой. Это понимать надо, чувствовать слово на цвет и на звук. В северной языковой стихии у Федора Абрамова вполне естественно звучит «матерь», а не общепринятое «мать». Но употребление Абрамовым вместо слова «грибы» пинежского слова «губы» режет слух. Уж слишком распространено, обиходно слово «грибы», чтобы вытеснить его. Хотя в речи персонажа вполне допустимо употребление слова «губы». И это понимать надо.

А чем не понравилось Ф. Филину слово «шибка», используемое Н. Родичевым? Только потому, что не все знают, что «шибка» — оконное стекло? Ну, во-первых, не

всякое оконное стекло: кроме шибок, есть еще и фрамуга. Так и пишется: «Окно на две шибки с фрамугой». Или: «Окно на четыре шибки». И читающий сразу понимает, что это за окно. А как же написать по-другому, обходя слово «шибка»? И зачем его обходить писателю, если все инженеры, техники, столяры, плотники, стекольщики пишут «шибка»? Почему же писатель не имеет права на это слово? Неужто потому, что сто лет назад в словаре Даля после этого слова стояло в скобках (юж. зап. немц.)? Обратите внимание: еще тогда, сто лет назад, это слово было не областным (обл. у Даля), а принятым большей половиной России. А теперь-то, при нашей всенародной стройке, кто не знает этого слова? Встречаются и такие читатели, что не знают. Ну так пусть заглянут в словарь. На то и существуют словари.

Конечно же использовать диалектизмы надо с умом, с толком, чувствуя меру, проявляя вкус. На то она и художественная литература. А еще есть критика, чтобы спорить с писателем, где надо, поправлять его. Но только не нужно путать диалектизмы ходовые со словами-уродцами, с жаргонизмами самого расхожего толка. И в областях, и в столицах жаргонизмы одинаково забивали порой слова общего обихода, иногда попадали и в словари под видом «областных» слов. Взять то же самое «скукожиться». Или «блинохват» и «чапельник» вместо принятого «сковородник». Да мало ли таких случаев! Надо уметь их различать. К сожалению, Ф. Филин под видом диалектизмов приводит типичные уродливые словечки, вроде небезызвестного «скукожиться»; «гамозом» — гурьбой, «отчинять ворота» — отворять, «обдувья не было», «собаки одыбались» и пр.

Все эти и подобные им слова-паразиты («рубать» вместо «есть», «травить» вместо «рассказывать», «утартать», «телепаться», «закидон») разгуливают беззаконно не только по страницам нашей беллетристики, но даже перекочевывают в статьи ревнителей изящной словесности. Вот как пишет критик Б. Анашенков о герое повести Е. Гущина «По сходной цене» в одном из последних номеров «Литературной газеты»: «Закидоны» жены насчет «Запорожца» встречает (герой) уже без особого удивления, протеста». Не знаю, как насчет героя, а у меня, у читателя, подобные «закидоны» вызывают и удивление, и протест.

Не диалектизмы нам опасны, а безграмотность, безвкусица, безответственность, витиеватое графоманство и

какая-то слепая словесная клептомания — все тянуть до кучи. Еще давным-давно классики наши заметили, что человек, связанный с природой, с землей, говорит ярче, образнее и чище горожанина. И в своих прекрасных творениях они воочию доказали это. Мы же теперь, берясь за сочинения о деревенской жизни, часто калечим русский язык и пытаемся выдать такие словесные упражнения за народную речь. Вот что пишет В. Потанин в очерке «Слышит земля»: «...встань до солнышка да полы смой, поставь самовары, подбери за скотиной, сбегай по воду,— и все это молчком, крадучись, чтоб не стукнуть, не сбрякать — хозяина не разбудить». И это не какой-то персонаж коверкает язык, это авторская речь! Впрочем, и в речи персонажа такие безграмотные обороты недопустимы. Смывают палубу, крыльцо, сени, на худой конец. Но полы смывать нельзя — вода потечет в подпол, а там — картошка. Полы в избе моют. Русские крестьяне не «подбирали за скотиной». Это китайцы подбирали — у каждого возчика в арбе лежала специальная лопатка или плоские вилы и совок; вот этими вилами и подбирали в совок, ежели скотина изволила что-то обронить в дороге. А русские крестьяне навоз вывозили из хлева единожды в год, в крайнем случае дважды. Скотину же они убирали, то есть поили ее, кормили, подстилку меняли, кому хвосты расчесывали, кому гривы заплетали. Так-то. И уж совсем негоже писать: «чтоб не стукнуть, не сбрякать — хозяина не разбудить». Есть выражение: «не стукнет, не брякнет». Но «сбрякать» — совсем иное.

Эти подлаживания подтекстовки под народную речь приобрели у нас какой-то характер всеобщей эпидемии. Нельзя имитировать речь деревенских жителей за счет голой транскрипции: вы из деревни, так вот вам «што», а городским оставим «что». Деревенским — «дожжу не будет», а городским — «дождь пойдет», а не «дощщ» (Вл. Богатырев). Между тем и в городе, и в деревне все одинаково произносят и произносили «што», а пишется это вот как — «что». Не транскрипцией, не грамматическим перевертом, а образным строем надо создавать речь персонажей. Майя Ганина — писатель опытный, но стоило только прикоснуться ей к «деревенской теме», как пошло в обиход «чево» для деревенских, и тут же, на этих же страницах, оставлено «чего» для подружек-горожанок и для себя.

А еще хуже, когда за образец «народного» языка вы-

дают исковерканные пословицы и поговорки, вроде «И думать не моги!» (Б. Метальников), «Отставить смехи!» (Б. Васильев). Есть команда. «Отставить смех!» Это для всех, это по уставу. Ну а ежели герой из деревни? Где уж ему усвоить такую уставную премудрость?! Для него и выкраивается это уродливое «Отставить смехи!» из ходячей поговорки «Смешки да хаханьки». Или у того же Потанина: «А няньке — восемь лет с вершком». Исковеркана поговорка «От горшка два вершка». А между тем, как правило, человек из деревни отлично чувствует склад поговорки и легко, с каким-то усердным удовольствием усваивает уставные команды.

Подобных примеров словесной неряшливости достаточно приводит и Ф. Филин. И напрасно критик В. Гусев в полемическом задоре пытается подобные нелепости взять под защиту. Он пишет: «Признав писателя писателем, надо возложить на него самого ответственность за его стиль». Разумеется, писатель должен сам отвечать за свои грехи, но критика обязана критиковать, а не оправдывать все эти нелепости ссылкой на классиков. Мол, и у них были ляпы и корявости. Эта пресловутая корявость у Толстого, эти нагромождения «что-то», «кого-то» только кажутся ляпами: уж не единожды было доказано, что точнее мысль не выразишь, чем выразил ее «коряво» Толстой. И эта фраза — его знаменитая молодайка из «Хозяина и работника», которая «внесла самовар и стукнула его на стол»,— точна до предела. И чеховская фраза, приведенная с ироническим оттенком В. Гусевым в качестве стилистического «ляпа», великолепна: «Точно они не виделись года два, поцелуй их был *долгий, длительный*» (подчеркнуто Гусевым). «Так пишет «лаконичный» стилист Чехов»,— замечает иронически Гусев. Ирония тут неуместна. Написать это мог только тонкий стилист. Даже простая тавтология — «долгий, долгий поцелуй» — что-то добавила бы к ощущению настроения. Но тут тавтология необычная: «долгий, длительный», с ходу не прочтешь, между ними обязательно сделаешь паузу и сразу ощутишь длительность этого поцелуя. И это понимать надо.

Критика как раз и призвана вырабатывать вкус у читателя; и там, где есть нарушения эстетических норм, следует в колокол бить, а не прикрывать стыдливо наши прорехи плащом классики.

Стоило только лингвисту Ф. Филину слегка покритиковать некоторые крайности стиля В. Астафьева, заме-

тив, что значение многих слов совершенно не раскрывается в контексте, как В. Гусев бросился на защиту с прямо-таки удивительным заявлением — мол, «контекст» эти значения «раскрывать вовсе и не должен», для передачи «определенной атмосферы, фактуры», оказывается, даже «нужен момент непонятности», «тайны жизни», «неокончательного раскрытия».

«Момент непонятности» в первых главах той же повести В. Астафьева «Царь-рыба», ставшей предметом полемики, рассыпан густо: «оцинжав, завалились на нары», «равнодушно и тупо мозгли в одиночестве», «травили анекдоты», «шарились в лесочке», «дрова ширикали», «утартал меня за старую Игарку», «зимами ширкал наезжий люд» и пр. Это не диалектизм, это не те слова из широкого народного обихода, которые обогащают «общепринятый» язык. Это слова-уроды, слова-паразиты, затемняющие смысл и коверкающие русскую речь. Здесь либо типичный расхожий жаргон: «травить» вместо рассказывать, «тартать» вместо увезти, «дрова ширикать», либо неуместное, неграмотное словообразование вроде «оцинжав» и «мозгли», либо, наконец, неправильное по смыслу использование известных слов «ширять», «ширкать», «шарпать». Я глубоко сомневаюсь, что подобный «момент непонятности» создает ту самую «поэзию прозы», о которой так хлопочет В. Гусев.

А вот примеры «неокончательного раскрытия»:

«Так на фронте замирал у орудия боец с натянутым ремнем, ожидая голоса команды, который сам по себе был не только человечьим слабым голосом, но и страшной силой, повелевающей придуманным им оружием и огнем, в древности обожествленным, а затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то поднявшее человека с четверенек, взнявшее до самого разумного из разумных существ, слово это сделалось его же карающей десницей — «Огонь!».

Что это за «голос команды»? И кто это придумал оружие и огонь? По грамматическому строю выходит, что этот самый «голос команды» и придумал оружие и огонь. Что это «взнявшее (человека) до самого разумного из разумных существ» — «огонь» или «слово»? По данному контексту выходит, что слово. Надо ли напоминать, что подобные образцы «неокончательного раскрытия» требуют прежде всего грамотного изложения?

«Сын кончил девятый класс и был весь в костях». Это еще полбеды, что в костях. А если бы весь в жире был?

Или вот еще: *«...сердце разбухало в груди, упираясь в горло, то кирпичом спадало аж в самый живот»; «Аким расслабился, сморкнулся за борт поочередно из каждой ноздри, ручку руля уместил под мышкой...»*

Отчитывая филолога Ф. Филина за критику астафьевского стиля, В. Гусев заключает: «Авторская речь В. Астафьева сочетает в себе манеру мышления самого писателя и как бы незримого «местного простого человека».

Вот, может быть, и растолкует нам В. Гусев: где тут, в приведенных нами отрывках, проявилась «манера мышления самого писателя», а где высказался «незримый местный простой человек»?

Не сердиться на критику, не ратовать за «момент непонятности», да еще «неокончательного раскрытия», а стараться надо писать ясно и просто, как учили великие наши предшественники. И помнить надо, что читатель у нас благодарный, но взыскательный. И право же, грешно показываться перед таким читателем в неряшливом виде.

1976 г.

ГДЕ ДЫШИТ ДУХ?

Знаете ли вы, уважаемый читатель, где дышит дух? Не слыхали? А вот, пожалуйста: «Дух дышит, где хочет! Это знали о духе всегда». И далее: «Это знаем и мы, чувствующие наше время как задачу неизбежного синтеза всех накопленных прежде богатств для целей фронтального устремления в будущее...» А для этого «надо иметь художественные средства, язык. Новую лексику».

Конечно же любителю новой лексики надо иметь много «художественных средств», не то еще скажут: моду блюдет, а живет не по средствам.

Это всего лишь выписки из критической статьи, ставящей под сомнение достижения так называемой «деревенской прозы». Автор этой статьи А. Проханов щедро рассыпает свои примеры «новой лексики». Вот извольте полюбоваться: «Язык, коим пользуется сегодня «деревенская проза», рождался веками в дворянской усадьбе и крестьянской избе и казался универсальным для изображения природы, деревни, коня, семейного застолья, охо-

ты, *внутренней музыки тогдашних отношений»*. Но поскольку «внутренняя музыка» теперь не та и «отношения» переменились, то, стало быть, и язык негож... «Этот язык начинает крошиться и рушиться при встрече с *железными, легированными понятиями* современной технизированной деревни».

Каково? Хватит с вас «железных» да «легированных» понятий? Или еще хотите? Извольте. Эти «деревенские» писатели ищут «...ту сферу в сегодняшнем селе, где еще звучит языческий заговор, висит ручник, и можно не торопясь описать закладывание в сани коня, со *всеми чересседельниками, хомутами, гужами»*. «Культура — не комфорт, а вечное, землепроходческое *рыскание в необжитых областях мира»*. «Как фронтальнее повернуть культуру в сторону грядущего, не отрывая ее от прошлого? Сориентировать в сторону солнца, не выпуская из вида луну?»

Да, трудно ориентироваться, глядя одновременно и на солнце, и на луну. Не хотят эти «деревенщики» смотреть туда и сюда и заниматься демонстрацией «переломов да вывихов» да «усыхающих органов чувств» и — хуже того — показывают «худосочие заблудшего мастерства», которое «на пустыре пасется». Не знают они, где дышит дух!

А вот Проханов да еще критик Вл. Гусев знают. Правда, Гусев слегка уточнил Проханова: «Дух дышит, где хочет; но он *не дышит там, где нет духа»*. Впрочем, Гусев оспаривает пальму первенства этого открытия. Он пишет: «Проханов — человек не очень уж юный, но в литературе *сравнительный неофит»*. Опять отменное выражение! Знать бы, что сие значит? Пришел, огляделся, походил, да и р-раз: дай открою им глаза! Как это никто до сих пор не догадался?

Обольщается этот «сравнительный неофит»! «На самом деле,— пишет далее Гусев,— о том, о чем сейчас темпераментно говорит А. Проханов как о наболевшем и уже больном и все еще никем не замечаемом, наша критика писала давно».

Взгляд на «деревенскую прозу» у Проханова, как видите, не новый, и спорить с ним совершенно бесполезно. Нельзя же всерьез доказывать, «где дышит дух», или спорить о «внутренней музыке тогдашних отношений»!

Даже теологи не спорят о том, «где дышит дух», и под этим понятием разумеется нечто иное. Вспомним всю эту

известную фразу: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Мы не теологи, а литераторы, и то, что уместно в богословии, в литературе, да еще в усеченном виде, может звучать как нелепость. Таким же способом до нелепости доведен и спор о «деревенской прозе». Словом, создан некий стереотип «деревенского» писателя, который, вроде той избушки на курьих ножках, стоит «к нам задом, а к лесу передом». Отсюда и наивные потуги нашей критики: «Писатель, писатель, обернись к нам передом, а к лесу задом».

Этот стереотип нашел свое отражение и в беллетристике. Вот как высказывает свои мысли некий модный «деревенский» писатель в романе Ананьева «Годы без войны»:

«Я много езжу, и наблюдения и выводы очень любопытны. Вот, к примеру, когда деревенский человек *общался с природой не через трактор,* а *через пегую или, скажем, буланую лошадку,* он *более чувствовал себя человеком*».

Как там пишут дети? Дубровский с Машей общались, кажется, через дупло. А тут, значит, «деревенский человек общался с природой через буланую лошаденку»... Понятно же, почему образованная героиня Наташа из того же романа разочарованно произносит: «Сейчас много пишут о деревне... И, по-моему, все об одном и том же, а хочется почитать уже что-то более *современное, более возвышенное...»*

Вряд ли этакой дамской наклонностью к более современному да возвышенному можно поколебать высокий авторитет таких «деревенских» писателей, как Белов и Шукшин. И тем не менее пытаются... Вл. Гусев пишет в той же статье: «Эх, если бы к *теплу и гуманистической яви* нашей волнующей «деревенской прозы» да ум и силу Прохановых...»

Воистину бессмертна Агафья Тихоновна, невеста из «Женитьбы» Гоголя! Помните? Ах, кабы «взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича...». Можете себе представить, какой бы жених получился из «деревенского писателя». Перед таким ни одна бы Наташа не устояла.

Беда не в «отсталости» «деревенской прозы», не в «болезнях» ее, которых нет и не было, а в том, что у нас путают порой понятия темы и таланта, современно-

сти и глубины, конъюнктуры и серьезной проблематики. Вот об этом и следует говорить. Но, чтобы вести разговор конкретно, давайте отодвинем литературный стереотип безымянного «деревенского» писателя с его «буланой лошадкой» и «всеми хомутами и чересседельниками» и спросим: какие произведения подразумеваются при этом?

Лет десять назад Петр Строков на страницах журнала «Огонек» без обиняков разносил произведения этих «деревенских», «проселочных» писателей. И в нашей дискуссии довольно отчетливо проступают намеки на эти же самые вещи. Преимущественно это произведения Василия Белова, Федора Абрамова, Василия Шукшина, Евгения Носова, Валентина Распутина, многое из написанного В. Астафьевым, С. Залыгиным, В. Солоухиным, Г. Троепольским, А. Яшиным и даже В. Овечкиным и Вл. Тендряковым. Если мы продолжим список «деревенщиков», обойденных вниманием критики, но по сути своей примыкающих к упомянутым писателям, то в него попадут: И. Акулов, С. Антонов, А. Борщаговский, К. Буковский, Ю. Галкин, Е. Дорош, Ю. Казаков, М. Колосов, В. Лихоносов, Е. Мальцев, Г. Радов, В. Росляков, Ю. Черниченко. А далее пойдет уже то, что называют «молодой» прозой: В. Богатырев, П. Краснов, Н. Калинин, В. Крупин, В. Личугин, И. Подсвиров и другие. Вот это и есть так называемая «деревенская проза».

При всей разновеликости и разности дарований произведения этих писателей пронизывают одни и те же тенденции — достоверное, бескомпромиссное изображение действительности, высокая гражданственность и абсолютное знание предмета. Конечно же были отдельные недостатки и даже неудачи и у этих писателей, но лучшие произведения их написаны прекрасным русским языком, и отличаются они безусловной правдивостью, значительностью созданных характеров и поднятых вопросов. Иными словами, произведения этих писателей в разливанном море нашей беллетристики выделяет художественность. Под этим понятием суровый критик наш Белинский разумел прежде всего глубину идей, жизненную достоверность и совершенство изображения страстей человеческих. По творениям художника мы судим не просто об истории человечества, а о его нравственном росте и о его падениях; художник помогает нам глубже понять смысл человеческой жизни. Не все, повторяю, произведения перечисленных мною писателей отвечают

столь высоким требованиям, но есть среди них истинные перлы. Вот они: «Привычное дело» Белова, «На Иртыше» Залыгина, «Пелагея» Абрамова, «Трали-вали» Казакова, некоторые главы из «Последнего поклона» Астафьева, очерк «Вологодская свадьба» Яшина, «Красные березы» и «Конец Заярску» Рослякова, многие рассказы Шукшина, Носова, особенно его «Объездчик», «Пятый день осенней выставки», «Шуба». Это все такие первоклассные вещи, которыми может гордиться любая литература мира. И я далеко не исчерпал список шедевров. И говорю только о «деревенских» шедеврах, потому что меня вынудили сделать это.

Да, эта проза, как, впрочем, и проза «городская», родственная ей (Ю. Домбровский, Ф. Искандер, В. Семин, Ю. Трифонов), не обходя вниманием крупных персон, проявляла всегда повышенный интерес к рядовому гражданину, «маленькому» человеку, тому самому, которого некогда окрестили «винтиком» или «кирпичиком» любители изображать жизнь упрощенно и купно, по внешним приметам, в «целях фронтального устремления в будущее». Вот и советуют художникам — ездите, мол, по большакам, а сворачивать на проселки вовсе и ни к чему. «Не в заповедниках и резервациях отрезанных бездорожьем сел надо искать истинные образцы красоты и примеры сокровенной, незамутненной народной этики»,— пишет Проханов.

Казалось бы, все ясно — не лазай ты в эти «резервации». Ан нет, лезут. Ну и упрямцы эти самые «деревенщики»! Дался им «маленький» человек; а большого — в министерских кабинетах да в генеральских погонах — они-де не замечают. Мы же, пишет Проханов, «в атомных субмаринах, в автомобильных пробках, в министерских кабинетах, в пеклах целинных жатв мы станем добывать свои образы, свои созвучия...». Не возражаем. Каждый делает свое, как сказал Карел Гавличек-Боровский...

Вот и подошли мы к рубежу, по которому делит иная критика нашу литературу на высшую, «столбовую», так сказать, идущую по большаку, и на окольную, да еще «деревенскую», которая шастает по проселкам.

Что ж, давайте разберемся: мелки ли те герои, что создала так называемая «деревенская проза», и окольны ли те пути и вопросы, которых коснулась она?

Прежде всего о вопросах или проблемах. Именно

эта «деревенская проза», то есть писатели, создавшие ее, не обходя острых углов, поднимала вопросы поистине общегосударственного значения: защита лесов и рек, пойменных земель, разумное размещение промышленных предприятий, целесообразность строительства гидроэлектростанций; она ставила под сомнение существование целых государственных институтов, например машинно-тракторных станций, и пр. и т. п. И, заметьте, не только поднимала вопросы... Дело поворачивалось в нужную сторону после известных решений. В этих случаях, заостряя общественное мнение, писатели проявили себя как истинные помощники партии. Вспомните хотя бы историю с проектом строительства Нижне-Обской ГЭС. А историю с пойменными лугами? А промыслы? А машинно-тракторные станции?

И тем не менее упреки писателям порой доходят до абсурда: одним подай шедевры о целине, другие же вообще уверяют, что «феномен целины» не заметила наша художественная литература, проморгала. Да целые десятилетия эта тема буквально не сходила со страниц наших журналов. Тут много было удач. Прочтите хотя бы повести С. Антонова и Ю. Черниченко, роман М. Бубеннова. И нет ничьей вины в том, что не написан на эту тему великий роман. Если бы шедевры появлялись по щучьему велению да по нашему хотению, тогда другое дело. А так — пожалуйста, тема открыта для всех, берите стило, садитесь и пишите эти шедевры. Пошто шумим, братцы?!

А уж вопросы подъема Нечерноземья еще до появления известного постановления партии и правительства остро ставились в периодической печати все теми же «деревенщиками». Нужно обладать полной слепотой, чтобы не замечать этого.

Конечно, взгляды бывают разные, по-разному смотрят и на целину, и на Нечерноземье. Многие из теперешних литераторов-летописцев позабыли, что поднимали не просто целинные земли, а целинные и залежные. Разница колоссальная.

Речь идет не о разовой кампании по распашке дикого материка, а о многолетней работе государства, проводившейся одновременно в различных областях страны: и в Казахстане, и в Сибири, и на Алтае, и в Поволжье, и на Урале. «Само понятие «целина» утратило тогда свое чисто земледельческое значение, оно стало термином общественным, ибо за ним стояли высокая граж-

данственность и глубокий советский патриотизм»,— пишет Леонид Ильич Брежнев.

Как видите, дело не в том, что встретился «конь с верблюдом» или «плуг с ковылем», а в том, что жизнь в государстве повернулась на другой бок. Не так-то просто написать об этом роман или поэму, да и не каждому это под силу.

Конечно же большую роль сыграли в подъеме целины новоселы. Но и не только они. Партийные документы свидетельствуют о том, что подъем целины опирался и на народный опыт, на коренных жителей. И «деревенщик» Ю. Черниченко не позабыл об этом. В его известной книге о целине «Яровой клин» написано: «Отправляясь добывать для страны хлеб, мы, целинники, первой ценностью великой степи считали ковыли, нераспаханные земли. В действительности же (лет через десять пришлось в этом убедиться) самым ценным были... люди. Их тут обитало, на удивление, много. Откуда они взялись? С 1906 по 1916 год сюда из западных губерний переселилось 3 078 882 человека. Доля закрепившихся была высокой: 82 на сотню». И в конце прошлого века переселился туда миллион. И было распахано там в те поры 30 миллионов десятин, за многие десятилетия. За несколько же лет целинной эпопеи было поднято в полтора раза больше. Да, это великий подвиг, о котором так вдохновенно сказано в книге Леонида Ильича Брежнева.

Но и о прошлом нельзя забывать. Негоже нам, русским литераторам, делать вид, что о тех местах и слыхом не слыхано. А прекрасные повести и очерки А. Новоселова? И особенно его чудное «Беловодье», опубликованное А. М. Горьким еще в 1917 году в «Летописи»? А размашистые, искрометные поэмы Павла Васильева? А яростные романы Ивана Шухова? Разве все это не о жизни в тех местах? Да как же можно говорить, что там все было в первозданной дикости еще каких-то двадцать лет назад? Жили там людишки в те поры и намного раньше жили. И литераторы туда хаживали. И первым пример показал, проложил туда дорожку не кто иной, как сам Пушкин. За ним Аксаков, Толстой, Семенов-Тян-Шанский... Да много, много писалось о тех землях и в старые времена, и в новые. Не было там пустыни. Другое дело — было много резервных земель. Дак ведь и в центральной русской полосе да на севере много было резервных земель. Недаром же академик

Прянишников и профессор-луговод Дмитриев при изыскании резервного миллиарда пудов зерна в конце двадцатых годов предлагали мелиорировать и осваивать земли центра и севера европейской части России. И насчитывалось таковых земель 35 миллионов десятин. Можно с уверенностью сказать, что запас этот с тех пор не уменьшился. Но это не значит, что в центральной полосе России лежит огромный незаселенный и необжитой материк.

Надо же писать, сообразуясь как-то с действительностью.

Вот совсем недавно на страницах «Правды» были опубликованы две статьи: одна Проханова — «Элеватор», вторая Лахно — «Растить мастеров целины». У Проханова «шумят транспортеры, возгоняя хлеб к самому небу», «брызнуло солнце», «прянули с треском голуби»... И техники много, и люди на своем месте. Читая репортаж об этом грозном параде техники, никак не поймешь — а в чем же дело? В чем же, собственно, трудности?

Лахно же пишет: «За годы девятой пятилетки в хозяйства Кустанайской области прибыло и подготовлено из внутренних резервов 30 тысяч механизаторов, а выбыло за это время более 31 тысячи». И стало не только ясным, в чем трудности, но и захотелось исследовать это явление,— сколько же в нем скрыто противоречий нашей жизни!

Или вот еще один пример. Нынешним летом полмесяца прожил я в Клепиковском районе Рязанской области. Лето выдалось там трудным. Кормов мало, скота много. Как быть? Что делать? Бьются руководители района и области — как выйти из этого нелегкого положения? Кипят страсти, сталкиваются мнения, характеры... И вот в самый разгар этой трудной поры нагрянула на двух автобусах в сопровождении почетного эскорта ГАИ целая рота писателей. Полдня ходили они по полям, по лабораториям училища, даже пообедали в столовой и уехали в Рязань произносить речи. Это мероприятие почему-то называется литературным постом в Нечерноземье. Почему постом? Кто там стоит? Что охраняет? Скорее это был дозор, вроде по Некрасову: «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои». Обошли, поглядели, потом в Рязани с трибуны корили все ту же «деревенскую» прозу, которая-де не замечает достижений. Они же, дозорные, заметили. Вот что пишет

Проханов, участник этого литературного визита: «Рязанское поле под Клепиками рукотворное, с продернутой сталью, с пульсирующими, выглядывающими из-под земли манометрами, в бесчисленных водометных радугах, в разноцветном шествии огромных машин — вот поле сегодняшней деревни, требующее своего языка и эстетики».

Оставим язык и эстетику в «разноцветном шествии» машин на совести Проханова, но скажем, что ни один из этого многочисленного литературного дозора не заметил, что мои земляки-рязанцы разыграли перед заезжими писателями техническое представление. Дело в том, что польдерная система мелиорации, которую показывали им (кстати, еще три года назад подробно описанную на страницах «Литературной газеты»), не имеет возвратного действия. По идее она должна осушать поля в дождливые годы и орошать их в засушливые. Осушать она осушает, то есть перегоняет воду с полей в реку, а вот забирать воду из реки и гнать ее на поля не может, потому что не поставили водозабора, дополнительные насосы, трубопровод и пр. Сэкономили. Мол, засух здесь не бывает. А засуха тут как тут. И много недобрали кормов мои земляки.

Одначе для писателей они постарались — заполнили водометную систему колесным способом, так сказать,— всю ночь подвозили воду на грузовиках. И показали, как она *должна работать*. Радугу семицветную в небе сотворили.

Я мелиораторов не осуждаю: они показали возможности польдерной системы. И не их вина, что она не действует так, как положено. Я дивлюсь, как иные литераторы «изучают жизнь». Увидеть, как пульсируют манометры, нетрудно, но исследовать, понять глубинный смысл и ход событий куда сложнее. Для этого не только что проселки, тропы звериные искрестить надо.

Давно пора бы уяснить, что излияние восторгов по части технизации, да химизации, да успехов прогресса, НТР, у которой «размаха шаги саженьи», не доставляет особой чести серьезной литературе. Этот технический прогресс не вырос, как гриб после дождя, и не грянул громом среди ясного неба. У него своя многовековая история. Более двухсот лет отделяет нас от появления на свет божий трактата Ламетри «Человек-машина», в котором автор попытался доказать, что человек — такая же машина, как часы, и вся разница в том, что часы за-

водят пружиной, а человека пищей. И заслужил насмешливую эпитафию: «...его машина вследствие несварения желудка умерла».

Появление первой железной дороги в России было событием в техническом отношении грандиозным. Но отчего же Пушкин, лира которого была воистину универсальным эхолотом, вроде бы и не заметил этого? И Толстой ведь не создал шедевра о Транссибирской магистрали. И никто его не создал на эту тему. И претензий никто не предъявлял к писателям. История принадлежит поэту, говорил Пушкин. Но это не значит, что каждый поэт должен непременно и с ходу запечатлевать внешнюю особенность исторического события. Ссылка на историка Ключевского здесь неуместна. Задачи историографии и литературы, ученого-историка и поэта вовсе не идентичны. Что впору делать одному, совсем не обязательно повторять другому. Литература имеет дело с художественным образом, а не с голым техническим или социальным фактом. В этом плане Пушкин в своих «Дорожных жалобах» или в «Станционном смотрителе» куда достовернее и ярче отразил историческую сущность своего времени, чем, скажем, Кукольник. И это несмотря на то, что Кукольник использовал в стихах образ «прогрессивного» парохода, а Пушкин имел дело с традиционной ямской тройкой.

Да ведь и гоголевский ревизор заехал не в бойкое местечко. «Отсюда хоть три года скачи — ни до какого государства не доскачешь». Куда уж глуше! А ведь были в России большаки-то, были. От Москвы до Петербурга, например. Уж такой прямизны и в Европе не сыскать. Сам царь Петр прокладывал его по линейке. А за отклонение на семь метров от петропавловского шпиля инженеру голову снес. И царь Николай уж в те поры линейку накладывал на карту, чтоб чугунку с петровской прямотой провести. И надо ж! А писатель Гоголь, вместо того чтобы считать верстовые столбы на большаке, все куда-то в захолустье норовил свернуть. Нехорошо. А еще один писатель, за сотни лет до Гоголя, в то самое время, когда и рыцари перевелись, как мамонты, взял да и вывел всем на потеху пережиток прошлого — странствующего рыцаря Дон-Кихота. И вот ведь какие чудеса бывают — дожил до наших дней этот самый пережиток. Он еще и теперь живее многих живых помогает нам глубже понимать окружающий мир и даже самих себя.

Не все так просто складывается в литературе — возьми, мол, тему поважнее да помасштабнее, понаучнее, и тема сама вывезет. Не вывезет. Нужен талант, а талант никогда не вырастал из темы, ни даже из события исторической важности. Талант рождается по-другому. И талант, если он истинный, точно определяет меру своих возможностей и направление творчества своего. «Поэт сам избирает предметы для своих песен»,— говорил Чарский в «Египетских ночах». Подсказкой тут ничего не добьешься.

Да и партия требует от нас не подсказками перебиваться, а глубоко и серьезно изучать жизнь и отражать ее ярко, точно, образно, будь то писано о вчерашнем дне или о текущем моменте. Скидок на злободневность быть не должно.

Судить о творчестве художника — дело ответственное. Тут мы вправе говорить о том, как верно и глубоко отражает художник сущность именно того явления, которое затронул. Возьмем хотя бы роман В. Белова «Кануны». Прекрасный роман! Как верно и глубоко схвачен острейший период в жизни общества, как точно и живо написан характер русского крестьянина Павла Пачина! Его сила и сметливость, трудолюбие и нравственная стойкость хорошо знакомы нам по собственным наблюдениям; и мы, преисполненные чувства сердечной благодарности к писателю, невольно вспоминаем, как сами встречались, и не раз, с этим Павлом, вырванным из родной сельской общины, встречались с ним на лесах сибирских строек, в механических мастерских за токарным станком, на полях сражений и в иных местах. Это тот самый ровесник века, кряжевой тип русского крестьянина, мастер на все руки — и швец, и жнец, и на дуде игрец,— который прошел огонь и воду и медные трубы и буквально по́том и кровью своей сцементировал мощный фундамент державы нашей. Мы и раньше, до Белова, знали о его существовании, но знали в общих чертах, что он существует в массе, так сказать, и только Белов вдохнул в него живую суть, показал нам одухотворенное лицо современника нашего, русского человека XX века. При чем же тут «деревенская» проза? Это — большая литература. И каждому творцу такой вот большой литературы низкий поклон.

И напрасно некоторые товарищи выражают обиду на то, что, если, мол, крестьяне изображены, называют это народом, а если архитекторы, то это уже не народ.

Дело не в профессии изображенного, а в том, как глубоко и верно схвачен тип и создан живой, неповторимый характер. Назовите мне такого архитектора, созданного в литературе нашей, который смог бы встать вровень со Степаном Чаузовым как характер, как национальный тип! Не назовете. Даже ученые из романа Залыгина «Южноамериканский вариант» не дотягивают до Чаузова. Почему же? Да потому, что роман этот написан хуже, чем повесть «На Иртыше» или роман «Соленая падь». И обижаться тут нечего.

Не надо стыдиться сравнений талантов писателей; наоборот, надо сопоставлять их, сравнивать манеру письма, язык, глубину и оригинальность характеров, созданных ими, сопоставлять призведения одного и того же писателя. Отчего это с таким восторгом был встречен рассказ, или, вернее, очерк Толстого «Метель»?

И Тургенев называл его «превосходным рассказом», и Герцен — «чудом». Уж, конечно, не только оттого, что верно описана природа. Да, метель изображена впечатляюще. Но помимо метели поразительно верно и ярко написаны характеры ямщиков: и этого орла-ездока с передней тройки Игнашки, что поспевал на всё; и этого советчика из вторых саней, который все чепуху мелет, подсказывает, куда ехать надо, но сам в руки не берет вожжей; и старика в ветхом полушубке и огромных валенках, чудом отыскавшего коней в степном кромешном буране. А буфетчик Федор Филиппыч, который везде суется, путается под ногами и «думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его»? Да тут целая галерея не просто живых характеров, а типов русской жизни. Они и по сию пору не перевелись, эти досужие любители выказывать свое непомерное желание участвовать на словах в общем деле, и эти неумолимые Игнашки, с нечеловеческим терпением и выносливостью способные переживать нежданно-негаданно свалившиеся на них тяготы, не озлобляясь при этом, а делая все с веселым ухарством и необыкновенной сноровкой.

Прочтите после этой чу́дной «Метели» «Шубу» Носова, или «Объездчика» его же, или рассказ Шукшина «Срезал». И вы радостно удивитесь, что не тускнеют они рядом с этим перлом Толстого.

Какая трогательная чистота, какая наивная гордость светятся во всех чертах Пелагеи, этой безотказной ра-

ботной человеко-силы наших полей, которая в кофточке под грудью несет в город заработанный «капитал» на заветную шубу для дочки-невесты. То-то и мы в люди вышли, думает она по дороге. «Девичье дело такое... Вот купим пальто». Что будет тогда, она и сама толком не знает. Но мы-то, читая это пронзительное признание вечного труженика, и обливаемся горючими слезами, и одновременно радуемся за нее, и твердим с чувством отрадного и горького удивления: смотри-ка, вынесла, дожила до лучших времен! Не надломилась, не пала духом.

А Игнат из «Объездчика»? Из какого металла отлит этот хват на коне? Какая яркая, поразительно русская фигура! Я уж не говорю о великолепном языке этого шедевра, о скульптурной пластике, о поразительной органической связи фразы и жеста, о сюжетной емкости и стройности всей вещи. Но сам характер... Этот обленившийся мужик, вдоволь наглядевшись, как живут, не утруждая себя в тяжкой работе, всеми силами стремится попасть в этот круг захребетников на коне. Издавна повелось на Руси — кто на коне, тот и начальник над пешим. И вот за эту сладкую привилегию — быть хоть и липовым, призрачным, но начальником — Игнат готов и человека задушить. И губит ни за понюшку табаку живую грешную душу. Смысл и значение этого характера-типа русской жизни впору пересказать разве что в большой статье. Но, к сожалению, критика наша прошла мимо этого шедевра и много уделила внимания второстепенным произведениям Носова. Также прошла она мимо удивительного рассказа Ю. Казакова «Трали-вали», мимо его «Северного дневника», мимо наиболее ярких и глубоких публикаций из «Последнего поклона» Астафьева. Мимо пронзительных «Канунов» Белова, проходит мимо мощного и крутого, словно уральский кряж, «Касьяна остудного» И. Акулова.

При чем же тут «деревенская проза»? Это проза русская, советская, нарисовавшая нам не просто яркие характеры наших современников, но еще и особым, порой труднообъяснимым способом давшая нам понять, что это все дети да внуки, родные тем самым Игнашкам да Федорам Филипповичам, которых так ярко запечатлели наши гении. В чем-то они хоть и напоминают своих предшественников, но в то же время сильно и отличаются от них. Иные времена, иные лица. Но если классика наша, так высоко ценившая достоверность характеров

из простонародья, подавала их хоть и точно, но все же со стороны, то новейшие писатели, высокообразованные, вышедшие чаще всего сами из этого простонародья, сумели раскрыть в более щедрых подробностях внутренний мир и общинную взаимосвязь нашего «сеятеля да хранителя». И мы удивились его многообразию и сложности, его нравственному обаянию и даже духовной зрелости. С появлением этих произведений наши представления о русском народе значительно обогатились.

Отпала необходимость доказывать, что русский мужик не был забитым да темным лапотником с сошкой в руках (конечно, встречались такие экземпляры), что в массе своей он был бойким и сноровистым хозяином, не чуждым участия в общинной и государственной жизни. И технику осваивал быстро, и выгоду хорошо понимал, и от всяких новшеств не отказывался, и в кооперативы охотно вступал... И заводы, и стройки, и всякие ремесла не в диковинку для него были. За короткий срок в начале тридцатых годов наш рабочий класс вырос в несколько раз. Ведь не с луны же свалилось это пополнение. Оттуда же оно пришло, из деревни. Шел на стройки и на заводы не песиголовец, а тороватый русский мужик, имевший за плечами тысячелетний опыт государственного строительства. И наивно полагать при этом, что стоит человеку с котомкой за плечами прийти из деревни в город, как он тут же и потеряется, и переменится. В душе он останется все тем же крестьянином, каким оставался всю жизнь, скажем, Иван Дмитриевич Сытин,— скромным, работящим, сметливым, хозяйственным. Каким в деревне был, таким и в городе останется,— хозяин хороший так хозяином и будет, а шалопай шалопаем пойдет бить баклуши. Я знаю и знавал многих выходцев из крестьян: инженеров, писателей, учителей, рабочих, ученых, генералов, крупных руководителей. Внешне они менялись, но их внутренний облик, нравственная закваска оставались все те же. Да ведь оно и понятно: крестьянин — это не профессия, а стиль жизни, уклад. Всего каких-то сорок лет назад восемьдесят процентов народа нашего были крестьяне. И стоит ли удивляться тому, что наиболее яркие характеры и типы, созданные нашей литературой за последние десятилетия, взяты именно из этой среды? Надо только радоваться этому.

И писатели всегда делились не на деревенских и городских, не на военных да на штатских, а на хороших и

плохих, на художников и на беллетристов. И хороший писатель никак не может быть объединен с плохим писателем общей темой, будь она деревенской или городской. Писателей роднит нечто иное — мировоззрение, например, вкус, наклонности. Хороший писатель не может отвечать за иллюстративную повесть плохого писателя только потому, что оба пишут о деревне. Все писатели пишут о душе человека, а душа человеческая не делится на городскую половину и на деревенскую.

Нет и не может быть «деревенской прозы», как нет ни городской, ни военной, ни молодежной. Это все условные термины, а раз так, то нет и так называемых проблем «деревенской прозы». Есть у нас одна, советская литература, а ее проблема давно известна — как можно точнее и глубже отображать реальную жизнь. Вот и давайте говорить о том, как мы глубоко и верно отображаем ее, но говорить не в общем плане, а конкретно, применительно к каждому писателю, к каждому литературному произведению.

1979 г.

НРАВЫ, ХАРАКТЕРЫ, ВРЕМЯ

В этой книге много рассказов и очерков грустных и веселых, о разных людях, о разных местах, о разном времени, есть даже повесть. И тем не менее эта книга воспринимается как нечто целое. Все эти разные вещи связаны не просто авторской позицией, отношением к написанному, а непременным участием автора в событиях. Его присутствие незримо чувствуется в каждой строчке. Он пишет о близких и родных, о друзьях-товарищах, о знакомых, с которыми вместе жил и работал. В сущности, это книга про самого себя, про то, как учился, влюбился, как воевал, как жил на пустынных волжских берегах, в лесной владимирской деревушке, как ездил на великие стройки в Сибирь или в ставропольскую деревню к родственникам. Книга получилась замечательная во многих отношениях. Она представляет собой некую форму исповеди, что ли, или, вернее, откровения, отчета перед читателем и перед самим собой в том, что увидел, пережил и о чем подумал.

История всякой души не менее интересна истории целого народа, сказал Лермонтов. Разумеется, такой души,

которая сумела выразить себя, передать свои мысли, чувства, наблюдения. И еще очень важно, чтобы все это было высказано искренне, без тайного намерения покрасоваться, показать себя и окружающий мир причесанным да прилизанным.

И вот ведь какие чудеса бывают — в книге нет ни одного так называемого коренного вопроса нашего литературного процесса последнего времени, но книга тем не менее получилась и серьезной и злободневной. Да что же в ней есть? О, в ней много кое-чего имеется, но об этом я скажу ниже; а пока мне хотелось бы порассуждать вот о чем: почему так получилось, что эта серьезная книга, написанная по частям и опубликованная в нашей периодической печати давным-давно, так и не нашла значительного отзвука в критике? Отдельные упоминания о прозе Рослякова по случаю юбилейных обзоров не в счет.

По-видимому, критика наша строилась порой, как мне кажется, не на серьезном исследовании литературных произведений как своеобразной эстетической ценности, как целостно созданного по законам мастерства особого мира, а на тематической классификации, на голом принципе — на какую тему написано. И критики наши часто сопоставляют, выстраивают в один ряд произведения не равнозначные ни по идейным достоинствам, ни по глубине и достоверности изображенных жизненных процессов, ни по яркости, ни по масштабности характеров, а по... схожести все той же тематики. Это вот писано про деревню, изображен труд и культурный отдых, значит, одна группа писателей — деревенщики. А вот про ученых-кибернетиков, про физиков, про художников и про их натурщиц — это, стало быть, интеллектуальная проза. А есть еще писатели на военную тему, на молодежную, на рабочую тему...

Вот ежели с этой стороны глянуть: ну что за тематика у Рослякова? То он в гости поехал к родственникам, то в деревне поселился, чтобы пожить просто так, то один остался, и ему грустно сделалось — и обо всем этом взял да и написал. Куда же это отнести, в какую тему, в какой строй поставить? Оттого-то, может быть, и оставались произведения Рослякова в стороне от нашей столбовой критики. Сам виноват.

Впрочем, о повести «Один из нас» в свое время много писали, но все с той же точки зрения: что отразил, а чего не отразил. И в актив «лирической» прозы повесть эта не попала. А жаль. В ней есть несомненные досто-

инства — зрелость мысли, и трезвый реализм, и много того самого откровения, которое легло в основу понятия так называемой лирической прозы. И написана она от первого лица, и мальчики светлые, и девочки чистые, и глубина есть, и борьба с темными силами зла. Не вошла она в этот актив, вероятно, потому, что, на взгляд такой вот тематической критики, в ней были изъяны. Первый весьма неприятный «изъян» — главный герой Коля Терентьев, ставший потом неизвестным солдатом, был сыном раскулаченных родителей, и то еще плохо, что он не отрекся от них, за что и был исключен из комсомола. Автор же явно симпатизирует ему и даже любуется его стойкостью и прямотой. И еще один «изъян» — открытая трагедия. Одно дело, когда подавальщица Марья армейской кочергой семь фрицев уложила и потеряла левый глаз. Это бывает, пишет дежурная критика. За одного битого семь небитых дают. А если из семи битых шесть убитых? Если эти чистые мальчики по чужой и своей неопытности полуголыми зарывались под пулями в снег и обмораживали руки и ноги? Если они с бравыми песнями и с дедовскими драгунками пошли на танки и легли, как трава под косой? Куда уж такое в лирическую прозу? Это не лирика — тоска зеленая, скажет иной осмотрительный критик.

Но в том-то и дело, что не тоска зеленая, не брюзжание и не очернительство, не отрицание военного героизма, а утверждение его. Автор как бы говорит нам этой повестью: да, война — дело сложное. Бывали и такие моменты, такие участки ее, которые говорили о нашей промашке, о торопливости и даже неподготовленности. Так ведь внезапно же напали-то на нас, врасплох застали. Но даже и на тех участках, где военная подготовка оставляла желать лучшего, люди в массе своей не пасовали перед врагом, а дрались так, что будь здоров! Насмерть стояли. Вот о чем говорит нам автор.

Повесть Рослякова — скорбный и светлый реквием по целому поколению молодых и доверчивых людей, вовсе не слепых, а зрячих, хорошо видевших, на что они идут, но твердых, мужественных в той обреченной стойкости, когда иного выбора нет. И не было; они просто не мыслили о жизни своей в иной плоскости, чем в той, в которой жили. Их можно называть прямолинейными, односложными, наивными, неопытными... Но они были цельными и чрезвычайно целеустремленными. Это было сильное поколение. И повесть о них сильная, скорбная как бы

напоминает нам о том, что безразличие к социально-нравственным идеалам, инфантильность, невоздержанное любострастие и броский кокетливый эгоизм вовсе не являются непременными спутниками молодой и неопытной души, а следствием воздействия на нее определенных жизненных обстоятельств.

Вот об этих жизненных обстоятельствах, о том, как они отразились в судьбах людей, как формировали, закаляли, а порой и калечили их характеры, и написана эта правдивая книга. Конечно же это книга и о самих характерах — ярких, достоверных и чрезвычайно оригинальных.

Хороших писателей роднит между собой не тема, а мастерство, глубина проникновения в жизненные процессы, умение схватить смысл и ход времени особым образом, создавая типические характеры в типических обстоятельствах. Тут порой и маленький рассказ о какой-нибудь мимолетной встрече может оказаться куда весомее, чем пухлая повесть.

Вот один из таких рассказов («Конец Заярску»). Автор приехал на великую стройку Сибири, чтобы посмотреть, как будет перекрыта Ангара и вспыхнет яркий свет в таежных углах. Он поднялся по реке, высадился на берег в одном поселке, который должен быть затоплен. Поселок уже покинут, заброшен, заломан. Скупо и точно рисует автор эту грустную картину запустения:

«Безлюдье. Под ногами дымят, дотлевают доски настила. На черном огарке столба колеблется почти бесцветный одичалый язычок пламени. Я становлюсь на колено и прикуриваю от этого бездомного огонька».

И вдруг человек! «Живой мужичок в черном накомарнике. Он стоит на пустыре, рвет лебеду и складывает ее в мешок».

Какая трогательная аналогия этого мужичка в черном накомарнике с бездомным огоньком на черном огарке столба! Вот он, осколок той жизни, он еще что-то делает, словно по старой привычке толкает его на это дело заведенная давным-давно пружина.

На вопрос автора, куда люди делись, ответил:

«Мы-то? По разным местам. Ну, сделали так, чтобы людей не упускать. Как сделали? В районе остаешься — значит, получай сполна, за все хозяйство. Едешь в другой район — аванс, вот и все. На тридцати процентах сядешь».

Рассказывал спокойно, как бы нехотя, не ожидая ни

сочувствия, ни удивления. Чему удивляться? Со всеми так, не с ним одним. Ну, помотался, туды-сюды ездил... Везде хуже, чем здесь. Он-то хоть на Оке приглядел местечко и бумаги оформил. Ему вроде бы и повезло. Другим хуже. Другим отвели порубки на Нижнем Илиме — болота кругом. «Неделю пробирались двумя бульдозерами, друг дружку за хвост тянули». А там «кубов нету, лес не дают — и деньги не идут, на подсосе сидят...» И в чужой район не суйся —«на тридцати процентах сядешь».

Хорошо кто-то придумал, кадры свои берег, заботливый. А этот кадр отрешенно и равнодушно, глядя себе под ноги, вспоминает о былой счастливой жизни и родном, но заброшенном теперь Заярске. «Раньше тута-ка хорошая жизня была». Для него вся красота жизни связана прежде всего с работой, вернее, с тем, что в народе разумеется под понятием — везде устроиться можно. «Склады сплошь, хозяйства. Перевалочный пункт. Железной дороги не было, потом построили. А то на баржах возили. Соберем ребят, бригадира побойчее выберем — и на берег. Брали сколько надо. Ругается начальник — дорого! А что делать? Сгружать надо. Плати... Выгрузили — тут же наличными. Из полторы сотни не выходили...»

Сколько здесь всего сказано, в этом путаном, сбивчивом монологе! И то, что хорошо, когда есть работа, и того лучше, когда ребята смышленые подобрались — знают, как делать и сколько брать. Артель —великое дело. «На артели и собаку свертели». Тут ни один начальник не страшен. Он нам свое, а мы свое. Куда ты денешься? Попрыгаешь, милый, покрутишься, а к нам же придешь, поклонишься еще. Заплатишь, что запросим. И наличными заплатишь, наличными. Плевали мы на твои бумажки. Мы тебе работу показываем, лицом к тебе повернулись — и ты давай начистоту. Плати из рук в руки. Знаем, сколько надо. Больше не заломим. «Из полторы сотни не выходим». Тоже ведь совесть имеем.

Да, совесть рабочую они держали будь здоров. И сознание этого доставляет особую гордость ему, рабочему человеку: «Навалят, а ты пошел, марку свою держишь. Подходишь: вали! Навалят — ноги подкашиваются, а марку не упускаешь. На мельнице грузили. Директор, Иван Иванович, хороший был. Пристанут ребята, ноги не держат, идешь: «Иван Иванович, отходов бы». Выпишет куля два — за куль не глядя 65 рублей давали. Возь-

мешь водки, закуски, выпьешь, посидишь и опять пошел. Марку держишь...»

Куда ж еще лучше! И деньги наличными, и отходов выпишут, и водка есть, и закуска... Благодать! «Хорошая жизня была. Теперь техника пошла. А то ручной труд был. Работа полегчала, ну аварийственная, правда. Увечная. Чуть поскользнул трос, толкнуло бревном — и до смерти».

Вы еще не успели дух перевести от этого, рассказчик начинает удивлять вас гордостью за счастливую судьбу каждого жителя, поименно, так сказать, персонально. «Все свои, Бокишев Викентий Федорович... С грыжей он теперь. Силач. Шкеры пятнадцать метров носил... А Тимошенко — это я, значит. Ну и другие прочие... Все наши.

Тимошенко ткнул себя закуренным пальцем и прибавил:

— Тоже с грыжей. У нас тута-ка все с грыжей».

«Наденешь седло — понушка называется,— нагрузят тебе на эту понушку, и пошел. Оттуда она и грыжа. Доктора операцию велят, да боюсь резаться... А этот Бокишев понушку не надевал, у него своя на горбу выросла... Здоров был...» «Ноги в коленках не сгинаешь, а так идешь: раз, раз, как на лыжах. Пояс широкий, кушак, значит. Туже затянешь живот — и хорошо. Слабо затянешь — с боков подпухает. И колет. А так хорошо...»

Что это? Одеревенелое равнодушие от постоянной тяжелой работы или малая потребность живой души? Эти вопросы имеют какое-то значение для нас с вами, людей, занятых так называемой интеллектуальной жизнью. Но попробуйте задать эти вопросы тому же Тимошенке. Он либо не поймет вас, либо рассердится. Какое равнодушие? У него есть и заботы свои, и радости, и цель, и гордость. «Я работу завсегда найду. Топор возьму — плотник. Лопату опять же... Валить могу да сучки обрубать. Возьму гектарик поденежней — и пошел сучья чистить...»

Даже в этом запустении, в мертвом разваленном поселке он и то находит себе работу — лебеду ломает для поросенка. И разговоры ведет ровно столько, сколько нужно для перекура, чтобы передохнуть. Кончил перекур — и снова за работу. «Опустил накомарник и — ни здоров, ни прощай — принялся опять за лебеду. И не поднял больше головы. Вроде меня тут и не было. Я посто-

ял немного и поплелся к пристани с грустными мыслями о хорошей жизни».

Да, конечно, грустно думать, что считается в народе порой хорошей жизнью, грустно сознавать, как несовершенны наши мероприятия насчет передвижения в пределах района, дабы не распылять трудовые кадры. А они, эти кадры, приспосабливаются, цепляются за жизнь, заселяют новые поселки, города и вовсе не чувствуют себя обделенными и тем более несчастными. Устраиваются. И эта необыкновенная цепкость, упорство, незлобивость, смирение и своеобразная стойкость, способность при любых невзгодах не упасть духом — все это, вместе взятое, отрадно напоминает нам известные черты русского характера. И нам грустно оттого, грустно и весело одновременно. Перезимуем, бодримся мы. Это состояние духа нашего, эти неповторимые, немыслимые нигде, помимо нас, грустные прелести жизни нашей хорошо чувствует и передает в своих рассказах и очерках Василий Росляков. Один из его рассказов так и называется: «Грустно-весело». Прочтите его. Прочтите «Красные березы», «За рекой, в деревне», «У дяди Тимохи» и многие другие вещи. Вы почувствуете, как ярко, талантливо, щедро они написаны. На разборе одного только рассказа я пытался показать, как мастерски владеет языком Василий Росляков. Право же, редко кто еще так виртуозно и точно передает в языке персонажа особенности его характера. Вот вам примеры.

«Бабы нет,— говорил он, не переставая жевать,— это полгоря. Беда наша в людях. Людей прямо нету, одни старики. Старики бы еще ничего, а то старухи. Стариков двое всего: кузнец и я... Там, у буржуев, скажи ж ты, безработица, а тут нехватка в людях. Хоть караул кричи».

Это откровения бригадира, Трошки-писателя, из «Красных берез». Весь он тут, как на ладони,— и неприкаянное холостяцкое житье его с «курями» вместе; и бесконечные хлопоты, беготня по колхозному хозяйству, так что поесть некогда; и тоска по работникам, которые поразбежались да на войне погибли.

Нет, не могу удержаться, чтобы не выписать заодно уж и то, как описан этот персонаж: «Наконец мы увидели его. Я сразу догадался, что это он. От рубашки до портков как бы продубленный весь, он бойко, чуть не вприпрыжку, двигался без дороги, прямиком через кочки, колдобины, дождевые промоины, через застарелую

грязь, через пыль, через чахлую травку. Он двигался толчками, как маленький трактор.

Заметив нас, он круто повернул навстречу. Приблизившись вплотную, остановился как вкопанный. Остановился, но мотора не выключил, он выключил только скорость, а моторчик его работал, и глаза на дубленом и заросшем илистой щетиной лице тоже работали. Что-то в них вспыхивало, менялось, перестраивалось, глаза его были полны неисчислимых забот.

Он остановился как вкопанный и тут же, не выбирая места, опустился на травку, вернее, сложился в удобную для сидения позу, подобрав под себя босые ноги.

— Садитесь,— сказал он.— В ногах правды нет».

Читая это удивительно яркое описание, мы меньше всего думаем о виртуозной пластике, о смелой гиперболе, мы не ахаем, не удивляемся этим изобразительным средствам, мы попросту их не замечаем; зато душа, сознание наше наполняются тоской и чувством сострадания к этому бессменному энтузиасту с детских пеленок и до смерти до самыя. Не есть ли это пример художественности истинной?

А вот вам пример из повести «Один из нас»: «Кто же так стреляет с положения лежа? Вот он прижмет тебя огнем к земле, а ты что? А ты с положения лежа стрелять не умеешь?» Это военрук воспитует своих подопечных, бравый капитан Портянкин. Еще он любит выговаривать присловье — «яссное море!». «Он так это выговаривает, что мы чувствуем глухую тоску капитана по крепкому слову. И если тоска эта слишком одолевает его, он безо всякого стеснения употребляет такие слова».

У дяди Тимохи из одноименного очерка присловье совсем иного порядка: «Ничего я не боюсь, а лишнего не болтай». Жизнь научила его этой немудрой истине.

А вот дядя Митяй откровенничает: «Фулюган я большой был. Три раза по восемь лет давали. Фулюганил, Вася, исключительно только от гордости...» «Я ловкий был, смелый, в нэп, ну тогда еще, лошадьми занимался, конокрадом был. Ни разу не застукали. Сидел исключительно за фулюганство. Рестораны любил, больней всего их любил...» Да, этому человеку, как говорится, есть что вспомнить. Пожил, нечего сказать.

Или вот еще, Барыка Василий Денисович:

«Ошибся, Вась. Неграмотный же, по ошибке все получилось. Тогда в колхозе я с лошадьми был, конюхом.

А бабы пололи в степе. Серков, председатель наш, давай, говорит, Курдюшов, бери бочку, бензин слейте, выжгите ее да вези бабам воду в степь. А этот Серков только что председателем назывался, а сам же неграмотный, ну ни бе, ни ме, что я, что он, бери, говорит, выжигай бочку. Стал выжигать, ну и ошибся. Я не один был. Соломку подожгли, бросили в бочку, эти-то успели, отбегли, а я ошибся, не успел. Как она рванула, хуже бомбы...»

Да, всего-то прямая речь персонажа... Но как много в ней сказано о жизни, о нравах, о характерах. Воистину написано так, что словам тесно, а мыслям просторно.

Проза Рослякова, будь она «городской», или «деревенской», или «лирической», отличается лаконизмом, точностью, глубиной и яркостью. В этой плоскости мне и хотелось бы сказать несколько слов о его деревенских очерках.

Прежде всего о пейзаже, о том, как Росляков рисует облик родной земли. Когда-то юный и талантливый художник Коля Дмитриев встречал на деревьях рассвет, чтобы сверить истинные краски и звуки с теми, что написаны Тургеневым, и дивился точности описания. Ученый-географ Ферсман заметил однажды: «Описание окрестностей Пятигорска и Кисловодска в «Княжне Мери» можно поставить на уровне лучшего научного исследования...» Как видим, поэтический облик земли родной складывался в русской классике прежде всего из точного описания природы. В этом смысле, и не только в этом, Василий Росляков следует строгим традициям русской классики. Вот один отрывок из его очерка:

«Сначала, когда едешь по привычному Подмосковью, ни о чем таком не думается, ты еще весь в плену московских будней, не отошедших от тебя забот, и все эти знакомые-перезнакомые березовые рощицы, придорожные посадки, поселки с деревянными домиками, резными наличниками и высокими антеннами пока ничего особенного не меняют в твоей душе. Но вот уже за Подольском, за Серпуховом вдруг подумаешь, что впереди где-то лежит перед тобой Тула, а за Тулою если по одной дороге, то — Орел, если по другой — то Воронеж, а за Воронежем... И как толбко ты подумал об этом, душа твоя начинает заполняться пространством и как бы перестраиваться на новый масштаб, и в ней исподволь, незаметно возникает захватывающее ощущение, которое называется Россия. И если до этого дорога была просто

дорогой, поселок или деревня, или городок были просто поселком, деревней, городком, если встречные машины были просто транспортом, то теперь все это показывается по-другому.

Сорока перелетела через дорогу — Россия. Мокрый ельничек потянулся, березы засветились, рыжие рощи выглянули за черной пахотой — Россия. Разминулся ли с грузовиками, свеклу повезли на сахарные заводы, обогнали ли груженую платформу, ее тащит старательный тракторишко,— Россия. И даже небо, тяжелое осеннее небо над землей,— Россия. И сколько бы ты ни ехал — день, два, три, тебя не покидает это чувство, и тебе хорошо вглядываться в ее бесконечно дорогое лицо, отмечать глазами точку за точкой, подробность за подробностью».

Это не затейливый рисунок тучи с расшитыми рушниками и не лубочная символика с раскоряченной осокорью. Это и картина, скупая и точная в своей печальной обнаженности, это и невысказанное признание в любви к отчизне, и удивление ее беспредельностью, и гордость за нее, гордость с тоскою пополам, что бросает нас порою то в буйное веселье, то в тягостную печаль. Это воистину по-лермонтовски написанный пейзаж. Вспомните его знаменитое: «Люблю я скакать по высокой степной траве на горячей лошади...» Здесь пейзаж пронизан не просто настроением, а мыслью, и эта мысль придает всей картине глубину и движение.

Присутствие авторской мысли постоянно чувствуешь в очерке, читая описание и условий жизни и характеров персонажей. Мы долго и много говорили и писали о том, что и как надо сделать, чтобы накормить крестьян, дать им все необходимое для жизни. Накормили, дали. «Живем добро, не хуже людей»,— говорит Татьяна Ивановна, жена дяди Тимохи, и даже хвастается: «Ты бы, Петрович, на директора нашего поглядел, как он живет, вот сказал бы. У вас министры так не живут».

Это верно, хорошо теперь живут в ставропольской деревне, и Росляков не скупится на изображение материального достатка. Он не свалился с неба, этот достаток, его создавали упорные, трудолюбивые люди — от трактористов, от звеньевых, свинарей до парторга и директора совхоза. Все старались, каждый на своем месте. Это все стоящие люди... Но, следуя за автором, вроде бы любуясь на эти хорошие дома, виноградники, мотоциклы да автомобили, вы и сами того не замечаете, как становит-

ся вам отчего-то не по себе: не то грусть вас одолевает некстати, не то веселье разбирает не к месту.

Вот жил дядя Тимоха, Сорокин Тимофей Артемович, долго жил, должности всякие занимал: и секретарем сельсовета был, и бригадиром, и учетчиком. «И выходило так из рассказа его, что только теперь, когда из учетчиков перешел в ночные сторожа, только теперь наступило у него равновесие и мир в душе».

Только мы настроились было поверить в это «равновесие и мир в душе» ночного сторожа, как снял с себя и это общественное полномочие дядя Тимоха...

«...С утра самого вырядился в новый костюм, новые ботинки, новый картуз достал защитного цвета, поглядел на себя в зеркало и сел за стол писать заявление.

— Чего это? — спросил я.

— Ну их к свиньям, хватит!

Свернул вдвое листок и ушел. Через час вернулся, уже полным пенсионером».

И тихий человек Тимофей Сорокин, и аккуратный, и честный, исполнительный. Жить бы, наслаждаясь. Ан нет, не получилось этого самого наслаждения. И жизнь была какой-то скомканной.

«Я эти драки, чтоб они провалились, дюже не люблю. Как выпили — так драться, а я лучше убегу, ну их к свиньям!»

Между тем жизнь только и делала, что подсовывала ему эти драки и разные неприятности, как назло, как в отместку за его тихость.

Горький сказал, что русский человек жить не любит и не умеет, что он мастер жаловаться. Но, слушая дядю Тимоху, никак не скажешь, что он жалуется. Это вовсе не жалобы, не сетования на судьбу, это какая-то непостижимая умиротворенность, невысказанная убежденность в том, что жизнь есть крест и нести его должен каждый безропотно. Оттого-то он и не сопротивлялся особенно, когда его склоняли на то или другое дело, разумеется, если оно не злое; не сопротивлялся, но и не лез по своей охоте. «Пойдешь, говорят, в артиллерию?.. Я говорю, приказ отдадите, пойду, а добровольно не пойду». «Какая судьба мне положена, такая нехай и будет, чужую судьбу не хочу».

В партию хотели его принять, это еще в пору коллективизации. И тут уперся: «Дело это не шуточное, не могу я. Дядя у меня кулак был, в Сибири теперь».

«...Не послушались, приняли. А я как в воду глядел.

Вычистили меня потом, чуть в Сибирь не упекли. Но пожалели, свои же все люди...»

Нет, не жалуется он на судьбу и признает, что жизнь улучшилась: «Против того, что было, люди живут лучше. И говорить нечего. Едят лучше, ходят лучше».

Но видимо, так уж устроен человек, что помимо еды и одежды он ждет всю жизнь какого-то иного удовлетворения, той духовной слитности с миром насущным, растворения в нем, что ли, отчего и смерть не страшна бывает. А дядя Тимоха умирал хотя и царственно, не стонал, не жаловался, но зол был на всех и на все. Зол, потому что жил и ждал от жизни чего-то иного и не дождался.

Это нечто иное так же вот ждет и Коля, зять дяди Тимохи.

И дядю Митяя жизнь обманула — запретили ему доктора пить водку. «Я ж помру без этого». И Нюра Левина, красавица в молодости, а теперь сухая и угрюмая старуха, тоже сердится и недовольна. «Мужика моего, Вася, убило аж на войне еще, а я вот старела да работала, не таскалась, как другие.

И что-то жесткое появилось в ее лице, в глазах, как-то напружинилась вся, какая-то обида поднялась в ней, может быть, старая еще обида, а теперь поднялась, расшевелилась...»

И Василий Денисович Барыка все убивается, плачет и на вопрос автора, что, мол, не понимаю, отчего убиваетесь? — ответил просто: «А что понимать-то? Ну заморился я жить, вот и все понятия...» И опять слезы.

А муж Марии и того хуже. «Ну, пришел так вот, ногой по дверям бах, бах, слова одни черные, меня сразу сбил, а я отползла в сенцы и на улицу, к соседям хорониться. Тогда он на стул поднялся, детей покликал, счас, говорит, душиться стану. Голову просунул в петлю, из платка сделал, и опять говорит детям, когда, говорит, синий сделаюсь, как у меня лицо, говорит, начнет синеть, то бегите за матерью, чтоб сняли меня, не прозевайте. И отшвырнул ногами стул, повис, хрипеть начал...»

Вспомните, как Платон Каратаев умирает у Толстого или работник в его же рассказе «Три смерти»? Умирают тихо, незаметно, как будто бы сделали необходимое дело и успокоились. Иные времена, иные нравы... Отчего же такая растерянность? Такая злость? Такое смущение? Такая тоска? Да оттого, что нельзя ставить идеалом

своим материальный достаток, оттого, что не хлебом единым жив человек.

Автор это прекрасно понимает и, не видя в действительности деревенской жизни естественного решения этого вопроса, пытается решить его не художественным способом, а голой публицистикой. В последнем очерке «За рекой, в деревне» он пишет: «Для организации материальной жизни сегодня на селе кадры сложились неплохие, а местами даже хорошие. Для организации духовной жизни — я скажу сейчас только о русском Нечерноземье — таких людей нет или почти нет». Он призывает: «...Нужны комиссары культуры. В каждом совхозе и колхозе... Комиссар культуры будет способствовать утверждению и углублению гуманности в отношениях между людьми, подлинной культуры общежития, доверия человека к человеку, на всех уровнях служебных положений...»

Когда Росляков пишет в этом очерке, как пьяный Леха вышел бороться с общественным быком, тут все понятно: и то, отчего бык растерялся и отступил поначалу, собираясь с мыслями; и то, почему Леха остался недовольным — не дали ему посадить быка на задние лапы. Но когда Росляков требует насадить по деревням комиссаров от культуры, то хочется спросить: а что они будут делать? То есть работу-то они себе найдут. Вспомните, чем занимаются тот же Трошка-писатель или абрамовский Афоня-ветеринар из повести «Пелагея». Но кому нужна эта работа? Какой от нее толк? Росляков предлагает Витаминыча, того самого полковника в отставке, которого создал Павленко. Но как-то забывает при этом Росляков, что хлопотал этот Витаминыч в то же самое время, когда старался Трошка-писатель. Что было в результате этих стараний, мы знаем. Тот же Росляков довольно ярко изобразил нам этот предел духовности.

Это вовсе не значит, что я отрицаю вообще положительную роль комиссаров в деревне. Нисколько. Комиссары, то есть секретари райкомов, инструкторы, парторги, наравне с иными прочими много потрудились и продолжают трудиться, чтобы кормить державу нашу, создавать материальный достаток, в том числе и в деревне. Тот же парторг Алексей Михайлович из очерка «Добрая осень», который поехал на дальнюю кошару к чабану Зелихману разбираться — отчего это тот уже пятую жену меняет, кроме, как уважения, ничего иного заслужить не может. И Павел Денисович Поделякин, секре-

тарь райкома, вручая ордена трактористам и дояркам в торжественной обстановке, делает нужное, полезное дело и также заслуживает уважения. Одним словом, читая очерки Рослякова, не скажешь, что люди в деревне брошены на произвол судьбы и никто не заботится о них. Да, этого не скажешь. Но скажешь примерно то же самое, что сказал один безымянный персонаж на совещании, о котором упоминает сам Росляков: «Трудящиеся,— говорил он,— любят, чтобы в газетах писали правду, поэтому пишите,— говорил он,— правду о наших задачах и об выполнении задач. Сейчас перед нами какая задача? Заготовка кормов. Животные,— говорил он,— любят сочные корма. Значит, наша задача — больше сочных кормов. И так далее...»

То есть по-прежнему главная задача в деревне попеременно заостряется то на сочных кормах, то на зерне, то на овощах, то на мелиорации, на комплексах и т. д. и т. п. Или, как выражаются научным языком, все усилия на создание прочной экономической базы. Так вот, читая деревенские очерки Рослякова, понимаешь, что это в определенном смысле рубеж пройденной остроты; конечно, он еще существует и долго будет существовать, хотя для деревни он потерял остроту, потому что деревня избавилась от полуголодной жизни. Деревня подошла к иному пределу — к устроению культуры в широком смысле, к организации духовной жизни.

В заключение мне хотелось бы сказать, что Василий Росляков несколько торопится похоронить русские слова и понятия: «мужик», «хозяин» и пр. В последнем очерке он пишет о теперешних крестьянах: «Их рабочее место — кабина трактора. А жить могли бы и в других пунктах, и даже на центральной усадьбе, в благоустроенных домах. И уже по одному этому мне трудно назвать их мужиками».

Батюшки мои! С каких это пор понятие «мужик» определялось тем, где человек сидит или на чем? Ежели на телеге, да еще в лаптях, так, стало быть, он мужик, а ежели он пересел на тарелку с дырками, так он уже не мужик. Иван Абрамович — мужик, потому как пешой ходит: трюх-трюх, трюх-трюх. А Леха на гнедой кобыле ездит, а Мишка или Сашка на мотоцикле, стало быть, они уже не мужики.

Чепуха это на постном масле. «Мужик» — понятие со-

циально-нравственное. «Мужик» — самое уважительное слово да еще «хозяин»! Пастуха в деревне никто мужиком не называл, и батрака, и работника, и кулака (ростовщика-мироеда). Мужик — полноправный член общины. Мало того, мужик — лицо самостоятельное, способное хозяйство вести. А хозяйство вести — не штанами трясти. Отсюда и хозяин, то есть человек, способный сводить концы с концами — и себя кормить и другим хлебушко давать. Не надо путать два понятия: барское понятие мужика как лапотника, как невежды, как черного человека, и крестьянское народное понятие, по которому мужик — значит опора и надежда, хозяин, одним словом. Вспомните тургеневского Хоря! Вот он и есть истинный хозяин, мужик сметливый, сильный, независимый в делах и суждениях. Отсюда и пословица «Хозяин и в чужом деле голова», то есть тот самый человек, за которым не надо приглядывать, которого заставлять не надо. Он сам все сделает как надо. В этом смысле и написан рассказ Бунина «Бернар», на который ссылается Росляков. Бернар Бунина — нутром хозяин, он все делает как надо, на совесть, хотя вроде бы и не нужно это никому. И Бунин сам тоже делает все как надо, работая до самоистязания. И никто его не подгоняет. Иными словами, поступает как истинный хозяин. А Росляков пишет, что в некое отдаленное время хозяин будет убит в человеке, как мы убили в нем раба. Не знаю, как насчет раба — в нравственном смысле, ну а вот насчет хозяина скажу определенно: нет, не убьем и не убили. И слава богу, что не убили! Этот хозяин чем дальше, тем больше показывает себя в жизни государства, особенно это заметно стало в деревне. Человек, которому доверили, отдали на полную ответственность землю, ему лично, да еще технику... человек, которого избавили от ненужной, изматывающей опеки, сделали хозяином своего дела, стал чудеса творить. Посмотрите, как работают наши звеньевые на закрепленной земле — Первицкий, Гиталов, Бочкарев, Переверзева и многие другие,— и вы убедитесь, что это и есть истинные хозяева и земли своей, и своего дела. Это огромное достижение последнего десятилетия и позволило нам значительно укрепить производственную основу и материальную жизнь в деревне. Впрочем, об этом же и пишет в своих очерках Василий Росляков. А то, что противоречит самому себе же в публицистических отступлениях, так это бывает. Это и раньше случалось с другими хорошими писателями. А что Ва-

силий Росляков писатель хороший, серьезный, увлекательный, в этом сможет убедиться каждый, пожелавший прочесть эту книгу.

1978 г.

ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

Мне думается, что мало пользы от тех разговоров, в которых пытаются как-то обособить культуру сельскую от культуры городской. И вообще странно слышать такие разговоры. Культура у нас одна, какой была, такая есть, такой и пребудет — единая, национальная, русская. Наше искусство, особенно литература, служит тому убедительным примером. Спору нет, вклад деревни в русскую культуру необыкновенно велик. Но нельзя же рассматривать его как нечто обособленное, вроде домотканых дорожек на лакированном паркете. Попробуйте вычленить из книг Толстого городские и деревенские элементы. Ничего у вас не получится.

Культура есть самовыражение человека, его самоутверждение. Культура немыслима без духовного общения людей,— нельзя ее рассматривать как некое приложение, вроде художественной самодеятельности на торжественных вечерах. Она, эта культура, тесно связана с бытом, с национальной особенностью, с материальной обеспеченностью и, главное, с трудовой деятельностью человека.

Да, всякая культура в основе своей материальна. Но культура непременно включает в себя активную духовную жизнь народа. Невозможно отделить материальную основу или оболочку культуры от ее духовного наполнения. Мы должны иметь это в виду, говоря о так называемой культуре села. Здесь, по-видимому, разговор следует вести не о культуре в широком смысле, а о частных проявлениях культурной жизни применительно к особенностям современного сельского быта, к социальной среде. Иначе мы попросту потонем в общих рассуждениях.

Давайте начнем сначала, пойдем в село по самому обыкновенному проселку, приостановимся в пути и поговорим об этом самом проселке без умиления. В конце

концов все начинается с дороги, и культура в том числе. Один мудрец сказал: дороги определяют степень культуры страны. Какова же эта степень? Прямо скажем — невысокая. Мало у нас современных асфальтированных дорог. А сел и деревень — сотни тысяч! Общение между ними, да и с внешним миром происходит все по тому же проселку. Но ведь проселок прокладывался сотни лет назад для гужевого транспорта. И плохо ли, хорошо ли, но на телеге по нему проедешь в любую погоду. Где он теперь, этот гужевой транспорт? Его так усердно выводили, что в ином колхозе хомутов теперь меньше, чем автомобилей.

А в непогодь на автомобиле ехать по проселку, что по целине. В непогодь! А зимой? А весенняя распутица? Порой полгода ездят на тракторах. А на тракторе ни в гости, ни на спектакль не поедешь. Впрочем, ездят, ухитряются... за водкой! А то на базар или за печеным хлебом в райцентр. Молоко возят: прицепят грузовик к трактору и волокут его, как сани. Бывает, что и передок отрывают, а кузов с задними колесами в овраге оставляют, как прицеп. Не то поезда составляют: трактор, за ним две волокуши, да колхозников тридцать — сорок человек... Кошелки с поросятами поставят на волокуши, а сами гурьбой за трактором за тридцать — сорок верст киселя хлебать. Даже на собрания в райцентр на тракторах ездят.

Вообразите себе на минуту Москву без автобусов, без метро, троллейбусов. Что за культурная жизнь наступила бы в городе? Вам надо побывать в театре или в ГУМ сходить, или в гости съездить из Черемушек куда-нибудь на Масловку. А пожалуйста! Попросите у директора заводской автобус. А он скажет: запишитесь на очередь, найдите себе попутчиков, сгруппируйтесь. Ведь нечто подобное существует в селе до сих пор. Даже на мопеде, на мотоцикле не выберешься из иного местечка, не говоря уж об автомобиле. Да ведь легковой автомобиль для села нечерноземной полосы — роскошь неслыханная, более редкая, чем тройка в старые времена. И то, заимев ее, далеко не ускачешь.

Сведя с крестьянского двора, так сказать, личный автомобиль проселочной дороги — лошадь, мы ничего не дали взамен сельскому жителю в смысле удобства и связи с окружающим миром, то самое, что ежечасно, ежеминутно выполняет в городе многочисленный городской транспорт. Но ведь лошадь была не простым средством

транспорта, она входила краеугольным камнем в фундамент крестьянского быта.

Только люди, не жившие в деревне, полагают, что лошадь для крестьянина была всего лишь рабочим тяглом. Сколько удали, отваги, ловкости придавала русскому человеку верховая езда! Разве это не спорт? С малых лет въезжали мы на лошадиной холке в таинственный мир лесной сказки и впервые в своей жизни у костра, в ночном, встречали и рассветы, и росою умывались, и постигали мудрый закон артельной взаимовыручки. Разве это не эстетическое воспитание? А бега, а скачки, а охота с гончими? А «зимних праздников блестящие тревоги»! Попробуйте представить их без шумного наезда гостей, без катания в санях, без взятия снежного городка? Этот мир ушел от нас, укатил в небытие на своем «автомобиле», а проселок оставил нам в назидание: тише едешь — дальше будешь.

Речь идет не просто о лошадях да о проселках, а о том, что быт, и труд, и весь жизненный уклад должны быть продуманы и увязаны с жильем, с подручными средствами передвижения, с землей, с окружающим миром природы. Культура на селе немыслима без этого всеобщего лада. Давайте остановимся на каждом компоненте этого понятия. Прежде всего труд на земле...

Труд крестьянина, труд земледельца — это творческий труд. В течение долгих тысячелетий должен был наблюдать человек жизнь природы, земли, растений, животных — пока не освоил высокую науку разведения скота и собирания урожая. Труд этот очень тяжел и требует от человека высокого напряжения ума и сил. Для того чтобы вспахать, засеять и убрать поле, вырастить огород, рассадить сад, крестьянин должен соображать верно и действовать ответственно и решительно, не упускать из виду тысячи мелочей, сообразоваться с сотнями изменчивых факторов. Ничто так не исключает шаблонов, как сельский труд. Он немыслим без широкой самодеятельности, или в конечном итоге — самостоятельности. Казалось бы, мы должны всемерно развивать эту самодеятельность сельского человека и в деле и в образе жизни, поменьше опекать его мелочной регламентацией, отпускать в дальнее плавание, как надежную ладью. Но не тут-то было... Чаще всего мы пытаемся всевозможными командами укротить сельского человека, упростить его труд, раздробить его на отдельные операции, выхолостить из него живой смысл общения с природой, по-

догнать под шаблон расхожего заводского труда и превратить его в конечном итоге в простую погоню за нормой выработки, за голым заработком.

Определенный грех на душу должна принять и наука наша, примитивно толкующая стирание граней между городом и деревней, а еще превращение труда сельскохозяйственного в разновидность труда индустриального. Все это преподносится в качестве прописных истин и с прямолинейным детским простодушием применяется порой на практике: раз стирание граней, так и жить всем в одинаковых условиях, что в городе, что в деревне. Какая разница? Там работа по часам — и тут, там пятиэтажные дома — и тут лезь в пятиэтажный. Что, с садом не хочешь расставаться, с огородом? В башню не хочешь лезть, жить с кругозором не хочешь? Заставим. По науке. Будешь в домино играть, в телевизор смотреть — вот и культуры наберешься.

Нет, такая доминошная культура не заменит духовного и физического общения с землей. Культура и отдых далеко не одно и то же. Культура от безделья еще нигде и никогда не зарождалась. Серьезный, творческий труд лежит в основе всякой культуры, в том числе и сельской. А работать на земле — вовсе не значит двигать рычагами столько-то часов или нажимать кнопки. Земля — живой организм, к ней надо приноравливаться, улавливать момент и каждый раз избирать тот единственный, неповторимый вариант в деле, который требует не только глубоких знаний, интуиции, но и максимальных усилий. Истинный земледелец всегда творец, в высокие минуты напряжения — в страду ли, во время сева или сенокоса — он, как говорится, весь в творческой отдаче; он меньше всего думает о том, сколько часов отработал, когда встал и когда лег. В свое время и он отдохнет... Зачем же эту живую, такую не похожую ни на что на свете работу приноравливать к почасовому стоянию за строгальным станком или за печатной машиной? Что за блажь? И что это за странный апломб — утверждать о более высокой степени организации и отдачи труда индустриального по сравнению с трудом сельскохозяйственным? Поди, слыхали эти мудрецы-экономисты хотя бы о звене Владимира Первицкого. Так вот, одно это звено, состоящее из пяти человек, выдает продукции на миллионы рублей. Оно кормит целый город. Попробуйте подобрать эдакое же звено в индустриальном производстве, которое с эквивалентной звену Первицкого затратой

средств выдавало бы столько же чистой прибыли. Я уверен — не найдете. Ибо в мире нет более высокого производителя богатств, чем земля, чернозем, когда находится она в добрых руках.

Где бы ни наблюдал я этих замечательных земледельцев, звеньевых, закрепленных на «своей земле», освобожденных от унизительной, выматывающей душу опеки, я везде замечал и находил в них людей высокой культуры, обширных знаний и великолепной сноровки. Они не только знают технику, сложные машины, они переделывают их, перелаживают, как завзятые конструкторы. Они начитаны и прекрасно информированы в достижениях агрономии. Многие из них настоящие селекционеры, в собственных садах разводят новые сорта винограда, яблок, ягод. Они и клубы посещают, и в самодеятельности участвуют. А какой образцовый порядок царит у них на усадьбах! Как они ревностно следят друг за другом, соревнуются в отделке собственных домов, в разведении цветов и декоративных кустарников. Недаром про таких хозяев говорят, что их культура видна еще с улицы.

И как печально бывает смотреть на непролазную грязь вокруг общих, так сказать, коммунальных домов в деревне, на покосившиеся столики на голой вытоптанной площадке, где сидят усердные курильщики и режутся часами в козла. Не токмо что садов вокруг — деревца кудрявого не увидишь; все голо, в дождик — грязь, а в жару — пыль в глаза. Не берусь анализировать все причины наших неудач по части устроения культуры на селе, но большинство из них, конечно, возникает там, где нарушается кровная связь крестьянина с землей. Уже не раз говорилось о печальном опыте возведения многоэтажных домов, удаленных от приусадебных участков,— люди покидают на лето квартиры городского типа и ютятся во времянках да сарайчиках, поближе к огородам. Какая уж тут культура!

Или построят высокомеханизированные комплексы, где вроде бы и предусмотрены всякие удобства в смысле резки кормовой муки или подачи пойла, но нет стока для навоза, нет подъездных путей к этому комплексу, нет пастбищ с хорошим дерновым покровом... И опять все тонет в грязи, в неурядице, в пустых хлопотах. Падают надои, привесы, растет яловость, уменьшается поголовье... До культуры ли здесь!

Пора уже уяснить, что обдуманный веками, налажен-

ный, так сказать, выстраданный сельский быт (я имею в виду хорошие села) не терпел и не терпит никаких нелепиц и небрежности. Здесь все важно для удобства жизни, и в том числе для культуры села, и тип жилища и место посадки. Как стояли старые деревни по берегам речек, прилаживаясь к особенностям пейзажа и микроклимата, а русская печь и деревянный или кирпичный отдельный дом делали жизнь удобной и здоровой, так и современной постройке, хочет она того или нет, придется все это учитывать. Культура на селе очень сильно зависит от того, где и как живут поселяне.

Надо учитывать не только наклонность к обеспеченной жизни, но и особенности сельского общения. Общественная жизнь старого села, его духовный климат были очень прочными, они сплачивали крестьян воедино. Речь идет не только о сходах, да посиделках, да гостевании... Все делалось на миру, в открытую, все вовлекались и приобщались к этому мирскому деянию, все от малых и до старых. В погожую пору все в деле, а в праздники — на гулянье да в церкви. Дети малые и те точно знали свои обязанности. Деревенский ребенок приобщался к труду и жизни на природе как бы исподволь: сперва в подражании взрослым на работе, а потом в играх со сверстниками. Замечательная вещь эти деревенские игры: пятнашки, лапта, чижики, городки. Сколько ловкости вырабатывали они, сколько прививали чувства взаимовыручки, чувства локтя товарища, чувства здорового соперничества. Как правило, настраивали на серьезный лад эти игры люди взрослые, опытные городошники и виртуозные мастера поистине народной игры — русской лапты.

Ах эта великолепно разработанная, оркестрованная, как сказал бы музыкант, череда русских праздников, ритуал которых был выношен столетиями и отработан для самых мелких групп сельского общества всех возрастов и состояний! Как все это естественно и прочно включало ребенка в жизнь деревни, давало ему почувствовать общность сельского мира, сопричастность, связь свою с другими людьми.

Я еще помню это раннее праздничное вставание, эти потоки света от ярко пылающей печи, от начищенной и горящей во всю силу лампы, дрожащие красноватые блики на вымытых к празднику стенах и потолке, это торжественное за делом песнопение матери с отцом на два голоса.

Святки ли, рождественские колядки, или проводы масленицы, или кропление лошадей со скачками и бегами, или крещенские гадания, или обряжение березки, заплетение венков — все это были великолепно отрежиссированные спектакли с участием в них массового зрителя. То есть каждый человек проявлял себя в этом зрелище, был его активным участником.

Конечно, такому типу общения и той сельской жизни приходит или уже пришел конец. Однако же те, которые планируют жизнь села, обязаны думать о том, чем все это заменить, кто и как все это заменит. Нельзя допускать, чтобы прерывалась нить духовного общения людей. Ибо проблема общения в деревне уж по крайней мере не менее важна, чем для города.

Формы общения между жителями следует теперь искать, исходя из реальных трудовых отношений. Тут мало ввести должность комиссара от культуры, так сказать; важно разработать и утвердить в законодательном порядке целую систему культурно-бытового, воспитательного воздействия на жителей. Когда-то, наблюдая за жизнью Ивана Ермолаевича, одного из своих персонажей, Глеб Успенский писал, что мужик ничего не станет держать лишнего. Для одного дела ему нужен староста, для другого — поп. Обвенчать молодых или отпевать покойника не заставляли старосту. А у нас все валят на председателя. Как-то при мне один мой знакомый активист жаловался председателю колхоза:

— Иван Михайлович, что же это у нас получается? Опять Дарья Корягина спьяну чуть в навозной яме не утонула.

— А что вы от меня хотите? Я выдал дояркам премию, а уж наставлять, на что ее потратить, как повеселиться увлекательно и культурно, не могу. Руки не доходят. Да и не умею праздники устраивать, не обучен этому,— вполне резонно возразил председатель.

Оно и раньше кроме школы да церкви в деревне кабак стоял. Но, между прочим, пьяных в церковь не пускали. А пели там хором те же мужики и бабы. И хорошо пели. Великолепные певцы выходили из тех певчих, Михайлов, например, братья Пироговы. Да ведь и немудрено. При каждой церкви регент был, то есть квалифицированный преподаватель пения, да и сам иерей, и дьякон были профессиональными певцами, кроме всего прочего, так сказать. А мы вчера посмотрели с вами приличный сельский клуб и видели его заведующего —

молодую девушку, бывшего бухгалтера. Все, что она может,— это вывешивать афиши, закрывать и открывать клуб, следить за чистотой, заводить радиолу и пр. Большего и нечего спрашивать с нее.

Мало в нашем селе специально подготовленных клубных работников. Уровень подготовки их еще невысок. Да и те не держатся: оклады низкие, условия работы, быта чаще всего скверные.

Да и какой спрос с этого клуба и с его заведующего? Кто его слушает? Все по-прежнему держится на председателе колхоза: любит председатель спорт — значит, есть в колхозе спорт, любит председатель художественную самодеятельность — будет в селе самодеятельность, а ничего не любит председатель — так ничего и не будет.

Конечно же не везде и не все так плохо; есть известные на всю страну колхозы, вроде «Политотдела» Ташкентской области или «Борца» из Подмосковья, где и культурный облик сел достаточно высок — живут колхозники в коттеджах, утопающих в садах, и дети и взрослые обучаются и музыке и танцам, в клубах даже студии изобразительного искусства есть, а самодеятельность не уступает там профессиональным ансамблям. Надо сказать, что в этом важнейшем деле — устроении культурной жизни на селе — Московская область задает тон: хорошие дороги, замечательные поселки коттеджного типа — двухэтажные дома с гаражами, подворьями, с огородами и садами, с великолепными Дворцами культуры здесь уже не редкость. Вот где стираются грани городской и сельской жизни, да, да, здесь, на колхозной улице, в частном доме, на квартире, а не в поле: Дворцы культуры столичных заводов и отдаленных колхозов не должны разниться, и клубная работа в них должна строиться на одном и том же высоком уровне.

Казалось бы, эти «маяки», выражаясь по-старому, давно бы должны вызвать всеобщий энтузиазм к устроению культурной жизни на селе и покрыть обширные просторы наши блистательными Дворцами, отличными дорогами и поселками из современных коттеджей. Но, увы! Ничего подобного, в смысле всеобщих масштабов, так сказать, еще не произошло; порою рядом с прославленными «маяками» встречаешь и отрезанные бездорожьем села, и грязь непролазную на улицах, и убожество да запустение клубов.

А такого быть не должно. Необходимо создать не только систему равнозначной застройки сел по всему ли-

ку земли нашей, но и предусмотреть постоянное, каждодневное влияние на людей не голым словом, а драматически зрелищным действом; должна вестись планомерная культурная работа, единая во всесоюзном масштабе, глубоко продуманная на высоком профессиональном уровне. Тут одним телевизором не отделаешься. Нужна система, а не всплески импульсивных любителей культурных мероприятий. Эта система должна иметь общегосударственную структуру и покоиться на прочной материальной основе. Она не должна зависеть ни от сезонной производственной маеты, ни от колхозного или совхозного управления. Она должна быть автономной в полном смысле слова, подчиненной долговременной задаче социально-нравственного восприятия народа. Денег на это жалеть не надо.

Теперешние районные отделы культуры влачат нищенское существование, роль их в культурной работе на селе заметно уменьшилась даже по сравнению с тридцатыми годами. Помню, у нас в Пителине, в районном селе Рязанской области, было три спортивных площадки: в парке, при школе и в Доме пионеров. Сейчас нет ни парка, ни Дома пионеров, ни спортивных площадок. Значительно потускнела и клубная работа. Если раньше ежегодно проводилось несколько смотров художественной самодеятельности, в которых участвовали все — от школьников до престарелых жителей отдаленных сел и деревень, так теперь и праздничный концерт, поставленный силами самодеятельности, уже редкость.

Я родился и вырос в селе. Так вот, в пору моей юности, в тридцатые годы, не было такой семьи (может, за малым исключением), где не интересовались бы литературой; у любой девчонки-школьницы был свой альбом, куда выписывались стихи Пушкина, Лермонтова, Блока и других замечательных поэтов. А Есенин был буквально притчей во языцех. Все это заучивалось наизусть, впитывалось в сознание... Помню, как собирались по вечерам и читали вслух и в школе и в домах. Очень любили читать.

А эти самодеятельные спектакли на сценах сельских клубов! Пушкин, Гоголь, Чехов, Островский, Сухово-Кобылин, Грибоедов легко и просто входили в наш быт со сцены сельского клуба. И на улицах, на красных пригорках звучали гармошки, балалайки, гитары... Пляски, хороводы, частушки и стихи.

Как много знали крестьяне стихов наизусть, как любили петь песни в лугах на сенокосе, возле вечерних ко-

стров! И любили щеголять в народе метким словом, оно как бы к делу прикладывалось. Всегда удивительно действенным было слово. Ведь оно и понятно — вся жизнь проходила на миру. А на миру и смерть красна. Не скажу, чтобы теперь упал спрос на книгу. Но все-таки того поголовного увлечения чтением не наблюдается.

Литература всегда являлась в селе желанной гостьей. Ее жаловали, ее читали и читают в свободное от работы время. Но преувеличивать ее влияние на окружающую действительность не следует. Мнение, будто писатели своим усердием смогут изменить культурную жизнь села, ошибочно.

У литературы задача вполне определенная — художественное отражение жизни. Конечно, в какой-то мере она влияет и на человеческую нравственность и даже на общую культуру человека. Но только в какой-то мере и не более. Задача ее, повторяю, изучение реальной действительности и отражение этой действительности в художественных образах более долговременных (в лучших образцах своих), чем породившая их действительность. По этому отражению мы судим об истории человечества, о его нравственном росте и о его падениях, о том, что мечталось, что создалось, а что и не заладилось, и не сбылось.

Литература помогает постичь смысл деяний человеческих. Нет, писатели не смогут перестроить культуру села, но зато смогут изобразить ее уровень, запечатлеть ее состояние и передать в иные времена. Литература — это художественный код нашей жизни, который создается художником и передается будущим поколениям.

1980 г.

ОСТАВЛЕННЫЕ В НАСЛЕДСТВО ЗАВЕТЫ

Не так давно вышел в свет роман Ивана Акулова «Касьян остудный»; вышел как-то незаметно, критика вроде бы не трубила о нем во все пределы, и тем не менее роман этот пользуется большим успехом у читателя; и лежит на нем какая-то особая печать основательности, которой бывают отмечены проверенные временем добротные книги.

С большим интересом прочел я роман. Читал и радовался настоящей удаче писателя. Все: и яркий самобыт-

ный язык, и выпукло написанные характеры, и достоверный ход событий, и серьезность замысла — все свито, сплавлено рукой умелой и уверенной. По широте, по размаху событий, по накалу страстей, по масштабу фигур и, главное, по глубокой жизненной правде можно сделать определенный вывод: этому произведению суждена долгая жизнь.

Да, не балует критика своим вниманием Ивана Акулова. А жаль! Иван Акулов благодатный писатель для критика серьезного, для сторонника социально-нравственного анализа. Тут есть о чем поговорить. Акулов пишет о самых главных, можно сказать, о роковых моментах в жизни общества: если о войне, так не просто о народном подвиге, а о величайшей трагедии народа; если о коллективизации, так не о дружном и веселом шествии передовой массы к «великому перелому», а опять же как о тяжелом потрясении общества; если о послевоенном лихолетье сибирской деревни, то не как о следствии стихийных бедствий, а как о плачевных результатах бюрократического головотяпства.

Первый же роман его «В вечном долгу», написанный еще в начале шестидесятых годов, предметно и точно доказывает, что определенная категория людей с усилением административного зуда проявляет необычайную активность, забивая и опрокидывая все трезвые расчеты серьезных и вдумчивых работников.

В нашей жизни бывают какие-то странные периоды, когда, словно черви после дождя, изо всех дырок выползают эти пронырливые дельцы и дают ход своей необыкновенной изворотливости и напору своему. Что, казалось бы, общего между кладовщиком из захолустного колхоза «Яровой колос» Лузановым и председателем райисполкома Верхорубовым? Один — генерал районного масштаба, другой — каптенармус. И все же... Подул административный сиверко, стали заметать колхозные закрома, тут вот они и снюхались,— один доносит на председателя и агронома, что те припрятали... семенной хлеб, второй же выгребает этот хлеб до зернышка в счет заготовок, оставляет колхоз без семян и, более того, добивается выдвижения кладовщика на место председателя, а агронома загоняет на северную шахту.

И вот ведь парадокс какой! При видимой правоте своей не может секретарь райкома Капустин помешать Верхорубову делать свое скверное дело; не может, потому что Верхорубов прикрывается «высокой государст-

венной необходимостью». Как, впрочем, не мог и Мартынов у Овечкина запрудить поток известных деяний Борзова. Это такое же напрасное дело, как перегораживание оврага в половодье — либо плотину прорвет, либо стороной обойдет ее. Сила Верхорубовых в неуклонном соблюдении циркуляра, в том скверном усердии, которое выхолащивает дух закона, оставляя лишь оболочку его, букву...

Их главный козырь — демагогия, ссылка на государственную необходимость, на дисциплину, на единство. Недаром любят они оплакивать ортодоксальное время жестких уроков: «Я почему вроде всплакнул о прошлом-то? — исповедуется Верхорубов.— Дисциплина была, Сергей Лукич, порядок был во всем, каждый сверчок знал свой шесток. А тут взяли моду: всяк себе хозяин. Нет, дорогой мой, есть люди повыше тебя, значит, сиди и слушай. Помалкивай да делай, что велят...» Делай, что велят — вот и весь смысл любого порядка для Верхорубова. А то, что велят «сверху», это я вам всем растолкую. Кто же меня не слушает, тот и порядок нарушает.

А порядок был такой — в сводках «полный ажур», как говорят эти архангелы бумажного рая, а на полях, а в колхозных закромах хоть шаром покати. Подоплека этого мертвящего усердия лежит глубоко в психологии человека. Эгоизм, гордыня и властолюбие, стремление взять при жизни своей все, что можно, для утоления алчности — вот она альфа и омега бюрократической безнравственности. И недаром же близко сходятся кладовщик Лузанов с руководителем Верхорубовым: тот внизу точит свою нору — денно и нощно, думая лишь о том, как бы набить ее чужим, то бишь общим добром, а этот наверху мечтает о высоких почестях, к которым можно тем быстрее подняться, чем больше будет на пути надежных спин-ступеней из живых Лузановых.

Да, Лузанов Лука Дмитриевич и Верхорубов Иван Иванович, хоть и не единокровные, а близнецы братья, но это чертовы братья. И тот же самый чертогон, который возносит их на вершины почета и довольства, при крахе своем и сбрасывает их. Сгубила слепая сила меркантильного усердия и Луку Лузанова: разорив свой колхоз, опозорившись вконец перед односельчанами, он кончает жизнь в петле. Но не таков Верхорубов; этот деятель из тех бегунцов, которые в лёт идут, и придорожная пыль, поднятая ими, садится в лучшем случае на тарантас да на седоков. Ушел Верхорубов в областные

сферы, успел оторваться вовремя от запоздалой расплаты.

Роман «В вечном долгу» написан в то время, когда в литературе нашей царил авторитет Валентина Овечкина. Многие писатели, порой и подсознательно, попадали под влияние этого авторитета. «Овечкинской» конфликтной ситуацией отмечен и роман «В вечном долгу». Но это вовсе не значит, что Акулов в какой-то мере проявил несамостоятельность в подходе к теме, в оценке сложных явлений того периода или потерял свой стиль, свою индивидуальность как художник, то есть позаимствовал коллизии и характеры. Ни в коей мере. Его Верхорубов своеобычен. Это не бюрократ, идущий напролом по угрюм-бурчеевски, как это делал Борзов у Овечкина. Нет, Верхорубов оглядчив, более оборотист, более демагогичен; это человек более высокой культуры, если можно так выразиться, более значительных запросов; он и более опасен, чем Борзов. Верхорубовы благодаря своей обкатанности, гибкости и более солидному образованческому багажу легче переживали крутые повороты и дожили до наших дней.

Акулов идет вслед за Овечкиным в этом романе только в обостренном восприятии и отображении социально-нравственных конфликтов; что же касается самого изображения жизни, манеры письма, тут Акулов идет своей дорогой; он почти не прибегает к прямой публицистической оценке тех или иных событий, перипетий; у него типично эпическая манера письма — он широко и вольно рисует картины народной жизни, характеры, нравы, и особенно хорошо, с большим знанием и любовью пишет о земле, о природе.

Романы его объемны, сюжеты их медлительны, описания обстоятельны и предметны, а круг вопросов, затронутых романистом, настолько широк и сложен, что поневоле заставляет читателя приостанавливаться и обдумывать, переживать как бы самому эту многотрудную, а порой и нескладную российскую жизнь. Так писать о народе, о земле родной может только человек, выросший в гуще народной жизни, хорошо и долго потрудившийся, пострадавший и много познавший.

Акулов именно из таких людей; родился и вырос он в крестьянской семье в селе Урусовой, недалеко от Ирбита, воевал в последнюю войну, учился в пединституте на Урале и долгие годы проработал учителем в деревне, потом в газете «Уральский рабочий». Эта счастливая и

многотрудная судьба его ярко отразилась и в литературных произведениях. Особенно биографичен роман Акулова «Крещение».

Уральские новобранцы Петька Малков и Николай Охватов попадают в Камскую стрелковую дивизию, расквартированную в глубоком тылу, проходят в ней первую военную выучку, а потом в составе ее попадают на фронт; Малков гибнет в первом же бою, Охватов после боевого крещения проходит в составе Камской дивизии долгий и славный боевой путь от рядового бойца до командира дивизионной разведки.

О последней войне написано много романов и повестей, и, пожалуй, трудно удивить нашего читателя рассказами о «доблестях, о подвигах, о славе». И тем не менее, читая роман «Крещение», не перестаешь удивляться беспредельной степени человеческого терпения и отваги. Казалось бы, что в первом же бою слабо вооруженный и плохо обученный полк Заварухина, брошенный на неподготовленные позиции, будет с ходу смят и раздавлен стальной лавиной наступающего врага. Да вроде бы так оно и есть: не может один полк сдержать наступление куда более сильного противника. Потеряв в бою чуть ли не половину своего состава, отступает, уходит он. И все же... Каким-то особым способом письма автор дает нам почувствовать, что эти смятые и потрепанные боевые порядки вовсе не проиграли боя, что они нечеловеческим усилием воли остановили куда более сильного врага и потом ушли набираться новых сил, чтобы вновь и вновь останавливать этого врага, изматывать его и в конце концов победить.

Они, эти русские воины, постоянно гибнут как бы с правом на воскресение. И воскресают в этой жуткой смертельной круговерти. За какой-то неполный год этот полк, эта Камская стрелковая дивизия несколько раз истаивает и вновь возрождается в обновленном составе. Каждый уцелевший боец может сказать про себя словами Теркина: «Был частично я рассеян и частично истреблен».

Но эти страшные потери состоят отнюдь не из линейных представителей «фронтового поколения», как любят у нас крупно выражаться, а из живых, достоверно выписанных мужиков и молодых ребят, «наших мальчиков». Нет, нет! Тут представители не одного «фронтового поколения» — тут сошлись чуть ли не все сословия трудовой Руси всех возрастов — от восемнадцати и до

пятидесяти годов, а то и старше. Здесь в окопах под Орлом и Мценском переживает великую трагедию сам народ. Все, от рядового бойца Малкова или ординарца Менакова до командира дивизии и даже до самого командующего особой ударной армией генерала Березова, встают перед нашими глазами в неповторимой живой достоверности. Это все доподлинные характеры, а некоторые из них — Охватов, Филипенко, Афанасьев, Заварухин — поднимаются до типового обобщения.

Читая эту фронтовую хронику, меньше всего думаешь о так называемой окопной правде войны. Перед нами живой документ — талантливо написанное свидетельство чудом уцелевшего участника жестоких событий. А следовательно, это и есть истинная правда жизни. А она, эта правда жизни, вырастает из окопной правды, и ни из чего другого в данном случае вырасти не может. Она немыслима без глубокого и *предметного* описания реальной обстановки, без той самой тяжкой окопной работы, без точного знания этого злополучного фронтового быта. (Прилепилось же к нам это слово «быт»!) Правду жизни нельзя создать из голого замаха на эпос или эпопею, из помпезных представлений батальных сцен или описания душераздирающих страстей.

Правду жизни надо уметь увидеть и выстрадать, сложить ее из реальной повседневности, а для этого нужен талант. Именно так и написан роман «Крещение». Величие народного подвига слагается в нем из тяжкой окопной работы, из невыносимой жизни на краю пропасти, со смертью рядышком, в грязи, в снегу, в преодолении повседневных лишений, в ежедневных, а то и в ежечасных стычках с врагом. Не каждому ценителю по вкусу такая вот неприкрытая «голая» правда, она же «окопная», не то еще «унылая», «бескрылая» и пр. и т. п.

Критик Чалмаев, именно это имея в виду, иронично замечает о «Крещении»: «...после множества добросовестных описаний боевого пути Камской дивизии, описаний рытья траншей, забот с полевой кузней возникает вдруг отблеск эпоса, знакомый в чем-то главном...» Это «главное», по мнению критика, является песней, которую пели солдаты. И далее умилительно восклицает: «Ах, как вы вечно молоды, старые эпические «спектакли»! Ваши «декорации» не из фанеры, а из плоти исторической жизни народа».

Ага! Значит, «добросовестное описание боевого пути» — это никакого отношения к исторической жизни

народа не имеет, а вот пение в строю, да еще ежели со свистом — это уж «спектакль» из «исторической плоти»! Следственно, это эпос.

И вот Чалмаев наставляет, как надо начинать эпос; разумеется, в противовес «Крещению» Акулова:

«...Уже пролог «Судьбы» — бурная грозная ночь 1933 года, безвестная, явившаяся из неведомых мест женщина, умирающая после родов прямо на земле, не дойдя совсем немного до избы главного героя романа Захара Дерюгина,— говорит о смелости именно эпической мысли писателя о народе и его «власти» над историческими обстоятельствами».

Ну конечно же тут потрясающая смелость «эпической мысли», поскольку автор не побоялся привести рожать «безвестную женщину» к порогу избы «главного героя». Родить и помереть! Тут уж — умри Денис, а лучше не придумаешь.

Находились и находятся критики, которые тотчас выдают на подобные «эпические спектакли» похвальные грамоты и даже заверения в бессмертии.

Увы! Перед напором подобной критики не устоял и Акулов. К сожалению, высокой мерой требовательности не отмечены некоторые заключительные главы его романа, посвященные описанию Ставки Верховного командования. В них тоже встречаются «эпические спектакли», и порою автор сбивается на сухую информацию о деятельности «верхов», на повторение известных положений, изложенных в свое время в сводках Информбюро. Лишенные живой подвижности и оригинальной мысли, эти главы как-то не стыкуются с ярко написанными трагическими картинами фронтовой жизни.

Но вернемся к тому, с чего начали статью, к последнему роману Акулова «Касьян остудный», наиболее полно и ярко раскрывающему творческие возможности писателя.

Роман как бы распадается на две части — первая, большая, изображает сельскую жизнь кануна «великого перелома», вторая рассказывает о заключительном этапе коллективизации. Что и говорить, время для повествования Акулов выбрал сложное.

В конце двадцать седьмого и в начале двадцать восьмого года обнаружилось резкое понижение хлебопоставок. Крестьяне придерживали хлебные излишки по той причине, что были расширены «ножницы», то есть повышены наценки на промышленные товары. Естественно,

выросли цены и на рынках, в том числе и на хлеб. Вот почему крестьяне пытались продавать свой хлеб прежде всего на рынках, придерживали его, припрятывали, не хотели сдавать так называемые излишки, то есть дополнительные обложения. Отсюда — вольная торговля хлебом была запрещена — только сдача государству по твердым ценам. Было введено чрезвычайное положение относительно конфискации хлебных излишков у кулака по ст. 107. Но вся трудность заключалась в том, что никто в точности не мог провести границу между кулаком и середняком. Вредно сказывалась и деятельность левой оппозиции, требовавшей перенести чрезвычайные меры и на середняка. Отсюда и путаница и трагизм положения.

Действие происходит в Сибири, в Ирбитском округе, в селе Устойное. Богатое село... Какие хоромы отстроены были за годы Советской власти! Сколько зерна, мяса, пушнины, льна, шерсти, живности всякой поставляло оно на далекий ирбитский рынок. Как ухожены были поля и покосы, сколько сил и сноровки вкладывал в каждый клочок земли тороватый сибирский крестьянин. Что за династии чудо-богатырей неистребимой русской «корени» выросли в этом селе! Какая цепкость к земле! Какой непостижимый азарт в работе! Казалось, нет на свете такой силы, чтобы заглушить этот азарт, отбить охоту, оторвать мужика от земли.

Иван Акулов о том и рассказывает... Рисует яркие картины труда и разложения старой общины, рассказывает, как распадалась она, как с кровью рвалась пуповина, соединявшая мужика с землей, как извечный деревенский мир превращался в усобицу и поднимал руку брат на брата. Явление это называется классовой борьбой в деревне. Перипетии этой борьбы и двигают фабулу романа, держат в напряжении читателя. Читая роман Акулова, мы убеждаемся в том, что в двадцатые годы подавляющее большинство в русской деревне активно поддерживало Советскую власть, что в ту пору в этой деревне накопился серьезный опыт производственного роста в системе землепользования, созданного ленинскими декретами и указаниями. Нет, советская деревня на десятом году существования не умирала с голоду, как это пытались доказать наши недруги и неумные друзья (да и теперь еще пытаются); нет, русский крестьянин, получив землю от Советской власти, не забросил ее, не оставил втуне, а прибрал ее, обихаживал,

обрабатывал по-хозяйски, и сам кормился и других кормил.

Русские крестьяне, доказывает Иван Акулов, еще и до «великого перелома» были не звероящерами, а вполне нормальными людьми, трудолюбивыми, сметливыми, добропорядочными, по-своему просвещенными, то есть впитавшими тысячелетние нравственные устои, опыт государственного строительства, и охочие до участия в общественных делах. И Яков Умнов, и Зимогор, и Арканя Оглоблин — все это яростные работники и вожаки крестьянской массы, хорошо понимавшие те преимущества мужицкой воли, которые принесла им новая жизнь. Яркие и цельные натуры их свидетельствуют о нравственном здоровье сибирских крестьян той далекой поры.

Спору нет, были среди них и прижимистые Кадушкины да Ржановы, и неисправимые захребетники, вроде Егора Сиротки и Ваньки Волка, которых только гробовая доска может исправить. Но ведь в семье, как говорится, не без урода. Судить же о народе следует не по этим крайностям. Да и крайности ли Федот Кадушкин и Михаил Ржанов? При всем при том, что они прижимисты, что в работе ни себя не жалеют, ни других, они еще и великолепные хозяева, корневые люди, выросшие до зажиточности за годы Советской власти, то есть на своих надельных паях. Хорошо это или плохо? Вот тут вся сложность вопроса.

Иван Акулов так нарисовал эти фигуры, что кроме определенной антипатии питаешь к ним еще и глубокое уважение. Был Федот Кадушкин бедняком, таскал на базар рогожи, мечтал разбогатеть на торговле, а разбогател на хлебопашестве. Так что же тут плохого, как бы спрашивает нас автор. Нужно было богатеть или не нужно? Нужно было быть неистовым в работе или нет? Надо было много выращивать хлеба или не надо? Надо, конечно, надо. И судить однозначно о многих персонажах нельзя. Кадушкин весь вырос из того старого мира, и судить о нем следует не абстрактно с точки зрения книжного чистоплюя, а принимая во внимание всю сложность и многомерность переломного периода всего общества.

Да, Федот Кадушкин — дитя старого мира, говорит нам автор, но ведь он и к новому обществу не притыка, а если и не столб, то хотя бы перекладина, выносившая немалую нагрузку. Бездумно вырубать такие перекладины уж по крайней мере не хозяйское дело.

Все эти Кадушкины да Ржановы и рвущийся к ним в ряд Арканя Оглоблин скупы на обновы да на харч; они порой готовы все до последних порток вложить в свое хозяйство, лишь бы укрепить его, поднять на новую ступень. Новый мир сибирской деревни был не чужд для них, было в нем место и для Ржановых и Кадушкиных, и необходимость в них тоже была. Да и кулаки ли они?

В те поры за кулака часто принимали трудового крестьянина, живущего своим хозяйством, а главное — своим трудом. Об этом и говорит Акулов в своем романе. Нет, не Акулов выдумал неточную, зыбкую формулу насчет подведения под кулацкий козырек то или иное крестьянское хозяйство; это существовало до него в реальной жизни; его знали и лидеры того времени и пытались определить эту формулу поточнее, дабы скорые на расправу администраторы не наломали дров благодаря этой путанице.

Столкновение Семена Григорьевича Оглоблина, бывшего инженера, истинно русского интеллигента, так называемого умеренного партийца, с леваком Мошкиным по части экспроприации крестьянских хозяйств — явление типичное для того времени. Были районы, где перегибщики, вроде Мошкина, одерживали верх, и тогда страдали семьи трудовых крестьян. Так высланы были с конфискацией всего имущества Ржановы, растащено было хозяйство Кадушкиных, а сам хозяин, Федот Кадушкин, бросился от горя в колодец.

Многие руководители партии предвидели, что смешение кулака с крепким трудовым крестьянством может принести серьезный ущерб обществу. Вот что писал тогда Калинин: «Я вполне согласен со Смирновым (нарком земледелия, выходец из Тверской губернии, из крестьян.— *Б. М.),* что надо раз и навсегда отделить от кулака сильное трудовое крестьянство. Оно может быть настроено антисоветски, контрреволюционно, оно может иметь *кулацкие наклонности,* но оно не есть суть кулачества. К нему должен быть подход *политического воспитания,* переработки сторонников Советской власти».

И далее в той же статье: «Увеличение процента мощных трудовых хозяйств за счет слабых, мне кажется, надо приветствовать, ибо оно служит показателем развития крестьянских хозяйств и производительности в деревне. Многие как бы страшатся развития инициативы в слоях мощных трудовых хозяйств, боясь, что с ростом хозяйств соответственно возрастет и буржуазно-кулац-

кая идеология среди этих слоев крестьян, а через него и во все крестьянство. Мне кажется, эта мысль обоснована по аналогии старых деревенских отношений к крестьянству. При советском строе мощное трудовое крестьянство своей производительной стороной соприкасается с государственным капиталом, а с идеологической стороны — с советской общественностью и советским государственным строем, откуда и будет черпать свою идеологию. Все говорит за то, что идеологическое влияние нашей *государственности гораздо сильнее буржуазного...*» (Теория и практика борьбы.— Известия, 1925, 22 марта.)

Или вот еще его слова: «Если говорить правду, не подделываясь к бедняку, то увеличение производительных сил в деревне есть единственный способ улучшения положения маломощных. Ясно, что насильственная борьба с расслоением, поскольку она будет тормозить увеличение производительности, экономически вредна и политически бесцельна...» Выступая на VII Московском губернском съезде Советов, Калинин сказал: «В моей статье дан анализ классовому расслоению в деревне, который можно приложить к практической политике».

И действительно, практическая политика в двадцать пятом году и несколько далее проводилась в соответствии с идеями Калинина. Достаточно вспомнить апрельский Пленум ЦК партии, II съезд Советов и пр. Они, эти идеи, долго сказывались. И судя по всему, Оглоблин был одним из яростных проводников этих идей.

Между прочим, на апрельском Пленуме ЦК Дзержинский резко выступил в поддержку Калинина против Троцкого и Каменева, требовавших усиления нажима на деревню: «В тех речах, с которыми выступили здесь Каменев и Троцкий, совершенно ясно и определенно нащупывается почва для создания новой платформы, которая приближалась бы к замене не так давно выдвинутого лозунга «лицом к деревне», лозунгом «кулаком к деревне». Те речи, которые здесь говорились ими, постановка ими вопроса — откуда взять средства для индустриализации — все это клонилось к тому, что надо обобрать мужика». (*Дзержинский Ф.* Избран. произведения. М., 1957, т. 2.)

Эти две тенденции по отношению к деревне сосуществовали длительное время; причем бывали такие моменты, когда левацкая тенденция брала верх. Акулов как раз и описал такой момент.

Третья часть романа начинается с сенокосной поры тридцатого года, когда уже действует созданный за зиму колхоз и только отдельные крепкие хозяйства, вроде Харитона Кадушкина и Аркани Оглоблина, все еще упорствуют, остаются единоличниками.

В районе верховодит тот самый левак-загибщик Мошкин, который громил Федота Кадушкина; подручным этого максималиста в сельском Совете сидит Егор Иванович Бедулев, по прозвищу Сиротка. Это малограмотный человек с примитивным пониманием задачи коллективизации — каждого, кто упирается в единоличном хозяйстве, заобратать и привести либо в колхоз, либо выселить в отдаленные места. Харитон Кадушкин попадает под выселение, с него и начинается дело.

А дело, повторяю, известное по многим описаниям: сперва крестьянин имярек объявляется кулаком, потом ему доводится «твердое задание», затем опись всего имущества, выселение из дома всей семьи и... путешествие в отдаленные места на казенный счет.

Если раньше в нашей литературе с объявленного кулака снимались всяческие человеческие приметы, то теперь у Залыгина, Белова, Акулова мы наблюдаем намерение объективно изображать жизнь той деревни, не плакатно, а сообразуясь с тем понятием, которое классики наши называли гоголевским направлением, толстовским поиском истины и пр. Одним словом, даже в отражении этого сложного времени Акулов старается быть как можно более правдивым. В этом похвальном стремлении я вижу серьезное достижение и автора этого романа, и литературы нашей в целом, сказавшей правдивое слово о трудной и все еще волнующей поре.

Да, явление это называлось в свое время перегибом, перекосом; творцы его — известные лидеры левой оппозиции и всевозможные их последователи — легко находили в деревенской толще деклассированные элементы и с их помощью громили крестьянские хозяйства, нанося огромный ущерб обществу.

Ущерб этот выражался не только в материальном плане, но и в нравственном смысле, вызывая озлобление в народе. Этот перекос и сводит в могилу Семена Оглоблина, Федота Кадушкина, доводит до тюрьмы Ржанова, Якова Умнова и Зотея Сибирцева. В беду попадают и с той и с другой стороны. Это озлобление и беспокоит и печалит автора, заставляет его бросать клич милосердия. Ниже я остановлюсь подробнее на этой сверхзадаче про-

изведения, как говорят режиссеры. А пока коротко скажу о фабуле последней части.

Харитон Кадушкин с женой и с двумя малолетними детьми уехал на дальний покос. А в это время в Устойном собрался актив бедноты и сельсовета, пришли к Кадушкиным, описали имущество, выселили из дому сестру его Любаву и заочно приговорили к выселению всю семью Харитона. Бывшая батрачка Машка тайком съездила на покос и предупредила Харитона о грозящей беде. Харитон вместе с семьей на двух телегах с малым скарбом и коровой подался в дальний город, на стройку завода-гиганта.

Председатель сельсовета Егор Иванович Бедулев пытался перехватить Харитона в дороге, чтобы арестовать самого и взять семью, да разминулся с ним.

Семья Кадушкиных со многими приключениями благополучно доехала до стройки. Там помогает им устроиться бывший заключенный, а еще ранее председатель Совета Умнов.

Сам же Умнов, отсидев срок, возвращается домой, в деревню, где встречает его престарелая мать и одаривает благосклонностью невеста Любава. Занявший председательский пост Егор Бедулев проявляет к нему недоверие и враждебность и настаивает на том, чтобы не допускать Умнова до первого колхозного трактора.

Машка после долгих и горьких мытарств наконец сходится с Арканей Оглоблиным, которого любит всем сердцем. Арканя же, последний единоличник, чуть не попадает в лапы Бедулеву. За него вступается Машка и, кажется, спасает его от ареста за ослушание.

Фабула произведения имеет широкий охват событий — от дальней захолустной деревни до знаменитой стройки завода-гиганта в сердце индустриального Урала — и дает разностороннее многомерное представление о тогдашней жизни.

Характеры людей, картины природы, полевые работы, стройка, городские торжища — все это описано ярко, своеобычно, с великолепным знанием дела. Почти все персонажи, ранее встречавшиеся в романе, получили свое полное и завершенное развитие. Эпизодические лица, вроде Зотея Сибирцева или хозяина бывшей городской харчевни Глеба Хренова, или поселенца Тихона Огаркова, хоть и появляются на какое-то мгновение, но так ярко высвечены, так мастерски изображены, что запоминаются надолго, словно реальные, совершенно жи-

вые люди. Даже историческая личность — М. И. Калинин, всего единожды появившись в эпизоде, не обойдена живыми и яркими деталями. Я не помню, право, где бы еще так метко и точно изображен был всесоюзный староста с его редкостной своеобычной простотой и бойкостью в общении с шумным рабочим людом, как это описано в романе Акулова при посещении Калининым стройки уральского завода-гиганта.

А чего стоит путаная, полная несусветной чепухи речь малограмотного Сиротки, хватившего какие-то жалкие крохи со стола руководящей премудрости:

«— Я тебе, Марья, скажу всецело. Который. Разрушим старый прах отсталых классов, и взойдет стопроцентная заря расцвета жизни. Пойдешь к зеркалу и не узнаешь сама себя».

«— Ты, Марья, строгости в ум взяла — разве это худо? Мы это видим. А вот темнота взгляда портит твой дух. И выходит подшиблена ты маленько духом на классовом горизонте восхода. Это пойми в словесном исчислении...»

Право же, тут бы сам Фома Пухов из «Сокровенного человека» Платонова лучше бы не выразился.

А как точно и ярко переплетаются описания картин природы, увиденные глазом мужика-хлебороба, с его думами, тревогами, надеждами и чаяниями: «Где-то недалеко в окошенных перелесках на мокрой отаве паслись кони. Стреноженные веревочными путами, они тяжело скакали, и все время звенели кутасы на их шеях. А сам хозяин вместе со своим семейством спал в балагане чутким надорванным усталостью сном и слышал скакание и фырканье своих коней, всплески кутасов, слышал запахи росы и молодого сена,— и в этих звуках и запахах находил ту древнюю и родную надежду, какой жили и не обманулись многие поколения праведного и подвижнического крестьянского рода. Веками привязанная к земле и потому всегда настороженная ожиданиями душа мужика и во снах ищет отгадку погоде, урожаю, приплоду, грядущей зиме и безучастной путани своего лихого времени...»

Отсюда и «завтрашний день надежнее всего кроить с примеркой на прошлое. Да и в самом деле, если заботливо собрать оставленные в наследство заветы, то можно предвидеть ожидаемое...»

Вот и пишет И. Акулов вроде бы о прошлом, об «оставленных заветах», но так, что письмо его тревожит

нашу душу, бередит память, заставляет еще и еще раз спросить себя: а так ли мы кроим завтрашний день? Не машинально ли накладываем шаблон с «примеркой на прошлое...»? Не забываем ли прежние уроки? Не повторяем ли старых ошибок?

Да жизнь ушла вперед, отдалилась от той, продвинулась в иные пределы... Много было построено... Там, где когда-то сгибалась жнея с серпом в руках, плывут комбайны, где рыли котлованы, теперь в могучих заводских корпусах создаются и посложнее комбайнов чудо-машины, облегчающие и труд и жизнь человека. Но изъяны, пережитые в пути, нельзя забывать. И одним из таких вот наиболее серьезных изъянов общественной жизни, вызванных известными перегибами, писатель считает ожесточение между людьми. Многие страницы романа посвящены горьким сетованиям по поводу этой тяжкой беды, поискам разумного решения социальных вопросов, раздумьям о предпочтении добра и справедливости.

Особенно глубокую выразительность эти мысли обрели в разговоре Якова Умнова с Зотеем Сибирцевым.

«— Итак, слушай, кругом зло да забида. Зло, Зотей, для нас сеют, и мы не отстаем. У тебя вот лучшие годы прошли в неволе, но ведь и ты на всю жизнь пустил человека по миру.

— Кулак все-таки.

— У него небось ребятишки были. Они-то при чем? Сколько я знаю, Зотей, зло только разоряло людей и плодило новых подлецов злодеев. Вот ты оттолкнешь сейчас хорошего работника, а он возьмет да со зла тебе или другому напакостит...»

И далее признается Умнов: «Обеими руками вцепился я в председательское место, чтобы давить сверху. Только и была одна забота — теснить, кто посытей. Хозяйство совсем закинул. А потом почувствовал, что расхожусь с Советской властью: она зовет к зажитку через труд, а мы, какие на местах, сами отошли от пашни и других рвем. Таким-то манером полсела опустошили. Дома были каменные. Лабазы каменные. За зиму переваливали на Ирбитскую ярмарку тысячи пудов зерна, мяса, сотни возов пушнины, шерсти, льна, холста, посуды всякой — все разбили. И гвозданула нас Советская власть, да правильно и сделала...» «Мы, на местах которые, подразгулялись,— простым-то словом нас не одернешь. А теперь вот гляжу — тех, кого вытряхали, и нас, вытряхателей, здесь за колючей проволокой половина на

половину. Без малого. Вот и выходит: не перестанем творить зло, погибнем в распрях. Так в одном котловане тех и других зароют добрые люди. И слова доброго не скажут».

Да... Жить надо так, чтобы добром помянули тебя. А добро творящий — бессмертен в делах народа своего. Этот поиск добра, истины, справедливости в жизни и является основной идеей произведения. Иван Акулов проявляет мужество и зрелость мысли, глубоко и правильно изображая жизнь общества в сложный и трудный период. Сделать главным действующим лицом произведения правду жизни — стремление похвальное, традиционное для русской литературы. «Касьян остудный» стал одним из тех удачных опытов возрождения высоких художественных принципов русской классики, которые украсили современную советскую литературу.

1981 г.

ЧУВСТВО ГАРМОНИИ

Писатель Василий Белов хорошо известен читателю. Произведения, вошедшие в сборник «Воспитание по доктору Споку», удостоенный Государственной премии СССР, тоже давно известны. Достаточно сказать, что повесть «Плотницкие рассказы», составляющая добрую половину сборника, опубликована была в «Новом мире» еще в 1968 году. Рассказы «Моя жизнь» и «Воспитание по доктору Споку» тоже десятилетней давности. И вот что любопытно, многие критики говорят об этой книге как о злободневной, затрагивающей наболевшие вопросы нашего времени. В чем тут загадка?

А загадки-то и нет никакой. Дело в том, что произведения истинного искусства всегда затрагивали глубинные пласты жизни, подстилающие, так сказать, поверхностный слой. И чем глубже пашет художник, выражаясь языком сельского жителя, тем надежнее западают семена его истины, тем дружнее и гуще будут всходы его посева, несущие людям на долгие времена наглядные уроки разумного, доброго, вечного.

Перечитывая ныне эти давние повести Белова, я вспоминал, как наши писатели и журналисты в пику Белову и подобным ему «воспевателям крестьянства» частенько «прорабатывают» колхозников, ругают за нера-

дивость, лень, пьянство, отсутствие дисциплины и пр. Есть эти грехи, что там говорить. Но вот два читателя — И. Чистяков и А. Чистяков, известные звеньевые из Калининской области, вполне резонно спросили: а во всем ли виноваты крестьяне? В своей замечательной статье «Долг перед полем», опубликованной в «Правде», на точных, убедительных примерах они доказали, что беспорядки, прогулы, равнодушие к общему полю, лень, пьянство были у них в колхозе до тех пор, пока не ввели новую систему трудовых отношений, пока колхозники не почуяли себя хозяевами не на словах, а на деле, пока общие поля не стали своими в полном смысле, то есть гарантией самостоятельности в деле, источником личной славы и заработка. Иными словами — пока не было покончено с обезличкой земли и труда на ней, пока не убрали посредников между колхозником и землей. И вот чудо — те же «нерадивые» колхозники стали сами выходить в поле и работать там от зари до зари (когда есть в том острая необходимость, разумеется), не считая часов; и поля преобразились, и урожайность выросла, и жизнь улучшилась. И представьте себе, никто их, то есть колхозников, не «совестит», не тычет им в нос голую мораль. Сами они догадались управиться. Чай, не дети! В качестве такого разумного примера могу назвать не только отдельные хозяйства (в свое время я писал про них неоднократно), но и целые районы: например, Миллеровский Ростовской области или Абашский Грузинской ССР. Примеры эти достаточно известны и убедительны.

А припомнилась мне эта полемика, когда я натолкнулся в «Плотницких рассказах» на яростный спор двух стариков Олеши Смолина и Авинера Козонкова. Вот он:

«Авинер Козонков решительно отодвинул стакан с чаем:

— Я тебе, Констенкин, так скажу, что колхоз упекли. Упекли из-за худой дисциплины. Народ совсем осатанел, напряжение у нервов ослабло. Приказов не слушают, только пекут белые пироги.

— Полно, Авинер Павлович, отстань. Разве дело в этом? — Олеша поставил стакан вверх дном.

— Нет, не отстану! Я, бывало, повестки пошлю — так на собранье-то летят пулями, дисциплина была, не в пример теперешней. Все бегали!

— Бегали. И не хочешь, да побежишь. Кто сусеки-то до зернышка выгребал, не ты, что ли?»

Дальше больше разгорается этот спор, как пожарище на ветру. Для Козонкова все вроде бы просто: кто не бегает по команде, пущенной сверху, тот классовый враг. Дело ясное.

«— Нет, не ясное,— возражает Смолин.— У вас с Табаковым все было уж больно просто. Чего говорить. Сапожников и тех прижали, смолокуров. Мол, частная анициатива, свое дело.

— А что, разве не свое?

— Дело. Конечно, свое дело. А чье оно быть должно? Без этого дела вон вся волость без сапогов осенью набегалась, когда Мишку-то прищучили, сапожника-то...»

Спор этот закончился яростной потасовкой; и злоба этих спорщиков, эта непримиримость и яростный напор, как тисками, сдавили сердце рассказчика, Константина Зорина, лицо, несущее определенную окраску авторского сочувствия.

Нет, здесь не просто лесковская живописная стихия далекого прошлого, как изволил заметить один критик, а живая и жгучая современность наша. Спор идет не между двумя стариками, выжившими из ума, а — если угодно — столкнулись представители диаметрально противоположных направлений всей жизни нашей; один из тех, кто руками своими, горбом своим, совестью пытается утвердить необходимость самостоятельного и посильного участия в общем деле; другой же из того шустрого десятка досужих распорядителей, которые уверены в том, что, кто громче кричит, больше суетится, командует, того и верх.

Да, это не просто характеры, это типы, сложившиеся еще в стародавние времена и прокаленные крутым пламенем суровой эпохи нашей. Как был Авинер продувным захребетником, так и остался им до самой смерти. Смолин ходит на ферму, дояркам помогает, но Авинер же ни-ни, работать в конюшне наотрез отказался, «потому что здоровья не позволяет. На базе нервной системы». Бригадир пытался поставить его «в бесспорном порядке». Но Козонков и тут дал окорот — «не имеет права в бесспорном порядке». Законы он знает. До сих пор не прочь изобразить он из себя хоть и призрачного, но вершителя людских судеб: целой вереницей шлет он во все концы свои доносы, которые — увы! — в конечном итоге срабатывают на посрамление самого же доносчика.

И, вспоминая таких вот горе-старателей вроде Козонкова или Табакова, с чисто крестьянской хитрецой до-

прашивает Олеша Зорина: «Так скажи мне, правильно ли это, ежели ограда-то выше колокольни?» И боясь, что слушатель может понять его отвратно, мол, затаил обиду и злость Смолин из-за несуразностей на всю эту жизнь, он вроде бы и упреждает такие выводы: «А я, друг мой Констенкин, еще скажу, что сроду так не делал, чтобы, осердясь на вошей, да шубу в печь.— Старик снова стал серьезным.— Бог с ними. Была вина, да вся прощена».

И все же, все же... Нет мира и не может его быть между Козонковым и Смолиным, хотя они и примиряются для видимости. Зорин чувствует, что нет лада здесь, в деревне, и мучительно переживает это: «Голова разламывалась от боли, и хотелось плакать, но я тут же хохотал над этим желанием: «Я, только я виноват в этой драке. Это я захотел определенности в их отношениях, я вызвал из прошлого притихших духов. А потом сам же испугался и вздумал мирить стариков. Потому что ты эгоист и тебе больше всего нужна гармония, определенность, счастливый миропорядок...»

Это отсутствие «гармонии, счастливого миропорядка» постоянно будоражит душу Зорина. Этой гармонии не находит Зорин и в городской своей жизни, в своей прорабской работе и даже в семье своей. Жена его Тоня, наглотавшись на бегу в студенческих аудиториях, в общежитиях да в библиотечных коридорах модных принципов эмансипации да «воспитания по доктору Споку», одержима идеей — тут же воплотить эти принципы своей «культурки», как сказал бы Козонков, в реальную действительность. И семейная жизнь из мира согласия, любви, взаимопомощи превращается в арену соперничества по части выявления руководящей роли каждого. Кто из нас главный? Кто правее? Кто передовее? Кто самостоятельнее? Вот вопросы, которые владеют всеми помыслами и действиями гордой эмансипированной Тониной натуры.

И пошли домашние представления... Не жизнь, а сплошное действо, как говорится на театральном языке, с антрактами и разбирательством этого действа в профкоме, завкоме, домкоме и прочих людных местах.

Гармония жизни... Как создать ее? Где найти? Из каких принципов выстраивать? Вот вопросы, которые постоянно занимают Белова. Вот почему так жадно ищет он людей цельных, гармоничных и любовно воссоздает их в своих произведениях. Таковы Катерина Дрынова из повести «Привычное дело», Павел Пачин и дедко Никита Рогов из романа «Кануны», Недаром вокруг них

централизуется и кипит сельская жизнь, воцаряются мир и согласие в сердцах самых горячих и неустойчивых натур. Павел Пачин — это опора из опор. Как на мельничном столпе держится вся несущая конструкция, так и на нем все дело роговской семьи, да не только роговской. И не его вина, что волею судеб не суждено ему было стать долговременной опорой в сельском мире.

Катерина Дрынова и Павел Пачин — характеры истинно русские, в полной мере сложившиеся в соответствии с народным понятием добра и справедливости, мира и согласия, красоты душевной и физической.

Иные критики порой утверждают, будто Белов противопоставляет деревенскую жизнь городской, он-де воспевает патриархальщину, и что деревенских жителей он вообще идеализирует. В погоне за быстротекущим днем, суесловия про актуальность, прогресс, НТР и пр. мы не заметили, как стали стыдиться высоких слов и понятий: «девушки», «барышни» у нас превратились в «девчонок», «отцы» — в «предков», а Вера, Надежда и Любовь — в международный день (солидарности).

А между тем идеализация — вещь отнюдь не малопочтенная. Это понятие несет в себе разумное начало утверждения определенных жизненных идеалов. Только не приукрашивания! Боже упаси нас от этого соблазна — желаемое выдавать за действительность. Но благо, когда писатель серьезный находит свои идеалы в реальной, а не выдуманной жизни. Утверждая их в литературных образах, в описании определенных обстоятельств, художник тем самым сеет разумное, доброе, вечное.

Идеализация идеализации рознь. Иной автор пытается идеализировать и неудачливого старателя из команды Козонковых. А что ж? Чем они не герои? «Ведь, бывало, и на рыск жизни идешь,— говорит Козонков,— в части руководства ни с чем не считался. Спроси и сейчас, подтвердит любая душа населения, которая пожилая». И орденов не заработал, и «пензия» всего двенадцать рублей в месяц. Ведь обижены! Оттерты, мол, начисто. Как вышли из курных избенок, так и помирать пришли к невысоким порогам родных хижин. А вот вам! Орденов не нажили — так знамена склоним к ногам вашим!..

Э, нет. Карьерист и захребетник, чьими бы высокими словами ни прикрывался он в прошлых неблаговидных делах, не может быть героем. Для Белова сама идея — вывести для подражания такого вот «героя» совершен-

но недопустима. Его идеал — работник, творец нового мира, а не соглядатай, идущий обочь. Да, Василий Белов относится к тем художникам, которым не чужд идеализм в высоком смысле. Его идеализм покоится на прочном основании вековых традиций русского крестьянства, где любовь к труду, к родной земле, к ближнему своему была спаяна высоким напряжением воли к совместной жизни и являлась главным средством в противоборстве со стихией, врагами и оскудением.

Герой Белова пытается внести в окружающий мир согласие, влиться в гармонию природы. И автор в поисках и ощущении этого лада и гармонии исписывает не одну страницу. В этом плане чрезвычайно интересны его последние очерки о вековом крестьянском укладе, о народной эстетике, опубликованные недавно в журнале «Наш современник». Очерки так и называются — «Лад». Вот что пишет об идее этих очерков сам Белов:

«Жажда человеческого познания неутолима, в этом главное свойство науки, ее величие и бессилие. Но для всех народов земли жажда прекрасного не менее традиционна». «Все было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, всему предназначалось свое место и время... При этом единство и цельность вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу от красоты. Мастер назывался художником, художник мастером. Иными словами, красота находилась в растворенном, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии».

«Красота спасет мир» — эта загадочная фраза Достоевского долгие годы будоражит умы человечества: в чем ее тайный смысл?

Вовсе не задаваясь гордым намерением отгадать эту вековую загадку, я хочу сказать только об одном непременном условии творчества, которое заметно выделяет истинного художника из общего потока сочинительства. Это непременное условие Пушкин называл чувством гармонии.

Понятие гармонии в произведении искусства заключает в себе не только совершенство формы, красоту отделки, так сказать, но и постижение мыслью художника сущности отраженного мира. Прекрасное — суть единство идеи и образа, сказал Гегель. Отсюда же, из этого понятия общей гармонии, человеческая мысль еще в древности определила и главную модель прекрасного — нашу Вселенную — как организованное целое, назвав ее

космосом. Космос, помимо всего прочего, понимался еще и как мир согласия и красоты в противоположность хаосу. Веками величайшие умы человечества были заняты стремлением проникнуть в потаенную сущность его, дабы понять закон согласия и приблизить к нему противоречивое и непостоянное устроение человеческого общества.

Художнику, мыслителю, как никому иному, дано это счастливое и мучительное ощущение не только красоты, но и нарушения гармонии, и он, создавая образы, облитые «горечью и злостью», трубит человечеству о надвигающейся опасности. Да, истинный художник всегда стоит на страже благоразумия и никогда не уклоняется от самых острых и крутых моментов бытия. Воссоздавая их реальную сущность, он придает общей картине яркость и глубину, благодаря чему эта отраженная жизнь становится более долговременным и действенным фактором, чем породившая ее реальность.

1980 г.

СОДЕРЖАНИЕ

2. Оставленные в наследство заветы

ИБ № 1941

Борис Андреевич Можаев

ЗАПАХ МЯТЫ И ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Заведующая редакцией
Л. СУРОВА
Редактор
Н. БУДЕННАЯ
Художник
В. ХАРЛАМОВ
Художественный редактор
Э. РОЗЕН
Технические редакторы
В. ДУБАТОВА, Н. ПРИВЕЗЕНЦЕВА
Корректоры
М. КАЛЯЗИНА, М. ЛОБАНОВА

Сдано в набор 19.02.82. Подписано к печати 24.06.82. А 12501. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 24.36. Усл. кр.-отт. 25,20. Уч.-изд. л. 26,25. Тираж 75 000 экз. Заказ 2088. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

1 р. 80 к.

Борис Можаев

Запах мяты и хлеб насущный

Произведения Бориса Можаева посвящены жизни центральной полосы России и окраин нашего государства. Автор неизменно стремится даже в самой лирической вещи подчеркнуть черты социальные, характеризующие те важные изменения, которыми так богата советская действительность особенно в последние десятилетия.

Московский рабочий